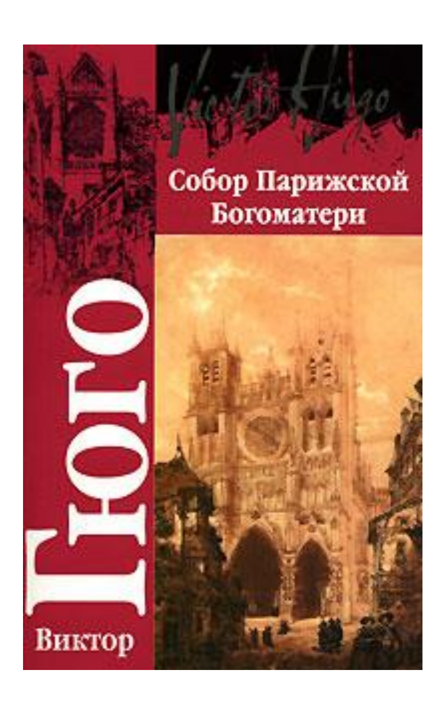
Гюго Виктор

Собор Парижской Богоматери



Несколько лет тому назад, осматривая Собор Парижской Богоматери или, выражаясь точнее, обследуя его, автор этой книги обнаружил в темном закоулке одной из башен следующее начертанное на стене слово:

«ΑΝΑΓΚΗ»[1]

Эти греческие буквы, потемневшие от времени и довольно глубоко врезанные в камень, некие свойственные готическому письму признаки, запечатленные в форме и расположении букв, как бы указывающие на то, что начертаны они были рукой человека средневековья, и в особенности мрачный и роковой смысл, в них заключавшийся, глубоко поразили автора.

Он спрашивал себя, он старался постигнуть, чья страждущая душа не пожелала покинуть сей мир без того, чтобы не оставить на челе древней церкви этого стигмата преступлений или несчастья.

Позже эту стену (я даже точно не припомню, какую именно) не то выскоблили, не то закрасили, и надпись исчезла. Именно так в течение вот уже двухсот лет поступают с чудесными церквами средневековья. Их увечат как угодно – и изнутри и снаружи. Священник их перекрашивает, архитектор скоблит; потом приходит народ и разрушает их.

И вот ничего не осталось ни от таинственного слова, высеченного в стене сумрачной башни собора, ни от той неведомой судьбы, которую это слово так печально обозначало, – ничего, кроме хрупкого воспоминания, которое автор этой книги им посвящает. Несколько

столетий тому назад исчез из числа живых человек, начертавший на стене это слово; исчезло со стены собора и само слово; быть может, исчезнет скоро с лица земли и сам собор.

Это слово и породило настоящую книгу.

Март 1831

Книга первая

I. Большая зала

Триста сорок восемь лет шесть месяцев и девятнадцать дней тому назад парижане проснулись под перезвон всех колоколов, которые неистовствовали за тремя оградами: Сите, Университетской стороны и Города.

Между тем день 6 января 1482 года отнюдь не являлся датой, о которой могла бы хранить память история. Ничего примечательного не было в событии, которое с самого утра привело в такое движение и колокола и горожан Парижа. Это не был ни штурм пикардийцев или бургундцев, ни процессия с мощами, ни бунт школяров, ни въезд «нашего грозного властелина короля», ни даже достойная внимания казнь воров и воровок на виселице по приговору парижской юстиции. Это не было также столь частое в XV веке прибытие какоголибо пестро разодетого и разукрашенного плюмажами иноземного посольства. Не прошло и двух дней, как последнее из них – это были фландрские послы, уполномоченные заключить брак между дофином и Маргаритой Фландрской, – вступило в Париж, к великой досаде кардинала Бурбонского, который, в угоду королю, должен был скрепя сердце принимать неотесанную толпу фламандских бургомистров и угощать их в своем Бурбонском дворце представлением «прекрасной моралитэ, шутливой сатиры и фарса», пока проливной дождь заливал его роскошные ковры, разостланные у входа во дворец.

Тем событием, которое 6 января «взволновало всю парижскую чернь», как говорит Жеан де Труа, – было празднество, объединявшее с незапамятных времен праздник Крещения с праздником шутов.

В этот день на Гревской площади зажигались потешные огни, у Бракской часовни происходила церемония посадки майского деревца, в здании Дворца правосудия давалась мистерия. Об этом еще накануне возвестили при звуках труб на всех перекрестках глашатаи парижского прево, разодетые в щегольские полукафтанья из лилового камлота с большими белыми крестами на груди.

Заперев двери домов и лавок, толпы горожан и горожанок с самого утра потянулись отовсюду к упомянутым местам. Одни решили отдать предпочтение потешным огням, другие – майскому дереву, третьи – мистерии. Впрочем, к чести исконного здравого смысла парижских зевак, следует признать, что большая часть толпы направилась к потешным огням, вполне уместным в это время года, другие – смотреть мистерию в хорошо защищенной от холода зале Дворца правосудия; а бедному, жалкому, еще не расцветшему майскому деревцу все любопытные единодушно предоставили зябнуть в одиночестве под январским небом, на кладбище Бракской часовни.

Народ больше всего теснился в проходах Дворца правосудия, так как было известно, что прибывшие третьего дня фландрские послы намеревались присутствовать на представлении мистерии и на избрании папы шутов, которое также должно было состояться в большой зале Дворца.

Нелегко было пробраться в этот день в большую залу, считавшуюся в то время самым обширным закрытым помещением на свете. (Правда, Соваль тогда еще не обмерил громадную залу в замке Монтаржи.) Запруженная народом площадь перед Дворцом правосудия представлялась зрителям, глядевшим на нее из окон, морем, куда пять или шесть улиц, подобно устьям рек, непрерывно извергали все новые потоки голов. Непрестанно возрастая,

эти людские волны разбивались об углы домов, выступавшие то тут, то там, подобно высоким мысам в неправильном водоеме площади.

Посредине высокого готического[2] фасада Дворца правосудия находилась главная лестница, по которой безостановочно поднимался и спускался людской поток; расколовшись ниже, на промежуточной площадке, надвое, он широкими волнами разливался по двум боковым спускам; эта главная лестница, как бы непрерывно струясь, сбегала на площадь, подобно водопаду, низвергающемуся в озеро. Крик, смех, топот ног производили страшный шум и гам. Время от времени этот шум и гам усиливался: течение, несшее толпу к главному крыльцу, поворачивало вспять и, крутясь, образовывало водовороты. Причиной тому были либо стрелок, давший комунибудь тумака, либо лягавшаяся лошадь начальника городской стражи, водворявшего порядок; эта милая традиция, завещанная парижским прево конетаблям, перешла от конетаблей по наследству к конной страже, а от нее к нынешней жандармерии Парижа.

В дверях, в окнах, в слуховых оконцах, на крышах домов кишели тысячи благодушных, безмятежных и почтенных горожан, спокойно глазевших на Дворец, глазевших на толпу и ничего более не желавших, ибо многие парижане довольствуются зрелищем самих зрителей, и даже стена, за которой что-либо происходит, уже представляет для них предмет, достойный любопытства.

Если бы нам, живущим в 1830 году, дано было мысленно вмешаться в толпу парижан XV века и, получая со всех сторон пинки, толчки, – прилагая крайние усилия, чтобы не упасть, проникнуть вместе с ней в обширную залу Дворца, казавшуюся в день 6 января 1482 года такой тесной, то зрелище, представившееся нашим глазам, не лишено было бы занимательности и очарования; нас окружили бы вещи столь старинные, что они для нас были бы полны новизны.

Если читатель согласен, мы попытаемся хотя бы мысленно воссоздать то впечатление, которое он испытал бы, перешагнув вместе с нами порог обширной залы и очутившись среди толпы, одетой в хламиды, полукафтанья и безрукавки.

Прежде всего мы были бы оглушены и ослеплены. Над нашими головами двойной стрельчатый свод, отделанный деревянной резьбой, расписанный золотыми лилиями по лазурному полю; под ногами – пол, вымощенный белыми и черными мраморными плитами. В нескольких шагах от нас огромный столб, затем другой, третий – всего на протяжении залы семь таких столбов, служащих линией опоры для пяток двойного свода. Вокруг первых четырех столбов – лавочки торговцев, сверкающие стеклянными изделиями и мишурой; вокруг трех остальных – истертые дубовые скамьи, отполированные короткими широкими штанами тяжущихся и мантиями стряпчих. Кругом залы вдоль высоких стен, между дверьми, между окнами, между столбами – нескончаемая вереница изваяний королей Франции, начиная с Фарамонда: королей нерадивых, опустивших руки и потупивших очи, королей доблестных и воинственных, смело подъявших чело и руки к небесам. Далее, в высоких стрельчатых окнах – тысячецветные стекла; в широких дверных нишах – богатые, тончайшей резьбы двери; и все это – своды, столбы, стены, наличники окон, панели, двери, изваяния – сверху донизу покрыто великолепной голубой с золотом краской, успевшей к тому времени уже слегка потускнеть и почти совсем исчезнувшей под слоем пыли и паутины в 1549 году, когда дю Брель по традиции все еще восхищался ею.

Теперь вообразите себе эту громадную продолговатую залу, освещенную сумеречным светом январского дня, заполоненную пестрой и шумной толпой, которая плывет по течению вдоль стен и вертится вокруг семи столбов, и вы получите смутное представление о той картине, любопытные подробности которой мы попытаемся обрисовать точнее.

Несомненно, если бы Равальяк не убил Генриха IV, не было бы и документов о деле Равальяка, хранившихся в канцелярии Дворца правосудия; не было бы и сообщников Равальяка, заинтересованных в исчезновении этих документов; значит, не было бы и

поджигателей, которым, за неимением лучшего средства, пришлось сжечь канцелярию, чтобы сжечь документы, и сжечь Дворец правосудия, чтобы сжечь канцелярию; следовательно, не было бы и пожара 1618 года. Все еще высился бы старинный Дворец с его старинной залой, и я мог бы сказать читателю: «Пойдите, полюбуйтесь на нее»; таким образом, мы были бы избавлены: я – от описания этой залы, а читатель от чтения сего посредственного описания. Это подтверждает новую истину, что последствия великих событий неисчислимы.

Весьма возможно, впрочем, что у Равальяка никаких сообщников не было, а если, случайно, они у него и оказались, то могли быть совершенно непричастны к пожару 1618 года. Существуют еще два других весьма правдоподобных объяснения. Во-первых, огромная пылающая звезда, шириною в фут, длиною в локоть, свалившаяся, как всем известно, с неба 7 марта после полуночи на крышу Дворца правосудия; во-вторых, четверостишие Теофиля:

Да, шутка скверная была,

Когда сама богиня Права,

Съев пряных кушаний немало,

Себе все небо обожгла.[3]

Но, как бы ни думать об этом тройном – политическом, метеорологическом и поэтическом – толковании, прискорбный факт пожара остается несомненным. По милости этой катастрофы, в особенности по милости всевозможных последовательных реставраций, уничтоживших то, что пощадило пламя, немногое уцелело ныне от этой первой обители королей Франции, от этого Дворца, более древнего, чем Лувр, настолько древнего уже в царствование короля Филиппа Красивого, что в нем искали следов великолепных построек, воздвигнутых королем Робером и описанных Эльгальдусом.

Исчезло почти все. Что сталось с кабинетом, в котором Людовик Святой «завершил свой брак»? Где тот сад, в котором он, «одетый в камлотовую тунику, грубого сукна безрукавку и плащ, свисавший до черных сандалий», возлежа вместе с Жуанвилем на коврах, вершил правосудие? Где покои императора Сигизмунда? Карла IV? Иоанна Безземельного? Где то крыльцо, с которого Карл VI провозгласил свой милостивый эдикт? Где та плита, на которой Марсель в присутствии дофина зарезал Робера Клермонского и маршала Шампанского? Где та калитка, возле которой были изорваны буллы антипапы Бенедикта и откуда, облаченные на посмешище в ризы и митры и принужденные публично каяться на всех перекрестках Парижа, выехали обратно те, кто привез эти буллы? Где большая зала, ее позолота, ее лазурь, ее стрельчатые арки, статуи, каменные столбы, ее необъятный свод, весь в скульптурных украшениях? А вызолоченный покой, у входа в который стоял коленопреклоненный каменный лев с опущенной головой и поджатым хвостом, подобно львам соломонова трона, в позе смирения, как то приличествует грубой силе перед лицом правосудия? Где великолепные двери, великолепные высокие окна? Где все чеканные работы, при виде которых опускались руки у Бискорнета? Где тончайшая резьба дю Ганси?.. Что сделало время, что сделали люди со всеми этими чудесами? Что получили мы взамен всего этого, взамен этой истории галлов, взамен этого искусства готики? Тяжелые полукруглые низкие своды де Броса, сего неуклюжего строителя портала Сен-Жерве, – это взамен искусства; что же касается истории, то у нас сохранились лишь многословные воспоминания о центральном столбе, которые еще доныне отдаются эхом в болтовне всевозможных Патрю.

Но все это не так уж важно. Обратимся к подлинной зале подлинного древнего Дворца.

Один конец этого гигантского параллелограмма был занят знаменитым мраморным столом такой длины, ширины и толщины, что, если верить старинным описям, слог которых мог бы возбудить аппетит у Гаргантюа, «подобного ломтя мрамора еще не видывал свет»; противоположный конец занимала часовня, где стояла изваянная по приказанию Людовика XI статуя, изображающая его коленопреклоненным перед Пречистой девой, и куда он, невзирая на то, что две ниши в ряду королевских изваяний остаются пустыми, приказал перенести

статуи Карла Великого и Людовика Святого – двух святых, которые в качестве королей Франции, по его мнению, имели большое влияние на небесах. Эта часовня, еще новая, построенная всего только шесть лет тому назад, была создана в изысканном вкусе того очаровательного, с великолепной скульптурой и тонкими чеканными работами зодчества, которое отмечает у нас конец готической эры и удерживается вплоть до середины XVI века в волшебных архитектурных фантазиях Возрождения.

Небольшая сквозная розетка, вделанная над порталом, по филигранности и изяществу отделки представляла собой настоящее произведение искусства. Она казалась кружевной звездой.

Посреди залы, напротив главных дверей, было устроено прилегавшее к стене возвышение, обтянутое золотой парчой, с отдельным входом через окно, пробитое в этой стене из коридора, смежного с вызолоченным покоем. Предназначалось оно для фландрских послов и для других знатных особ, приглашенных на представление мистерии.

По издавна установившейся традиции представление мистерии должно было состояться на знаменитом мраморном столе. С самого утра он уже был для этого приготовлен. На его великолепной мраморной плите, вдоль и поперек исцарапанной каблуками судейских писцов, стояла довольно высокая деревянная клетка, верхняя плоскость которой, доступная взорам всего зрительного зала, должна была служить сценой, а внутренняя часть, задрапированная коврами, – одевальной для лицедеев. Бесхитростно приставленная снаружи лестница должна была соединять сцену с одевальной и предоставлять свои крутые ступеньки и для выхода актеров на сцену и для ухода их за кулисы. Таким образом, любое неожиданное появление актера, перипетии, сценические эффекты – ничто не могло миновать этой лестницы. О невинное и достойное уважения детство искусства и механики!

Четыре судебных пристава Дворца, непременные надзиратели за всеми народными увеселениями как в дни празднеств, так и в дни казней стояли на карауле по четырем углам мраморного стола.

Представление мистерии должно было начаться только в полдень, с двенадцатым ударом больших стенных дворцовых часов. Несомненно, для театрального представления это было довольно позднее время, но оно было удобно для послов.

Тем не менее многочисленная толпа народа дожидалась представления с самого утра. Добрая половина этих простодушных зевак с рассвета дрогла перед большим крыльцом Дворца; иные даже утверждали, будто они провели всю ночь, лежа поперек главного входа, чтобы первыми попасть в залу. Толпа росла непрерывно и, подобно водам, выступающим из берегов, постепенно вздымалась вдоль стен, вздувалась вокруг столбов, заливала карнизы, подоконники, все архитектурные выступы, все выпуклости скульптурных украшений. Не мудрено, что давка, нетерпение, скука в этот день, дающий волю зубоскальству и озорству, возникающие из-за пустячных ссор, будь то соседство слишком острого локтя или подбитого гвоздями башмака, усталость от долгого ожидания – все вместе взятое еще задолго до прибытия послов придавало ропоту этой запертой, стиснутой, сдавленной, задыхающейся толпы едкий и горький привкус. Только и слышно было, что проклятия и сетования по адресу фламандцев, купеческого старшины, кардинала Бурбонского, главного судьи Дворца, Маргариты Австрийской, стражи с плетьми, стужи, жары, скверной погоды, епископа Парижского, папы шутов, каменных столбов, статуй, закрытой двери, открытого окна, и все это смешило и потешало рассеянных в толпе школяров и слуг, которые подзадоривали общее недовольство острыми словечками и шуточками, еще больше возбуждая этими булавочными уколами общее недовольство.

Среди них отличалась группа веселых сорванцов, которые, выдавив предварительно стекла в окне, бесстрашно расселись на карнизе и оттуда бросали лукавые взгляды и замечания то в толпу, находившуюся в зале, то в толпу на площади. Судя по тому, как они

передразнивали окружающих, по их оглушительному хохоту, по насмешливым окликам, которыми они обменивались с товарищами через всю залу, видно было, что эти школяры далеко не разделяли скуки и усталости остальной части публики, превращая для собственного удовольствия все, что попадалось им на глаза, в зрелище, помогавшее им терпеливо переносить ожидание.

– Клянусь душой, это вы, Жоаннес Фролло де Молендино! – кричал один из них другому, белокурому бесенку с хорошенькой лукавой рожицей, примостившемуся на акантах капители. – Недаром вам дали прозвище Жеан Мельник, ваши руки и ноги и впрямь походят на четыре крыла ветряной мельницы. Давно вы здесь?

– По милости дьявола, – ответил Жоаннес Фролло – я торчу здесь уже больше четырех часов, надеюсь, они зачтутся мне в чистилище! Еще в семь утра я слышал, как восемь певчих короля сицилийского пропели у ранней обедни в Сент-Шапель Достойно…

– Прекрасные певчие! – ответил собеседник. – Голоса у них тоньше, чем острие их колпаков. Однако перед тем как служить обедню святому королю Иоанну, не мешало бы осведомиться, приятно ли Иоанну слушать эту гнусавую латынь с провансальским акцентом.

– Он заказал обедню, чтобы дать заработать этим проклятым певчим сицилийского короля! – злобно крикнула старуха из теснившейся под окнами толпы. – Скажите на милость! Тысячу парижских ливров за одну обедню! Да еще из налога за право продавать морскую рыбу в Париже!

– Молчи, старуха! – вмешался какой-то важный толстяк, все время зажимавший себе нос из-за близкого соседства с рыбной торговкой. – Обедню надо было отслужить. Или вы хотите, чтобы король опять захворал?

– Ловко сказано, господин Жиль Лекорню[4], придворный меховщик! крикнул ухватившийся за капитель маленький школяр.

Оглушительный взрыв хохота приветствовал злополучное имя придворного меховщика.

– Лекорню! Жиль Лекорню! – кричали одни.

– Cornutus et hirsutus![5] – вторили другие.

– Чего это они гогочут? – продолжал маленький чертенок, примостившийся на капители. – Ну да, почтеннейший Жиль Лекорню, брат Жеана Лекорню, дворцового судьи, сын Майе Лекорню, главного смотрителя Венсенского леса; все они граждане Парижа и все до единого женаты.

Толпа совсем развеселилась. Толстый меховщик молча пытался ускользнуть от устремленных на него со всех сторон взглядов, но тщетно он пыхтел и потел Как загоняемый в дерево клин, он, силясь выбраться из толпы, достигал лишь того, что его широкое, апоплексическое, побагровевшее от досады и гнева лицо только еще плотнее втискивалось между плеч соседей. Наконец один из них, такой же важный, коренастый и толстый, пришел ему на выручку:

– Какая мерзость! Как смеют школяры так издеваться над почтенным горожанином? В мое время их за это отстегали бы прутьями, а потом сожгли бы на костре из этих самых прутьев.

Банда школяров расхохоталась.

– Эй! Кто это там ухает? Какой зловещий филин?

– Стой-ка, я его знаю, – сказал один, – это Андри Мюнье.

– Один из четырех присяжных библиотекарей Университета, – подхватил другой.

– В этой лавчонке всякого добра по четыре штуки, – крикнул третий, четыре нации, четыре факультета, четыре праздника, четыре эконома, четыре попечителя и четыре библиотекаря.

– Отлично, – продолжал Жеан Фролло, – пусть же и побеснуются вчетверо больше!

– Мюнье, мы сожжем твои книги!

– Мюнье, мы вздуем твоего слугу!

– Мюнье, мы потискаем твою жену!

– Славная толстушка госпожа Ударда!

– А как свежа и весела, точно уже овдовела!

– Черт бы вас побрал! – прорычал Андри Мюнье.

– Замолчи, Андри, – не унимался Жеан, все еще цеплявшийся за свою капитель, – а то я свалюсь тебе на голову!

Андри посмотрел вверх, как бы определяя взглядом высоту столба и вес плута, помножил в уме этот вес на квадрат скорости и умолк.

Жеан, оставшись победителем, злорадно заметил:

– Я бы непременно так и сделал, хотя и прихожусь братом архидьякону.

– Хорошо тоже наше университетское начальство! Даже в такой день, как сегодня, ничем не отметило наших привилегий! В Городе потешные огни и майское дерево, здесь, в Сите, – мистерия, избрание папы шутов и фландрские послы, а у нас в Университете – ничего.

– Между тем на площади Мобер хватило бы места! – сказал один из школяров, устроившихся на подоконнике.

– Долой ректора, попечителей и экономов! – крикнул Жеан.

– Сегодня вечером следовало бы устроить иллюминацию в Шан-Гальяр из книг Андри, – продолжал другой.

– И сжечь пульты писарей! – крикнул его сосед.

– И трости педелей!

– И плевательницы деканов!

– И буфеты экономов!

– И хлебные лари попечителей!

– И скамеечки ректора!

– Долой! – пропел им в тон Жеан. – Долой Андри, педелей, писарей, медиков, богословов, законников, попечителей, экономов и ректора!

– Да это просто светопреставление! – возмутился Андри, затыкая себе уши.

– А наш ректор легок на помине! Вон он появился на площади! – крикнул один из сидевших на подоконнике.

Все, кто только мог, повернулись к окну.

– Неужели это в самом деле наш достопочтенный ректор Тибо? – спросил Жеан Фролло Мельник. Повиснув на одном из внутренних столбов, он не мог видеть того, что происходило на площади.

– Да, да, – ответили ему остальные, – он самый, ректор Тибо!

Действительно, ректор и все университетские сановники торжественно шествовали по дворцовой площади навстречу послам. Школяры, облепившие подоконник, приветствовали шествие язвительными насмешками и ироническими рукоплесканиями. Ректору, который шел впереди, пришлось выдержать первый залп, и залп этот был жесток.

– Добрый день, господин ректор! Эй! Здравствуйте!

– Каким образом очутился здесь этот старый игрок? Как он расстался со своими костяшками?

– Смотрите, как он трусит на своем муле! А уши у мула короче ректорских!

– Эй! Добрый день, ректор Тибо! Tybalde alea tor[6] Старый дурак! Старый игрок!

– Да хранит вас бог! Ну как, сегодня ночью вам часто выпадало двенадцать очков?

– Поглядите, какая у него серая, испитая и помятая рожа! Это все от страсти к игре и костям!

– Куда это вы трусите, Тибо, Tybalde ad dados, задом к Университету и передом к Городу?

– Он едет снимать квартиру на улице Тиботоде[7], – воскликнул Жеан Мельник.

Вся компания школяров громовыми голосами, бешено аплодируя, повторила этот каламбур:

– Вы едете искать квартиру на улице Тиботоде, не правда ли, господин ректор, партнер дьявола?

Затем наступила очередь прочих университетских сановников.

– Долой педелей! Долой жезлоносцев!

– Скажи, Робен Пуспен, а это кто такой?

– Это Жильбер Сюльи, Gilbertus de Soliaco, казначей Отенского колежа.

– Стой, вот мой башмак; тебе там удобнее, запустика ему в рожу!

– Saturnalitias mittimus ecce nuces.[8]

– Долой шестерых богословов и белые стихари!

– Как, разве это богословы? А я думал – это шесть белых гусей, которых святая Женевьева отдала городу за поместье Роньи!

– Долой медиков!

– Долой диспуты на заданные и на свободные темы!

– Швырну-ка я в тебя шапкой, казначей святой Женевьевы! Ты меня надул! Это чистая правда! Он отдал мое место в нормандском землячестве маленькому Асканио Фальцаспада из провинции Бурж, а ведь тот итальянец.

– Это несправедливо! – закричали школяры. – Долой казначея святой Женевьевы!

– Эй! Иоахим де Ладеор! Эй! Лук Даюиль! Эй! Ламбер Октеман!

– Чтоб черт придушил попечителя немецкой корпорации!

– И капелланов из Сент-Шапель вместе с их серыми меховыми плащами.

– Seu de pellibus grisis fourratis!

– Эй! Магистры искусств! Вон они, черные мантии! Вон они, красные мантии!

– Получается недурной хвост позади ректора!

– Точно у венецианского дожа, отправляющегося обручаться с морем.

– Гляди, Жеан, вон каноники святой Женевьевы.

– К черту чернецов!

– Аббат Клод Коар! Доктор Клод Коар! Кого вы ищете? Марию Жифард?

– Она живет на улице Глатиньи.

– Она греет постели смотрителя публичных домов.

– Она выплачивает ему свои четыре денье – qualuor denarios.

– Aut unum bombum.

– Вы хотите сказать – с каждого носа?

– Товарищи! Вон Симон Санен, попечитель Пикардии, а позади него сидит жена!

– Post equitem sedet atra сига.[9]

– Смелее, Симон!

– Добрый день, господин попечитель!

– Покойной ночи, госпожа попечительница!

– Экие счастливцы, им все видно, – вздыхая, промолвил все еще продолжавший цепляться за листья капители Жоаннес де Молендино.

Между тем присяжный библиотекарь Университета Андри Мюнье прошептал на ухо придворному меховщику Жилю Лекорню:

– Уверяю вас, сударь, что это светопреставление. Никогда еще среди школяров не наблюдалось такой распущенности, и все это наделали проклятые изобретения: пушки, кулеврины, бомбарды, а главное книгопечатание, эта новая германская чума. Нет уж более рукописных сочинений и книг. Печать убивает книжную торговлю. Наступают последние времена.

– Это заметно и по тому, как стала процветать торговля бархатом, ответил меховщик.

Но тут пробило двенадцать.

– А-а! – единым вздохом ответила толпа.

Школяры притихли. Затем поднялась невероятная сумятица; зашаркали ноги, задвигались головы; послышалось оглушительное сморканье и кашель; каждый старался приладиться, примоститься, приподняться. Наконец наступила полная тишина: все шеи были вытянуты, все рты полуоткрыты, все взгляды устремлены на мраморный стол. Но ничего нового на нем не появилось. Там по-прежнему стояли четыре судебных пристава, застывшие и неподвижные, словно раскрашенные статуи. Тогда все глаза обратились к возвышению, предназначенному для фландрских послов. Дверь была все так же закрыта, на возвышении – никого. Собравшаяся с утра толпа ждала полудня, послов Фландрии и мистерии. Своевременно явился только полдень.

Это было уже слишком!

Подождали еще одну, две, три, пять минут, четверть часа; никто не появлялся. Помост пустовал, сцена безмолвствовала.

Нетерпение толпы сменилось гневом. Слышались возгласы возмущения, правда, еще негромкие. «Мистерию! Мистерию!» – раздавался приглушенный ропот. Возбуждение нарастало. Гроза, дававшая о себе знать пока лишь громовыми раскатами, веяла над толпой. Жеан Мельник был первым, вызвавшим вспышку молнии.

– Мистерию, и к черту фландрцев! – крикнул он во всю глотку, обвившись, словно змея, вокруг своей капители.

Толпа принялась рукоплескать.

– Мистерию, мистерию! А Фландрию ко всем чертям! – повторила толпа.

– Подать мистерию, и притом немедленно! – продолжал школяр. – А то, пожалуй, придется нам для развлечения и в назидание повесить главного судью.

– Верно! – завопила толпа. – А для начала повесим его стражу!

Поднялся невообразимый шум. Четыре несчастных пристава побледнели и переглянулись. Народ двинулся на них, и им уже чудилось, что под его напором прогибается и подается хрупкая деревянная балюстрада, отделявшая их от зрителей.

То была опасная минута.

– Вздернуть их! Вздернуть! – кричали со всех сторон.

В это мгновение приподнялся ковер описанной нами выше одевальной и пропустил человека, одно появление которого внезапно усмирило толпу и, точно по мановению волшебного жезла, превратило ее гнев в любопытство.

– Тише! Тише! – раздались голоса.

Человек, дрожа всем телом, отвешивая бесчисленные поклоны, неуверенно двинулся к краю мраморного стола, и с каждым шагом его поклоны становились все более похожими на коленопреклонения.

Мало-помалу водворилась тишина. Слышался лишь тот еле уловимый гул, который всегда стоит над молчащей толпой.

– Господа горожане и госпожи горожанки! – сказал вошедший. – Нам предстоит высокая честь декламировать и представлять в присутствии его высокопреосвященства кардинала превосходную моралитэ под названием «Праведный суд Пречистой девы Марии». Я буду изображать Юпитера. Его преосвященство сопровождает в настоящую минуту почетное посольство герцога Австрийского, которое несколько замешкалось, выслушивая у ворот Боде приветственную речь ректора Университета. Как только его святейшество прибудет, мы сейчас же начнем.

Нет сомнения, что только вмешательство самого Юпитера помогло спасти от смерти четырех несчастных приставов. Если бы нам выпало счастье самим выдумать эту вполне достоверную историю, а значат, и быть ответственными за ее содержание перед судом преподобной нашей матери-критики, то во всяком случае против нас нельзя было бы выдвинуть классического правила: Nec Deus intersit.[10] Надо сказать, что одеяние господина Юпитера было очень красиво и также немало способствовало успокоению толпы, привлекая к себе ее внимание. Он был одет в кольчугу, обтянутую черным бархатом с золотой вышивкой; голову его прикрывала двухконечная шляпа с пуговицами позолоченного серебра; и не будь его лицо частью нарумянено, частью покрыто густой бородой, не держи он в руках усыпанной мишурой и обмотанной канителью трубки позолоченного картона, в которой искушенный глаз легко мог признать молнию, не будь его ноги обтянуты в трико телесного цвета и на греческий манер обвиты лентами, – этот Юпитер по своей суровой осанке мог бы легко выдержать сравнение с любым бретонским стрелком из отряда герцога Беррийского.

II. Пьер Гренгуар

Однако, пока он держал свою торжественную речь, всеобщее удовольствие и восхищение, возбужденные его костюмом, постепенно рассеивались, а когда он пришел к злополучному заключению: «Как только его святейшество прибудет, мы сейчас же начнем», – его голос затерялся в буре гиканья и свиста.

– Немедленно начинайте мистерию! Мистерию немедленно! – кричала толпа. И среди всех голосов отчетливо выделялся голос Жоаннеса де Молендино, прорезавший общий гул, подобно дудке на карнавале в Ниме.

– Начинайте сию же минуту! – визжал школяр.

– Долой Юпитера и кардинала Бурбонского! – вопил Робен Пуспен и прочие школяры, угнездившиеся на подоконнике.

– Давайте моралитэ! – вторила толпа. – Сейчас же, сию минуту, а не то мешок и веревка для комедиантов и кардинала!

Несчастный Юпитер, ошеломленный, испуганный, побледневший под слоем румян, уронил молнию, снял шляпу, поклонился и, дрожа от страха, пролепетал:

– Его высокопреосвященство, послы… госпожа Маргарита Фландрская…

Он не знал, что сказать. В глубине души он опасался, что его повесят.

Его повесит толпа, если он ее заставит ждать, его повесит кардинал, если он его не дождется; куда ни повернись, перед ним разверзалась пропасть, то есть виселица.

К счастью, какой-то человек пришел ему на выручку и принял всю ответственность на себя.

Этот незнакомец стоял по ту сторону балюстрады, в пространстве, остававшемся свободным вокруг мраморного стола, и до сей поры не был никем примечен благодаря тому, что его долговязая и тощая особа не могла попасть ни в чье поле зрения, будучи заслонена массивным каменным столбом, к которому он прислонялся. Это был высокий, худой, бледный, белокурый и еще молодой человек, хотя щеки и лоб его уже бороздили морщины; его черный

саржевый камзол потерся и залоснился от времени. Сверкая глазами и улыбаясь, он приблизился к мраморному столу и сделал знак рукой несчастному страдальцу. Но тот до того растерялся, что ничего не замечал.

Новоприбывший сделал шаг вперед.

– Юпитер! – сказал он. – Милейший Юпитер!

Тот не слышал его.

Потеряв терпение, высокий блондин крикнул ему чуть не в самое ухо:

– Мишель Жиборн!

– Кто меня зовет? – как бы внезапно пробудившись от сна, спросил Юпитер.

– Я, – ответил незнакомец в черном.

– А! – произнес Юпитер.

– Начинайте сейчас же! – продолжал тот. – Удовлетворите требование народа. Я берусь умилостивить судью, а тот в свою очередь умилостивит кардинала.

Юпитер облегченно вздохнул.

– Всемилостивейшие господа горожане! – крикнул он во весь голос толпе, все еще продолжавшей его освистывать. – Мы сейчас начнем!

– Evoe, Jupiter! Plaudite, cives![11] – закричали школяры.

– Слава! Слава! – закричала толпа.

Раздался оглушительный взрыв рукоплесканий, и даже после того, как Юпитер ушел за занавес, зала все еще дрожала от приветственных криков.

Тем временем незнакомец, столь магически превративший «бурю в штиль», как говорит наш милый старик Корнель, скромно отступил в полумрак своего каменного столба, и, несомненно, по-прежнему остался бы там невидим, недвижим и безмолвен, не окликни его две молодые женщины, сидевшие в первом ряду и обратившие внимание на его беседу с Мишелем Жиборном Юпитером.

– Мэтр! – позвала его одна из них, делая ему знак приблизиться.

– Тес, милая Лиенарда, – сказала ее соседка, хорошенькая, цветущая, по-праздничному расфранченная девушка, – он не духовное лицо, а светское, к нему следует обращаться не «мэтр», а «мессир».

– Мессир! – повторила Лиенарда.

Незнакомец приблизился к балюстраде.

– Что угодно, сударыни? – учтиво спросил он.

– О, ничего! – смутившись, ответила Лиенарда. – Это моя соседка, Жискета ла Жансьен, хочет вам что-то сказать.

– Да нет же, – зардевшись, возразила Жискета. – Лиенарда окликнула вас «мэтр», а я поправила ее и объяснила, что вас следует назвать «мессир».

Девушки потупили глазки. Незнакомец не прочь был завязать беседу; он, улыбаясь, глядел на них.

– Итак, вам нечего мне сказать, сударыни?

– О нет, решительно нечего, – ответила Жискета.

– Нечего, – повторила Лиенарда.

Высокий молодой блондин хотел было уйти, но любопытным девушкам не хотелось выпускать добычу из рук.

– Мессир! – со стремительностью воды, врывающейся в открытый шлюз, или женщины, принявшей твердое решение, обратилась к нему Жискета. Вам, как видно, знаком этот военный, который будет играть роль Пречистой девы в мистерии?

– Вы желаете сказать – роль Юпитера? – спросил незнакомец.

– Да, да! – воскликнула Лиенарда. – Какая она дурочка! Так вы знакомы с Юпитером!

– С Мишелем Жиборном? Да, знаком, сударыня.

– Какая у него изумительная борода! – сказала Лиенарда.

– А то, что они сейчас будут представлять, красиво? – застенчиво спросила Жискета.

– Великолепно, сударыня, – без малейшей запинки ответил незнакомец.

– Что же это будет? – спросила Лиенарда.

– Праведный суд Пречистой девы Марии – моралитэ, сударыня.

– Ах вот что? – сказала Лиенарда.

Последовало короткое молчание. Неизвестный прервал его:

– Это совершенно новая моралитэ, ее еще ни разу не представляли.

– Значит, это не та, которую играли два года тому назад, в день прибытия папского посла, когда три хорошенькие девушки изображали…

– Сирен, – подсказала Лиенарда.

– Совершенно обнаженных, – добавил молодой человек.

Лиенарда стыдливо опустила глазки. Жискета, взглянув на нее, последовала ее примеру. Незнакомец, улыбаясь, продолжал:

– То было очень занятное зрелище. А нынче будут представлять моралитэ, написанную в честь принцессы Фландрской.

– А будут петь пасторали? – спросила Жискета.

– Фи! – сказал незнакомец. – В моралитэ? Не нужно смешивать разные жанры. Будь это шутливая пьеса, тогда сколько угодно!

– Жаль, – проговорила Жискета. – А в тот день мужчины и женщины вокруг фонтана Понсо разыгрывали дикарей, сражались между собой и принимали всякие позы, когда пели пасторали и мотеты.

– Что годится для папского посла, то не годится для принцессы, – сухо заметил незнакомец.

– А около них, – продолжала Лиенарда, – было устроено состязание на духовых инструментах, которые исполняли возвышенные мелодии.

– А чтоб гуляющие могли освежиться, – подхватила Жискета, – из трех отверстий фонтана били вино, молоко и сладкая настойка. Пил кто только хотел.

– А не доходя фонтана Понсо, близ церкви Пресвятой Троицы, – продолжала Лиенарда, – показывали пантомиму Страсти господни.

– Отлично помню! – воскликнула Жискета. – Господь бог на кресте, а справа и слева разбойники.

Тут болтушки, разгоряченные воспоминаниями о дне прибытия папского посла, затрещали наперебой:

– А немного подальше, близ ворот Живописцев, были еще какие-то нарядно одетые особы.

– А помнишь, как охотник около фонтана Непорочных под оглушительный шум охотничьих рогов и лай собак гнался за козочкой?

– А у парижской бойни были устроены подмостки, которые изображали дьепскую крепость!

– Помнишь, Жискета: едва папский посол проехал, как эту крепость взяли приступом и всем англичанам перерезали глотки?

– У ворот Шатле тоже были прекрасные актеры!

– И на мосту Менял, который к тому же был весь обтянут коврами!

– А как только посол проехал, то с моста выпустили в воздух более двух тысяч всевозможных птиц. Как это было красиво, Лиенарда.

– Сегодня будет еще лучше! – перебил их наконец нетерпеливо внимавший им собеседник.

– Вы ручаетесь, что это будет прекрасная мистерия? – спросила Жискета.

– Ручаюсь, – сказал он и слегка напыщенным тоном добавил: – Я автор этой мистерии, сударыни!

– В самом деле? – воскликнули изумленные девушки.

– В самом деле, – приосанившись, ответил поэт. – То есть нас двое: Жеан Маршан, который напилил досок и сколотил театральные подмостки, и я, который написал пьесу. Меня зовут Пьер Гренгуар.

Едва ли сам автор «Сида» с большей гордостью произнес бы: «Пьер Корнель».

Читатели могли заметить, что с той минуты, как Юпитер скрылся за ковром, и до того мгновения, как автор новой моралитэ столь неожиданно разоблачил себя, вызвав простодушное восхищение Жискеты и Лиенарды, прошло немало времени. Любопытно, что вся эта возбужденная толпа теперь ожидала начала представления, благодушно положившись на слово комедианта. Вот новое доказательство той вечной истины, которая и доныне каждый день подтверждается в наших театрах: лучший способ заставить публику терпеливо ожидать начала представления – это уверить ее, что спектакль начнется незамедлительно.

Однако школяр Жеан не дремал.

– Эй! – закричал он, нарушив спокойствие, сменившее сумятицу ожидания. – Юпитер! Госпожа богородица! Чертовы фигляры! Вы что же, издеваетесь над нами, что ли? Пьесу! Пьесу! Начинайте, не то мы начнем сначала!

Этой угрозы было достаточно.

Из глубины деревянного сооружения послышались звуки высоких и низких музыкальных инструментов, ковер откинулся. Из-за ковра появились четыре нарумяненные, пестро одетые фигуры. Вскарабкавшись по крутой театральной лестнице на верхнюю площадку, они выстроились перед зрителями в ряд и отвесили по низкому поклону; оркестр умолк. Мистерия началась.

Воцарилось благоговейное молчание и, вознагражденные щедрыми рукоплесканиями за свои поклоны, четыре действующих лица начали декламировать пролог, от которого мы охотно избавляем читателя. К тому же, как нередко бывает и в наши дни, публику больше развлекали костюмы действующих лиц, чем исполняемые ими роли; и это было справедливо. Все четверо были одеты в наполовину желтые, наполовину белые костюмы; одежда первого была сшита из золотой и серебряной парчи, второго – из шелка, третьего – из шерсти, четвертого – из полотна. Первый в правой руке держал шпагу, второй – два золотых ключа, третий – весы, четвертый – заступ. А чтобы помочь тем тугодумам, которые, несмотря на всю ясность этих атрибутов, не поняли бы их смысла, на подоле парчового одеяния большими черными буквами было вышито: «Я – дворянство», на подоле шелкового: «Я – духовенство», на подоле шерстяного: «Я – купечество», на подоле льняного: «Я – крестьянство». Внимательный зритель мог без труда различить среди них две аллегорические фигуры мужского пола – по более короткому платью и по островерхим шапочкам, и две женского пола – по длинным платьям и капюшонам на голове.

Лишь очень неблагожелательно настроенный человек не уловил бы за поэтическим языком пролога того, что Крестьянство состояло в браке с Купечеством, а Духовенство – с Дворянством и что обе счастливые четы сообща владели великолепным золотым

дельфином[12], которого решили присудить красивейшей женщине мира. Итак, они отправились странствовать по свету, разыскивая эту красавицу. Отвергнув королеву Голконды, принцессу Трапезундскую, дочь великого хана татарского и проч., Крестьянство, Духовенство, Дворянство и Купечество пришли отдохнуть на мраморном столе Дворца правосудия, выкладывая почтенной аудитории такое количество сентенций, афоризмов, софизмов, определений и поэтических фигур, сколько их полагалось на экзаменах факультета словесных наук при получении звания лиценциата.

Все это было поистине великолепно!

Однако ни у кого во всей толпе, на которую четыре аллегорические фигуры наперерыв изливали потоки метафор, не было столь внимательного уха, столь трепетного сердца, столь напряженного взгляда, такой вытянутой шеи, как глаз, ухо, шея и сердце автора, поэта, нашего славного Пьера Гренгуара, который несколько минут назад не мог устоять перед тем, чтобы не назвать свое имя двум хорошеньким девушкам. Он отошел и стал на свое прежнее место за каменным столбом, в нескольких шагах от них; он внимал, он глядел, он упивался. Отзвук благосклонных рукоплесканий, которыми встретили начало его пролога, еще продолжал звучать у него в ушах, и весь он погрузился в то блаженное созерцательное состояние, в каком автор внимает актеру, с чьих уст одна за другой слетают его мысли среди тишины, которую хранит многочисленная аудитория. О достойный Пьер Гренгуар!

Хотя нам и грустно в этом сознаться, но блаженство первых минут было вскоре нарушено. Едва Пьер Гренгуар пригубил опьяняющую чашу восторга и торжества, как в нее примешалась капля горечи.

Какой-то оборванец, затертый в толпе, что мешало ему просить милостыню, и не нашедший, по-видимому, достаточного возмещения за понесенный им убыток в карманах соседей, вздумал взобраться на местечко повиднее, желая привлечь к себе и взгляды и подаяния. Едва лишь послышались первые стихи пролога, как он, вскарабкавшись по столбам возвышения, приготовленного для послов, влез на карниз, окаймлявший нижнюю часть балюстрады, и примостился там, словно взывая своими лохмотьями и отвратительной раной на правой руке к вниманию и жалости зрителей. Впрочем, он не произносил ни слова.

Покуда он молчал, действие пролога развивалось беспрепятственно, и никакого ощутимого беспорядка не произошло бы, если б на беду школяр Жеан с высоты своего столба не заметил нищего и его гримас. Безумный смех разобрал молодого повесу, и он, не заботясь о том, что прерывает представление и нарушает всеобщую сосредоточенность, задорно крикнул:

– Поглядите на этого хиляка! Он просит милостыню!

Тот, кому случалось бросить камень в болото с лягушками или выстрелом из ружья вспугнуть стаю птиц, легко вообразит себе, какое впечатление вызвали эти неуместные слова среди аудитории, внимательно следившей за представлением. Гренгуар вздрогнул, словно его ударило электрическим током. Пролог оборвался на полуслове, все головы повернулись к нищему, а тот, нисколько не смутившись и видя в этом происшествии лишь подходящий случай собрать жатву, полузакрыл глаза и со скорбным видом затянул:

– Подайте Христа ради!

– Вот тебе раз! – продолжал Жеан. – Да ведь это Клопен Труйльфу, клянусь душой! Эй, приятель! Должно быть, твоя рана на ноге здорово тебе мешала, если ты ее перенес на руку?

И тут же он с обезьяньей ловкостью швырнул мелкую серебряную монету в засаленную шапку нищего, которую тот держал в больной руке. Нищий, не моргнув глазом, принял и подачку и издевку и продолжал жалобным тоном:

– Подайте Христа ради!

Это происшествие развлекло зрителей; добрая половина их, во главе с Робеном Пуспеном и всеми школярами, принялась весело рукоплескать этому своеобразному дуэту, исполняемому в середине пролога крикливым голосом школяра и невозмутимо монотонным напевом нищего.

Гренгуар был очень недоволен. Оправившись от изумления, он, даже не удостоив презрительным взглядом двух нарушителей тишины, изо всех сил закричал актерам:

– Продолжайте, черт возьми! Продолжайте!

В эту минуту он почувствовал, что кто-то потянул его за полу камзола. Досадливо обернувшись, он едва мог заставить себя улыбнуться. А нельзя было не улыбнуться. Это Жискета ла Жансьен, просунув хорошенькую ручку сквозь решетку балюстрады, старалась таким способом привлечь его внимание.

– Сударь! – спросила молодая девушка. – А разве они будут продолжать?

– Конечно, – обиженный подобным вопросом, ответил Гренгуар.

– В таком случае, мессир, – попросила она, – будьте столь любезны, объясните мне…

– То, что они будут говорить? – прервал ее Гренгуар. – Извольте. Итак…

– Да нет же, – сказала Жискета, – объясните мне, что они говорили до сих пор.

Гренгуар подпрыгнул, подобно человеку, у которого задели открытую рану.

– Черт бы побрал эту дурищу! – пробормотал он сквозь зубы.

В эту минуту Жискета погибла в его глазах.

Между тем актеры вняли его настояниям, а публика, убедившись, что они стали декламировать, принялась их слушать, хотя вследствие происшествия, столь неожиданно разделившего пролог на две части, она упустила множество красот пьесы. Гренгуар с горечью думал об этом. Все же мало-помалу воцарилась тишина, школяр умолк, нищий пересчитывал монеты в своей шапке, и пьеса пошла своим чередом.

В сущности, это было великолепное произведение, и мы даже находим, что с некоторыми поправками им можно при желании воспользоваться и в наши дни. Фабула пьесы, слегка растянутой и бессодержательной, что было в порядке вещей в те времена, отличалась простотой, и Гренгуар в глубине души восхищался ее ясностью. Само собой разумеется, четыре аллегорические фигуры, не найдя уважительной причины для того, чтобы отделаться от своего золотого дельфина, утомились, объехав три части света. Затем следовало похвальное слово чудо-рыбе, заключавшее в себе множество деликатных намеков на юного жениха Маргариты Фландрской, который тогда скучал один в своем Амбуазском замке, не подозревая, что Крестьянство и Духовенство, Дворянство и Купечество ради него объездили весь свет. Итак, упомянутый дельфин был молод, был прекрасен, был могуч, а главное (вот дивный источник всех королевских добродетелей!) он был сыном льва Франции. Я утверждаю, что эта смелая метафора очаровательна и что в день, посвященный аллегориям и эпиталамам в честь королевского бракосочетания, естественная история, процветающая на театральных подмостках, нисколько не бывает смущена тем, что лев породил дельфина. Столь редкостное и высокопарное сравнение свидетельствует лишь о поэтическом восторге. Но справедливость требует заметить, что поэту для развития этой великолепной мысли двухсот стихов было многовато. Правда, по распоряжению прево мистерии надлежало длиться с полудня до четырех часов, и надо же было актерам что-то говорить. Впрочем, толпа слушала терпеливо.

Внезапно, в самый разгар ссоры между Купечеством и Дворянством, в то время когда Крестьянство произносило следующие изумительные стихи:

Нет, царственней его не видывали зверя, дверь почетного возвышения, до сих пор остававшаяся так некстати закрытой, еще более некстати распахнулась, и звучный голос привратника провозгласил:

– Его высокопреосвященство кардинал Бурбонский!

III. Кардинал

Бедный Гренгуар! Треск огромных двойных петард в Иванов день, залп двадцати крепостных аркебуз, выстрел знаменитой кулеврины на башне Бильи, из которой в воскресенье 29 сентября 1465 года, во время осады Парижа, было убито одним ударом семь бургундцев, взрыв порохового склада у ворот Тампль – все это не столь сильно оглушило бы его в такую торжественную и драматическую минуту, как эта короткая фраза привратника: «Его высокопреосвященство кардинал Бурбонский!»

И отнюдь не потому, что Пьер Гренгуар боялся или презирал кардинала. Он не отличался ни малодушием, ни высокомерием. Истый эклектик, как выражаются ныне, Гренгуар принадлежал к числу тех возвышенных и твердых, уравновешенных и спокойных людей, которые умеют во всем придерживаться золотой середины, stare in dimidio rerum, всегда здраво рассуждают и склонны к свободомыслию, отдавая в то же время должное кардиналам. Эта ценная, никогда не вымирающая порода философов, казалось, получила от мудрости, сей новой Ариадны, клубок нитей, который, разматываясь, ведет их от сотворения мира сквозь лабиринт всех дел человеческих. Они существуют во все времена и эпохи и всегда одинаковы, то есть всегда соответствуют своему времени. Оставив в стороне нашего Пьера Гренгуара, который, если бы нам удалось дать его истинный образ, был бы их представителем в XV веке, мы должны сказать, что именно их дух вдохновлял отца дю Бреля, когда он в XVI столетии писал следующие божественно-наивные, достойные перейти из века в век строки: «Я парижанин по рождению и „паризианин‟ по манере говорить, ибо parrhisia по-гречески означает „свобода слова‟, коей я и докучал даже кардиналам, дяде и брату принца Конти, но всегда с полным уважением к их высокому сану и не оскорбляя никого из их свиты, а это уже немалая заслуга».

Итак, в том неприятном впечатлении, которое произвело на Пьера Гренгуара появление кардинала, не было ни личной ненависти к кардиналу, ни пренебрежения к факту его присутствия. Напротив, наш поэт, обладая изрядной дозой здравого смысла и изношенным камзолом, придавал особое значение тому, чтобы его намеки в прологе, особенно похвалы, расточаемые дофину, сыну льва Франции, дошли до высокопреосвященного слуха. Но отнюдь не корысть преобладает в благородной натуре поэтов. Я полагаю, что если сущность поэта может быть обозначена числом десять, то какой-нибудь химик, анализируя и фармакополизируя ее, как выражается Рабле, вероятно, нашел бы в ней одну десятую корыстолюбия и девять десятых самолюбия. В ту минуту, когда двери распахнулись, пропуская кардинала, эти девять десятых самолюбия Гренгуара, распухнув и вздувшись под действием народного восхищения, достигли удивительных размеров и задавили неприметную молекулу корыстолюбия, которую мы только что обнаружили в натуре поэтов. Впрочем, молекула эта драгоценна: она представляет собой тот балласт реальности и человеческой природы, без которого поэты не могли бы коснуться земли. Гренгуар наслаждался, ощущая, наблюдая и, так сказать, осязая все это сборище, состоявшее, правда, из бездельников, но зато оцепеневших от изумления, словно захлебнувшихся в потоках нескончаемых тирад, которые изливались из каждой части его эпиталамы. Я утверждаю, что Гренгуар разделял всеобщий восторг и, в противоположность Лафонтену, который на представлении своей комедии Флорентинеу, спросил: «Что за невежда сочинил эти бредни? „, наш поэт охотно осведомился бы у соседа: «Кем написан этот шедевр?‟ И потому легко представить себе то действие, какое на него должно было произвести внезапное и несвоевременное появление кардинала.

Опасения Гренгуара оправдались. Прибытие его высокопреосвященства взбудоражило аудиторию. Все головы повернулись к возвышению. Поднялся оглушительный шум. «Кардинал! Кардинал!» – повторяли тысячи уст. Злополучный пролог был прерван вторично.

Кардинал помедлил минуту у ступенек, ведущих на возвышение. Пока он окидывал довольно равнодушным взором толпу, всеобщее возбуждение усилилось. Каждому хотелось разглядеть кардинала. Каждый старался поднять голову выше плеча соседа.

Это было действительно высокопоставленное лицо, созерцание которого стоило любых других зрелищ. Карл, кардинал Бурбонский, архиепископ и граф Лионский, примас Галльский, был связан родственными узами и с Людовиком XI через своего брата Пьера, сеньора Боже, женатого на старшей дочери короля, и с Карлом Смелым через свою мать Агнесу Бургундскую. Отличительными, коренными чертами характера примаса Галльского были гибкость царедворца и раболепие перед власть имущими. Легко вообразить себе те многочисленные затруднения, которые ему доставляло это двойное родство, и все те подводные камни светской жизни, между которыми его умственный челн вынужден был лавировать, дабы не разбиться, налетев на Людовика или на Карла – эту Сциллу и Харибду, уже поглотивших герцога Немурского и конетабля Сен-Поля. Милостью неба кардинал сумел благополучно разделаться с этим путешествием и беспрепятственно достигнуть Рима, то есть кардинальской мантии. Но хотя он и находился в гавани или, точнее говоря, именно потому, что он находился в гавани, он не мог спокойно вспоминать о превратностях своей долгой политической карьеры, исполненной тревог и тягот. И он часто повторял, что 1476 год был для него «черным и белым», подразумевая под этим, что в один и тот же год он лишился матери, герцогини Бурбонской, и своего двоюродного брата, герцога Бургундского, и что одна утрата смягчила для него горечь другой.

Впрочем, он был человек добродушный, вел веселую жизнь, охотно попивал вино из королевских виноградников Шальо, благосклонно относился к Ришарде ла Гармуаз и к Томасе ла Сальярд, охотнее подавал милостыню хорошеньким девушкам, нежели старухам, и за все это был любим простонародьем Парижа. Обычно он появлялся в сопровождении целого штата знатных епископов и аббатов, любезных, веселых, всегда согласных покутить; и не раз почтенные прихожанки Сен-Жермен д'Озэр, проходя вечером мимо ярко освещенных окон Бурбонского дворца, возмущались, слыша, как те же самые голоса, которые только что служили вечерню, теперь под звон бокалов тянули Bibamus papaliter[13], вакхическую песню папы Бенедикта XII, прибавившего третью корону к тиаре.

Вероятно, благодаря именно этой популярности, вполне им заслуженной, кардинал при своем появлении избежал враждебного приема со стороны шумной толпы, выражавшей такое недовольство всего лишь несколько минут назад и весьма мало расположенной отдавать дань уважения кардиналу в тот самый день, когда ей предстояло избрать папу. Но парижане – народ не злопамятный; к тому же, самовольно заставив начать представление, добрые горожане сочли, что они как бы восторжествовали над кардиналом, и были вполне удовлетворены. Вдобавок ко всему кардинал Бурбонский был красавец мужчина, в великолепной пурпурной мантии, которую он умел носить с большим изяществом, а это значило, что все женщины, иначе говоря добрая половина залы, были на его стороне. Ведь несправедливо и бестактно ошикать кардинала только за то, что он опоздал и этим задержал начало спектакля, когда он красавец мужчина и с таким изяществом носит свою пурпурную мантию!

Итак, кардинал вошел, улыбнулся присутствующим той унаследованной от своих предшественников улыбкой, которою сильные мира сего приветствуют толпу, и медленно направился к своему креслу, обитому алым бархатом, размышляя, по-видимому, о чем-то совершенно постороннем. Сопровождавший его кортеж епископов и аббатов, или, как сказали бы теперь, его генеральный штаб, вторгся за ним на возвышение, еще усилив шум и любопытство толпы. Всякий хотел указать, назвать, дать понять, что знает хоть одного из них: кто – Алоде, епископа Марсельского, если ему не изменяет память; кто – настоятеля аббатства Сен-Дени; кто – Робера де Леспинаса, аббата Сен-Жермен-де Пре, распутного брата фаворитки Людовика XI; возникавшая при этом путаница вызывала шумные споры. А школяры сквернословили. Это был их день, их шутовской праздник, их сатурналии, ежегодная оргия корпораций писцов и школяров. Любая непристойность считалась сегодня законной и священной. К тому же в толпе находились такие шалые бабенки, как Симона Четыре-Фунта, Агнеса Треска, Розина Козлоногая. Как же не посквернословить в свое удовольствие и не

побогохульствовать в такой день, как сегодня, и в такой честной компании, как духовные лица и веселые девицы? И они не зевали; среди гама звучал ужасающий концерт ругательств и непристойностей, исполняемый школярами и писцами, распустившими языки, которые в течение всего года сдерживались страхом перед раскаленным железом святого Людовика. Бедный святой Людовик! Как они глумились над ним в его собственном Дворце правосудия! Среди вновь появлявшихся на возвышении духовных особ каждый школяр намечал себе жертву – черную, серую, белую или лиловую рясу. Жеан Фролло де Молендино, как брат архидьякона, избрал мишенью красную мантию и дерзко напал на нее. Устремив на кардинала бесстыжие свои глаза, он орал что есть мочи:

– Cappa repleta mero![14]

Все эти выкрики, которые мы приводим – здесь без прикрас в назидание читателю, тонули в шуме, не достигнув парадного помоста. Впрочем, всякого рода вольности в этот день вошли в обычай и мало трогали кардинала. К тому же у него была иная забота, и это ясно отражалось на его лице, эта забота преследовала его по пятам и почти одновременно с ним взошла на помост: то было фландрское посольство.

Кардинал не был глубоким политиком; его не слишком беспокоили последствия брака его кузины Маргариты Бургундской и его кузена Карла, дофина Вьенского; его весьма мало тревожило и то, как долго продлится столь непрочное «доброе согласие» между герцогом Австрийским и королем Франции и как отнесется король Англии к пренебрежению, которое выказали его дочери. Он каждый вечер спокойно попивал королевское вино из виноградников Шальо, не подозревая, что несколько бутылок этого вина (правда, разбавленного и подправленного доктором Куактье), радушно предложенные Эдуарду IV Людовиком XI, в одно прекрасное утро избавят Людовика XI от Эдуарда IV. «Достопочтенное посольство господина герцога Австрийского» не причиняло кардиналу ни одной из вышеупомянутых забот, но тяготило его в ином отношении. И в самом деле, было все же тяжко, как мы упоминали об этом выше, ему. Карлу Бурбонскому, чествовать каких-то мещан; ему, кардиналу, – любезничать с какими-то старшинами; ему, французу, веселому сотрапезнику на пирах – угощать каких-то фламандцев, пивохлебов; и все это проделывать на людях! Несомненно, это была одна из самых отвратительных личин, какую ему когда-либо приходилось надевать на себя в угоду королю.

Но едва лишь привратник зычным голосом провозгласил. «Господа послы герцога Австрийского», он с самым любезным видом (настолько он изучил это искусство) повернулся к входной двери. Нечего и говорить, что его примеру последовали все остальные.

Попарно, со степенной важностью, являвшей разительный контраст оживлению церковной свиты Карла Бурбонского, появились сорок восемь посланников Максимилиана Австрийского, возглавляемые его преподобием отцом Иоанном, аббатом Сен-Бертенским, канцлером ордена Золотого руна, и Иаковом де Гуа, сьером Доби, верховным судьей города Гента.

В зале воцарилась глубокая тишина, лишь изредка прерываемая заглушенным смехом, когда привратник, коверкая и путая, выкрикивал странные имена и гражданские звания, невозмутимо сообщаемые ему каждым из новоприбывших фламандцев. Тут были: мэтр Лоис Релоф, городской старшина Лувена, мессир Клаис Этюэльд, старшина Брюсселя, мессир Пауль Баест, сьер Вуармизель, представитель Фландрии, мэтр Жеан Колегенс, бургомистр Антверпена, мэтр Георг де ла Мер, первый старшина города Гента, мэтр Гельдольф ван дер Хаге, старшина землевладельцев того же города, и сьер Бирбек, и Жеан Пиннок, и Жеан Димерзель и т. д. – судьи, старшины, бургомистры; бургомистры, старшины, судьи – все как один важные, неповоротливые, чопорные, разряженные в бархат и штоф, в черных бархатных шапочках, украшенных кистями из золотых кипрских нитей. Однако у всех у них были славные фламандские лица, исполненные строгости и достоинства, родственные тем, чьи упрямые тяжелые черты выступают на темном фоне Ночного дозора Рембрандта. Это были люди, всем

своим видом как бы подтверждавшие правоту Максимилиана Австрийского, положившегося «всецело», как сказано было в его манифесте, на их «здравый смысл, мужество, опытность, честность и предусмотрительность».

За исключением, впрочем, одного. У этого было тонкое, умное, лукавое лицо – он был похож и на обезьянку и на дипломата. Кардинал сделал три шага к нему навстречу и, несмотря на то, что тот носил негромкое имя «Гильом Рим, советник и первый сановник города Гента», низко ему Поклонился.

Лишь немногим было известно тогда, что представлял собою Гильом Рим. Человек редкого ума, способный в революционную эпоху оказаться на гребне событий и блестяще проявить себя, он в XV веке обречен был на подпольные интриги и, как выразился герцог Сен-Симон, «на существование в подкопах». Тем не менее он был оценен самым выдающимся «подкопных дел мастером» Европы: он интриговал заодно с Людовиком XI и нередко прилагал руку к секретным делам короля. Но этого не подозревала толпа, изумленная необычайным вниманием кардинала к невзрачному фламандскому советнику.

IV. Мэтр Жак Копеноль

Когда первый сановник города Гента и его высокопреосвященство, отвешивая друг другу глубокие поклоны, обменивались произносимыми вполголоса любезностями, какой-то человек высокого роста, широколицый и широкоплечий, выступил вперед, намереваясь войти вместе с Гильомом Римом; он напоминал бульдога в паре с лисой. Его войлочная шляпа и кожаная куртка казались грязным пятном среди окружавших его шелка и бархата. Полагая, что это какой-нибудь случайно затесавшийся сюда конюх, привратник преградил ему дорогу:

– Эй, приятель! Сюда нельзя!

Человек в кожаной куртке оттолкнул его плечом.

– Чего этому болвану от меня нужно? – спросил он таким громким голосом, что вся зала обратила внимание на этот странный разговор. – Ты что, не видишь, кто я такой?

– Ваше имя? – спросил привратник.

– Жак Копеноль.

– Ваше звание?

– Чулочник в Генте, владелец лавки под вывеской «Три цепочки».

Привратник попятился. Докладывать о старшинах, о бургомистрах еще куда ни шло; но о чулочнике – это уж чересчур! Кардинал был как на иголках. Толпа прислушивалась и глазела. Целых два дня ею преосвященство старался, как только мог, обтесать этих фламандских бирюков, чтобы они имели более представительный вид, и вдруг эта грубая, резкая выходка! Между тем Гильом Рим приблизился к привратнику и с тонкой улыбкой еле слышно шепнул ему:

– Доложите: мэтр Жак Копеноль, секретарь совета старшин города Гента.

– Привратник! – повторил кардинал громким голосом. – Доложите: мэтр Жак Копеноль, секретарь совета старшин славного города Гента.

Это была оплошность. Гильом Рим, действуя самостоятельно, сумел бы уладить дело, но Копеноль услышал слова кардинала.

– Нет, крест истинный, нет! – громовым голосом воскликнул он. – Жак Копеноль, чулочник! Слышишь, привратник? Именно так, а не иначе! Чулочник! Чем это плохо?

Раздался взрыв хохота и рукоплесканий. Парижане умеют сразу понять шутку и оценить ее по достоинству.

Вдобавок Копеноль был простолюдин, как и те, что его окружали. Поэтому сближение между ними установилось молниеносно и совершенно естественно. Высокомерная выходка фламандского чулочника, унизившего придворных вельмож, пробудила в этих простых душах

чувство собственного достоинства, столь смутное и неопределенное в XV веке. Он был им ровня, этот чулочник, дающий отпор кардиналу, – сладостное утешение для бедняг, приученных с уважением подчиняться даже слуге судебного пристава, подчиненного судье, в свою очередь подчиненного настоятелю аббатства святой Женевьевы – шлейфоносцу кардинала!

Копеноль гордо поклонился его высокопреосвященству, а тот вежливо отдал поклон всемогущему горожанину, внушавшему страх даже Людовику XI. Гильом Рим, «человек проницательный и лукавый», как отзывался о нем Филипп де Комин, насмешливо и с чувством превосходства следил, как они отправлялись на свои места: смущенный и озабоченный кардинал, спокойный и надменный Копеноль. Последний, конечно, размышлял о том, что в конце концов звание чулочника ничем не хуже любого иного и что Мария Бургундская, мать той самой Маргариты, которую он, Копеноль, сейчас выдавал замуж, гораздо менее опасалась бы его, будь он кардиналом, а не чулочником. Ведь не кардинал взбунтовал жителей Гента против фаворитов дочери Карла Смелого; не кардинал несколькими словами вооружил толпу против принцессы Фландрской, со слезами и мольбами явившейся к самому подножию эшафота просить свой народ пощадить ее любимцев. А торговец чулками только поднял руку в кожаном нарукавнике, и ваши головы, достопочтенные сеньоры Гюи д'Эмберкур и канцлер Гильом Гугоне, слетели с плеч!

Однако неприятности многострадального кардинала еще не кончились, и ему пришлось до дна испить чашу горечи, попав в столь дурное общество.

Читатель, быть может, еще не забыл нахального нищего, который, едва только начался пролог, вскарабкался на карниз кардинальского помоста. Прибытие именитых гостей не заставило его покинуть свой пост, и в то время как прелаты и послы набились на возвышении, точно настоящие фламандские сельди в бочонке, он устроился поудобнее и спокойно скрестил ноги на архитраве. То была неслыханная дерзость, но в первую минуту никто не заметил этого, так как все были заняты другим. Казалось, нищий тоже не замечал происходящего в зале и беспечно, как истый неаполитанец, покачивая головой среди всеобщего шума, тянул по привычке: «Подайте милостыню!»

Нет сомнения, что только он один из всего собрания не соблаговолил повернуть голову к препиравшимся привратнику и Копенолю. Но случаю было угодно, чтобы досточтимый чулочник города Гента, к которому толпа почувствовала такое расположение и на которого устремлены были все взоры, сел в первом ряду на помосте, как раз над тем местом, где приютился нищий. Каково же было всеобщее изумление, когда фландрский посол, пристально взглянув на этого пройдоху, расположившегося возле него, дружески хлопнул его по прикрытому рубищем плечу. Нищий обернулся; оба удивились, узнали друг друга, и лица их просияли; затем, нимало не заботясь о зрителях, чулочник и нищий принялись перешептываться, держась за руки; лохмотья Клопена Труйльфу, раскинутые на золотистой парче возвышения, напоминали гусеницу на апельсине.

Необычность этой странной сцены вызвала такой взрыв безудержного веселья и оживления среди публики, что кардинал не мог не обратить на это внимание. Он слегка наклонился и, с трудом различив омерзительное одеяние Труйльфу, он решил, что нищий просит милостыню.

– Господин старший судья! Бросьте этого негодяя в реку! – возмущенный такой наглостью, воскликнул он.

– Господи Иисусе! Высокопреосвященнейший владыка, – не выпуская руки Клопена, сказал Копеноль. – Да ведь это мой приятель!

– Слава! Слава! – заревела толпа. И в эту минуту мэтр Копеноль в Париже, как и в Генте, «заслужил полное доверие народа, ибо такие люди, говорит Филипп де Комин, – обычно пользуются доверием, если ведут себя неподобающим образом».

Кардинал закусил губу. Наклонившись к своему соседу, настоятелю аббатства святой Женевьевы, он проговорил вполголоса:

– Странных, однако, послов направил к нам эрцгерцог, чтобы возвестить о прибытии принцессы Маргариты.

– Вы слишком любезны с этими фламандскими свиньями, ваше высокопреосвященство. Margaritas ante porcos.[15]

– Но это скорее porcos ante Margaritam[16], – улыбаясь, возразил кардинал.

Свита в сутанах пришла в восторг от этого каламбура. Кардинал почувствовал себя удовлетворенным: он сквитался с Копенолем – его каламбур имел не меньший успех.

Теперь позволим себе задать вопрос тем из наших читателей, которые, как ныне принято говорить, наделены способностью обобщать образы и идеи: вполне ли отчетливо они представляют себе зрелище, какое являет собой в эту минуту обширный параллелограмм большой залы Дворца правосудия? Посреди залы, у западной стены, широкий и роскошный помост, обтянутый золотой парчой, куда через маленькую стрельчатую дверку одна за другой выходят важные особы, имена которых пронзительным голосом торжественно выкликает привратник. На передних скамьях уже разместилось множество почтенных особ, закутанных в горностай, бархат и пурпур. Вокруг этого возвышения, где царят тишина и благоприличие, под ним, перед ним, всюду невероятная давка и невероятный шум. Множество взглядов впивается в сидящих на возвышении, множество уст шепчет их имена. Зрелище весьма любопытное и вполне заслуживающее внимания зрителей! Но там, в конце зала, что означает это подобие подмостков, на которых извиваются восемь раскрашенных марионеток – четыре наверху и четыре внизу? И кто же этот бледный человек в черном потертом камзоле, что стоит возле подмостков? Увы, дорогой читатель, это Пьер Гренгуар и его пролог!

Мы о нем совершенно забыли!

А именно этого-то он и опасался.

С той минуты как появился кардинал, Гренгуар не переставал хлопотать о спасении своего пролога. Прежде всего он приказал замолкшим было исполнителям продолжать и говорить громче; затем, видя, что их никто не слушает, он остановил их и в течение перерыва, длившегося около четверти часа, не переставал топать ногами, бесноваться, взывать к Жискете и Лиенарде, подстрекать своих соседей, чтобы те требовали продолжения пролога; но все было тщетно. Никто не сводил глаз с кардинала, послов и возвышения, где, как в фокусе, скрещивались взгляды всего огромного кольца зрителей. Кроме того, надо думать, – мы упоминаем об этом с прискорбием, – пролог стал надоедать слушателям, когда его высокопреосвященство кардинал своим появлением столь безжалостно прервал его. Наконец на помосте, обтянутом золотой парчой, разыгрывался тот же спектакль, что и на мраморном столе, – борьба между Крестьянством и Духовенством, Дворянством и Купечеством. Но большинство зрителей предпочитало, чтобы они держали себя просто, предпочитало видеть их в действии, подлинных, дышащих, толкающихся, облеченных в плоть и кровь, среди фландрского посольства и епископского двора, в мантии кардинала или куртке Копеноля, нежели раскрашенных, расфранченных, изъясняющихся стихами и похожих на соломенные чучела актеров в белых и желтых туниках, которые напялил на них Гренгуар.

Впрочем, когда наш поэт заметил, что шум несколько утих, он придумал хитрость, которая могла бы спасти положение.

– Сударь! – обратился он к своему соседу, добродушному толстяку, лицо которого выражало терпение. – А не начать ли с начала?

– Что начать? – спросил сосед.

– Да мистерию, – ответил Гренгуар.

– Как вам будет угодно, – молвил сосед.

Этого полуодобрения оказалось достаточно для Гренгусфа, и он, взяв на себя дальнейшие заботы, замешавшись в толпу, изо всех сил принялся кричать «Начинайте с начала мистерию, начинайте с начала!»

– Черт возьми, – сказал Жоаннес де Молендино, – что это они там распевают в конце залы? (Гренгуар шумел и орал за четверых) Послушайте, друзья, разве мистерия не кончилась? Они хотят начать ее с начала! Это непорядок!

– Непорядок! Непорядок! – завопили школяры – Долой мистерию! Долой!

Но Гренгуар, надрываясь, кричал еще сильнее. «Начинайте! Начинайте!»

Наконец эти крики привлекли внимание кардинала.

– Господин старший судья! – обратился он к стоявшему в нескольких шагах от него высокому человеку в черном – Чего эти бездельники подняли такой вой, словно бесы перед заутреней?

Дворцовый судья был чем-то вроде чиновника-амфибии, какой-то разновидностью летучей мыши в судейском сословии, он был похож и на крысу, и на птицу, и на судью, и на солдата.

Он приблизился к его преосвященству и, хотя очень боялся вызвать его неудовольствие, все же, заикаясь, объяснил причину непристойного поведения толпы, полдень пожаловал до прибытия его высокопреосвященства, и актеры были вынуждены начать представление, не дождавшись его высокопреосвященства.

Кардинал расхохотался.

– Честное слово, – воскликнул он, – ректору университета следовало поступить точно так же! Как вы полагаете, мэтр Гильом Рим?

– Ваше высокопреосвященство! – сказал Гильом Рим – Удовольствуемся тем, что нас избавили от половины представления Мы во всяком случае в выигрыше.

– Дозволит ли ваше высокопреосвященство этим бездельникам продолжать свою комедию? – спросил судья.

– Продолжайте, продолжайте, – ответил кардинал, – мне все равно Я тем временем почитаю молитвенник.

Судья подошел к краю помоста и, водворив движением руки тишину, провозгласил:

– Горожане, селяне и парижане! Желая удовлетворить как тех, кто требует, чтобы представление начали с самого начала, так и тех, кто требует, чтобы его прекратили, его высокопреосвященство приказывает продолжать.

Обе стороны принуждены были покориться Но и автор и зрители еще долго хранили в душе обиду на кардинала.

Итак, лицедеи вновь принялись разглагольствовать, и у Гренгуара появилась надежда, что хоть конец его произведения будет выслушан Но и эта надежда не замедлила обмануть его, как и другие его мечты В зале, правда, стало более или менее тихо, но Гренгуар не заметил, что в ту минуту, когда кардинал велел продолжать представление, места на возвышении были далеко еще не все заняты и что вслед за фландрскими гостями появились другие участники торжественной процессии, чьи имена и звания, возвещаемые монотонным голосом привратника, врезались в его диалог, внося невероятную путаницу В самом деле, вообразите, что во время представления визгливый голос привратника вставляет между двумя стихами, а нередко и между двумя полустишиями.

– Мэтр Жак Шармолю, королевский прокурор в духовном суде.

– Жеан де Гарле, дворянин, исполняющий должность начальника ночной стражи города Парижа!

– Мессир Галио де Женуалак, шевалье, сеньор де Брюсак, начальник королевской артиллерии!

– Мэтр Дре-Рагье, инспектор королевских лесов, вод и французских земель Шампани и Бри!

– Мессир Луи де Гравиль, шевалье, советник и камергер короля, адмирал Франции, хранитель Венсенского леса!

– Мэтр Дени де Мерсье, смотритель убежища для слепых в Париже и т. д. и т. д.

Это становилось нестерпимым.

Столь странный аккомпанемент, мешавший следить за ходом действия, тем сильнее возмущал Гренгуара, что интерес зрителей к пьесе должен был, как ему казалось возрастать, его произведению недоставало лишь одного – внимания слушателей И действительно, трудно вообразить себе более замысловатое и драматическое сплетение. В то время когда четыре героя пролога скорбели о своем затруднительном положении, перед ними предстала сама Венера, uera incessu patuit dea[17], одетая в прелестную тунику, на которой был вышит корабль – герб города Парижа. Она явилась требовать дофина, обещанного прекраснейшей женщине в мире. Юпитер, громы которого грохочут в одевальной, поддерживает требование богини, и она уже готова увести дофина за собой, то есть попросту выйти за него замуж, как вдруг девушка в белом шелковом платье с маргариткой в руке (прозрачный намек на Маргариту Фландрскую) явилась оспаривать победу Венеры. Внезапная перемена и осложнение. После долгих пререканий Венера, Маргарита и прочие решают обратиться к суду Пречистой девы. В пьесе была еще одна прекрасная роль – Дона Педро, короля Месопотамии, но из-за бесчисленных перерывов трудно было взять в толк, на что он там был нужен. Все эти действующие лица взбирались на сцену по приставной лестнице.

Но все было напрасно, ни одна из красот пьесы никем не была понята и оценена. Казалось, с той минуты, как прибыл кардинал, какая-то невидимая волшебная нить внезапно притянула все взоры от мраморного стола к возвышению, от южного конца залы к западному. Ничто не могло разрушить чары, овладевшие аудиторией. Все взоры были устремлены туда; вновь прибывавшие гости, их проклятые имена, их физиономии, одежда поминутно отвлекали зрителей. Это было нестерпимо! За исключением Жискеты и Лиенарды, которые время от времени, когда Гренгуар дергал их за рукав, оборачивались к сцене, да терпеливого толстякасоседа, никто не слушал, никто не смотрел злополучную, всеми покинутую моралитэ. Гренгуар со своего места видел лишь профили зрителей.

С какой горечью наблюдал он, как постепенно разваливалось сооруженное им здание славы и поэзии! И подумать только, что еще недавно вся эта толпа, горя нетерпением поскорее услышать его мистерию, готова была взбунтоваться против самого судьи! Теперь, когда ее желание исполнено, она не обращает на пьесу никакого внимания. На ту самую пьесу, начало которой столь единодушно приветствовала! Вот он, вечный закон прилива и отлива народного благоволения! А за минуту до этого толпа чуть не повесила стражу! Чего бы не дал Гренгуар, чтобы воротить это сладостное мгновение!

Нудный монолог привратника, однако, окончился; все уже собрались, и Гренгуар вздохнул свободно. Комедианты снова мужественно принялись декламировать. Но тут встает чулочник, мэтр Копеноль, и среди всеобщего напряженного молчания произносит ужасную речь:

– Господа горожане и дворяне Парижа! Клянусь богом, я не понимаю, что все мы тут делаем. Я вижу вон на тех подмостках, в углу, каких-то людей, которые, видимо, собираются драться. Не знаю, может быть, это и есть то самое, что у вас называется «мистерией», но я не вижу здесь ничего занятного. Эти люди только треплют языком! Вот уж четверть часа, как я жду драки, а они ни с места! Это трусы, – они умеют только браниться. Вам следовало бы выписать сюда бойцов из Лондона или Роттердама, тогда бы дело пошло как надо. Посыпались бы такие кулачные удары, что их слышно было бы даже на площади! А эти – никудышный

народ. Пусть уж лучше пропляшут какой-нибудь мавританский танец или выкинут что-нибудь забавное. Это совсем не похоже на то, что мне говорили. Мне обещали показать празднество шутов и избрание шутовского папы. У нас в Генте есть тоже свой папа шутов, в этом мы не отстаем от других, крест истинный! Но мы делаем так. Собирается такая же толпа, как и здесь. Потом каждый по очереди просовывает голову в какое-нибудь отверстие и корчит при этом гримасу. Тот, у кого, по общему мнению, она получится самой безобразной, выбирается папой. Вот и все. Это очень забавно. Не желаете ли избрать папу шутов по обычаю моей родины? В всяком случае это будет повеселее, чем слушать этих болтунов. Если же они захотят погримасничать, то можно и их принять в игру. Как вы думаете, граждане? Среди нас достаточно причудливых образчиков обоего пола, чтобы посмеяться над ними по-фламандски, и изрядное количество уродов, от которых можно ожидать отменных гримас!

Гренгуар собрался было ответить, но изумление, гнев и негодование сковали ему язык. К тому же предложение уже ставшего популярным чулочника было так восторженно встречено толпой, польщенной титулом «дворяне», что всякое сопротивление было бы бесполезно. Ему ничего не оставалось делать, как отдаться течению. Гренгуар закрыл лицо руками – у него не было плаща, которым он мог бы покрыть голову наподобие Агамемнона Тиманта.

V. Квазимодо

В одно мгновение все в зале было готово для осуществления затеи Копеноля. Горожане, школяры и судебные писцы принялись за дело. Маленькая часовня, расположенная против мраморного стола, была избрана сценой для показа гримас. Соискатели должны были просовывать головы в каменное кольцо в середине прекрасного окна-розетки над входом, откуда выбили стекло. Чтобы добраться до него, достаточно было влезть на две бочки, неизвестно откуда взявшиеся и кое-как установленные одна на другую. Условились, что каждый участник, будь то мужчина или женщина (могли избрать и папессу), дабы не нарушать цельности и силы впечатления от своей гримасы, будет находиться в часовне с закрытым лицом, пока не придет время показаться в отверстии. Часовня вмиг наполнилась кандидатами в папы, и дверь за ними захлопнулась.

Копеноль со своего места отдавал приказания, всем руководил, все устраивал. В разгар этой суматохи кардинал, не менее ошеломленный, чем Гренгуар, под предлогом неотложных дел и предстоящей вечерни, удалился в сопровождении своей свиты, и толпа, которую так взволновало его прибытие, не обратила теперь ни малейшего внимания на его уход. Единственным человеком, заметившим бегство его высокопреосвященства, был Гильом Рим. Внимание толпы, подобно солнцу, совершало свой кругооборот: возникнув на одном конце залы и продержавшись одно мгновение в центре, оно перешло теперь к противоположному концу. И мраморный стол и обтянутое золотой парчой возвышение уже успели погреться в его лучах, очередь была за часовней Людовика XI. Наступило раздолье для бесчинств. В зале остались только фламандцы и всякий сброд.

Начался показ гримас. Первая появившаяся в отверстии рожа, с вывороченными веками, разинутым наподобие звериной пасти ртом и собранным в складки лбом, напоминавшим голенище гусарского сапога времен Империи, вызвала у присутствующих такой неудержимый хохот, что Гомер принял бы всю эту деревенщину за богов. А между тем большая зала менее всего напоминала Олимп, и бедный гренгуаров Юпитер понимал это лучше всех. На смену первой гримасе явилась вторая, третья, потом еще и еще; одобрительный хохот и топот усиливались. В этом зрелище было что-то головокружительное, какая-то опьяняющая колдовская сила, действие которой трудно описать читателю наших дней.

Представьте себе вереницу лиц, изображающих все геометрические фигуры – от треугольника до трапеции, от конуса до многогранника; выражения всех человеческих чувств, начиная от гнева и кончая похотливостью; все возрасты – от морщин новорожденного до морщин умирающей старухи; все фантастические образы, придуманные религией, от Фавна до Вельзевула; все профили животных – от пасти до клюва, от рыла до мордочки. Вообразите,

что все каменные личины Нового моста, эти застывшие под рукой Жермена Пилона кошмары, ожили и пришли одни за другими взглянуть на вас горящими глазами или что все маски венецианского карнавала мелькают перед вами, словом, вообразите непрерывный калейдоскоп человеческих лиц.

Оргия принимала все более и более фламандский характер. Кисть самого Тенирса могла бы дать о ней лишь смутное понятие. Представьте себе битву Сальватора Роза, обратившуюся в вакханалию! Не было больше ни школяров, ни послов, ни горожан, ни мужчин, ни женщин; исчезли Клопен Труйльфу, Жиль Лекорню, Мари Четыре-Фунта, Робен Пуспен. Все смешалось в общем безумии. Большая зала превратилась в чудовищное горнило бесстыдства и веселья, где каждый рот вопил, каждое лицо корчило гримасу, каждое тело извивалось. Все вместе выло и орало. Странные рожи, которые одна за другой, скрежеща зубами, возникали в отверстии розетки, напоминали соломенные факелы, бросаемые в раскаленные угли. От всей этой бурлящей толпы отделялся, как пар от горнила, острый, пронзительный, резкий звук, свистящий, словно крылья чудовищного комара.

– Ого! Черт возьми!

– Погляди только на эту рожу!

– Ну, она ничего не стоит!

– А эта!

– Гильомета Можерпюи! Ну-ка взгляни на эту бычью морду, ей только рогов не хватает. Значит, это не твой муж.

– А вот еще одна!

– Клянусь папским брюхом, это еще что за рожа?

– Эй! Плутовать нельзя. Показывай только лицо!

– Это, наверно, проклятая Перета Кальбот! Она на все способна.

– Слава! Слава!

– Я задыхаюсь!

– А вот у этого уши никак не пролезают в отверстие!

И так далее, и так далее…

Однако нужно отдать справедливость нашему другу Жеану. Он один среди этого шабаша не покидал своего места и, как юнга за мачту, держался за верхушку своего столба. Он бесновался, он впал в совершенное неистовство, из его разинутого рта вырывался вопль, который не был слышен не потому, чтобы его заглушал общий шум, а потому, что он выходил за пределы, воспринимаемые человеческим слухом, как это бывает, по Соверу, при двенадцати тысячах, а по Био – при восьми тысячах колебаний в секунду.

Гренгуар сперва растерялся, но затем быстро овладел собой. Он приготовился дать отпор этому бедствию.

– Продолжайте! – в третий раз крикнул он своим говорящим машинам-актерам. Шагая перед мраморным столом, он испытывал желание показаться в оконце часовни хотя бы для того, чтобы скорчить рожу неблагодарной толпе. «Но нет, это ниже моего достоинства. Не надо мстить! Будем бороться до конца, – твердил он. – Власть поэзии над толпой велика, я образумлю этих людей. Увидим, кто восторжествует – гримасы или изящная словесность».

Увы! Он остался единственным зрителем своей пьесы. Положение его было плачевное. Он видел только спины. Впрочем, я ошибаюсь. Терпеливый толстяк, с которым Гренгуар в критическую минуту уже советовался, продолжал сидеть лицом к сцене. А Жискета и Лиенарда давно сбежали.

Гренгуар был тронут до глубины души верностью своего единственного слушателя. Приблизившись к нему, он заговорил с ним, осторожно тронув его за руку, так как толстяк, облокотившись о балюстраду, видимо, подремывал.

– Благодарю вас! – сказал Гренгуар.

– За что? – спросил, зевая, толстяк.

– Я понимаю, что вам надоел весь этот шум. Он мешает вам слушать пьесу. Но зато ваше имя перейдет в потомство. Скажите, пожалуйста, как вас зовут.

– Рено Шато, хранитель печати парижского Шатле, к вашим услугам.

– Сударь, вы здесь единственный ценитель муз! – повторил Гренгуар.

– Вы очень любезны, сударь, – ответил хранитель печати Шатле.

– Вы один, – продолжал Гренгуар, – внимательно слушали пьесу. Как она вам понравилась?

– Гм! Гм! – ответил наполовину проснувшийся толстяк. – Пьеса довольно забавна!

Гренгуару пришлось удовольствоваться этой похвалой, – гром рукоплесканий, смешавшись с оглушительными криками, внезапно прервал их разговор. Папа шутов был избран.

– Слава! Слава! – ревела толпа.

Рожа, красовавшаяся в отверстии розетки, была поистине изумительна! После всех этих пятиугольных, шестиугольных причудливых лиц, появлявшихся в отверстии, но не воплощавших образца смешного уродства, который в своем распаленном воображении создала толпа, только такая потрясающая гримаса могла поразить это сборище и вызвать бурное одобрение. Сам мэтр Копеноль рукоплескал ей, и даже Клопен Труйльфу, участвовавший в состязании, – а одному богу известно, какой высокой степени безобразия могло достигнуть его лицо! – даже он признал себя побежденным. Последуем и мы его примеру. Трудно описать этот четырехгранный нос, подковообразный рот, крохотный левый глаз, почти закрытый щетинистой рыжей бровью, в то время как правый совершенно исчезал под громадной бородавкой, кривые зубы, напоминавшие зубцы крепостной стены, эту растрескавшуюся губу, над которой нависал, точно клык слона, один из зубов, этот раздвоенный подбородок… Но еще труднее описать ту смесь злобы, изумления и грусти, которая отражалась на лице этого человека. А теперь попробуйте все это себе представить в совокупности!

Одобрение было единодушное. Толпа устремилась к часовне. Оттуда с торжеством вывели почтенного папу шутов Но только теперь изумление и восторг толпы достигли наивысшего предела. Гримаса была его настоящим лицом.

Вернее, он весь представлял собой гримасу. Громадная голова, поросшая рыжей щетиной; огромный горб между лопаток, и другой, уравновешивающий его, – на груди; бедра настолько вывихнутые, что ноги его могли сходиться только в коленях, странным образом напоминая спереди два серпа с соединенными рукоятками; широкие ступни, чудовищные руки. И, несмотря на это уродство, во всей его фигуре было какое-то грозное выражение силы, проворства и отваги, – необычайное исключение из того общего правила, которое требует, чтобы сила, подобно красоте, проистекала из гармонии. Таков был избранный шутами папа.

Казалось, это был разбитый и неудачно спаянный великан.

Когда это подобие циклопа появилось на пороге часовни, неподвижное, коренастое, почти одинаковых размеров в ширину и в высоту, «квадратное в самом основании», как говорил один великий человек, то по надетому на нем наполовину красному, наполовину фиолетовому камзолу, усеянному серебряными колокольчиками, а главным образом по его несравненному уродству простонародье тотчас же признало его.

– Это Квазимодо, горбун! – закричали все в один голос. – Это Квазимодо, звонарь Собора Парижской Богоматери! Квазимодо кривоногий. Квазимодо одноглазый! Слава! Слава!

Видимо, у бедного малого не было недостатка в прозвищах.

– Берегитесь, беременные женщины! – орали школяры.

– И те, которые желают забеременеть! – прибавил Жоаннес.

Женщины и в самом деле закрывали лица руками.

– У! Противная обезьяна! – говорила одна.

– Злая и уродливая! – прибавляла другая.

– Дьявол во плоти! – вставляла третья.

– К несчастью, я живу возле собора и слышу, как всю ночь он бродит по крыше.

– Вместе с кошками.

– И насылает на нас порчу через дымоходы.

– Как-то вечером он просунул свою рожу ко мне в окно. Я приняла его за мужчину и ужасно испугалась.

– Я уверена, что он летает на шабаш. Однажды он забыл свою метлу в водосточном желобе на моей крыше.

– Мерзкая харя!

– Подлая душа!

– Фу!

А мужчины – те восхищались и рукоплескали горбуну.

Квазимодо, виновник всей этой шумихи, мрачный, серьезный, стоял на пороге часовни, позволяя любоваться собой.

Один школяр, кажется Робен Пуспен, подошел поближе и расхохотался ему прямо в лицо. Квазимодо ограничился тем, что взял его за пояс и отбросил шагов на десять в толпу. И все это он проделал молча.

Восхищенный мэтр Копеноль подошел к нему и сказал:

– Крест истинный, никогда в жизни я не встречал такого великолепного уродства, святой отец! Ты достоин быть папой не только в Париже, но и в Риме.

Он весело хлопнул его по плечу. Квазимодо не шелохнулся.

– С таким парнем я охотно кутнул бы, даже если это обошлось мне в дюжину новеньких турских ливров! Что ты на это скажешь? – продолжал Копеноль.

Квазимодо молчал.

– Крест истинный! – воскликнул чулочник. – Да ты глухой, что ли?

Да, Квазимодо был глухой.

Копеноль начал раздражать Квазимодо: он вдруг повернулся к нему и так страшно заскрипел зубами, что богатырь-фламандец попятился, как бульдог от кошки.

И тут священный ужас образовал вокруг этой странной личности кольцо, радиус которого был не менее пятнадцати шагов. Какая-то старуха объяснила Копенолю, что Квазимодо глух.

– Глух! – чулочник разразился грубым фламандским смехом. – Крест истинный, да это не папа, а совершенство!

– Эй! Я знаю его! – крикнул Жеан, спустившись наконец со своей капители, чтобы поближе взглянуть на Квазимодо. – Это звонарь моего брата архидьякона. Здравствуй, Квазимодо!

– Сущий дьявол! – сказал Робей Пуспен, все еще не оправившийся от своего падения. – Поглядишь на него – горбун. Пойдет – видишь, что он хромой. Взглянет на вас – кривой. Заговоришь с ним – глухой. Да есть ли язык у этого Полифема?

– Он говорит, если захочет, – пояснила старуха – Он оглох оттого, что звонит в колокола. Он не немой.

– Только этого еще ему недостает, – заметил Жеан.

– Один глаз у него лишний, – заметил Робен Пуссен.

– Ну, нет, – справедливо возразил Жеан, – кривому хуже, чем слепому Он знает, чего он лишен.

Тем временем процессия нищих, слуг и карманников вместе со школярами направилась к шкапу судейских писцов, чтобы достать картонную тиару и нелепую мантию папы шутов. Квазимодо беспрекословно и даже с оттенком надменной покорности разрешил облечь себя в них. Потом его усадили на пестро раскрашенные носилки. Двенадцать членов братства шутов подняли его на плечи; какой-то горькою и презрительною радостью расцвело мрачное лицо циклопа, когда он увидел у своих кривых ног головы всех этих красивых, стройных, хорошо сложенных мужчин. Затем галдящая толпа оборванцев, прежде чем пойти по городу, двинулась, согласно обычаю, по внутренним галереям Дворца.

VI. Эсмеральда

Мы счастливы сообщить нашим читателям, что во время всей этой сцены и Гренгуар и его пьеса держались стойко. Понукаемые автором, актеры без устали декламировали его стихи, а он без устали их слушал. Примирившись с гамом, он решил довести дело до конца и не терял надежды, что публика вновь обратит внимание на его пьесу. Этот луч надежды разгорелся еще ярче, когда он заметил, что Копеноль, Квазимодо и вся буйная ватага шутовского папы с оглушительным шумом покинула залу. Толпа жадно устремилась за ними.

– Отлично! – пробормотал он. – Все крикуны уходят.

К несчастью, «крикунами» была вся толпа. В одно мгновение зала опустела.

Собственно говоря, в зале кое-кто еще оставался. Это были женщины, старики и дети, пресытившиеся шумом и гамом. Иные бродили в одиночку, другие толпились около столбов. Несколько школяров все еще сидели верхом на подоконниках и оттуда глазели на площадь.

«Ну что же, – подумал Гренгуар, – пусть хоть эти дослушают мою мистерию. Их, правда, мало, но зато публика избранная, образованная».

Однако через несколько минут выяснилось, что симфония, которая должна была произвести особенно сильное впечатление при появлении Пречистой девы, не может быть исполнена. Гренгуар вспомнил, что всех музыкантов увлекла за собой процессия папы шутов.

– Обойдемся и без симфонии, – стоически произнес поэт.

Он приблизился к группе горожан, которые, как ему показалось, рассуждали о его пьесе. Вот услышанный им обрывок разговора:

– Мэтр Шенето! Вы знаете Наваррский особняк, который принадлежал господину де Немуру?

– Да, это против Бракской часовни.

– Так вот казна недавно сдала его в наем Гильому Аликсандру, живописцу, за шесть парижских ливров и восемь су в год.

– Как, однако, растет арендная плата!

«Пустяки, – вздыхая, утешил себя Гренгуар, – зато остальные слушают».

– Друзья! – внезапно крикнул один из молодых озорников, примостившихся на подоконниках, – Эсмеральда! Эсмеральда на площади!

Это имя произвело магическое действие. Все, кто еще оставался в зале, повторяя: «Эсмеральда! Эсмеральда! «, бросились к окнам и стали подтягиваться, чтобы им видна была улица.

С площади донеслись громкие рукоплескания.

– Какая еще там Эсмеральда? – воскликнул Гренгуар, в отчаянии сжимая руки. – О боже мой! Теперь они будут глазеть в окна!

Обернувшись к мраморному столу, он увидел, что представление прекратилось. Как раз в это время надлежало появиться Юпитеру с молнией. А между тем Юпитер неподвижно стоял внизу у сцены.

– Мишель Жиборн! – в сердцах крикнул поэт. – Что ты там застрял? Твой выход! Влезай на сцену!

– Увы! – ответил Юпитер – Какой-то школяр унес лестницу.

Гренгуар поглядел на сцену. Лестница действительно пропала Всякое сообщение между завязкой и развязкой пьесы было прервано.

– Чудак! – пробормотал он – Зачем же ему понадобилась лестница?

– Чтобы взглянуть на Эсмеральду, – жалобно ответил Юпитер. – Он сказал. «Стой, а вот и лестница, она никому не нужна», и унес ее.

Это был последний удар судьбы. Гренгуар принял его безропотно.

– Убирайтесь все к черту! – крикнул он комедиантам – Если мне заплатят, я с вами рассчитаюсь.

Понурив голову, он отступил, но отступил последним, как доблестно сражавшийся полководец.

Спускаясь по извилистым лестницам Дворца, Гренгуар ворчал себе под нос: «Какое скопище ослов и невежд эти парижане! Собрались, чтобы слушать мистерию, и не слушают! Им все интересно – Клопен Труйльфу, кардинал, Копеноль, Квазимодо и сам черт, только не Пречистая дева! Если б я знал, я бы вам показал пречистых дев, ротозеи! А я? Пришел наблюдать, какие лица у зрителей, и увидел только их спины! Быть поэтом, а иметь успех, достойный какого-нибудь шарлатана, торговца зельями! Положим, Гомер просил милостыню в греческих селениях, а Назон скончался в изгнании у московитов. Но черт меня подери, если я понимаю, что они хотят сказать этим „Эсмеральда“. Что это за слово? Наверное, цыганское.»

Книга вторая

I. От Харибды к Сцилле

В январе смеркается рано. Улицы были уже погружены во мрак, когда Гренгуар вышел из Дворца Наступившая темнота была ему по душе; он спешил добраться до какой-нибудь сумрачной и пустынной улочки, чтобы поразмыслить там без помехи и дать философу наложить первую повязку на рану поэта. Впрочем, философия была сейчас его единственным прибежищем, ибо ему негде было переночевать. После блистательного провала его пьесы он не решался возвратиться в свое жилище на Складской улице, против Сенной пристани. Он уже не рассчитывал из вознаграждения за эпиталаму уплатить Гильому Ду-Сиру, откупщику городских сборов с торговцев скотом, квартирную плату за полгода, что составляло двенадцать парижских су, то есть ровно в двенадцать раз больше того, чем он обладал на этом свете, включая штаны, рубашку и шапку.

Остановившись подле маленькой калитки тюрьмы при Сент-Шапель и раздумывая, где бы ему выбрать место для ночлега, – а в его распоряжении были все мостовые Парижа, – он вдруг припомнил, что, проходя на прошлой неделе по Башмачной улице мимо дома одного парламентского советника, он заметил около входной двери каменную ступеньку, служившую подножкой для всадников, и тогда же сказал себе, что она при случае может быть прекрасным изголовьем для нищего или для поэта Он возблагодарил провидение, ниспославшее ему столь счастливую мысль, но, намереваясь перейти Дворцовую площадь, чтобы углубиться в извилистый лабиринт Сите, где вьются древние улицы-сестры, сохранившиеся и доныне, но уже застроенные девятиэтажными домами, – Бочарная, Старая Суконная, Башмачная, Еврейская и проч., – он увидел процессию папы шутов, которая тоже выходила из Дворца

правосудия и с оглушительными криками, с пылающими факелами, под музыку неслась ему наперерез. Это зрелище разбередило его уязвленное самолюбие. Он поспешил удалиться. Неудача преисполнила душу Гренгуара такой горечью, что все, напоминавшее дневное празднество, раздражало его и заставляло кровоточить его рану.

Он направился было к мосту Сен-Мишель, но по мосту бегали ребятишки с факелами и шутихами.

– К черту все потешные огни! – пробормотал Гренгуар и повернул к мосту Менял. На домах, стоявших у начала моста, были вывешены три флага с изображениями короля, дофина и Маргариты Фландрской, и шесть флажков, на которых были намалеваны герцог Австрийский, кардинал Бурбонский, господин де Боже, Жанна Французская, побочный сын герцога Бурбонского и еще кто-то; все это было освещено факелами. Толпа была в восторге.

«Экий счастливец этот художник Жеан Фурбо! – подумал, тяжело вздохнув, Гренгуар и повернулся спиной к флагам и к флажкам. Перед ним расстилалась улица, достаточно темная и пустынная для того, чтобы там укрыться от праздничного гула и блеска. Он углубился в нее. Через несколько мгновений он обо что-то споткнулся и упал. Это был пучок ветвей майского деревца, который, по случаю торжественного дня, накануне утром судейские писцы положили у дверей председателя судебной палаты. Гренгуар стоически перенес эту новую неприятность. Он встал и дошел до набережной. Миновав уголовную и гражданскую тюрьму и пройдя вдоль высоких стен королевских садов по песчаному, невымощенному берегу, где грязь доходила ему до щиколотки, он добрался до западной части Сите и некоторое время созерцал островок Коровий перевоз, который исчез ныне под бронзовым конем Нового моста. Островок этот, отделенный от Гренгуара узким, смутно белевшим в темноте ручьем, казался ему какой-то черной массой. На нем при свете тусклого огонька можно было различить нечто вроде шалаша, похожего на улей, где по ночам укрывался перевозчик скота.

«Счастливый паромщик, – подумал Гренгуар, – ты не грезишь о славе, и ты не пишешь эпиталам! Что тебе до королей, вступающих в брак, и до герцогинь бургундских! Тебе неведомы иные маргаритки, кроме тех, что щиплют твои коровы на зеленых апрельских лужайках! А я, поэт, освистан, я дрожу от холода, я задолжал двенадцать су, и подметки мои так просвечивают, что могли бы заменить стекла в твоем фонаре. Спасибо тебе, паромщик, мой взор отдыхает, покоясь на твоей хижине! Она заставляет меня забыть о Париже!»

Треск двойной петарды, внезапно послышавшийся из благословенной хижины, прекратил его лирические излияния. Это паромщик, получая свою долю праздничных развлечений, забавлялся потешными огнями.

От взрыва петарды мороз пробежал по коже Гренгуара.

– Проклятый праздник! – воскликнул он. – Неужели ты будешь преследовать меня всюду? Даже до хижины паромщика?

Взглянув на катившуюся у его ног Сену, он почувствовал страшное искушение.

– О, с каким удовольствием я утопился бы, не будь вода такой холодной!

И тут он принял отчаянное решение. Раз не в его власти избежать папы шутов, флажков Жеана Фурбо, майского деревца, факелов и петард, не лучше ли пробраться к самому средоточию праздника и пойти на Гревскую площадь?

«По крайней мере, – подумал он, – мне достанется хотя бы одна головешка от праздничного костра, чтобы согреться, а на ужин – несколько крох от трех огромных сахарных кренделей в виде королевского герба, выставленных для народа в городском буфете».

II. Гревская площадь

Ныне от Гревской площади того времени остался лишь едва заметный след: прелестная башенка, занимающая ее северный угол. Но и она почти погребена под слоем грубой штукатурки, облепившей острые грани ее скульптурных украшений, и вскоре, быть может,

исчезнет совсем, затопленная половодьем новых домов, стремительно поглощающим все старинные здания Парижа.

Люди, которые, подобно нам, не могут пройти по Гревской площади, не скользнув взглядом сочувствия и сожаления по этой бедной башенке, зажатой двумя развалюшками времен Людовика XV, легко воссоздадут в своем воображении группу зданий, в число которых она входила, и ясно представят себе старинную готическую площадь XV века.

Она, как и теперь, имела форму неправильной трапеции, окаймленной с одной стороны набережной, а с трех сторон – рядом высоких, узких и мрачных домов. Днем можно было залюбоваться разнообразием этих зданий, покрытых резными украшениями из дерева или из камня и уже тогда являвших собой совершенные образцы всевозможных архитектурных стилей средневековья от XI до XV века; здесь были и прямоугольные окна, начинавшие вытеснять стрельчатые, и полукруглые романские, которые в свое время были заменены стрельчатыми и которые наряду с последними еще продолжали украшать второй этаж старинного здания Роландовой башни на углу набережной и Кожевенной улицы. Ночью во всей этой массе домов можно было различить лишь черную зубчатую линию крыш, окружавших площадь цепью острых углов. Одно из основных различий между современными городами и городами прежними заключается в том, что современные постройки обращены к улицам и площадям фасадами, тогда как прежде они стояли к ним боком. Прошло уже два века с тех пор, как дома повернулись лицом к улице.

Посредине восточной стороны площади возвышалось громоздкое, смешанного стиля строение, состоявшее из трех, вплотную примыкавших друг к другу домов. У него было три разных названия, объяснявших его историю, назначение и архитектуру: «Дом дофина», потому что в нем обитал дофин Карл V, «Торговая палата», потому что здесь помещалась городская ратуша, и «Дом с колоннами» (domus ad piloria), потому что ряд толстых колонн поддерживал три его этажа.

Здесь было все, что только могло понадобиться славному городу Парижу: часовня, чтобы молиться; зал судебных заседаний, чтобы чинить суд и расправу над королевскими подданными, и, наконец, арсенал, полный огнестрельного оружия. Парижане знали, что молитва и судебная тяжба далеко не всегда являются надежной защитой городских привилегий, и потому хранили про запас на чердаке городской ратуши ржавые аркебузы.

Уже в те времена Гревская площадь производила мрачное впечатление, возникающее и сейчас вследствие ужасных воспоминаний, которые с ней связаны, а также при виде угрюмого здания городской ратуши Доминика Бокадора, заменившей «Дом с колоннами». Надо сказать, что виселица и позорный столб, «правосудие и лестница», как говорили тогда, воздвигнутые бок о бок посреди мостовой, отвращали взор прохожего от этой роковой площади, где столько цветущих, полных жизни людей испытали смертные муки и где полвека спустя родилась «лихорадка Сен-Валье», вызываемая ужасом перед эшафотом, – самая чудовищная из всех болезней, ибо ее насылает не бог, а человек.

Утешительно думать, – заметим мимоходом, – что смертная казнь, которая еще триста лет назад своими железными колесами, каменными виселицами, всевозможными орудиями пыток загромождала Гревскую площадь, Рыночную площадь, площадь Дофина, перекресток Трауар, Свиной рынок, гнусный Монфокон, заставу Сержантов, Кошачий рынок, ворота Сен-Дени, Шампо, ворота Боде, ворота Сен-Жак, не считая бесчисленных виселиц, поставленных прево, епископами, капитулами, аббатами и приорами – всеми, кому было предоставлено право судить, не считая потопления преступников в Сене по приговору суда, – утешительно думать, что эта древняя владычица феодальных времен, утратив постепенно свои доспехи, свою пышность, замысловатые, фантастические карательные меры, свою пытку, для которой каждые пять лет переделывалась кожаная скамья в Гран-Шатле, ныне, перебрасываемая из уложения в уложение, гонимая с места на место, почти исчезла из наших законов и городов и владеет в нашем необъятном Париже лишь одним опозоренным уголком Гревской площади,

лишь одной жалкой гильотиной, прячущейся, беспокойной, стыдящейся, которая, нанеся свой удар, так быстро исчезает, словно боится, что ее застигнут на месте преступления.

III. Besos para golpes[18]

Пока Пьер Гренгуар добрался до Гревской площади, он весь продрог. Чтобы избежать давки на мосту Менял и не видеть флажков Жеана Фурбо, он шел сюда через Мельничный мост; но по дороге колеса епископских мельниц забрызгали его грязью, а камзол промок насквозь. Притом ему казалось, что после провала его пьесы он стал еще более зябким. А потому он поспешил к праздничному костру, великолепно пылавшему посреди площади. Но его окружало плотное кольцо людей.

– Проклятые парижане! – пробормотал Гренгуар. Как истый драматург, он любил монологи. – Теперь они загораживают огонь, а ведь мне необходимо хоть немножко погреться. Мои башмаки протекают, да еще эти проклятые мельницы пролили на меня слезы сочувствия! Черт бы побрал парижского епископа с его мельницами! Хотел бы я знать, на что епископу мельницы? Уж не надумал ли он сменить епископскую митру на колпак мельника? Если ему для этого не хватает только моего проклятия, то я охотно прокляну и его самого, и его собор вместе с его мельницами! Ну-ка, поглядим, сдвинутся ли с места эти ротозеи! Спрашивается, что они там делают? Они греются – это лучшее из удовольствий! Они глазеют, как горит сотня вязанок хвороста, – это лучшее из зрелищ!

Но, вглядевшись, он заметил, что круг был значительно шире, чем нужно для того, чтобы греться возле королевского костра, и что этот наплыв зрителей объяснялся не только видом ста роскошно пылавших вязанок хвороста.

На просторном, свободном пространстве между костром и толпой плясала девушка.

Была ли она человеческим существом, феей или ангелом, этого Гренгуар, философ-скептик, иронического склада поэт, сразу определить не мог, настолько был он очарован ослепительным видением.

Она была невысока ростом, но казалась высокой – так строен был ее тонкий стан. Она была смугла, но нетрудно было догадаться, что днем у ее кожи появлялся чудесный золотистый оттенок, присущий андалускам и римлянкам. Маленькая ножка тоже была ножкой андалуски, – так легко ступала она в своем узком изящном башмачке. Девушка плясала, порхала, кружилась на небрежно брошенном ей под ноги старом персидском ковре, и всякий раз, когда ее сияющее лицо возникало перед вами, взгляд ее больших черных глаз ослеплял вас, как молнией.

Взоры толпы были прикованы к ней, все рты разинуты. Она танцевала под рокотанье бубна, который ее округлые девственные руки высоко взносили над головой. Тоненькая, хрупкая, с обнаженными плечами и изредка мелькавшими из-под юбочки стройными ножками, черноволосая, быстрая, как оса, в золотистом, плотно облегавшем ее талию корсаже, в пестром раздувавшемся платье, сияя очами, она казалась существом воистину неземным.

«Право, – думал Гренгуар, – это саламандра, это нимфа, это богиня, это вакханка с горы Менад!»

В это мгновение одна из кос «саламандры» расплелась, привязанная к ней медная монетка упала и покатилась по земле.

– Э, нет, – сказал он, – это цыганка.

Мираж рассеялся.

Девушка снова принялась плясать. Подняв с земли две шпаги и приставив их остриями ко лбу, она начала вращать их в одном направлении, а сама кружилась в обратном. Действительно, это была просто-напросто цыганка. Но как ни велико было разочарование Гренгуара, он не мог не поддаться обаянию и волшебству зрелища. Яркий алый свет праздничного костра весело играл на лицах зрителей, на смуглом лице девушки, отбрасывая слабый отблеск вместе с их колышущимися тенями в глубину площади, на черный, покрытый

трещинами старинный фасад «Дома с колоннами» с одной стороны и на каменные столбы виселицы – с другой.

Среди множества лиц, озаренных багровым пламенем костра, выделялось лицо человека, казалось, более других поглощенного созерцанием плясуньи. Это было суровое, замкнутое, мрачное лицо мужчины. Человеку этому, одежду которого заслоняла теснившаяся вокруг него толпа, на вид можно было дать не более тридцати пяти лет; между тем он был уже лыс, и лишь кое-где на висках еще уцелело несколько прядей редких седеющих волос; его широкий и высокий лоб бороздили морщины, но в глубоко запавших глазах сверкал необычайный юношеский пыл, жажда жизни и затаенная страсть. Он, не отрываясь, глядел на цыганку, и пока шестнадцатилетняя беззаботная девушка, возбуждая восторг толпы, плясала и порхала, его лицо становилось все мрачнее. Временами улыбка у него сменяла вздох, но в улыбке было еще больше скорби, чем в самом вздохе.

Наконец девушка остановилась, прерывисто дыша, и восхищенная толпа разразилась рукоплесканиями.

– Джали! – позвала цыганка.

И тут Гренгуар увидел подбежавшую к ней прелестную белую козочку, резвую, веселую, с глянцевитой шерстью, позолоченными рожками и копытцами, в золоченом ошейнике, которую он прежде не заметил; до этой минуты, лежа на уголке ковра, она, не отрываясь, глядела на пляску своей госпожи.

– Джали! Теперь твой черед, – сказала плясунья.

Она села и грациозно протянула козочке бубен.

– Джали! Какой теперь месяц?

Козочка подняла переднюю ножку и стукнула копытцем по бубну один раз. Был действительно январь. Толпа захлопала в ладоши.

– Джали! – снова обратилась к козочке девушка, перевернув бубен. Какое нынче число?

Джали опять подняла свое маленькое позолоченное копытце и ударила им по бубну шесть раз.

– Джали! – продолжала цыганка, снова перевернув бубен. – Который теперь час?

Джали стукнула семь раз. В то же мгновение на часах «Дома с колоннами» пробило семь.

Толпа застыла в изумлении.

– Это колдовство! – проговорил мрачный голос в толпе. То был голос лысого человека, не спускавшего с цыганки глаз.

Она вздрогнула и обернулась. Но гром рукоплесканий заглушил зловещие слова и настолько сгладил впечатление от этого возгласа, что девушка как ни в чем не бывало снова обратилась к своей козочке:

– Джали! А как ходит начальник городских стрелков Гишар Гран-Реми во время крестного хода на Сретенье?

Джали поднялась на задние ножки; заблеяв, она переступала с такой забавной важностью, что зрители покатились со смеху при виде этой пародии на ханжеское благочестие начальника стрелков.

– Джали! – продолжала молодая девушка, ободренная все растущим успехом. – А как говорит речь в духовном суде королевский прокурор Жак Шармолю?

Козочка села и заблеяла, так странно подбрасывая передние ножки, что все в ней – поза, движения, повадка – сразу напомнило Жака Шармолю, не хватало только скверного французского и латинского произношения.

Толпа восторженно рукоплескала.

– Богохульство! Кощунство! – снова послышался голос лысого человека.

Цыганка обернулась.

– Ах, опять этот гадкий человек!

Выпятив нижнюю губку, она состроила, по-видимому, свою обычную гримаску, затем, повернувшись на каблучках, пошла собирать в бубен даяния зрителей.

Крупные и мелкие серебряные монеты, лиарды сыпались градом. Когда она проходила мимо Гренгуара, он необдуманно сунул руку в карман, и цыганка остановилась.

– Черт возьми! – воскликнул поэт, найдя в глубине своего кармана то, что там было, то есть пустоту. А между тем молодая девушка стояла и глядела ему в лицо черными большими глазами, протягивая свой бубен, и ждала. Крупные капли пота выступили на лбу Гренгуара.

Владей он всем золотом Перу, он тотчас же, не задумываясь, отдал бы его плясунье; но золотом Перу он не владел, да и Америка в то время еще не была открыта.

Неожиданный случай выручил его.

– Да уберешься ты отсюда, египетская саранча? – крикнул пронзительный голос из самого темного угла площади.

Девушка испуганно обернулась. Это кричал не лысый человек, – голос был женский, злобный, исступленный.

Этот окрик, так напугавший цыганку, привел в восторг слонявшихся по площади детей.

– Это затворница Роландовой башни! – дико хохоча, закричали они. Это брюзжит вретишница! Она, должно быть, не ужинала. Принесем-ка ей оставшихся в городском буфете объедков!

И тут вся ватага бросилась к «Дому с колоннами»

Гренгуар, воспользовавшись замешательством плясуньи, ускользнул незамеченным. Возгласы ребятишек напомнили ему, что и он тоже не ужинал. Он побежал за ними. Но у маленьких озорников ноги были проворнее, чем у него, и когда он достиг цели, все уже было ими дочиста съедено. Не осталось даже хлебца по пяти су за фунт. Лишь на стенах, расписанных в 1434 году Матье Битерном, красовались среди роз стройные королевские лилии. Но то был слишком скудный ужин.

Плохо ложиться спать не поужинав; еще печальнее, оставшись голодным, не знать, где переночевать. В таком положении оказался Гренгуар. Ни хлеба, ни крова; со всех сторон его теснила нужда, и он находил, что она чересчур сурова. Уже давно открыл он ту истину, что Юпитер создал людей в припадке мизантропии и что мудрецу всю жизнь приходится бороться с судьбой, которая держит его философию в осадном положении. Никогда еще эта осада не была столь жестокой; желудок Гренгуара бил тревогу, и поэт полагал, что со стороны злой судьбы крайне несправедливо брать его философию измором.

Эти грустные размышления, становившиеся все неотвязней, внезапно были прерваны странным, хотя и не лишенным сладости пеньем. То пела юная цыганка.

И веяло от ее песни тем же, чем и от ее пляски и от ее красоты: чем-то неизъяснимым и прелестным, чем-то чистым и звучным, воздушным и окрыленным, если можно так выразиться. То было непрестанное нарастание звуков, мелодий, неожиданных рулад; простые музыкальные фразы перемешивались с резкими свистящими звуками; водопады трелей, способные озадачить даже соловья, хранили вместе с тем верность гармонии; мягкие переливы октав то поднимались, то опускались, как грудь молодой певицы. Ее прелестное лицо с необычайной подвижностью отражало всю прихотливость ее песни, от самого страстного восторга до величавого целомудрия. Она казалась то безумной, то королевой.

Язык песни был неизвестен Гренгуару. По-видимому, он был не понятен и самой певице, – так мало соответствовали чувства, которые она влагала в пенье, словам песни. Эти четыре стиха:

Un cofre de gran nqueza

Hallaron dentro un pilar,

Dentro del, nueuus banderas,

Con figuras de espantar.[19]

в ее устах звучали безумным весельем, а мгновение спустя выражение, которое она придавала словам:

Alarabes de caballo

Sin poderse menear,

Con espadas, y los cuellot,

Ballestas de buen echar…[20]

исторгало у Гренгуара слезы. Но чаще ее пение дышало счастьем, она пела, как птица, ликующе и беспечно.

Песнь цыганки встревожила течение мыслей Гренгуара, – так тревожит лебедь водную гладь. Он внимал ей с упоением, забыв все на свете. Наконец-то его муки утихли.

Но это длилось недолго.

Тот же голос, который прервал пляску цыганки, прервал теперь и ее пение.

– Замолчишь ли ты, чертова стрекоза? – послышалось из того же темного угла площади.

Бедная «стрекоза» умолкла. Гренгуар заткнул себе уши.

– О проклятая старая пила, разбившая лиру! – воскликнул он.

Зрители тоже ворчали.

– К черту вретишницу! – возмущались многие.

Старое незримое пугало могло бы дорого поплатиться за свои нападки на цыганку, если бы в эту минуту внимание толпы не было отвлечено процессией шутовского папы, успевшей обежать улицы и хлынувшей теперь с факелами и шумом на площадь.

Эта процессия, которую читатель наблюдал, когда она выходила из Дворца, дорогой установила порядок и вобрала в себя всех мошенников, бездельников, воров и бродяг Парижа. Прибыв на Гревскую площадь, она являла собою зрелище поистине внушительное.

Впереди двигались цыгане. Во главе их, направляя и вдохновляя шествие, ехал верхом на коне цыганский герцог в сопровождении своих пеших графов; за ними беспорядочной толпой следовали цыгане и цыганки, таща на спине ревущих детей; и все – герцог, графы и чернь – были в отрепьях и мишуре. За цыганами двигались подданные королевства «Арго», то есть все воры Франции, разделенные по рангам на несколько отрядов; первыми шли самые низшие по званию. По четыре человека в ряд, со всевозможными знаками отличия соответственно их ученой степени в области этой особой науки, проследовало множество калек – хромых и одноруких: карманников, богомольцев, эпилептиков, скуфейников, христарадников, котов, шатунов, деловых ребят, хиляков, погорельцев, банкротов, забавников, форточников, мазуриков и домушников, – если перечислить их всех, то это утомило бы самого Гомера. В центре конклава мазуриков и домушников можно было с трудом различить короля Арго, великого кесаря, сидевшего на корточках в тележке, которую тащили две большие собаки. Вслед за подданными короля Арго шли люди царства галилейского. Впереди бежали дерущиеся и выплясывающие пиррический танец скоморохи, за ними величаво выступал Гильом Руссо, царь галилейский, облаченный в пурпурную, залитую вином хламиду, окруженный своими жезлоносцами, клевретами и писцами счетной палаты. Под звуки достойной шабаша музыки шествие замыкала корпорация судебных писцов в черных мантиях, несших украшенные цветами «майские ветви» и большие желтые восковые свечи. В самом центре этой толпы самые знатные члены братства шутов несли на плечах носилки, на которых было больше свечей, чем на раке св. Женевьевы во время эпидемии чумы. А на носилках, облаченный в мантию и митру,

с посохом в руке, блистал вновь избранный папа шутов – звонарь Собора Парижской Богоматери, Квазимодо-горбун.

У каждого отряда этой причудливой процессии была своя музыка. Цыгане били в балафосы и африканские тамбурины. Народ «арго», не очень музыкальный, все еще придерживался виолы, пастушьего рожка и старинной рюбебы XII столетия. Царство галилейское не намного опередило их: в его оркестре с трудом можно было различить звук жалкой ребеки – скрипки младенческой поры искусства, имевшей всего три тона. Зато все музыкальное богатство эпохи разворачивалось в великолепной какофонии, звучавшей вокруг папы шутов. И все же оно заключалось лишь в ребеках верхнего, среднего и нижнего регистров, если не считать множества флейт и медных инструментов. Увы! – нашим читателям уже известно, что это был оркестр Гренгуара.

Трудно изобразить горделивую и благоговейную радость, которая все время, пока процессия двигалась от Дворца к Гревской площади, освещала безобразное и печальное лицо Квазимодо. Впервые испытывал он восторг удовлетворенного самолюбия. До сей поры он знал лишь унижение, презрение к своему званию и отвращение к своей особе. Невзирая на глухоту, он, как истинный папа, смаковал приветствия толпы, которую ненавидел за ее ненависть к себе. Нужды нет, что его народ был лишь сбродом шутов, калек, воров и нищих! Все же это был народ, а он его властелин. И он принимал за чистую монету эти насмешливые рукоплескания, эти озорные знаки почтения, в которых, надо сознаться, выражался и самый настоящий страх. Ибо горбун был силен, ибо кривоногий был ловок, ибо глухой был свиреп, а эти три качества укрощают насмешников.

Но едва ли вновь избранный папа шутов отдавал себе ясный отчет в чувствах, какие испытывал он сам, и в тех, какие внушал другим. Дух, обитавший в его убогом теле, был столь же убог и несовершенен. Поэтому все, что переживал горбун в эти мгновения, оставалось для него неопределенным, сбивчивым и смутным. Только источник радости бил в нем все сильнее, и все больше овладевало им чувство гордости. Его жалкое и угрюмое лицо, казалось, сияло.

И вдруг, к изумлению и ужасу толпы, в ту минуту, когда упоенного величием Квазимодо торжественно проносили мимо «Дома с колоннами», к нему из толпы бросился какой-то человек и гневным движением вырвал у него из рук деревянный позолоченный посох – знак его шутовского папского достоинства.

Этот смельчак был тот самый незнакомец с облысевшим лбом, который только что, вмешавшись в толпу, окружавшую цыганку, напугал бедную девушку угрозами и злобными выкриками. На нем была одежда духовного лица. Как только он отделился от толпы, Гренгуар, который ранее не приметил его, тотчас же его узнал.

– Ба! – удивленно воскликнул он. – Да это мой учитель герметики, отец Клод Фролло, архидьякон! Какого черта ему нужно от этого отвратительного кривого? Ведь тот его сейчас сожрет!

И действительно, в толпе послышался крик ужаса. Страшилище Квазимодо ринулся с носилок; женщины отвернулись, чтобы не видеть, как он растерзает архидьякона.

Одним скачком Квазимодо бросился к священнику, взглянул на него и упал перед ним на колени.

Архидьякон сорвал с него тиару, сломал посох, разорвал мишурную мантию.

Квазимодо, по-прежнему коленопреклоненный, потупил голову, сложил руки. Затем между ними завязался странный разговор на языке знаков и жестов, – ни тот, ни другой не произносили ни слова. Архидьякон стоял выпрямившись, гневный, грозный, властный; Квазимодо распростерся перед ним, смиренный, молящий. А между тем Квазимодо мог бы раздавить священника одним пальцем.

Наконец, тряхнув Квазимодо за его мощное плечо, архидьякон жестом приказал ему встать и следовать за ним. Квазимодо встал.

Но тут братство шутов, очнувшись от изумления, решило вступиться за своего внезапно развенчанного папу Цыгане, арготинцы и вся корпорация судейских писцов, визжа, окружили священника.

Квазимодо заслонил его собою, сжал свои атлетические кулаки и, скрежеща зубами, как разъяренный тигр, оглядел нападающих.

Священник все с той же суровой важностью сделал знак Квазимодо и молча удалился.

Квазимодо шел впереди, расталкивая толпу, заграждавшую им путь.

Когда они пробрались сквозь толпу и перешли через площадь, туча любопытных и зевак повалила вслед за ними. Квазимодо, заняв место в арьергарде, двинулся за архидьяконом. Приземистый, взлохмаченный, чудовищный, настороженный, свирепый, облизывая свои кабаньи клыки, рыча, точно дикий зверь, он одним движением или взглядом отбрасывал толпу назад.

Архидьякон и Квазимодо свернули в узкую темную уличку, и туда никто уже не посмел следовать за ними, ибо одна мысль о скрежещущем зубами Квазимодо преграждала туда доступ.

– Чудеса! – пробормотал Гренгуар. – Но где же, черт возьми, мне поужинать?

IV. Неудобства, каким подвергаешься, преследуя вечером хорошенькую женщину

Гренгуар пошел наугад вслед за цыганкой. Он видел, как она со своей козочкой направилась по улице Ножовщиков, и тоже свернул туда.

«Почему бы и нет?» – подумал он.

Гренгуар, искушенный философ парижских улиц, заметил, что мечтательное настроение чаще всего приходит, когда преследуешь хорошенькую женщину, не зная, куда она держит путь. В этом добровольном отречении от своей свободной воли, в этом подчинении своей прихоти прихоти другого, который об этом даже не подозревает, таится смесь фантастической независимости и слепого подчинения, – нечто среднее между рабством и свободою, и это пленяло Гренгуара, наделенного крайне неустойчивым, нерешительным и сложным умом, который совмещал все крайности, беспрестанно колебался между всеми человеческими склонностями и подавлял одну при помощи другой. Он охотно сравнивал себя с гробом Магомета, который притягивается двумя магнитами в противоположные стороны и вечно колеблется между высью и бездной, между небесами и мостовой, между падением и взлетом, между зенитом и надиром.

Если бы Гренгуар жил в наше время, какое почетное место занял бы он между классиками и романтиками!

Но он не был первобытным человеком и не мог бы прожить триста лет, а жаль! Его отсутствие создает пустоту, которая особенно сильно ощущается именно в наши дни.

Одним словом, человек, не знающий, где ему переночевать, охотно следует за прохожими (особенно за женщинами), а Гренгуар был большим любителем такого рода приключений.

Итак, он задумчиво брел за девушкой, а та, видя, что горожане расходятся по домам и что таверны, единственные торговые заведения, открытые в этот день, запираются, ускоряла шаг и торопила свою козочку.

«Есть же у нее какой-нибудь кров, – думал Гренгуар, – а у цыганок доброе сердце. Кто знает?..»

Многоточие, которое он мысленно поставил после этого вопроса, таило в себе некую соблазнительную мысль.

Время от времени, проходя мимо горожан, запиравших за собой двери, он улавливал долетавшие до него обрывки разговоров, которые разбивали цепь его веселых предположений.

Вот встретились на улице два старика:

– Знаете, мэтр Тибо Ферникль, а ведь холодно! (Гренгуар знал об этом с самого начала зимы.)

– Еще как холодно, мэтр Бонифаций Дизом! Видно, нам опять предстоит такая же лютая зима, как три года назад, в восьмидесятом году, когда вязанка дров стоила восемь солей!

– Это, мэтр Тибо, пустяки по сравнению с зимой тысяча четыреста седьмого года, когда морозы продолжались с самого Мартынова дня и до Сретения, да такие крепкие, что у секретаря судебной палаты через каждые три слова замерзали на пере чернила! Из-за этого нельзя было вести протокол.

Поодаль, стоя с зажженными свечами, потрескивавшими от тумана, у открытых окон, переговаривались две соседки:

– Вам, госпожа Ла-Будрак, рассказывал супруг о несчастном случае?

– Нет, госпожа Тюркан. А что такое?

– Лошадь господина нотариуса Шатле Жиля Годена испугалась фламандцев с их свитой и сбила с ног Филиппе Аврилло, который живет при монастыре целестинцев.

– Да что вы?

– Истинная правда.

– Лошадь горожанина! Слыханное ли это дело? Добро бы кавалерийская лошадь!

Оба окна захлопнулись. Но нить мыслей Гренгуара была оборвана.

К счастью, он вскоре нашел и без труда связал ее концы благодаря цыганке и Джали, которые попрежнему шли впереди него. Его восхищали крошечные ножки, изящные формы, грациозные движения этих двух хрупких, нежных и прелестных созданий, почти сливавшихся в его воображении. Своим взаимопониманием и дружбой они напоминали ему девушек, а легкостью, подвижностью и проворством – козочек.

Между тем улицы с каждой минутой становились темнее и безлюднее. Давно прозвучал сигнал гасить огни, и теперь лишь изредка попадался на улице прохожий или мелькал в окне огонек. Гренгуар, следуя за цыганкой, попал в запутанный лабиринт переулков, перекрестков и глухих тупиков, расположенных вокруг старинного кладбища Невинных и похожих на запутанный кошкой клубок. «Этим улицам не хватает логики», – подумал Гренгуар, сбитый с толку бесчисленными поворотами, приводившими его на то же место. Девушке, очевидно, хорошо была знакома эта дорога, и она двигалась уверенно, все больше ускоряя шаг. Гренгуар, вероятно, заблудился бы окончательно, если бы не различил на повороте восьмигранного позорного столба на Рыночной площади, сквозная верхушка которого резко выделялась своей темной резьбой на фоне еще светившегося окна одного из домов улицы Верделе.

Девушка давно уже заметила, что ее кто-то преследует; она то и дело с беспокойством оглядывалась, один раз даже внезапно приостановилась, чтобы, воспользовавшись лучом света, падавшим из полуотворенной двери булочной, зорко оглядеть Гренгуара с головы до ног. После этого осмотра она сделала знакомую ему гримаску и продолжала свой путь.

Эта милая гримаска заставила Гренгуара призадуматься. Она таила в себе насмешку и презрение. Понурив голову, пересчитывая булыжники мостовой, он снова пошел за девушкой, но уже на некотором расстоянии от нее. На одной извилистой уличке он потерял ее из виду, и в ту же минуту до него донесся ее пронзительный крик.

Он пошел быстрее.

Улица тонула во мраке, однако горевший на углу за чугунной решеткой, у подножия статуи Пречистой девы, фитиль из пакли, пропитанной маслом, дал возможность Гренгуару разглядеть цыганку, которая отбивалась от двух мужчин, пытавшихся зажать ей рот. Бедная перепуганная козочка, наставив на них рожки, жалобно блеяла.

– Стража, сюда! – крикнул Гренгуар и бросился вперед.

Один из державших девушку мужчин обернулся, и он увидел страшное лицо Квазимодо.

Гренгуар не обратился в бегство, но и не сделал ни шагу вперед.

Квазимодо приблизился к нему и, одним ударом наотмашь заставив его отлететь на четыре шага и упасть на мостовую, скрылся во мраке, унося девушку, повисшую на его плече, словно шелковый шарф. Его спутник последовал за ним, а бедная козочка с жалобным блеянием побежала сзади.

– Помогите! Помогите! – кричала несчастная цыганка.

– Стойте, негодяи, отпустите эту девку! – раздался громовой голос, и из-за угла соседней улицы внезапно появился всадник.

Это был вооруженный до зубов начальник королевских стрелков, державший саблю наголо.

Вырвав цыганку из рук ошеломленного Квазимодо, он перебросил ее поперек седла, и в ту самую минуту, когда опомнившийся от изумления ужасный горбун ринулся на него, чтобы отбить добычу, показалось человек пятнадцать вооруженных палашами стрелков, ехавших следом за своим капитаном. То был небольшой отряд королевских стрелков, проверявший ночные дозоры по распоряжению парижского прево мессира Робера д'Эстутвиля.

Квазимодо обступили, схватили, скрутили веревками. Он рычал, бесновался, кусался; будь это днем, один вид его искаженного гневом лица, ставшего от этого еще отвратительней, обратил бы в бегство весь отряд. Ночь лишила Квазимодо самого страшного его оружия – уродства.

Спутник Квазимодо исчез во время свалки.

Цыганка, грациозно выпрямившись на седле и положив руки на плечи молодого человека, несколько секунд пристально глядела на него, словно восхищенная его приятной внешностью и любезной помощью, какую он оказал ей. Она первая нарушила молчание и, придав своему нежному голосу еще больше нежности, спросила:

– Как ваше имя, господин офицер?

– Капитан Феб де Шатопер, ваш покорный слуга, моя красавица, – приосанившись, ответил офицер.

– Благодарю вас, – промолвила она.

И пока Феб самодовольно покручивал свои усы, подстриженные по-бургундски, она, словно падающая стрела, соскользнула с лошади и исчезла быстрее молнии.

– Дьявольщина! – воскликнул Феб и приказал стянуть потуже ремни, которыми был связан Квазимодо. – Я предпочел бы оставить у себя девчонку!

– Ничего не поделаешь, капитан, – заметил один из стрелков, – пташка упорхнула, нетопырь остался.

V. Неудачи продолжаются

Оглушенный падением Гренгуар продолжал лежать на углу улицы, у подножия статуи Пречистой девы.

Мало-помалу он стал приходить в себя; несколько минут он еще пребывал в каком-то не лишенном приятности полузабытьи, и воздушные образы цыганки и козочки сливались в его сознании с тяжелым кулаком Квазимодо. Но это состояние длилось недолго. Острое ощущение холода там, где его тело прикасалось к мостовой, заставило его очнуться и привело в порядок его мысли.

– Отчего мне так холодно? – спохватился он и только тут заметил, что лежит почти в самой середине сточной канавы.

– Черт возьми этого горбатого циклопа! – проворчал сквозь зубы Гренгуар и хотел приподняться, но он был так оглушен падением и так сильно ушибся, что это ему не удалось. Впрочем, руками он владел свободно; зажав нос, он покорился своей участи.

«Парижская грязь, – размышлял он (ибо был твердо уверен, что этой канаве суждено послужить ему ложем, – А коль на ложе сна не спится, нам остается размышлять!) – парижская грязь как-то особенно зловонна. Она, повидимому, содержит в себе очень много летучей и азотистой соли – так по крайней мере полагает Никола Фламель и герметики…»

Слово «герметики» вдруг навело его на мысль об архидьяконе Клоде Фролло. Он вспомнил происшедшую на его глазах сцену насилия; вспомнил, что цыганка отбивалась от двух мужчин, что у Квазимодо был сообщник, и суровый, надменный образ архидьякона смутно промелькнул в его памяти.

«Вот было бы странно!» – подумал он и, взяв все это за основание, принялся возводить причудливое здание гипотез – сей карточный домик философов.

– Так и есть! Я замерзаю! – воскликнул он, снова возвращаясь к действительности.

И правда, положение поэта становилось невыносимым. Каждая частица воды отнимала частицу тепла У его тела, и температура его мало-помалу пренеприятным образом стала уравниваться с температурой.

А тут еще на Гренгуара обрушилась новая беда. Ватага ребятишек, этих маленьких босоногих дикарей, которые под бессмертным прозвищем «гаменов» испокон века гранят мостовые Парижа и которые еще во времена нашего детства швыряли камнями в каждого из нас, когда мы по вечерам выходили из школы, только за то, что на наших панталонах не было дыр, – стая этих маленьких озорников, нисколько не заботясь о том, что все кругом спали, с громким хохотом и криком бежала к тому перекрестку, где лежал Гренгуар. Они волокли за собой какой-то бесформенный мешок, и один стук их сабо о мостовую разбудил бы мертвого. Гренгуар, душа которого еще не совсем покинула тело, приподнялся.

– Эй! Генекен Дандеш! Эй! Жеан Пенсбурд! – во все горло перекликались они. – Старикашка Эсташ Мубон, что торговал железом на углу, помер! Мы раздобыли его соломенный тюфяк и сейчас разведем праздничный костер! Сегодня праздник в честь фламандцев!

Подбежав к канаве и не заметив Гренгуара, они швырнули тюфяк прямо на него. Тут же один из них взял пучок соломы и запалил его от светильни, горевшей перед статуей Пречистой девы.

– Господи помилуй! – пробормотал Гренгуар. – Кажется, теперь мне будет слишком жарко!

Минута была критическая. Гренгуар мог попасть из огня да в полымя. Он сделал нечеловеческое усилие, на какое способен только фальшивомонетчик, которого намереваются бросить в кипяток. Вскочив, он швырнул соломенный тюфяк на ребятишек и пустился бежать.

– Пресвятая дева! – воскликнули дети. – Торговец железом воскрес! – И бросились врассыпную.

Поле битвы осталось за тюфяком. Бельфоре, отец Ле Жюж и Корозе свидетельствуют, что на следующее утро тюфяк этот был подобран духовенством ближайшего прихода и торжественно отнесен в ризницу церкви Сент-Опортюне, ризничий которой вплоть до 1789 года извлекал преизрядный доход из великого чуда, совершенного статуей богоматери, стоявшей на углу улицы Моконсей. Одним своим присутствием в знаменательную ночь с 6 на 7 января 1482 года эта статуя изгнала беса из покойного Эсташа Мубона, который, желая надуть дьявола, хитро запрятал свою душу в соломенный тюфяк.

VI. Разбитая кружка

Некоторое время Гренгуар бежал со всех ног, сам не зная куда, натыкаясь на углы домов при поворотах, перескакивая через множество канавок, пересекая множество переулков, тупиков и перекрестков в поисках спасения и выхода, сквозь все излучины старой Рыночной площади и разведывая в паническом страхе то, что великолепная латынь хартий называет tota via, cheminum et viaria[21] Вдруг наш поэт остановился – во-первых, чтобы перевести дух, а во-вторых – его точно за шиворот схватила неожиданно возникшая в его уме дилемма.

«Мне кажется, мэтр Пьер Гренгуар, – сказал он себе, прикладывая палец ко лбу, – что вы просто сошли с ума Куда вы бежите? Ведь маленькие озорники испугались вас ничуть не меньше, чем вы испугались их По-моему, вам прекрасно слышен был стук их сабо, когда они удирали по направлению к югу, в то время как вы бросились к северу. Значит, одно из двух или они обратились в бегство, и тогда соломенный тюфяк, брошенный ими с перепугу, и есть то гостеприимное ложе, за которым вы гоняетесь чуть ли не с самого утра и которое вам чудесным образом посылает Пресвятая дева в награду за сочиненную вами в ее честь моралитэ, сопровождаемую торжественными шествиями и переодеваниями, или же дети не убежали и, следовательно, подожгли тюфяк, – в таком случае у вас будет великолепный костер, около которого вам приятно будет обсушиться, согреться, и вы воспрянете духом Так или иначе – в виде ли хорошего костра, в виде ли хорошего ложа – соломенный тюфяк является для вас даром небес Может быть. Пресвятая дева Мария, стоящая на углу улицы Моконсей, только ради этого и послала смерть Эсташу Мубону, и с вашей стороны очень глупо удирать без оглядки, точно пикардиец от француза, оставляя позади себя то, что вы сами же ищете, Пьер Гренгуар, вы просто болван!»

Он повернул обратно и, осматриваясь, обследуя, держа нос по ветру, а ушки на макушке, пустился на поиски благословенного тюфяка Но все его старания были напрасны Перед ним был хаос домов, тупиков, перекрестков, темных переулков, среди которых, терзаемый сомнениями и нерешительностью, он окончательно завяз, чувствуя себя беспомощней, чем в лабиринте замка Турнель. Потеряв терпение, он воскликнул:

– Будь прокляты все перекрестки! Это дьявол сотворил их по образу и подобию своих вил!

Это восклицание несколько утешило его, а красноватый отблеск, который мелькнул перед ним в конце длинной и узкой улички, вернул ему твердость духа.

– Слава богу! – воскликнул он. – Это пылает мой тюфяк. – Уподобив себя кормчему судна, которое терпит крушение в ночи, он благоговейно добавил: – «Salve, maris stella».[22]

Относились ли эти слова хвалебного гимна к Пречистой деве или к соломенному тюфяку – это так и осталось невыясненным.

Едва успел он сделать несколько шагов по длинной, отлогой, немощеной и чем дальше, тем все более грязной и крутой уличке, как заметил нечто весьма странное. Улица отнюдь не была пустынна: то тут, то там вдоль нее тащились какие-то неясные, бесформенные фигуры, направляясь к мерцавшему в конце ее огоньку, подобно неповоротливым насекомым, которые ночью ползут к костру пастуха, перебираясь со стебелька на стебелек.

Ничто не делает человека столь склонным к рискованным предприятиям, как ощущение невесомости своего кошелька. Гренгуар продолжал подвигаться вперед и вскоре нагнал ту из гусениц, которая ползла медленнее других. Приблизившись к ней, он увидел, что это был жалкий калека, который передвигался, подпрыгивая на руках, словно раненый паук-сенокосец, у которого только и осталось что две ноги. Когда Гренгуар проходил мимо паукообразного существа с человечьим лицом, оно жалобно затянуло:

– La buona mancia, signer! La buona mancia![23]

– Чтоб черт тебя побрал, да и меня вместе с тобой, если я хоть что-нибудь понимаю из того, что ты там бормочешь! – сказал Гренгуар и пошел дальше.

Нагнав еще одну из этих бесформенных движущихся фигур, он внимательно оглядел ее. Это был калека, колченогий и однорукий и настолько изувеченный, что сложная система

костылей и деревяшек, поддерживавших его, придавала ему сходство с движущимися подмостками каменщика. Гренгуар, имевший склонность к благородным классическим сравнениям, мысленно уподобил его живому треножнику Вулкана.

Этот живой треножник, поравнявшись с ним, поклонился ему, но, сняв шляпу, тут же подставил ее, словно чашку для бритья, к самому подбородку Гренгуара и оглушительно крикнул:

– Senor caballero, para comprar un pedazo de pan![24]

«И этот тоже как будто разговаривает, но на очень странном наречии. Он счастливее меня, если понимает его», – подумал Гренгуар.

Тут его мысли приняли иное направление, и, хлопнув себя по лбу, он пробормотал:

– Кстати, что они хотели сказать сегодня утром словом «Эсмеральда»?

Он ускорил шаг, но нечто в третий раз преградило ему путь. Это нечто или, вернее, некто был бородатый, низенький слепец еврейского типа, который греб своей палкой, как веслом; его тащила на буксире большая собака. Слепец прогнусавил с венгерским акцентом:

– Facitote caritatem![25]

– Слава богу! – заметил Гренгуар. – Наконец-то хоть один говорит человеческим языком. Видно, я кажусь очень добрым, если, несмотря на мой тощий кошелек, у меня все же просят милостыню. Друг мой, – тут он повернулся к слепцу, – на прошлой неделе я продал мою последнюю рубашку, или, говоря на языке Цицерона, так как никакого иного ты, по-видимому, не понимаешь: vendidi hebdomade nuper transita meam ultimam chemisam.[26]

Сказав это, Гренгуар повернулся спиной к нищему и продолжал свой путь. Но вслед за ним прибавил шагу и слепой; тогда и паралитик и безногий поспешили за Гренгуаром, громко стуча по мостовой костылями и деревяшками. Потом все трое, преследуя его по пятам и натыкаясь друг на друга, завели свою песню.

– Caritatem!..[27] – начинал слепой.

– La buona tancia!..[28] – подхватывал безногий.

– Un pedazo de pan![29] – заканчивал музыкальную фразу паралитик.

Гренгуар заткнул уши.

– Да это столпотворение вавилонское! – воскликнул он и бросился бежать. Побежал слепец. Побежал паралитик. Побежал и безногий.

И по мере того как Гренгуар углублялся в переулок, вокруг него все возрастало число безногих, слепцов, паралитиков, хромых, безруких, кривых и покрытых язвами прокаженных: одни выползали из домов, другие из ближайших переулков, а кто из подвальных дыр, и все, рыча, воя, визжа, спотыкаясь, по брюхо в грязи, словно улитки после дождя, устремлялись к свету.

Гренгуар, по-прежнему сопровождаемый своими тремя преследователями, растерявшись и не слишком ясно отдавая себе отчет, чем все это, может окончиться, шел вместе с другими, обходя хромых, перескакивая через безногих, увязая в этом муравейнике калек, как судно некоего английского капитана, которое завязло в косяке крабов.

Он попробовал повернуть обратно, но было уже поздно. Весь легион, с тремя нищими во главе, сомкнулся позади него. И он продолжал идти вперед, понуждаемый непреодолимым напором этой волны, объявшим его страхом, а также своим помраченным рассудком, которому все происходившее представлялось каким-то ужасным сном.

Он достиг конца улицы. Она выходила на обширную площадь, где в ночном тумане были рассеяны мерцающие огоньки. Гренгуар бросился туда, надеясь, что проворные ноги помогут ему ускользнуть от трех вцепившихся в него жалких привидений.

– Onde vas, hombre?[30] – окликнул его паралитик и, отшвырнув костыли, помчался за ним, обнаружив пару самых здоровенных ног, которые когда-либо мерили мостовую Парижа.

Неожиданно встав на ноги, безногий нахлобучил на Гренгуара свою круглую железную чашку, а слепец глянул ему в лицо сверкающими глазами.

– Где я? – спросил поэт, ужаснувшись.

– Во Дворе чудес, – ответил нагнавший его четвертый призрак.

– Клянусь душой, это правда! – воскликнул Гренгуар. – Ибо я вижу, что слепые прозревают, а безногие бегают, но где же Спаситель?

В ответ послышался зловещий хохот.

Злополучный поэт оглянулся кругом. Он и в самом деле очутился в том страшном Дворе чудес, куда в такой поздний час никогда не заглядывал ни один порядочный человек; в том магическом круге, где бесследно исчезали городские стражники и служители Шатле, осмелившиеся туда проникнуть; в квартале воров – этой омерзительной бородавке на лице Парижа; в клоаке, откуда каждое утро выбивался и куда каждую ночь вливался выступавший из берегов столичных улиц гниющий поток пороков, нищенства и бродяжничества; в том чудовищном улье, куда каждый вечер слетались со своей добычей трутни общественного строя; в том своеобразном госпитале, где цыган, расстрига-монах, развращенный школяр, негодяи всех национальностей – испанской, итальянской, германской, всех вероисповеданий – иудейского, христианского, магометанского и языческого, покрытые язвами, сделанными кистью и красками, и просившие милостыню днем, превращались ночью в разбойников. Словом, он очутился в громадной гардеробной, где в ту пору одевались и раздевались все лицедеи бессмертной комедии, которую грабеж, проституция и убийство играют на мостовых Парижа.

Это была обширная площадь неправильной формы и дурно вымощенная, как и все площади того времени. На ней горели костры, а вокруг костров кишели странные кучки людей. Люди эти уходили, приходили, шумели. Слышался пронзительный смех, хныканье ребят, голоса женщин. Руки и головы этой толпы тысячью черных причудливых силуэтов вычерчивались на светлом фоне костров. Изредка там, где, сливаясь со стелющимися по земле густыми гигантскими тенями, дрожал отблеск огня, можно было различить пробегавшую собаку, похожую на человека, и человека, похожего на собаку. В этом городе, как в пандемониуме, казалось, стерлись все видовые и расовые границы. Мужчины, женщины и животные, возраст, пол, здоровье, недуги – все в этой толпе казалось общим, все делалось дружно; все слилось, перемешалось, наслоилось одно на другое, и на каждом лежал общий для всех отпечаток.

Несмотря на свою растерянность, Гренгуар при колеблющемся и слабом отсвете костров разглядел вокруг всей огромной площади мерзкое обрамление, образуемое ветхими домами, фасады которых, источенные червями, покоробленные и жалкие, пронзенные одним или двумя освещенными слуховыми оконцами, в темноте казались ему собравшимися в кружок огромными старушечьими головами, чудовищными и хмурыми, которые, мигая, смотрели на шабаш.

То был какой-то новый мир, невиданный, неслыханный, уродливый, пресмыкающийся, копошащийся, неправдоподобный.

Все сильнее цепенея от страха, схваченный, как в тиски, тремя нищими, оглушенный блеющей и лающей вокруг него толпой, злополучный Гренгуар пытался собраться с мыслями и припомнить, не суббота ли нынче. Но усилия его были тщетны: нить его сознания и памяти была порвана, и, сомневаясь во всем, колеблясь между тем, что видел, и тем, что чувствовал, он задавал себе неразрешимый вопрос: «Если я существую, – существует ли все окружающее? Если существует все окружающее, – существую ли я?»

Но тут в шуме и гаме окружавшей его толпы явственно послышался крик:

– Отведем его к королю! Отведем его к королю!

– Пресвятая дева! – пробормотал Гренгуар. – Я уверен, что здешний король – козел.

– К королю! К королю! – повторила толпа.

Его поволокли. Каждый старался вцепиться в него. Но трое нищих не упускали добычу. «Он наш!» – рычали они, вырывая его из рук у остальных. Камзол поэта, и без того дышавший на ладан, в этой борьбе испустил последний вздох.

Проходя по ужасной площади, он почувствовал, что его мысли прояснились. Вскоре ощущение реальности вернулось к нему, и он стал привыкать к окружающей обстановке. Вначале фантазия поэта, а может быть, самая простая, прозаическая причина – его голодный желудок породили что-то вроде дымки, что-то вроде тумана, отделявшего его от окружающего, – тумана, сквозь который он различал все лишь в сумерках кошмара, во мраке сновидений, придающих зыбкость контурам, искажающих формы, скучивающих предметы в груды непомерной величины, превращающих вещи в химеры, а людей в призраки. Постепенно эта галлюцинация уступила место впечатлениям более связным и не таким преувеличенным. Вокруг него как бы начало светать; действительность била ему в глаза, она лежала у его ног и мало-помалу разрушала грозную поэзию, которая, казалось ему, окружала его. Ему пришлось убедиться, что перед ним не Стикс, а грязь, что его обступили не демоны, а воры, что дело идет не о его душе, а попросту о его жизни (ибо у него не было денег – этого драгоценного посредника, который столь успешно устанавливает мир между честным человеком и бандитом). Наконец, вглядевшись с большим хладнокровием в эту оргию, он понял, что попал не на шабаш, а в кабак.

Двор чудес и был кабак, но кабак разбойников, весь залитый не только вином, но и кровью.

Когда одетый в лохмотья конвой доставил его, наконец, к цели их путешествия, то представившееся его глазам зрелище отнюдь не было способно вернуть ему поэтическое настроение: оно было лишено даже поэзии ада. То была самая настоящая прозаическая, грубая действительность питейного дома. Если бы дело происходило не в XV столетии, то мы сказали бы, что Гренгуар спустился от Микеланджело до Калло.

Вокруг большого костра, пылавшего на широкой круглой каменной плите и лизавшего огненными языками раскаленные ножки тагана, на котором ничего не грелось, были кое-как расставлены трухлявые столы, очевидно, без участия опытного лакея, иначе он позаботился бы о том, чтобы они стояли параллельно или по крайней мере не образовывали такого острого угла. На столах поблескивали кружки, мокрые от вина и браги, а за кружками сидели пьяные, лица которых раскраснелись от вина и огня. Толстопузый весельчак чмокал дебелую обрюзгшую девку. «Забавник» (на воровском жаргоне – нечто вроде солдата-самозванца), посвистывая, снимал тряпицы со своей искусственной раны и разминал запеленатое с утра здоровое и крепкое колено, а какой-то хиляк готовил для себя назавтра из чистотела и бычачьей крови «христовы язвы» на ноге. Через два стола от них «святоша», одетый как настоящий паломник, монотонно гнусил «тропарь царице небесной». Неподалеку неопытный припадочный брал уроки падучей у опытного эпилептика, который учил его, как, жуя кусок мыла, можно вызвать пену на губах. Здесь же страдающий водянкой освобождался от своих мнимых отеков, а сидевшие за тем же столом воровки, пререкавшиеся из-за украденного вечером ребенка, вынуждены были зажать себе носы.

Все эти чудеса два века спустя, по словам Соваля, казались столь занятными при дворе, что были, для потехи короля, изображены во вступлении к балету Ночь в четырех действиях, поставленному в театре Пти-Бурбон. «Никогда еще, – добавляет очевидец, присутствовавший при этом в 1653 году, – внезапные метаморфозы Двора чудес не были воспроизведены столь удачно. Изящные стихи Бенсерада подготовили нас к представлению».

Всюду слышались раскаты грубого хохота и непристойные песни. Люди судачили, ругались, твердили свое, не слушая соседей, чокались, под стук кружек вспыхивали ссоры, и драчуны разбитыми кружками рвали друг на друге рубища.

Большая собака сидела у костра, поджав хвост, и пристально глядела на огонь. При этой оргии присутствовали дети. Украденный ребенок плакал и кричал. Другой, четырехлетний карапуз, молча сидел на высокой скамье, свесив ножки под стол, доходивший ему до подбородка. Еще один с серьезным видом размазывал пальцем по столу оплывшее со свечи сало. Наконец четвертый, совсем крошка, сидел в грязи; его совсем не было видно за котлом, который он скреб черепицей, извлекая из него звуки, от коих Страдивариус упал бы в обморок.

Возле костра возвышалась бочка, а на бочке восседал нищий. Это был король на троне.

Трое бродяг, державших Гренгуара, подтащили его к бочке, и на одну минуту дикий разгул затих, только ребенок продолжал скрести в котле.

Гренгуар не смел вздохнуть, не смел поднять глаза.

– Hombre, quila lu sombrero![31] – сказал один из трех плутов, и, прежде чем Гренгуар успел сообразить, что это могло означать, с него стащили шляпу. Это была плохонькая шляпенка, но она могла еще пригодиться и в солнце и в дождь. Гренгуар вздохнул.

Король с высоты своей бочки спросил:

– Это что за прощелыга?

Гренгуар вздрогнул. Этот голос, измененный звучащей в нем угрозой, все же напоминал ему другой голос – тот, который нынче утром нанес первый удар его мистерии, прогнусив во время представления: «Подайте Христа ради!» Гренгуар поднял глаза. Перед ним действительно был Клопен Труйльфу.

Несмотря на знаки королевского достоинства, на Клопене Труйльфу было все то же рубище. Но язва на его руке уже исчезла. Он держал плетку из сыромятных ремней, употреблявшуюся в те времена пешими стражниками, чтобы оттеснять толпу, и носившую название «метелки». Голову! Клопена венчал убор с подобием валика вместо полей, так что трудно было разобрать, детская это шапочка или царская корона.

Узнав в короле Двора чудес нищего из большой залы Дворца, Гренгуар, сам не зная почему, приободрился.

– Мэтр… – пробормотал он. – Монсеньор… Сир… Как вас прикажете величать? – вымолвил он, наконец, достигнув постепенно высших титулов и не зная, вознести его еще выше или же спустить с этих высот.

– Величай меня, как угодно, – монсеньор, ваше величество или приятель. Только не мямли. Что ты можешь сказать в свое оправдание?

«В свое оправдание? – подумал Гренгуар. – Плохо дело».

– Я тот самый, который нынче утром… – запинаясь, начал он.

– Клянусь когтями дьявола, – перебил его Клопен, – назови свое имя, прощелыга, и все! Слушай. Ты находишься в присутствии трех могущественных властелинов: меня, Клопена Труйльфу, короля Алтынного, преемника великого кесаря, верховного властителя королевства Арго; Матиаса Гуниади Спикали, герцога египетского и цыганского, – вон того желтолицого старика, у которого голова обвязана тряпкой, – и Гильома Руссо, императора Галилеи, – того толстяка, который нас не слушает и обнимает потаскуху. Мы твои судьи. Ты проник в царство Арго, не будучи его подданным, ты преступил законы нашего города. Если ты не деловой парень, не христарадник или погорелец, что на наречии порядочных людей значит вор, нищий или бродяга, то должен понести за это наказание. Кто ты такой? Оправдывайся! Скажи свое звание.

– Увы! – ответил Гренгуар. – Я не имею чести состоять в их рядах. Я автор…

– Довольно! – не дав ему договорить, отрезал Труйльфу. – Ты будешь повешен. Это очень несложно, достопочтенные граждане! Как вы обращаетесь с нами, когда мы попадаем в ваши руки, так и мы обращаемся с вами здесь у себя. Закон, применяемый вами к бродягам, бродяги применяют к вам. Если он жесток, то это ваша вина. Надо же иногда полюбоваться на гримасу порядочного человека в пеньковом ожерелье; это придает виселице нечто благородное. Ну, пошевеливайся, приятель! Раздай-ка поживей свое тряпье вот этим барышням. Я прикажу тебя повесить на потеху бродягам, а ты пожертвуй им на выпивку свой кошелек. Если тебе необходимо поханжить, то у нас среди другого хлама есть отличный каменный бог-отец, которого мы украли в церкви Сен-Пьер-о-Беф. В твоем распоряжении четыре минуты, чтобы навязать ему свою душу.

Эта речь звучала устрашающе.

– Здорово сказано, клянусь душой! – воскликнул царь галилейский, разбивая свою кружку, чтобы подпереть черепком ножку стола. – Право, Клопен Труйльфу проповедует не хуже святейшего папы!

– Всемилостивейшие императоры и короли! – хладнокровно заговорил Гренгуар (каким-то чудом он снова обрел самоуверенность, и в голосе его звучала решимость). – Опомнитесь! Я Пьер Гренгуар, поэт, автор той самой мистерии, которую нынче утром представляли в большой зале Дворца.

– А! Так это ты! – воскликнул Клопен. – Я тоже там был, ей-богу! Ну, дружище, если ты докучал нам утром, это еще не резон для того, чтобы миловать тебя вечером!

«Нелегко мне будет вывернуться», – подумал Гренгуар, но тем не менее предпринял еще одну попытку.

– Не понимаю, почему, – сказал он, – поэты не причислены к нищенствующей братии. Бродягой был Эзоп, нищим был Гомер, вором был Меркурий…

– Ты что нам зубы-то заговариваешь своей тарабарщиной? – заорал Клопен. – Тьфу, пропасть! Дай себя повесить, не кобенься!

– Простите, всемилостивейший король, – молвил Гренгуар, упорно отстаивая свои позиции. – Об этом стоит подумать… одну минуту. Выслушайте меня… Ведь не осудите же вы меня, не выслушав…

Но его тихий голос был заглушен раздававшимся вокруг него шумом. Мальчик с еще большим остервенением скреб котел, а в довершение всего какая-то старуха поставила на раскаленный таган полную сковороду сала, трещавшего на огне, словно орава ребятишек, преследующая карнавальную маску.

Посовещавшись с герцогом египетским и вдребезги пьяным галилейским царем, Клопен Труйльфу пронзительно крикнул толпе:

– Молчать!

Но так как ни котел, ни сковорода не внимали ему и продолжали свой дуэт, то, соскочив с бочки, он одной ногой дал пинка котлу, который откатился шагов на десять от ребенка, а другой спихнул сковородку, причем все сало опрокинулось в огонь, и снова величественно взгромоздился на свой трон, не обращая внимания ни на заглушенные всхлипывания ребенка, ни на воркотню старухи, чей ужин сгорал великолепным белым пламенем.

Труйльфу подал знак, и герцог, император, мазурики и домушники выстроились полумесяцем, в центре которого стоял Гренгуар, все еще находившийся под крепкой охраной. Это было полукружие из лохмотьев, рубищ, мишуры, вил, топоров, голых здоровенных рук, дрожавших от пьянства ног, мерзких, осовелых, отупевших рож. Во главе этого «круглого стола» нищеты, словно дож этого сената, словно король этого пэрства, словно папа этого конклава, возвышался Клопен Труйльфу, – прежде всего благодаря высоте своей бочки, а затем благодаря грозному и свирепому высокомерию, которое, зажигая его взор, смягчало в

его диком обличье животные черты разбойничьей породы. Это была голова вепря среди свиных рыл.

– Послушай! – обратился он к Гренгуару, поглаживая жесткой рукой свой уродливый подбородок. – Я не вижу причины, почему бы нам тебя не повесить. Правда, тебе это, по-видимому, противно, но это вполне понятно: вы, горожане, к этому не привыкли и воображаете, что это невесть что! Впрочем, мы тебе зла не желаем. Вот тебе средство выпутаться. Хочешь примкнуть к нашей братии?

Легко представить себе, какое действие произвело это предложение на Гренгуара, уже утратившего надежду сохранить свою жизнь и готового сложить оружие. Он живо ухватился за него.

– Конечно, хочу, еще бы! – воскликнул он.

– Ты согласен вступить в братство коротких клинков? – продолжал Клопен.

– Да, именно в братство коротких клинков, – ответил Гренгуар.

– Признаешь ли ты себя членом общины вольных горожан? – спросил король Алтынный.

– Да, признаю себя членом общины вольных горожан.

– Подданным королевства Арго?

– Да.

– Бродягой?

– Бродягой.

– От всей души.

– Имей в виду, – заметил король, – что все равно ты будешь повешен.

– Черт возьми! – воскликнул поэт.

– Разница заключается в том, – невозмутимо продолжал Клопен, – что ты будешь повешен несколько позже, более торжественно, за счет славного города Парижа, на отличной каменной виселице и порядочными людьми. Это все-таки утешение.

– Да, конечно, – согласился Гренгуар.

– У тебя будут и другие преимущества. В качестве вольного горожанина ты не должен будешь платить ни за чистку и освещение улиц, ни жертвовать в пользу бедных, а каждый парижанин вынужден это делать.

– Аминь, – ответил поэт, – я согласен. Я бродяга, арготинец, вольный горожанин, короткий клинок и все, что вам угодно. Всем этим я был уже давно, ваше величество, король Алтынный, ибо я философ. А, как вам известно, et omma in philosophia, omnes in philosopho contmentur.[32]

Король Алтынный насупился.

– За кого ты меня принимаешь, приятель? Что ты там болтаешь на арго венгерских евреев? Я не говорю по-еврейски. Я больше не граблю, я выше этого, я убиваю. Перерезать горло – да, а срезать кошелек – нет!

Гренгуар силился вставить какие-то оправдания в этот поток слов, которым гнев придавал все большую отрывистость.

– Простите меня, ваше величество, – бормотал он, – я говорил по-латыни, а не по-еврейски.

– А я тебе говорю, – с запальчивостью возразил Клопен, – что я не еврей, и прикажу тебя повесить, отродье синагоги, вместе вот с этим ничтожным иудейским торгашом, который торчит рядом с тобой и которого я надеюсь вскоре увидеть пригвожденным к прилавку, как фальшивую монету!

С этими словами он указал пальцем на низенького бородатого венгерского еврея, который докучал Гренгуару своим facitote caritatem[33], а теперь, не разумея иного языка, изумленно взирал на короля Алтынного, не понимая, чем вызвал его гнев.

Наконец, его величество Клопен успокоился.

– Итак, прощелыга, – обратился он к нашему поэту, – ты хочешь стать бродягой?

– Конечно, – ответил поэт.

– Хотеть – этого еще мало, – грубо ответил Клопен. – Хорошими намерениями похлебки не, сдобришь, с ними разве только в рай попадешь. Но рай и Арго – вещи разные. Чтобы стать арготинцем, надо доказать, что ты на что-нибудь годен. Вот попробуй, обшарь чучело.

– Я обшарю кого вам будет угодно, – ответил Гренгуар.

Клопен подал знак. Несколько арготинцев вышли из полукруга и вскоре вернулись. Они притащили два столба с лопатообразными подпорками у основания, которые придавали им устойчивость, и с поперечным брусом сверху. Все в целом представляло прекрасную передвижную виселицу, и Гренгуар имел удовольствие видеть, как ее воздвигли перед ним в мгновение ока. Все в этой виселице было в исправности, даже веревка, грациозно качавшаяся под перекладиной.

«Зачем они все это мастерят?» – с некоторым беспокойством подумал Гренгуар.

Звон колокольчиков, раздавшийся в эту минуту, положил конец его тревоге. Звенело чучело, подвешенное бродягами за шею к виселице: это было нечто вроде вороньего пугала, наряженного в красную одежду и увешанного таким множеством колокольчиков и бубенчиков, что их хватило бы на украшение упряжки тридцати кастильских мулов. Некоторое время, пока веревка раскачивалась, колокольчики звенели, затем стали постепенно затихать и, когда чучело, подчиняясь закону маятника, вытеснившего водяные и песочные часы, повисло неподвижно, совсем замолкли.

Клопен указал Гренгуару на старую, расшатанную скамью, стоявшую под чучелом:

– Ну, влезай!

– Черт побери! – воспротивился Гренгуар. – Ведь я могу сломать себе шею. Ваша скамейка хромает, как двустишие Марциала: размер одной ноги у нее – гекзаметр, другой – пентаметр.

– Влезай! – повторил Клопен.

Гренгуар взобрался на скамью и, пробалансировав, обрел, наконец, равновесие.

– А теперь, – продолжал король Арго, – зацепи правой ногой левое колено и стань на носок левой ноги.

– Ваше величество! – взмолился Гренгуар. – Вы непременно хотите, чтобы я повредил себе что-нибудь.

Клопен покачал головой.

– Послушай, приятель, ты слишком много болтаешь! Вот в двух словах, что от тебя требуется: ты должен, как я уже говорил, стать на носок левой ноги; в этом положении ты дотянешься до кармана чучела, обшаришь его и вытащишь оттуда кошелек. Если ты изловчишься сделать это так, что ни один колокольчик не звякнет, – твое счастье: ты станешь бродягой. Тогда нам останется только отлупить тебя хорошенько, на что уйдет восемь дней.

– Черт возьми! – воскликнул Гренгуар. – Придется быть осторожным! А если колокольчики зазвенят?

– Тогда тебя повесят. Понимаешь?

– Ничего не понимаю, – ответил Гренгуар.

– Ну так слушай же! Ты обшаришь это чучело и вытащишь у него из кармана кошелек; если в это время звякнет хоть один колокольчик, ты будешь повешен. Понял?

– Да, ваше величество, понял. Ну, а если нет?

– Если тебе удастся выкрасть кошелек так, что никто не услышит ни звука, тогда ты – бродяга, и в продолжение восьми дней сряду мы будем тебя лупить. Теперь, я надеюсь, ты понял?

– Нет, ваше величество, я опять ничего не понимаю. В чем же мой выигрыш, коли в одном случае я буду повешен, в другом – избит?

– А в том, что ты станешь бродягой, – возразил Клопен. – Этого, по-твоему, мало? Бить мы тебя будем для твоей же пользы, это приучит тебя к побоям.

– Покорно благодарю, – ответил поэт.

– Ну, живей! – закричал король, топнув ногой по бочке, загудевшей, словно огромный барабан. – Обшарь чучело, и баста! Предупреждаю тебя в последний раз: если звякнет хоть один бубенец, будешь висеть на его месте.

Банда арготинцев, покрыв слова Клопена рукоплесканиями и безжалостно смеясь, выстроилась вокруг виселицы. Тут Гренгуар понял, что служил им посмешищем и, следовательно, мог ожидать от них чего угодно. Итак, не считая слабой надежды на успех в навязанном ему страшном испытании, уповать ему было больше не на что. Он решил попытать счастья, но предварительно обратился с пламенной мольбой к чучелу, которое намеревался обобрать, ибо ему казалось, что легче умилостивить его, чем бродяг. Мириады колокольчиков с крошечными медными язычками представлялись ему мириадами разверстых змеиных пастей, готовых зашипеть и ужалить его.

– О! – пробормотал он. – Неужели моя жизнь зависит от малейшего колебания самого крошечного колокольчика? О! – молитвенно сложив руки, произнес он. – Звоночки, не трезвоньте, колокольчики, не звените, бубенчики, не бренчите!

Он предпринял еще одну попытку переубедить Труйльфу.

– А если налетит порыв ветра? – спросил он.

– Ты будешь повешен, – без запинки ответил тот.

Видя, что ему нечего ждать ни отсрочки, ни промедления, ни возможности как-либо отвертеться, Гренгуар мужественно покорился своей участи. Он обхватил правой ногой левую, стал на левый носок и протянул руку; но в ту самую минуту, когда он прикоснулся к чучелу, тело его, опиравшееся лишь на одну ногу, пошатнулось на скамье, которой тоже не хватало одной ноги; чтобы удержаться, он невольно ухватился за чучело и, потеряв равновесие, оглушенный роковым трезвоном множества колокольчиков, грохнулся на землю; чучело от толчка сначала описало круг, затем величественно закачалось между столбами.

– Проклятие! – воскликнул, падая, Гренгуар и остался лежать, уткнувшись носом в землю, неподвижный, как труп.

Он слышал зловещий трезвон над своей головой, дьявольский хохот бродяг и голос Труйльфу:

– Ну-ка, подымите этого чудака и повесьте его без проволочки.

Гренгуар встал. Чучело уже успели отцепить и освободили для него место.

Арготинцы заставили его влезть на скамью. К Гренгуару подошел сам Клопен и, накинув ему петлю на шею, потрепал его по плечу:

– Прощай, приятель! Теперь, будь в твоем брюхе кишки самого папы, тебе не выкрутиться!

Слово «пощадите» замерло на устах Гренгуара. Он растерянно огляделся. Никакой надежды: все хохотали.

– Бельвинь де Летуаль! – обратился король Арго к отделившемуся от толпы верзиле. – Полезай на перекладину.

Бельвинь де Летуаль проворно вскарабкался на поперечный брус виселицы, и мгновение спустя Гренгуар, посмотрев вверх, с ужасом увидел, что Бельвинь примостился на перекладине над его головой.

– Теперь, – сказал Клопен Труйльфу, – ты, Андри Рыжий, как только я хлопну в ладоши, вышибешь коленом у него из-под ног скамейку, ты, Франсуа ШантПрюн, повиснешь на ногах этого прощелыги, а ты, Бельвинь, прыгнешь ему на плечи, да все трое разом. Слышали?

Гренгуар содрогнулся.

– Ну, поняли? – спросил Клопен трех арготинцев, готовых ринуться на Гренгуара, словно пауки на муху. Несчастная жертва переживала ужасные мгновения, пока Клопен спокойно подталкивал ногою в огонь несколько еще не успевших загореться прутьев виноградной лозы. – Поняли? – повторил он и уже хотел хлопнуть в ладоши. Еще секунда – и все было бы кончено.

Но вдруг он остановился, точно осененный какойто мыслью.

– Постойте! – воскликнул он. – Чуть не забыл!.. По нашему обычаю, прежде чем повесить человека, мы спрашиваем, не найдется ли женщины, которая захочет его взять. Ну, дружище, это твоя последняя надежда. Тебе придется выбрать между потаскушкой и веревкой.

Этот цыганский обычай, сколь ни покажется он странным читателю, весьма пространно описывается в старинном английском законодательстве. О нем можно справиться в Заметках Берингтона.

Гренгуар перевел дух: но в течение получаса он уже второй раз возвращался к жизни, стало быть, особенно доверять этому счастью он не смел.

– Эй! – крикнул Клопен, снова взобравшись на бочку. – Эй! Бабье, девки! Найдется ли среди вас – будь то ведьма или ее кошка – какая-нибудь потаскушка, которая пожелала бы взять его себе? Эй, Колета Шарон, Элизабета Трувен, Симона Жодуин, Мари Колченогая, Тони Долговязая, Берарда Фануэль, Мишель Женайль, Клодина Грызи-Ухо, Матюрина Жирору! Эй, Изабо ла Тьери! Глядите сюда! Мужчина задаром! Кто хочет?

По правде сказать, Гренгуар представлял собой малопривлекательное зрелище в том плачевном состоянии, в каком он находился. Женщины отнеслись равнодушно к этому предложению. Бедняга слышал, как они ответили: «Нет, лучше повесьте. Тогда мы все получим удовольствие».

Три особы женского пола, однако, отделились от толпы и подошли посмотреть на него. Первая была толстуха с квадратным лицом. Она внимательно оглядела жалкую куртку философа. Его камзол был до такой степени изношен, что на нем было больше дыр, чем в сковородке для жаренья каштанов. Девушка скорчила гримасу.

– Рвань! – пробурчала она. – А где твой плащ? – спросила она Гренгуара.

– Я потерял его.

– А шляпа?

– У меня ее отняли.

– А башмаки?

– У них отваливаются подошвы.

– А твой кошелек?

– Увы, – запинаясь, ответил Гренгуар, – у меня нет ни полушки.

– Ну так попроси, чтобы тебя повесили, да еще скажи спасибо! – отрезала она и повернулась к нему спиной.

Вторая – старая, смуглая, морщинистая, омерзительная нищенка, до того безобразная, что даже во Дворе чудес она составляла исключение, – покружила вокруг Гренгуара. Ему даже стало страшно, что вдруг она пожелает его взять.

– Слишком тощий! – пробормотала она и отошла.

Третья была молоденькая девушка, довольно свеженькая и не слишком безобразная. «Спасите меня!» – шепнул ей бедняга. Она взглянула на него с состраданием, затем потупилась, поправила складку на юбке и остановилась в нерешительности. Он следил за всеми ее движениями: это была его последняя надежда. «Нет, – проговорила она. – Нет, Гильом Вислощекий меня поколотит». И она замешалась в толпу.

– Ну, приятель, тебе не везет, – заметил Клопен.

Поднявшись во весь рост на своей бочке, он, всем на забаву, крикнул, подражая тону оценщика на аукционе:

– Никто не желает его приобрести? Раз, два, три!

Затем повернулся лицом к виселице и, кивнув головой, добавил: – Остался за вами!

Бельвинь де Летуаль, Андри Рыжий и Франсуа Шант-Прюн снова приблизились к Гренгуару.

В эту минуту среди арготинцев раздался крик:

– Эсмеральда! Эсмеральда!

Гренгуар вздрогнул и обернулся в ту сторону, откуда доносились возгласы. Толпа расступилась и пропустила непорочное, ослепительное создание.

То была цыганка.

– Эсмеральда! – повторил Гренгуар, пораженный, несмотря на свое волнение, той быстротой, с какою это магическое слово связало все его сегодняшние впечатления.

Казалось, это удивительное существо простирало до самого Двора чудес власть своего очарования и красоты. Арготинцы и арготинки безмолвно уступали ей дорогу, и их зверские лица как бы светлели от одного ее взгляда.

Своей легкой поступью она приблизилась к осужденному. Хорошенькая Джали следовала за ней. Гренгуар был ни жив ни мертв. Эсмеральда молча глядела на него.

– Вы хотите повесить этого человека? – с важностью обратилась она к Клопену.

– Да, сестра, – ответил король Алтынный, – разве только ты захочешь взять его в мужья.

Она сделала свою очаровательную гримаску.

– Я беру его, – сказала она.

Тут Гренгуар непоколебимо уверовал в то, что все происходящее с ним с утра лишь сон, а это – продолжение сна.

Развязка хотя и была приятна, но слишком сильно потрясла его.

С шеи поэта сняли петлю и велели ему спуститься со скамьи. Он вынужден был сесть – так он был ошеломлен. Цыганский герцог молча принес глиняную кружку. Цыганка подала ее Гренгуару.

– Бросьте ее на землю, – сказала она.

Кружка разлетелась на четыре части.

– Брат! – произнес цыганский король, возложив на их головы свои руки. – Она твоя жена. Сестра! Он твой муж. На четыре года. Ступайте.

VII. Брачная ночь

Спустя несколько минут наш поэт очутился в каморке со сводчатым потолком, уютной и жарко натопленной, перед столиком, который, казалось, только того и ждал, чтобы позаимствовать какой-нибудь снеди из висевшего на стене шкапчика. В перспективе у Гренгуара была удобная постель и общество хорошенькой девушки. Приключение было похоже на волшебство. Он начал не шутя почитать себя за сказочного принца; время от времени он осматривался, как бы желая убедиться, не здесь ли еще огненная колесница, запряженная

двумя крылатыми химерами, которая одна могла столь стремительно перенести его из преисподней в рай. Порой, чтобы не совсем оторваться от земли, он, цепляясь за действительность, устремлял упорный взгляд на прорехи своего камзола. Его рассудок, блуждая в фантастических просторах, держался только на этой нити.

Девушка не обращала на него никакого внимания; она уходила, возвращалась, передвигала табуретку, болтала с козочкой, строила по временам свою гримаску; наконец села возле стола, и теперь Гренгуар мог ее разглядеть.

Вы были когда-то ребенком, читатель, а может быть, вам посчастливилось остаться им по сей день. Вы, конечно, не раз в сияющий солнечный день, сидя на берегу быстрой речки, ловили взором прелестную стрекозу, зеленую или голубую, которая стремительным, резким косым летом переносилась с кустика на кустик и словно лобзала кончик каждой ветки. (Я проводил за этим занятием долгие дни – плодотворнейшие дни моей жизни.) Вспомните, с каким любовным вниманием ваша мысль и взор следили за этим маленьким вихрем пурпуровых и лазоревых крыл, свистящим и жужжащим, в центре которого трепетал какой-то неуловимый образ, затененный стремительностью своего движения. Это воздушное создание, чуть видное сквозь трепетанье крылышек, казалось вам нереальным, призрачным, неосязаемым, неразличимым. А когда, наконец, стрекоза опускалась на верхушку тростника и вы, затаив дыхание, могли разглядеть продолговатые прозрачные крылья, длинное эмалевое одеяние и два хрустальных глаза, – как бывали вы изумлены и как боялись, что этот образ снова превратится в тень, а живое существо – в химеру! Припомните эти впечатления, и вам будет понятно, что испытывал Гренгуар, созерцая под видимой и осязаемой оболочкой ту Эсмеральду, которую до сей поры он видел лишь мельком за вихрем пляски, песни и суеты.

«Так вот что такое Эсмеральда!» – думал он, следя за ней задумчивым взором и все более и более погружаясь в мечтания. – Небесное создание и уличная плясунья! Как много и как мало! Она нанесла нынче утром последний удар моей мистерии, и она же вечером спасла мне жизнь. Мой злой гений! Мой ангел-хранитель! Прелестная женщина, клянусь честью! Она должна любить меня до безумия, если решилась завладеть мной таким странным способом. Да, кстати, – встав внезапно из-за стола, сказал он себе, охваченный тем чувством реальности, которое составляло основу его характера и философии, – как-никак, но ведь я ее муж!»

Эта мысль отразилась в его глазах, и он с таким предприимчивым и галантным видом подошел к девушке, что она невольно отшатнулась.

– Что вам угодно? – спросила она.

– Неужели вы сами не догадываетесь, обожаемая Эсмеральда? – воскликнул Гренгуар с такой страстью в голосе, что сам себе удивился.

Цыганка изумленно посмотрела на него.

– Я не понимаю, что вы хотите сказать.

– Как же так? – продолжал Гренгуар, все более и более воспламеняясь и воображая, что в конце концов он имеет дело всего лишь с добродетелью Двора чудес. – Разве я не твой, нежная моя подруга? Разве ты не моя?

С этими словами он простодушно обнял ее за талию.

Она выскользнула у него из рук, как угорь. Отскочив на другой конец каморки, она наклонилась, затем выпрямилась, и, раньше чем Гренгуар успел сообразить, откуда он взялся, в ее руке сверкнул маленький кинжал. Гордая, негодующая, сжав губы, красная, как наливное яблочко, стояла она перед ним; ноздри ее раздувались, глаза сверкали. Тут же выступила вперед и белая козочка, наставив на Гренгуара лоб, вооруженный двумя хорошенькими позолоченными, острымиострыми рожками. Все это произошло в мгновение ока.

Стрекоза превратилась в осу и стремилась ужалить.

Наш бедный философ опешил и с глупым видом смотрел то на козочку, то на Эсмеральду.

– Пресвятая дева! – воскликнул он, опомнившись и обретая дар речи. Вот так храбрецы!

Цыганка нарушила молчание:

– А ты, как я погляжу, предерзкий плут!

– Простите, мадемуазель, – улыбаясь, молвил Гренгуар, – но зачем же вы взяли меня в мужья?

– А было бы лучше, если бы тебя повесили?

– Значит, вы вышли за меня замуж только ради того, чтобы спасти от виселицы? – спросил Гренгуар, слегка разочаровавшись в своих любовных мечтах.

– А о чем же другом я могла думать?

Гренгуар закусил губы. «Ну, ну, – пробормотал он, – видимо. Купидон далеко не столь благосклонен ко мне, как я предполагал. Но для чего же тогда было разбивать эту злосчастную кружку?»

Кинжал молодой цыганки и рожки козочки все еще находились в оборонительном положении.

– Мадемуазель Эсмеральда! – сказал поэт. – Заключим перемирие. Я не актуариус Шатле и не буду доносить, что вы, вопреки запрещениям и приказам парижского прево, носите при себе кинжал. Но все же вы должны знать, что восемь дней назад Ноэль Лекривен был присужден к уплате штрафа в десять су за то, что носил шпагу. Ну да меня это не касается; я перехожу к делу. Клянусь вам вечным спасением, что я не подойду к вам без вашего согласия и разрешения, только дайте мне поужинать.

В сущности Гренгуар, как и господин Депрео, был «весьма мало сластолюбив». Он не принадлежал к породе грубоватых и развязных мужчин, которые берут девушек приступом. В любви, как и во всем остальном, он был противником крайних мер и предпочитал выжидательную политику. Приятная беседа с глазу на глаз и добрый ужин, в особенности, когда человек голоден, казались ему великолепной интермедией между прологом и развязкой любовного приключения.

Цыганка оставила его речь без ответа. Состроив презрительную гримаску, она, точно птичка, подняла головку и вдруг расхохоталась; маленький кинжал исчез так же быстро, как появился, и Гренгуар не успел разглядеть, куда пчелка спрятала свое жало.

Скоро на столе очутились ржаной хлеб, кусок сала, сморщенные яблоки и жбан браги. Гренгуар с увлечением принялся за еду. Слыша бешеный стук его железной вилки о фаянсовую тарелку, можно было предположить, что вся его любовь обратилась в аппетит.

Сидя напротив него, девушка молча наблюдала за ним, явно поглощенная какими-то другими мыслями, которым она порой улыбалась, и милая ее ручка гладила головку козочки, нежно прижавшуюся к ее коленям.

Свеча желтого воска освещала эту сцену обжорства и мечтательности.

Заморив червячка, Гренгуар устыдился, заметив, что на столе осталось несъеденным всего одно яблоко.

– А вы не голодны, мадемуазель Эсмеральда? – спросил он.

Она отрицательно покачала головой и устремила задумчивый взор на сводчатый потолок комнатки.

«Что ее там занимает? – спросил себя Гренгуар, посмотрев туда же, куда глядела цыганка. – Не может быть, чтобы рожа каменного карлика, высеченного в центре свода. Черт возьми! С ним-то я вполне могу соперничать».

– Мадемуазель! – окликнул он Эсмеральду.

Она, казалось, не слышала.

Он повторил громче:

– Мадемуазель Эсмеральда!

Напрасно! Ее мысли витали далеко, и голос Гренгуара был бессилен отвлечь ее от них. К счастью, вмешалась козочка: она принялась тихонько дергать свою хозяйку за рукав.

– Что тебе, Джали? – словно пробудившись от сна, быстро спросила цыганка.

– Она голодна, – ответил Гренгуар, обрадовавшись случаю завязать разговор.

Эсмеральда накрошила хлеба, и козочка грациозно начала его есть с ее ладони.

Гренгуар, не дав девушке времени снова впасть в задумчивость, отважился задать ей щекотливый вопрос:

– Итак, вы не желаете, чтобы я стал вашим мужем?

Она пристально поглядела на него и ответила:

– Нет.

– А любовником? – спросил Гренгуар.

Она состроила гримаску и сказала:

– Нет.

– А другом? – настаивал Гренгуар.

Она опять пристально поглядела на него и, помедлив, ответила:

– Может быть.

Это «может быть», столь любезное сердцу философа, ободрило Гренгуара.

– А знаете ли вы, что такое дружба? – спросил он.

– Да, – ответила цыганка. – Это значит быть братом и сестрой; это две души, которые соприкасаются, не сливаясь; это два перста одной руки.

– А любовь?

– О, любовь! – промолвила она, и голос ее дрогнул, а глаза заблистали. – Любовь – это когда двое едины. Когда мужчина и женщина превращаются в ангела. Это – небо!

Тут лицо уличной плясуньи просияло дивной красотой; Гренгуар был потрясен – ему казалось, что красота Эсмеральды находится в полной гармонии с почти восточной экзальтированностью ее речи. Розовые невинные уста Эсмеральды чуть заметно улыбались, ясное, непорочное чело, как зеркало от дыхания, порой затуманивалось какой-то мыслью, а из-под опущенных длинных черных ресниц струился неизъяснимый свет, придававший ее чертам ту идеальную нежность, которую впоследствии уловил Рафаэль в мистическом слиянии девственности, материнства и божественности.

– Каким же надо быть, чтобы вам понравиться? – продолжал Гренгуар.

– Надо быть мужчиной.

– А я? – спросил он. – Разве я не мужчина?

– Мужчиной, у которого на голове шлем, в руках шпага, а на сапогах золотые шпоры.

– Так! – заметил Гренгуар. – Значит, без золотых шпор нет и мужчины. Вы любите кого-нибудь?

– Любовью?

– Да, любовью.

Она призадумалась, затем сказала с каким-то особым выражением:

– Я скоро это узнаю.

– Отчего же не сегодня вечером? – нежно спросил поэт. – Почему не меня?

Она серьезно взглянула на него.

– Я полюблю только того мужчину, который смеет защитить меня.

Гренгуар покраснел и принял эти слова к сведению. Девушка, очевидно, намекала на ту слабую помощь, какую он оказал ей два часа тому назад, когда ей грозила опасность. Теперь ему вспомнился этот случай, полузабытый им среди других его ночных передряг. Он хлопнул себя по лбу:

– Мне следовало бы с этого и начать! Простите мою ужасную рассеянность, мадемуазель. Скажите, каким образом вам удалось вырваться из когтей Квазимодо?

Этот вопрос заставил цыганку вздрогнуть.

– О! Этот страшный горбун! – закрыв лицо руками, воскликнула она и задрожала, словно ее охватило холодом.

– Он действительно страшен! Но как же вам удалось ускользнуть от него? – настойчиво повторил свой вопрос Гренгуар.

Эсмеральда улыбнулась, вздохнула и промолчала.

– А вы знаете, почему он вас преследовал? – спросил Гренгуар, пытаясь обходным путем вернуться к интересовавшей его теме.

– Не знаю, – ответила девушка и тут же прибавила – Вы ведь тоже меня преследовали, а зачем?

– Клянусь честью, я и сам не знаю.

Оба замолчали. Гренгуар царапал своим ножом стол, девушка улыбалась и пристально глядела на стену, словно что-то видела за ней. Вдруг она едва слышно запела:

Quando las pintadas aves

Mudas estan y la tierra.[34]

Оборвав песню, она принялась ласкать Джали.

– Какая хорошенькая козочка! – сказал Гренгуар.

– Это моя сестричка, – ответила цыганка.

– Почему вас зовут Эсмеральдой?[35] – спросил поэт.

– Не знаю.

– А все же?

Она вынула из-за пазухи маленькую овальную ладанку, висевшую у нее на шее на цепочке из зерен лаврового дерева и источавшую сильный запах камфары. Ладанка была обтянута зеленым шелком; посредине была нашита зеленая бусинка, похожая на изумруд.

– Может быть, поэтому, – сказала она.

Гренгуар хотел взять ладанку в руки. Эсмеральда отстранилась.

– Не прикасайтесь к ней! Это амулет. Либо вы повредите ему, либо он вам.

Любопытство поэта разгоралось все сильнее.

– Кто же вам его дал?

Она приложила пальчик к губам и спрятала амулет на груди. Гренгуар попытался задать ей еще несколько вопросов, но она отвечала неохотно.

– Что означает слово «Эсмеральда»?

– Не знаю, – ответила она.

– На каком это языке?

– Должно быть, на цыганском.

– Я так и думал, – сказал Гренгуар. – Вы родились не во Франции?

– Я ничего об этом не знаю.

– А кто ваши родители?

Вместо ответа она запела на мотив старинной песни:

Отец мой орел,

Мать – орлица.

Плыву без ладьи.

Плыву без челна.

Отец мои орел,

Мать – орлица.

– Так, – сказал Гренгуар. – Сколько же вам было лет, когда вы приехали во Францию?

– Я была совсем малюткой.

– А в Париж?

– В прошлом году. Когда мы входили в Папские ворота, то над нашими головами пролетела камышовая славка; это было в конце августа; я сказала себе: «Зима нынче будет суровая».

– Да, так оно и было, – сказал Гренгуар, радуясь тому, что разговор, наконец, завязался. – Мне все время приходилось дуть на пальцы. Вы, значит, обладаете даром пророчества?

Она снова прибегла к лаконической форме ответа:

– Нет.

– А тот человек, которого вы называете цыганским герцогом, – глава вашего племени?

– Да.

– А ведь это он сочетал нас браком, – робко заметил поэт.

Она состроила свою обычную гримаску.

– Я даже не знаю, как тебя зовут.

– Сейчас вам скажу! Пьер Гренгуар.

– Я знаю более красивое имя.

– Злюка! – сказал поэт. – Но пусть так, я не буду сердиться. Послушайте, может быть, вы полюбите меня, узнав поближе. Вы так доверчиво рассказали мне свою историю, что я должен отплатить вам тем же. Итак, вам уже известно, что мое имя Пьер Гренгуар. Я сын сельского нотариуса из Гонеса. Двадцать лет назад, во время осады Парижа, отца моего повесили бургундцы, а мать мою зарезали пикардийцы. Таким образом, шести лет я остался сиротой, и подошвами моим ботинкам служили мостовые Парижа. Сам не знаю, как мне удалось прожить с шести до шестнадцати лет. Торговка фруктами давала мне сливу, булочник бросал корочку хлеба; по вечерам я старался, чтобы меня подобрал на улице ночной дозор: меня отводили в тюрьму, и там я находил для себя охапку соломы. Однако все это не мешало мне расти и худеть, как видите. Зимою я грелся на солнышке у подъезда особняка де Сане, недоумевая, почему костры Иванова дня зажигают летом. В шестнадцать лет я решил выбрать себе род занятий. Я испробовал все. Я пошел в солдаты, но оказался недостаточно храбрым. Потом пошел в монахи, но оказался недостаточно набожным, а кроме того, не умел пить. С горя я поступил в обучение к плотникам, но оказался слабосильным. Больше всего мне хотелось стать школьным учителем; правда, грамоте я не знал, но это меня не смущало. Убедившись через некоторое время, что для всех этих занятий мне чего-то не хватает и что я ни к чему не пригоден, я, следуя своему влечению, стал сочинять стихи и песни. Это ремесло как раз годится для бродяг, и это все же лучше, чем промышлять грабежом, на что меня подбивали вороватые парнишки из числа моих приятелей. К счастью, я однажды встретил его преподобие отца Клода Фролло, архидьякона Собора Парижской Богоматери. Он принял во мне участие, и ему я обязан тем, что стал по-настоящему образованным человеком, знающим латынь, начиная с книги Цицерона Об обязанностях и кончая Житиями святых, творением отцов целестинцев. Я кое-что смыслю в схоластике, пиитике, стихосложении и даже в алхимии, этой премудрости из всех премудростей. Я автор той мистерии, которая сегодня с таким успехом и при таком громадном

стечении народа была представлена в переполненной большой зале Дворца. Я написал также труд в шестьсот страниц о страшной комете тысяча четыреста шестьдесят пятого года, из-за которой один несчастный сошел с ума. На мою долю выпадали и другие успехи. Будучи сведущ в артиллерийском деле, я работал над сооружением той огромной бомбарды Жеана Мога, которая, как вам известно, взорвалась на мосту Шарантон, когда ее хотели испробовать, и убила двадцать четыре человека зевак. Вы видите, что я для вас неплохая партия. Я знаю множество презабавных штучек, которым могу научить вашу козочку, – например, передразнивать парижского епископа, этого проклятого святошу, мельницы которого обдают грязью прохожих на всем протяжении Мельничного моста. А потом я получу за свою мистерию большие деньги звонкой монетой, если только мне за нее заплатят. Словом, я весь к вашим услугам; и я, и мой ум, и мои знания, и моя ученость, я готов жить с вами так, как вам будет угодно, мадемуазель, – в целомудрии или в веселии: как муж с женою, если вам так заблагорассудится, или как брат с сестрой, если вы это предпочтете.

Гренгуар умолк, выжидая, какое впечатление его речь произведет на девушку. Глаза ее были опущены.

– Феб, – промолвила она вполголоса и, обернувшись к поэту, спросила: – Что означает слово «Феб»?

Гренгуар хоть и не очень хорошо понимал, какое отношение этот вопрос имел к тому, о чем он говорил, а все же был не прочь блеснуть своей ученостью и, приосанившись, ответил:

– Это латинское слово, оно означает «солнце».

– Солнце!.. – повторила цыганка.

– Так звали прекрасного стрелка, который был богом, – присовокупил Гренгуар.

– Богом! – повторила она с мечтательным и страстным выражением.

В эту минуту один из ее браслетов расстегнулся и упал. Гренгуар быстро наклонился, чтобы поднять его. Когда он выпрямился, девушка и козочка уже исчезли. Он услышал, как щелкнула задвижка. Дверца, ведшая, по-видимому, в соседнюю каморку, заперлась изнутри.

«Оставила ли она мне хоть постель?» – подумал наш философ.

Он обошел каморку. Единственной мебелью, пригодной для спанья, был довольно длинный деревянный ларь; но его крышка была резная, и это заставило Гренгуара, когда он на нем растянулся, испытать ощущение, подобное тому, какое испытал Микромегас, улегшись во всю длину на Альпах.

– Делать нечего, – сказал он, устраиваясь поудобней на этом ложе, приходится смириться. Однако какая странная брачная ночь! А жаль! В этой свадьбе с разбитой кружкой было нечто наивное и допотопное, – мне это понравилось.

Книга третья

I. Собор Богоматери

Собор Парижской Богоматери еще и теперь являет собой благородное и величественное здание. Но каким бы прекрасным собор, дряхлея, ни оставался, нельзя не скорбеть и не возмущаться при» виде бесчисленных разрушений и повреждений, которые и годы и люди нанесли почтенному памятнику старины, без малейшего уважения к имени Карла Великого, заложившего первый его камень, и к имени Филиппа-Августа, положившего последний.

На челе этого патриарха наших соборов рядом с морщиной неизменно видишь шрам. Tetpun edax, homo edacior[36], что я охотно перевел бы так: «Время слепо, а человек невежествен».

Если бы у нас с читателем хватило досуга проследить один за другим все следы разрушения, которые отпечатались на древнем храме, мы бы заметили, что доля времени ничтожна, что наибольший вред нанесли люди, и главным образом люди искусства. Я

вынужден упомянуть о «людях искусства», ибо в течение двух последних столетий к их числу принадлежали личности, присвоившие себе звание архитекторов.

Прежде всего – чтобы ограничиться наиболее яркими примерами – следует указать, что вряд ли в истории архитектуры найдется страница прекраснее той, какою является фасад этого собора, где последовательно и в совокупности предстают перед нами три стрельчатых портала; над ними – зубчатый карниз, словно расшитый двадцатью восемью королевскими нишами, громадное центральное окно-розетка с двумя другими окнами, расположенными по бокам, подобно священнику, стоящему между дьяконом и иподьяконом; высокая изящная аркада галереи с лепными украшениями в форме трилистника, поддерживающая на своих тонких колоннах тяжелую площадку, и, наконец, две мрачные массивные башни с шиферными навесами. Все эти гармонические части великолепного целого, воздвигнутые одни над другими и образующие пять гигантских ярусов, спокойно развертывают перед нашими глазами бесконечное разнообразие своих бесчисленных скульптурных, резных и чеканных деталей, в едином мощном порыве сливающихся с безмятежным величием целого. Это как бы огромная каменная симфония; колоссальное творение и человека и народа, единое и сложное, подобно Илиаде и Романсеро, которым оно родственно; чудесный итог соединения всех сил целой эпохи, где из каждого камня брызжет принимающая сотни форм фантазия рабочего, направляемая гением художника; словом, это творение рук человеческих могуче и преизобильно, подобно творению бога, у которого оно как будто заимствовало двойственный его характер: разнообразие и вечность.

То, что мы говорим здесь о фасаде, следует отнести и ко всему собору в целом, а то, что мы говорим о кафедральном соборе Парижа, следует сказать и обо всех христианских церквах средневековья. Все в этом искусстве, возникшем само собою, последовательно и соразмерно. Смерить один палец ноги гиганта – значит определить размеры всего его тела.

Но возвратимся к этому фасаду в том его виде, в каком он нам представляется, когда мы благоговейно созерцаем суровый и мощный собор, который, по словам его летописцев, наводит страх – quae mole sua terrorem incutit spectantibus.[37]

Ныне в его фасаде недостает трех важных частей: прежде всего крыльца с одиннадцатью ступенями, приподнимавшего его над землей; затем нижнего ряда статуй, занимавших ниши трех порталов; и, наконец, верхнего ряда изваяний, некогда украшавших галерею первого яруса и изображавших двадцать восемь древних королей Франции, начиная с Хильдеберта и кончая Филиппом-Августом, с державою в руке.

Время, медленно и неудержимо поднимая уровень почвы Сите, заставило исчезнуть лестницу. Но, дав поглотить все растущему приливу парижской мостовой одну за другой эти одиннадцать ступеней, усиливавших впечатление величавой высоты здания, оно вернуло собору, быть может, больше, нежели отняло: оно придало его фасаду темный колорит веков, который претворяет преклонный возраст памятника в эпоху наивысшего расцвета его красоты.

Но кто низвергнул оба ряда статуй? Кто опустошил ниши? Кто вырубил посреди центрального портала новую незаконную стрельчатую арку? Кто отважился поместить туда безвкусную, тяжелую резную дверь в стиле Людовика XV рядом с арабесками Бискорнета?.. Люди, архитекторы, художники наших дней.

А внутри храма кто низверг исполинскую статую святого Христофора, столь же прославленную среди статуй, как большая зала Дворца правосудия среди других зал, как шпиц Страсбургского собора среди колоколен? Кто грубо изгнал из храма множество статуй, которые населяли промежутки между колоннами нефа и хоров, – статуи коленопреклоненные, стоявшие во весь рост, конные, статуи мужчин, женщин, детей, королей, епископов, воинов, каменные, мраморные, золотые, серебряные, медные, даже восковые?.. Уж никак не время.

А кто подменил древний готический алтарь, пышно уставленный раками и ковчежцами, тяжелым каменным саркофагом, украшенным головами херувимов и облаками, похожим на

попавший сюда архитектурный образчик церкви Валь-де-Грас или Дома инвалидов? Кто так нелепо вделал в плиты карловингского пола, работы Эркандуса, этот тяжелый каменный анахронизм? Не Людовик ли XIV, исполнивший желание Людовика XIII?

Кто заменил холодным белым стеклом цветные витражи, притягивавшие восхищенный взор наших предков то к розетке главного портала, то к стрельчатым окнам алтаря? И что сказал бы какой-нибудь причетник XIV века, увидев эту чудовищную желтую замазку, которой наши вандалы-архиепископы запачкали собор? Он вспомнил бы, что именно этой краской палач отмечал дома осужденных законом, он вспомнил бы отель Пти-Бурбон, в ознаменование измены коннетабля также вымазанный той самой желтой краской, которая, по словам Соваля, была «столь крепкой и доброкачественной, что еще более ста лет сохраняла свою свежесть». Причетник решил бы, что святой храм осквернен, и в ужасе бежал бы.

А если мы, минуя неисчислимое множество мелких проявлений варварства, поднимемся на самый верх собора, то спросим себя: что сталось с очаровательной колоколенкой, опиравшейся на точку пересечения свода, столь же хрупкой и столь же смелой, как и ее сосед, шпиц Сент-Шапель (тоже снесенный)? Стройная, остроконечная, звонкая, ажурная, она, далеко опережая башни, так легко вонзалась в ясное небо! Один архитектор (1787), обладавший непогрешимым вкусом, ампутировал ее, а чтобы скрыть рану, счел вполне достаточным наложить на нее свинцовый пластырь, напоминающий крышку котла.

Таково было отношение к дивным произведениям искусства средневековья почти всюду, особенно во Франции. На его руинах можно различить три вида более или менее глубоких повреждений: прежде всего бросаются в глаза те из них, что нанесла рука времени, там и сям неприметно выщербив и покрыв ржавчиной поверхность зданий; затем на них беспорядочно ринулись полчища политических и религиозных смут, – слепых и яростных по своей природе, которые растерзали роскошный скульптурный и резной наряд соборов, выбили розетки, разорвали ожерелья из арабесок и статуэток, уничтожили изваяния – одни за то, что те были в митрах, другие за то, что их головы венчали короны; довершили разрушения моды, все более вычурные и нелепые, сменявшие одна другую при неизбежном упадке зодчества, после анархических, но великолепных отклонений эпохи Возрождения.

Моды нанесли больше вреда, чем революции. Они врезались в самую плоть средневекового искусства, они посягнули на самый его остов, они обкорнали, искромсали, разрушили, убили в здании его форму и символ, его смысл и красоту. Не довольствуясь этим, моды осмелились переделать его заново, на что все же не притязали ни время, ни революции. Считая себя непогрешимыми в понимании «хорошего вкуса», они бесстыдно разукрасили язвы памятника готической архитектуры своими жалкими недолговечными побрякушками, мраморными лентами, металлическими помпонами, медальонами, завитками, ободками, драпировками, гирляндами, бахромой, каменными языками пламени, бронзовыми облаками, дородными амурами и пухлыми херувимами, которые, подобно настоящей проказе, начинают пожирать прекрасный лик искусства еще в молельне Екатерины Медичи, а два века спустя заставляют это измученное и манерное искусство окончательно угаснуть в будуаре Дюбарри.

Итак, повторим вкратце то, на что мы указывали выше: троякого рода повреждения искажают облик готического зодчества. Морщины и наросты на поверхности – дело времени. Следы грубого насилия, выбоины, проломы дело революций, начиная с Лютера и кончая Мирабо. Увечья, ампутации, изменения в самом костяке здания, так называемые «реставрации» – дело варварской работы подражавших грекам и римлянам ученых мастеров, жалких последователей Витрувия и Виньоля. Так великолепное искусство, созданное вандалами, было убито академиками. К векам, к революциям, разрушавшим по крайней мере беспристрастно и величаво, присоединилась туча присяжных зодчих, ученых, признанных, дипломированных, разрушавших сознательно и с разборчивостью дурного вкуса, подменяя, к вящей славе Парфенона, кружева готики листьями цикория времен Людовика XV. Так осел лягает умирающего льва. Так засыхающий дуб точат, сверлят, гложут гусеницы.

Как далеко то время, когда Робер Сеналис, сравнивая Собор Парижской Богоматери с знаменитым храмом Дианы в Эфесе, «столь прославленным язычниками» и обессмертившим Герострата, находил галльский собор великолепней по длине, ширине, высоте и устройству»![38]

Собор Парижской Богоматери не может быть, впрочем, назван законченным, цельным, имеющим определенный характер памятником. Это уже не храм романского стиля, но это еще и не вполне готический храм. Это здание промежуточного типа. В отличие от Турнюсского аббатства Собор Парижской Богоматери лишен суровой, мощной ширины фасада, круглого и широкого свода, леденящей наготы, величавой простоты надстроек, основанием которых является круглая арка, тора.)

Он не похож и на собор в Бурже – великолепное, легкое, многообразное, пышное, все ощетинившееся остриями стрелок произведение готики. Нельзя причислить собор и к древней семье мрачных, таинственных, приземистых и как бы придавленных полукруглыми сводами церквей, напоминающих египетские храмы, за исключением их кровли, сплошь эмблематических, жреческих, символических, орнаменты которых больше обременены ромбами и зигзагами, нежели цветами, больше цветами, нежели животными, больше животными, нежели людьми; являющихся творениями скорее епископов, чем зодчих; служивших примером первого превращения того искусства, насквозь проникнутого теократическим и военным духом, которое брало свое начало в Восточной Римской империи и дожило до времен Вильгельма Завоевателя. Нельзя также отнести наш собор и к другой семье церквей, высоких, воздушных, с изобилием витражей, смелых по рисунку; общинных и гражданских, как символы политики, свободных, прихотливых и необузданных, как творения искусства; служивших примером второго превращения зодчества, уже не эмблематического и жреческого, но художественного, прогрессивного и народного, начинающегося после крестовых походов и заканчивающегося в царствование Людовика XI. Таким образом. Собор Парижской Богоматери – не чисто романского происхождения, как первые, и не чисто арабского, как вторые.

Это здание переходного периода. Не успел саксонский зодчий воздвигнуть первые столбы нефа, как стрельчатый свод, вынесенный из крестовых походов, победоносно лег на широкие романские капители, предназначенные поддерживать лишь полукруглый свод. Нераздельно властвуя с той поры, стрельчатый свод определяет формы всею собора в целом. Непритязательный и скромный вначале, этот свод разворачивается, увеличивается, но еще сдерживает себя, не дерзая устремиться остриями своих стрел и высоких арок в небеса, как он сделал это впоследствии в стольких дивных соборах. Его словно стесняет соседство тяжелых романских столбов.

Однако изучение этих зданий переходного периода от романского стиля к готическому столь же важно, как и изучение образцов чистого стиля. Они выражают собою тот оттенок в искусстве, который без них был бы для нас утрачен. Это – прививка стрельчатого свода к полукруглому.

Собор Парижской Богоматери как раз и является примечательным образцом подобной разновидности. Каждая сторона, каждый камень почтенного памятника – это не только страница истории Франции, но и истории науки и искусства. Укажем здесь лишь на главные его особенности. В то время как малые Красные врата по своему изяществу почти достигают предела утонченности готического зодчества XV столетия, столбы нефа по объему и тяжести напоминают еще здание аббатства Сен-Жермен-де-Пре времен каролингов, словно между временем сооружения врат и столбов лег промежуток в шестьсот лет. Все, даже герметики, находили в символических украшениях главного портала достаточно полный обзор своей науки, совершенным выражением которой являлась церковь СенЖак-де-ла-Бушри. Таким образом, романское аббатство, философическая церковь, готическое искусство, искусство саксонское, тяжелые круглые столбы времен Григория VII, символика герметиков, где Никола

Фламель предшествовал Лютеру, единовластие папы, раскол церкви, аббатство Сен-Жермен-де-Пре, и Сен-Жак-дела-Бушри все расплавилось, смешалось, слилось в Соборе Парижской Богоматери. Эта главная церковь, церковь-прародительница, является среди древних церквей Парижа чем-то вроде химеры: у нее голова одной церкви, конечности другой, торс третьей и чтото общее со всеми.

Повторяем: эти постройки смешанного стиля представляют немалый интерес и для художника, и для любителя древностей, и для историка. Подобно следам циклопических построек, пирамидам Египта и гигантским индусским пагодам, они дают почувствовать, насколько первобытно искусство зодчества; они служат наглядным доказательством того, что крупнейшие памятники прошлого – это не столько творения отдельной личности, сколько целого общества; это скорее следствие творческих усилий народа, чем яркая вспышка гения, это осадочный пласт, оставляемый после себя нацией; наслоения, отложенные веками, гуща, оставшаяся в результате последовательного испарения человеческого общества; словом, это своего рода органическая формация. Каждая волна времени оставляет на памятнике свой намыв, каждое поколение – свой слой, каждая личность добавляет свой камень. Так поступают бобры, так поступают пчелы, так поступают и люди. Величайший символ зодчества, Вавилон, представлял собою улей.

Великие здания, как и высокие горы – творения веков. Часто форма искусства успела уже измениться, а они все еще не закончены, pendent opera interrupta[39] тогда они спокойно принимают то направление, которое избрало искусство. Новое искусство берется за памятник в том виде, в каком его находит, отражается в нем, уподобляет его себе, продолжает согласно своей фантазии и, если может, заканчивает его. Это совершается спокойно, без усилий, без противодействия, следуя естественному, бесстрастному закону. Это черенок, который привился, это сок, который бродит, это растение, которое принялось. Поистине в этих последовательных спайках различных искусств на различной высоте одного и того же здания заключается материал для многих объемистых томов, а нередко и сама всемирная история человечества. Художник, личность, человек исчезают в этих огромных массах, не оставляя после себя имени творца; человеческий ум находит в них свое выражение и свой общий итог. Здесь время зодчий, а народ – каменщик.

Рассматривая лишь европейское, христианское зодчество, этого младшего брата огромных каменных кладок Востока, мы видим пред собой исполинское образование, разделенное на три резко отличных друг от друга пояса: пояс романский[40], пояс готический и пояс Возрождения, который мы охотно назовем греко-римским. Романский пласт, наиболее древний и глубокий, представлен полукруглым сводом, который вновь появляется перед нами в верхнем новом пласте эпохи Возрождения, поддерживаемый греческой колонной. Между ними лежит пласт стрельчатого свода. Здания, относящиеся только к одному из этих трех наслоений, совершенно отличны от других, закончены и едины. Таковы, например, аббатство Жюмьеж, Реймский собор, церковь Креста господня в Орлеане. Но эти три пояса, как цвета в солнечном спектре, соединяются и сливаются по краям. Отсюда возникли памятники смешанного стиля, здания различных оттенков переходного периода. Среди них можно встретить памятник романский по своему основанию, готический по средней части, греко-римский – по куполу. Это объясняется тем, что он строился шестьсот лет. Впрочем, подобная разновидность встречается редко. Образчиком такого здания служит главная башня замка Этамп. Чаще других встречаются памятники двух формаций. Таков Собор Парижской Богоматери – здание со стрельчатым сводом, которое первыми своими столбами внедряется в тот же романский слой, куда погружены и портал Сен-Дени и неф церкви Сен-Кермен-деПре. Такова прелестная полуготическая зала капитула Бошервиля, до половины охваченная романским пластом. Таков кафедральный собор в Руане, который был бы целиком готическим, если бы острие его центрального шпиля не уходило в эпоху Возрождения.[41]

Впрочем, все эти оттенки и различия касаются лишь внешнего вида здания. Искусство меняет здесь только оболочку. Самое же устройство христианского храма остается незыблемым. Внутренний остов его все тот же, все то же последовательное расположение частей. Какой бы скульптурой и резьбой ни была изукрашена оболочка храма, под нею всегда находишь, хотя бы в зачаточном, начальном состоянии, римскую базилику. Она располагается на земле по непреложному закону. Это все те же два нефа, пересекающихся в виде креста, верхний конец которого, закругленный куполом, образует хоры; это все те же постоянные приделы для крестных ходов внутри храма или для часовен – нечто вроде боковых проходов, с которыми центральный неф сообщается через промежутки между колоннами. На этой постоянной основе бесконечно варьируется число часовен, порталов, колоколен, шпилей, следуя за фантазией века, народа и искусства. Предусмотрев богослужебный чин и обеспечив его соблюдение, зодчество в остальном поступает, как ему вздумается. Изваяния, витражи, розетки, арабески, резные украшения, капители, барельефы – все это сочетает оно по своему вкусу и по своим правилам. Отсюда проистекает изумительное внешнее разнообразие подобного рода зданий, в основе которых заключено столько порядка и единства. Ствол дерева неизменен, листва прихотлива.

II. Париж с птичьего полета

Мы попытались восстановить перед читателями дивный Собор Парижской Богоматери. Мы в общих чертах указали на те красоты, которыми он отличался в XV веке и которых ныне ему недостает, но мы опустили главное, а именно – картину Парижа, открывавшуюся с высоты его башен.

Когда после долгого восхождения ощупью по темной спирали лестницы, вертикально пронзающей массивные стены колоколен, вы внезапно вырывались на одну из высоких, полных воздуха и света террас, перед вами развертывалась великолепная панорама. То было зрелище sill generis[42], о котором могут составить себе понятие лишь те из читателей, кому посчастливилось видеть какой-нибудь из еще сохранившихся кое-где готических городов во всей его целостности, завершенности и сохранности, как, например, Нюрнберг в Баварии, Витториа в Испании, или хотя бы самые малые образцы таких городов, лишь бы они хорошо сохранились вроде Витре в Бретани или Нордгаузена в Пруссии.

Париж триста пятьдесят лет тому назад, Париж XV столетия был уже городом-гигантом. Мы, парижане, заблуждаемся относительно позднейшего увеличения площади, занимаемой Парижем. Со времен Людовика XI Париж вырос немногим более чем на одну треть и, несомненно, гораздо больше проиграл в красоте, чем выиграл в размере.

Как известно, Париж возник на древнем острове Сите, имеющем форму колыбели. Плоский песчаный берег этого острова был его первой границей, а Сена – первым рвом. В течение нескольких веков Париж существовал как остров с двумя мостами – одним на севере, другим на юге, и с двумя мостовыми башнями, служившими воротами и крепостями: Гран-Шатле на правом берегу и Пти-Шатле – на левом.

Позже, начиная со времен первой королевской династии, Париж, стесненный на своем острове, не находя возможности развернуться на нем, перекинулся через реку. Первая ограда крепостных стен и башен врезалась в поля по обе стороны Сены за Гран-Шатле и Пти-Шатле. От этой древней ограды еще в прошлом столетии оставались кое-какие следы, но ныне от нее сохранилось лишь воспоминание, лишь несколько легенд да ворота Боде, или Бодуайе, Porta Bagauda Мало-помалу поток домов, беспрестанно выталкиваемый из сердца города, перехлестнул через ограду, источил, разрушил и стер ее. Филипп-Август воздвигает ему новую плотину. Он со всех сторон заковывает Париж в цепь толстых башен, высоких и прочных. В течение целого столетия дома жмутся друг к другу, скопляются и, словно вода в водоеме, все выше поднимают свой уровень в этом бассейне. Они растут в глубь дворов, громоздят этажи на этажи, карабкаются друг на друга, подобно сжатой жидкости, устремляются вверх, и только тот из них дышал свободно, кому удавалось поднять голову выше соседа. Улицы углубляются

и суживаются; площади застраиваются и исчезают. Наконец дома перескакивают через ограду Филиппа-Августа и весело, вольно, вкривь и вкось, как вырвавшиеся на свободу узники, рассыпаются по равнине. Они выкраивают в полях сады, устраиваются со всеми удобствами.

Начиная с 1367 года город до того разлился по предместьям, что для него потребовалась новая ограда, особенно на правом берегу. Ее возвел Карл V. Но такой город, как Париж, растет непрерывно. Только такие города и превращаются в столицы. Это воронки, куда ведут все географические, политические, моральные и умственные стоки страны, куда направлены все естественные склонности целого народа; это, так сказать, кладези цивилизации и в то же время каналы, куда, капля за каплей, век за веком, без конца просачиваются и где скапливаются торговля, промышленность, образование, население, – все, что плодоносно, все, что живительно, все, что составляет душу нации. Ограда Карла V разделила судьбу ограды Филиппа-Августа. С конца XV столетия дома перемахнули и через это препятствие, предместья устремились дальше. В XVI столетии эта ограда как бы все больше и больше подается назад в старый город, – до того разросся за нею новый. Таким образом, уже в XV веке, на котором мы и остановимся, Париж успел стереть три концентрических круга стен, зародышем которых во времена Юлиана Отступника были Гран-Шатле и Пти-Шатле.

Могучий город разорвал один за другим четыре пояса стен, – так дитя прорывает одежды, из которых оно выросло. При Людовике XI среди этого моря домов торчали кое-где группы полуразвалившихся башен, оставшиеся от древних оград, подобно остроконечным вершинам холмов во время наводнения, подобно островам старого Парижа, затопленным приливом нового города.

С тех пор, как это ни грустно, Париж вновь преобразился; но он преодолел всего только одну ограду, ограду Людовика XV, эту жалкую стену из грязи и мусора, достойную короля, построившего ее, и поэта, ее воспевшего.

В застенке стен Париж стенает.

В XV столетии Париж был разделен на три города, резко отличавшихся друг от друга, независимых, обладавших каждый своей физиономией, своим специальным назначением, своими нравами, обычаями, привилегиями, своей историей: Сите, Университет и Город. Сите, расположенный на острове, самый древний из них и самый незначительный по размерам, был матерью двух других городов, напоминая собою – да простится нам это сравнение – старушонку между двумя стройными красавицами-дочерьми. Университет занимал левый берег Сены, от башни Турнель до Нельской башни. В современном Париже этим местам соответствуют: одному – Винный рынок, другому – Монетный двор. Ограда его довольно широким полукругом вдалась в поле, на котором некогда Юлиан Отступник воздвиг свои термы. В ней находился и холм святой Женевьевы. Высшей точкой этой каменной дуги были Папские ворота, почти на том самом месте, где ныне расположен Пантеон. Город, самая обширная из трех частей Парижа, занимал правый берег Сены. Его набережная, обрывавшаяся, вернее, прерывавшаяся в нескольких местах, тянулась вдоль Сены, от башни Бильи до башни Буа, то есть от того места, где расположены теперь Провиантские склады, и до Тюильри. Эти четыре точки, в которых Сена перерезала ограду столицы, оставляя налево Турнель и Нельскую башню, а направо – башню Бильи и башню Буа, известны главным образом под именем «Четырех парижских башен». Город вдавался в поля еще дальше, чем Университет. Высшей точкой его ограды (возведенной Карлом V) были ворота Сен-Дени и Сен-Мартен, местоположение которых не изменилось до сих пор.

Как мы уже сказали, каждая из этих трех больших частей Парижа сама по себе являлась городом, но городом слишком узкого назначения, чтобы быть вполне законченным и обходиться без двух других. Поэтому и облик каждого из этих трех городов был совершенно своеобразен. В Сите преобладали церкви, в Городе – дворцы, в Университете – учебные заведения. Не касаясь второстепенных особенностей древнего Парижа и прихотливых законов дорожного ведомства, отметим в общих чертах, основываясь лишь на примерах

согласованности и однородности в этом хаосе городских судебных ведомств, что юридическая власть на острове принадлежала епископу, на правом берегу – торговому старшине, на левом – ректору. Верховная же власть над всеми принадлежала парижскому прево, то есть чиновнику королевскому, а не муниципальному. В Сите находился Собор Парижской Богоматери, в Городе – Лувр и Ратуша, в Университете – Сорбонна. В Городе помещался Центральный рынок, в Сите – госпиталь Отель-Дье, в Университете Пре-о-Клер. Проступки, совершаемые школярами на левом берегу, разбирались на острове во Дворце правосудия и карались на правом берегу, в Монфоконе, если только в дело не вмешивался ректор, знавший, что Университет – сила, а король слаб: школяры обладали привилегией быть повешенными у себя. (Заметим мимоходом, что большая часть этих привилегий – среди них встречались и более важные – была отторгнута у королевской власти путем бунтов и мятежей. Таков, впрочем, стародавний обычай: король тогда лишь уступает, когда народ вырывает. Есть старинная грамота, где очень наивно сказано по поводу верности подданных: Cluibui iidelitas in reges, quae lamen aliquoties seditiombus inierrupla, multa peperit privilegia.[43])

В XV столетии Сена омывала пять островов, расположенных внутри парижской ограды: Волчий остров, где в те времена росли деревья, а ныне продают дрова; остров Коровий и остров Богоматери – оба пустынные, если не считать двух-трех лачуг, и оба представлявшие собой ленные владения парижского епископа (в XVII столетии оба эти острова соединили, застроили и назвали островом святого Людовика); затем следовали Сите и примыкавший к нему островок Коровий перевоз, впоследствии исчезнувший под насыпью Нового моста. В Сите в то время было пять мостов: три с правой стороны – каменные мосты Богоматери и Менял и деревянный Мельничий мост; два с левой стороны – каменный Малый мост и деревянный Сен-Мишель; все они были застроены домами. Университет имел шесть ворот, построенных Филиппом-Августом; это были, начиная с башни Турнель, ворота Сен-Виктор, ворота Борделль, Папские, ворота СенЖак, Сен-Мишель и Сен-Жермен. Город имел также шесть ворот, построенных Карлом V; это были, начиная от башни Бильи, ворота Сент-Антуан, ворота Тампль, Сен-Мартен, Сен-Дени, ворота Монмартр, ворота Сент-Оноре. Все эти ворота были крепки и, что нисколько не мешало их прочности, красивы. Воды, поступавшие из Сены в широкий и глубокий ров, где во время зимнего половодья образовывалось сильное течение, омывали подножие городских стен вокруг всего Парижа. На ночь ворота запирались, реку на обоих концах города заграждали толстыми железными цепями, и Париж спал спокойно.

С высоты птичьего полета эти три части – Сите, Университет и Город представляли собою, каждая в отдельности, густую сеть причудливо перепутанных улиц. Тем не менее с первого взгляда становилось ясно, что эти три отдельные части города составляют одно целое. Можно было сразу разглядеть две длинные параллельные улицы, тянувшиеся беспрерывно, без поворотов, почти по прямой линии; спускаясь перпендикулярно к Сене и пересекая все три города из конца в конец, с юга на север, они соединяли, связывали, смешивали их и, неустанно переливая людские волны из ограды одного города в ограду другого, превращали три города в один. Первая из этих улиц вела от ворот Сен-Жак к воротам Сен-Мартен; в Университете она называлась улицею Сен-Жак, в Сите – Еврейским кварталом, а в Городе улицею Сен-Мартен; она дважды перебрасывалась через реку мостами Богоматери и Малым. Вторая называлась улицею Подъемного моста – на левом берегу, Бочарной улицею – на острове, улицею Сен-Дени – на правом берегу, мостом Сен-Мишель – на одном рукаве Сены, мостом Менял – на другом, и тянулась от ворот Сен-Мишель в Университете до ворот Сен-Дени в Городе. Словом, под всеми этими различными названиями скрывались все те же две улицы, улицы-матери, улицы-прародительницы, две артерии Парижа. Все остальные вены этого тройного города либо питались от них, либо в них вливались.

Независимо от этих двух главных поперечных улиц, прорезавших Париж из края в край, во всю его ширину, и общих для всей столицы, Город и Университет, каждый в отдельности, имели свою собственную главную улицу, которая тянулась параллельно Сене и пересекала под

прямым углом обе «артериальные» улицы. Таким образом, в Городе от ворот Сент-Антуан можно было по прямой линии спуститься к воротам Сент-Оноре, а в Университете от ворот СенВиктор к воротам Сен-Жермен. Эти две большие дороги, скрещиваясь с двумя упомянутыми выше, представляли собою ту основу, на которой покоилась всюду одинаково узловатая и густая, подобно лабиринту, сеть парижских улиц. Пристально вглядываясь в сливающийся рисунок этой сети, можно было различить, кроме того, как бы два пучка, расширяющихся один в сторону Университета, другой – в сторону Города; две связки больших улиц, которые шли, разветвляясь, от мостов к воротам.

Кое-что от этого геометрального плана сохранилось и доныне.

Какой же вид представлял город в целом с высоты башен Собора Парижской Богоматери в 1482 году? Вот об этом-то мы и попытаемся рассказать.

Запыхавшийся зритель, взобравшийся на самый верх собора, прежде всего был бы ослеплен зрелищем расстилавшихся внизу крыш, труб, улиц, мостов, площадей, шпилей, колоколен. Его взору одновременно представились бы: резной щипец, остроконечная кровля, башенка, повисшая на углу стены, каменная пирамида XI века, шиферный обелиск XV века, круглая гладкая башня замка, четырехугольная узорчатая колокольня церкви – и большое и малое, и массивное и воздушное. Его взор долго блуждал бы, проникая в глубины этого лабиринта, где все было отмечено своеобразием, гениальностью, целесообразностью и красотой; все было порождением искусства, начиная с самого маленького домика с расписным и лепным фасадом, наружными деревянными креплениями, с низкой аркой двери, с нависшими над ним верхними этажами и кончая величественным Лувром, окруженным в те времена колоннадой башен. Назовем главные массивы зданий, которые вы прежде всего различите, освоившись в этом хаосе строений.

Прежде всего Сите. «Остров Сите, – говорит Соваль, у которого среди пустословия временами встречаются удачные выражения, – напоминает громадное судно, завязшее в тине и отнесенное ближе к середине Сены». Мы уже объясняли, что в XV столетии это «судно» было пришвартовано к обоим берегам реки пятью мостами. Эта форма острова, напоминающая корабль, поразила также и составителей геральдических книг. По словам Фавена и Паскье, только благодаря этому сходству, а вовсе не вследствие осады норманнов, на древнем гербе Парижа изображено судно. Для человека, умеющего в нем разбираться, герб – алгебра, герб – язык. Вся история второй половины средних веков запечатлена в геральдике, подобно тому, как история первой их половины выражена в символике романских церквей. Это иероглифы феодализма, заменившие иероглифы теократии.

Итак, первое, что бросалось в глаза, был остров Сите, обращенный кормою на восток, а носом на запад. Став лицом к носу корабля, вы различали перед собою рой старых кровель, над которыми круглилась широкая свинцовая крыша Сент-Шапель, похожая на спину слона, отягощенного своей башенкой. Но здесь этой башенкой был самый дерзновенный, самый отточенный, самый филигранный, самый прозрачный шпиль, сквозь кружевной конус которого когда-либо просвечивало небо. Перед Собором Парижской Богоматери со стороны паперти расстилалась великолепная площадь, застроенная старинными домами, с вливающимися в нее тремя улицами. Южную сторону этой площади осенял весь изборожденный морщинами, угрюмый фасад госпиталя Отель-Дье с его словно покрытой волдырями и бородавками кровлей. Далее направо, налево, к востоку, к западу в этом сравнительно тесном пространстве Сите вздымались колокольни двадцати одной церкви разных эпох, разнообразных стилей, всевозможных размеров, от приземистой, источенной червями романской колоколенки Сен-Дени-дю-Па, career Glaucini, и до тонких игл церквей Сен-Пьероо-Беф и Сен-Ландри. Позади Собора Парижской Богоматери на севере раскинулся монастырь с его готическими галереями; на юге – полуроманский епископский дворец; на востоке – пустынный мыс Терен. В этом нагромождении домов можно было узнать по высоким каменным ажурным навесам, украшавшим в ту эпоху все, даже слуховые окна дворцов, особняк, поднесенный городом в дар

Ювеналу Дезюрсен при Карле VI; чуть подальше – просмоленные балаганы рынка Палюс; еще дальше – новые хоры старой церкви Сен-Жермен, удлиненные в 1458 году за счет улицы Фев; а еще дальше – то кишащий народом перекресток, то воздвигнутый на углу улицы вращающийся позорный столб, то остаток прекрасной мостовой Филиппа-Августа – великолепно вымощенную посреди улицы дорожку для всадников, так неудачно замененную в XVI веке жалкой булыжной мостовой, именовавшейся «Мостовою Лиги», то пустынный внутренний дворик с одной из тех сквозных башенок, которые пристраивались к дому для внутренней винтовой лестницы, как это было принято в XV веке, и образец которых еще и теперь можно встретить на улице Бурдоне. Наконец вправо от Сент-Шапель, к западу, на самом берегу реки, разместилась группа башен Дворца правосудия. Высокие деревья королевских садов, разбитых на западной оконечности Сите, застилали от взора островок Коровьего перевоза. Что касается воды, то с башен Собора Парижской Богоматери ее почти не было видно ни с той, ни с другой стороны: Сена скрывалась под мостами, а мосты под домами.

И если вы, минуя эти мосты, застроенные домами с зелеными кровлями, скоро заплесневевшими от водяных испарений, обращали взор влево, к Университету, то прежде всего вас поражал большой приземистый сноп башен Пти-Шатле, разверстые ворота которого, казалось, поглощали конец Малого моста; если же ваш взгляд устремлялся вдоль берега с востока на запад, от башни Турнель до Нельской, то перед вами длинной вереницей бежали здания с резными балками, с цветными оконными стеклами, с нависшими друг над другом этажами – нескончаемая ломаная линия островерхих кровель, то и дело перегрызаемая пастью какой-нибудь улицы, обрываемая фасадом или углом какого-нибудь большого особняка, непринужденно раскинувшегося своими дворами и садами, крылами и корпусами среди сборища теснящихся, жмущихся друг к другу домов, подобно знатному барину среди деревенщины.

Таких особняков на набережной было пять или шесть, от особняка де Лорен, разделившего с бернардинцами большое огороженное пространство по соседству с Турнель, и до особняка Нель, главная башня которого была рубежом Парижа, а остроконечные кровли три месяца в году прорезали своими черными треугольниками багряный диск заходящего солнца.

На этом берегу Сены было меньше торговых заведений, чем на противоположном; здесь больше толпились и шумели школяры, нежели ремесленники, и в сущности набережной в настоящем смысле этого слова служило лишь пространство от моста Сен-Мишель до Нельской башни. Остальная часть берега Сены была либо оголенной песчаной полосой, как по ту сторону владения бернардинцев, либо скопищем домов, подступавших к самой воде, между двумя мостами. Здесь постоянно слышался оглушительный гвалт прачек; с утра до вечера они кричали, болтали и пели вдоль всего побережья и звучно колотили вальками как и в наши дни. Это был веселый уголок Парижа.

Университетская сторона казалась сплошной глыбой. Это была однородная и плотная масса. Частые остроугольные, сросшиеся, почти одинаковые по форме кровли казались с высоты кристаллами одного и того же вещества. Прихотливо извивавшийся ров улиц разрезал почти на пропорциональные ломти этот пирог домов. Отовсюду видны были сорок два коллежа Университетской стороны, расположенные довольно равномерно. Разнообразные и забавные коньки крыш всех этих прекрасных зданий были произведением того же самого искусства, что и скромные кровли, над которыми они возвышались; в сущности они были не чем иным, как возведением в квадрат или в куб той же геометрической фигуры. Они усложняли целое, не нарушая его единства; дополняли, не обременяя его. Геометрия – та же гармония. Над живописными чердаками левого берега торжественно возвышались прекрасные особняки: ныне исчезнувшие Неверское подворье. Римское подворье, Реймское подворье и особняк Клюни, существующий еще и сейчас на радость художникам, хотя и без башни, которой его так безрассудно лишили несколько лет назад. Здание романского стиля, с прекрасными

сводчатыми арками, возле Клюни – это термы Юлиана. Здесь было также множество аббатств более смиренной красоты, более суровой величавости, но не менее прекрасных и не менее обширных Из них прежде всего останавливали внимание: Бернардинское аббатство с тремя колокольнями; монастырь святой Женевьевы, уцелевшая четырехугольная башня которого заставляет горько пожалеть об остальном; Сорбонна, полушкола, полумонастырь, от которого сохранился еще изумительный неф; красивый квадратной формы монастырь матюринцев; его сосед, монастырь бенедиктинцев, в ограду которого за время, протекшее между седьмым и восьмым изданием этой книги, на скорую руку успели втиснуть театр, Кордельерское аббатство с тремя громадными высящимися рядом пиньонами; Августинское аббатство, изящная стрелка которого поднималась на западной стороне этой части Парижа, вслед за Нельской башней. В ряду этих монументальных зданий коллежи, являющиеся, собственно говоря, соединительным звеном между монастырем и миром, по суровости, исполненной изящества, по скульптуре, менее воздушной, чем у дворцов, и архитектуре, менее строгой, чем у монастырей, занимали среднее место между особняками и аббатствами. К сожалению, теперь почти ничего не сохранилось от этих памятников старины, в которых готическое искусство с такой точностью перемежало пышность и умеренность. Над всем господствовали церкви (они были многочисленны и великолепны в Университете и также являли собою все эпохи зодчества, начиная с полукруглых сводов Сен-Жюльена и кончая стрельчатыми арками СенСеверина); как еще один гармонический аккорд, добавленный к ходу созвучий, они то и дело прорывали сложный узор пиньонов резными шпилями, сквозными колокольнями, тонкими иглами, линии которых были великолепным и увеличенным повторением остроугольной формы кровель.

Университетская сторона была холмистою. Холм святой Женевьевы на юго-восточной стороне вздувался, как огромный пузырь. Любопытное зрелище с высоты Собора Парижской Богоматери являло собой это множество узких и извилистых улиц (ныне Латинский квартал), эти грозди домов, разбросанных по всем направлениям на его вершине и в беспорядке, почти отвесно устремлявшихся по его склонам к самой реке: одни, казалось, падают, другие карабкаются наверх, и все цепляются друг за друга. От беспрерывного потока тысяч черных точек, двигавшихся на мостовой, рябило в глазах: это кишела толпа, еле различимая с такой высоты и на таком расстоянии.

Наконец в промежутках между этими кровлями, шпилями и выступами несчетного числа зданий, причудливо изгибавших, закручивавших и зазубривавших линию границы Университетской стороны, местами проглядывали часть толстой замшелой стены, массивная круглая башня, зубчатые городские ворота, изображавшие крепость, – то была ограда Филиппа-Августа. За ней зеленели луга, убегали дороги, вдоль которых тянулись последние дома предместий, все более и более редевшие, по мере того как они удалялись от города.

Некоторые из этих предместий имели довольно важное значение. Например, начиная от Турнель, предместье Сен-Виктор с его одноарочным мостом через Бьевр, с его аббатством, в котором сохранилась эпитафия Людовика Толстого – epitaphium Ludovici Grossi, с церковью, увенчанной восьмигранным шпилем, окруженным четырьмя колоколенками XI века (такой же точно можно видеть и до сих пор в Этампе, его еще не разрушили); далее – предместье СенМарсо, уже имевшее в то время три церкви и один монастырь; еще дальше, оставляя влево четыре белые стены мельницы Гобеленов, можно увидеть предместье Сен-Жак с чудесным резным распятием на перекрестке; потом – церковь Сен-Жак-дю-Го-Па, которая в то время была еще готической, остроконечной, прелестной; церковь Сен-Маглуар XIV века, прекрасный неф которой Наполеон превратил в сеновал; церковь НотрДам-де-Шан с византийской мозаикой. Наконец, минуя стоящий в открытом поле картезианский монастырь – роскошное здание, современное Дворцу правосудия, с множеством палисадничков, и пользующиеся дурной славой руины Вовера, глаз встречал на западе три романские стрелы церкви Сен-Жермен-де-Пре. Позади этой церкви начиналось Сен-Жерменское предместье, бывшее в то время уже большой общиной и состоявшее из пятнадцати – двадцати улиц. На одном из углов

предместья высилась островерхая колокольня Сен-Сюльпис. Тут же рядом можно было разглядеть четырехстенную ограду Сен-Жерменской ярмарочной площади, где ныне расположен рынок; затем – вертящийся позорный столб, принадлежавший аббатству, красивую круглую башенку под свинцовым конусообразным куполом; еще дальше – черепичный завод и Пекарную улицу, ведшую к общественной хлебопекарне, мельницу на пригорке и больницу для прокаженных – домик на отлете, которого сторонились. Но особенно привлекало взор и надолго приковывало к себе аббатство Сен-Жермен. Этот монастырь, производивший внушительное впечатление и как церковь и как господское поместье, этот дворец духовенства, в котором парижские епископы считали за честь провести хотя бы одну ночь, его трапезная, которая благодаря стараниям архитектора по облику, красоте и великолепному окну-розетке напоминала собор, изящная часовня во имя божьей матери, огромный спальный покой, обширные сады, опускная решетка, подъемный мост, зубчатая ограда на зеленом фоне окрестных лугов, дворы, где среди отливавших золотом кардинальских мантий сверкали доспехи воинов, – все это сомкнутое и сплоченное вокруг трех высоких романских шпилей, прочно утвержденных на готическом своде, вставало на горизонте великолепной картиной.

Когда, наконец, вдосталь насмотревшись на Университетскую сторону, вы обращались к правому берегу, к Городу, панорама резко менялась. Город, хотя и более обширный, чем Университет, не представлял такого единства. С первого же взгляда нетрудно было заметить, что он распадается на несколько совершенно обособленных частей. Та часть Города на востоке, которая и теперь еще называется «Болотом» (в память о том болоте, куда Камюложен завлек Цезаря), представляла собою скопление дворцов. Весь этот квартал тянулся до самой реки. Четыре почти смежных особняка – Жуй, Сане, Барбо и особняк королевы – отражали в водах Сены свои шиферные крыши, прорезанные стройными башенками. Эти четыре здания заполняли все пространство от улицы Нонендьер до аббатства целестинцев, игла которого изящно оттеняла линию их зубцов и коньков. Несколько позеленевших от плесени лачуг, нависших над водой перед этими роскошными особняками, не мешали разглядеть прекрасные линии их фасадов, их широкие квадратные окна с каменными переплетами, их стрельчатые портики, уставленные статуями, четкие грани стен из тесаного камня и все те очаровательные архитектурные неожиданности, благодаря которым кажется, будто готическое зодчество в каждом памятнике прибегает к новым сочетаниям. Позади этих дворцов, разветвляясь по всем направлениям, то в продольных пазах, то в виде частокола и вся в зубцах, как крепость, то прячась, как загородный домик, за раскидистыми деревьями, тянулась бесконечная причудливая ограда удивительного дворца Сен-Поль, в котором могли свободно и роскошно разместиться двадцать два принца королевской крови, таких, как дофин и герцог Бургундский, с их слугами и с их свитой, не считая знатных вельмож и императора, когда тот посещал Париж, а также львов, которым были отведены особые палаты в этом королевском дворце. Заметим, что в то время помещение царственной особы состояло не менее чем из одиннадцати покоев, от парадного зала и до молельной, не считая галерей, бань, ванных и иных относящихся к нему «подсобных» комнат; не говоря об отдельных садах, отводимых для каждого королевского гостя; не говоря о кухнях, кладовых, людских, общих трапезных, задних дворах, где находились двадцать два главных служебных помещения, от хлебопекарни и до винных погребов; не говоря о залах для разнообразных игр – в шары, в мяч, в обруч, о птичниках, рыбных садках, зверинцах, конюшнях, стойлах, библиотеках, оружейных палатах и кузницах. Вот что представлял собою тогда королевский дворец, будь то Лувр или Сен-Поль. Это был город в городе.

С той башни, на которой мы стоим, дворец СенПоль, полузакрытый от нас четырьмя упомянутыми большими зданиями, был еще очень внушителен и представлял собой чудесное зрелище. В нем легко можно было различить три особняка, которые Карл пристроил к своему дворцу, хотя они и были искусно связаны с главным зданием при помощи ряда длинных

галерей с расписными окнами и колонками. Это были: особняк Пти-Мюс с резной балюстрадой, изящно окаймлявшей его крышу; особняк аббатства Сен-Мор, имевший вид крепости, с массивной башней, бойницами, амбразурами, небольшими железными бастионами и гербом аббатства на широких саксонских воротах, между двух выемок для подъемного моста; особняк графа д'Этамп, с разрушенной вышкой круглой замковой башни, зазубренной, как петушиный гребень; местами три-четыре вековых дуба образовывали купы, наподобие огромных кочанов цветной капусты; в прозрачных водах сажалок, переливавшихся светом и тенью, глаз подмечал вольные игры лебедей; а дальше – множество дворов, живописную глубину которых можно было разглядеть, Львиный дворец с низкими сводами на приземистых саксонских столбах, с железными решетками, из-за которых постоянно слышалось рычанье, а над всем этим вздымалась чешуйчатая стрела церкви Благовещенья. Слева находилось жилище парижского прево, окруженное четырьмя башенками тончайшей резьбы. В середине, в глубине, находился дворец Сен-Поль со всеми его размножившимися фасадами, с постепенными приращениями со времен Карла V, этими смешанного стиля наростами, которыми в продолжение двух веков обременяла его фантазия архитекторов, со сводчатыми алтарями его часовен, коньками его галерей, с множеством флюгеров на все четыре стороны и двумя высокими башнями, конические крыши которых, окруженные у основания зубцами, напоминали остроконечные шляпы с приподнятыми полями.

Продолжая подниматься ступень за ступенью по этому простиравшемуся в отдалении амфитеатру дворцов и преодолев глубокую лощину, словно вырытую среди кровель Города и обозначавшую улицу СентАнтуан, ваш взор достигал наконец Ангулемского подворья – обширного строения, созданного усилиями нескольких эпох, в котором новые, незапятнанной белизны части столь же мало шли к целому, как красная заплата к голубой мантии. Тем не менее до странности остроконечная и высокая крыша нового дворца щетинившаяся резными желобами, покрытая свинцовыми полосами, на которых множеством фантастических арабесок вились искрящиеся инкрустации из позолоченной меди, – эта крыша, столь своеобразно изукрашенная, грациозно возносилась над бурыми развалинами старинного дворца, толстые башни которого, раздувшиеся от времени, словно бочки, осевшие от ветхости и треснувшие сверху донизу, напоминали толстяков с расстегнувшимися на брюхе жилетами. Позади этого здания высился лес стрел дворца Ла-Турнель. Ничто в мире, ни Альгамбра, ни Шамборский замок, не могло представить более волшебного, более воздушного, более чарующего зрелища, чем этот высокоствольный лес стрел, колоколенок, дымовых труб, флюгеров, спиральных и винтовых лестниц, сквозных, словно изрешеченных пробойником бельведеров, павильонов, веретенообразных башенок, или, как их тогда называли, «вышек» всевозможной формы, высоты и расположения. Все это походило на гигантскую каменную шахматную доску.

Направо от Ла-Турнель ершился пук огромных иссиня-черных башен, вставленных одна в другую и как бы перевязанных окружавшим их рвом. Эта башня, в которой было прорезано больше бойниц, чем окон, этот вечно вздыбленный подъемный мост, эта вечно опущенная решетка, все это – Бастилия. Эти торчащие между зубцами подобия черных клювов, что напоминают издали дождевые желоба – пушки.

Под жерлами, у подножия чудовищного здания – ворота Сент-Антуан, заслоненные двумя башнями.

За Ла-Турнель, вплоть до самой ограды, воздвигнутой Карлом V, расстилался, весь в богатых узорах зелени и цветов, бархатистый ковер королевских полей и парков, в центре которого по лабиринту деревьев и аллей можно было различить знаменитый сад Дедала, который Людовик подарил Куактье. Обсерватория этого медика возвышалась над лабиринтом, словно одинокая мощная колонна с маленьким домиком на месте капители. В этой лаборатории составлялись страшные гороскопы.

Ныне на том месте Королевская площадь.

Как мы уже упоминали, дворцовый квартал, о котором мы старались дать понятие читателю, отметив, впрочем, лишь наиболее примечательные строения, заполнял угол, образуемый на востоке оградою Карла V и Сеною. Центр Города был загроможден жилыми домами. Как раз к этому месту выходили все три моста правобережного Города, а возле мостов жилые дома появляются прежде чем дворцы. Это скопление жилищ, лепящихся друг к другу, словно ячейки в улье, не лишено было своеобразной красоты. Кровли большого города подобны морским волнам: в них есть какое-то величие. В сплошной их массе пересекавшиеся, перепутавшиеся улицы образовывали сотни затейливых фигур. Вокруг рынков они напоминали звезду с великим множеством лучей. Улицы Сен-Дени и СенМартен со всеми их бесчисленными разветвлениями поднимались рядом, как два мощных сплетшихся дерева. И через весь этот узор змеились Штукатурная, Стекольная, Ткацкая и другие улицы. Окаменевшую зыбь моря кровель местами прорывали прекрасные здания. Одним из них была башня Шатле, высившаяся в начале моста Менял, за которым, под колесами Мельничного моста, пенились воды Сены; это была уже не римская башня времен Юлиана Отступника, а феодальная башня XIII века, сооруженная из столь крепкого камня, что за три часа работы молоток каменщика мог продолбить его не больше чем на пять пальцев в глубину К ним относилась и нарядная квадратная колокольня церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри, углы которой скрадывались скульптурными украшениями, восхитительная уже в XV веке, хотя она тогда еще не была закончена. В частности, ей тогда недоставало тех четырех чудовищ, которые, взгромоздившись впоследствии на углы ее крыши, кажутся еще и сейчас четырьмя сфинксами, загадавшими новому Парижу загадку старого Парижа; ваятель Ро установил их в 1526 году, получив за свой труд двадцать франков. Таков был и «Дом с колоннами», выходивший фасадом на Гревскую площадь, о которой мы уже дали некоторое представление нашему читателю. Далее – церковь СенЖерве, впоследствии изуродованная порталом «хорошего вкуса», церковь Сен-Мери, древние стрельчатые своды которой еще почти не отличались от полукруглых; церковь Сен-Жан, великолепный шпиль которой вошел в поговорку, и еще десятки памятников, которые не погнушались укрыть свои чудеса в хаосе темных, узких и длинных улиц Прибавьте к этому каменные резные распятия, которыми еще больше, чем виселицами, изобиловали перекрестки; кладбище Невинных, художественная ограда которого видна была издали за кровлями; вертящийся позорный столб над кровлями Центрального рынка с его верхушкой, выступавшей между двух дымовых труб Виноградарской улицы; лестницу, поднимавшуюся к распятию Круа-дю-Трауар, на перекрестке того же названия, где вечно кишел народ; кольцо лачуг Хлебного рынка; остатки древней ограды Филиппа-Августа, затерявшиеся среди массы домов; башни, словно изглоданные плющом, развалившиеся ворота, осыпающиеся, бесформенные куски стен; набережную с множеством лавчонок и залитыми кровью живодернями; Сену, покрытую судами от Сенной гавани и до самой Епископской тюрьмы, – вообразите себе все это, и вы будете иметь смутное понятие о том, что представляла собою в 1482 году имеющая форму трапеции центральная часть Города.

Кроме этих двух кварталов, застроенных – один дворцами, другой домами, третьей частью панорамы правого берега был длинный пояс аббатств, охватывавший почти весь Город с востока на запад и образовавший позади крепостных стен, замыкавших Париж, вторую внутреннюю ограду из монастырей и часовен. Близ парка Турнель, между улицей Сент-Антуан и старой улицей Тампль, расположен был монастырь святой Екатерины, с его необозримым хозяйством, кончавшимся лишь у городской стены Парижа. Между старой и новой улицами Тампль находилось аббатство Тампль – зловещая, высокая, обособленная громада башен за огромной зубчатой оградой. Между новой улицей Тампль и Сен-Мартен было аббатство Сен-Мартен – великолепно укрепленный монастырь, расположенный среди садов; опоясывающие его башни и венцы его колоколен по мощи и великолепию уступали разве лишь церкви Сен-Жермен-де-Пре. Между улицами СенДени и Сен-Мартен шла ограда аббатства Пресвятой троицы. А далее, между улицами Сен-Дени и Монторгейль, было аббатство Христовых невест.

Рядом с ним виднелись прогнившие кровли и полуразрушенная ограда Двора чудес – единственное мирское звено в благочестивой цепи монастырей.

Наконец четвертой частью Города, четко выделявшейся среди скопления кровель правого берега и занимавшей западный угол городской стены и весь берег вниз по течению реки, был новый узел дворцов и особняков, теснившихся у подножия Лувра. Древний Лувр Филиппа-Августа – колоссальное здание, главная башня которого объединяла двадцать три мощных башни, окружавших ее, не считая башенок, – издали казался как бы втиснутым между готическими фронтонами особняка Алансон и Малого Бурбонского дворца. Эта многобашенная гидра, исполинская хранительница Парижа, с ее неизменно настороженными двадцатью четырьмя головами, с ее чудовищными свинцовыми и чешуйчатыми шиферными спинами, отливавшими металлическим блеском, великолепно завершала очертания Города с западной стороны.

Итак, Город представлял собою огромный квартал жилых домов, – то, что римляне называли insula, – имевший по обе стороны две группы дворцов, увенчанных – одна Лувром, другая – Турнель, и ограниченный на севере длинным поясом аббатств и огородов; взгляду все это представлялось слитным и однородным целым. Над множеством зданий, черепичные и шиферные кровли которых вычерчивались одни на фоне других причудливыми звеньями, вставали резные, складчатые, узорные колокольни сорока четырех церквей правого берега. Мириады улиц пробивались сквозь толщу этого квартала. И пределами его с одной стороны служила ограда из высоких стен с четырехугольными башнями (башни ограды Университета были круглые), а с другой перерезаемая мостами Сена с множеством идущих по ней судов. Таков был Город в XV веке.

За городскими стенами к самым воротам жались предместья, но отнюдь не столь многочисленные и более разбросанные, нежели на Университетской стороне. Здесь было десятка два лачуг, скучившихся за Бастилией вокруг странных изваяний Круа-Фобен и упорных арок аббатства Сент-Антуан-де-Шан; далее шел затерявшийся средь нив Попенкур; за ним веселенькая деревенька Ла-Куртиль с множеством кабачков; городок Сен-Лоран с церковью, колокольня которой сливалась вдали с остроконечными башнями ворот Сен-Мартен; предместье Сен-Дени с обширной оградой монастыря Сен-Ладр; за Монмартрскими воротами белели стены, окружавшие Гранж-Бательер; за ними тянулись меловые откосы Монмартра, где в то время было почти столько же церквей, сколько мельниц, и где теперь уцелели только мельницы, ибо современное общество требует лишь пищи телесной. Наконец за Лувром виднелось уходившее в луга предместье Сент-Оноре, уже и в то время весьма обширное; дальше зеленело селение Малая Бретань и раскидывался Свиной рынок с круглившейся посредине ужасной печью, в которой когда-то варили заживо фальшивомонетчиков. Между предместьями Куртиль и Сен-Лоран вы уж, верно, приметили на вершине холма, среди пустынной равнины, здание, издали походившее на развалины колоннады с рассыпавшимся основанием. То был не Парфенон, не храм Юпитера Олимпийского, – то был Монфокон.

Теперь, если только перечисление такого множества зданий, хотя мы и старались сделать его по возможности кратким, не раздробило окончательно в сознании читателя общего представления о старом Париже, который мы старались воссоздать, повторим в нескольких словах наиболее существенное.

В центре – остров Сите, напоминающий исполинскую черепаху, высунувшую наподобие лап свои мосты в чешуе кровельных черепиц из-под серого щита крыш. Налево – как бы высеченная из цельного куска трапеция Университета, вздыбленная, крепко сбитая; направо – обширный полукруг Города с многочисленными садами и памятниками. Сите, Университет и Город – все эти три части Парижа – испещрены множеством улиц. Поперек протекает Сена, «кормилица Сена», как называет ее дю Брель, со всеми ее островами, мостами и судами. Вокруг простирается бескрайняя равнина, пестреющая заплатами нив, усеянная прелестными деревушками; налево – Исси, Ванвр, Вожирар, Монруж, Жантильи с его круглой и

четырехугольной башнями, и т. д.; направо еще двадцать сеянии, начиная с Конфлана и кончая Виль-л'Эвек. На горизонте тянется круглая кайма холмов, напоминающих стенки бассейна. Наконец далеко-далеко на востоке – Венсен с семью четырехгранными башнями; на кие – островерхие башенки Бисетра; на севере игла Сен-Дени, а на западе – Сен-Клу и его крепостная башня Вот Париж, которым с высоты башен Собора Парижской Богоматери любовались вороны в 1482 году. Однако именно об этом городе Вольтер сказал, что «до Людовика XIV в нем было всего четыре прекрасных памятника»: купол Сорбонны, Валь-де-Грас, новый Лувр и какой-то четвертый, возможно – Люксембург. Но, к счастью, Вольтер написал Кандида и остался среди длинной вереницы людей, сменявших друг друга в бесконечном ряду поколений, непревзойденным мастером сатанинского смеха. Это доказывает, впрочем, лишь то, что можно быть гением, но ничего не понимать в чуждом ему искусстве. Ведь вообразил же Мольер, что оказал большую честь Рафаэлю и Микеланджело, назвав их «Миньярами своего времени».

Однако вернемся к Парижу и к XV столетию.

Он был в те времена не только прекрасным городом, но и городом-монолитом, произведением искусства и истории средних веков, каменной летописью. Это был город, архитектура которого сложилась лишь из двух слоев – слоя романского и слоя готического, ибо римский слой давно исчез, исключая лишь термы Юлиана, где он еще пробивался сквозь толстую кору средневековья. Что касается кельтского слоя, то его образцов уже не находили даже при рытье колодцев.

Пятьдесят лет спустя, когда эпоха Возрождения примешала к этому строгому и вместе с тем разнообразному единству блистательную роскошь своей фантазии и архитектурных систем, оргию римских полукруглых сводов, греческих колонн и готических арок, свою изящную и совершенную скульптуру, свое пристрастие к арабескам и акантам, свое архитектурное язычество, современное Лютеру, – Париж предстал перед нами, быть может, еще более прекрасным, хотя и менее гармоничным для глаза и умственного взора. Но это великолепие не было продолжительным. Эпоха Возрождения оказалась недостаточно беспристрастной: ее не удовлетворяло созидание – она хотела ниспровергать. Правда, она нуждалась в свободном пространстве. Вот почему вполне готическим Париж был лишь одно мгновение. Еще не закончив церкви Сен-Жак-де-лаБушри, уже начали сносить старый Лувр.

С тех пор великий город изо дня в день утрачивал свой облик. Париж готический, под которым изглаживался Париж романский, исчез в свою очередь. Но можно ли сказать, какой Париж заменил его?

Существует Париж Екатерины Медичи – в Тюильри[44], Париж Генриха II – в ратуше, оба эти здания еще выдержаны в строгом вкусе; Париж Генриха IV – это Королевская площадь: кирпичные фасады с каменными углами и шиферными кровлями, трехцветные дома, Париж Людовика XIII – в Валь-де-Грас: приплюснутость, приземистость, линия сводов напоминает ручку корзины, колонны кажутся пузатыми, купола горбатыми; Париж Людовика XIV – в Доме инвалидов, громоздком, пышном, позолоченном и холодном; Париж Людовика XV – в церкви Сен-Сюльпис: завитки, банты, облака, червячки, листья цикория – все высечено из камня, Париж Людовика XVI – в Пантеоне, плохой копии с собора св. Петра в Риме (к тому же здание как-то нескладно осело, что отнюдь его не украсило); Париж времен Республики – в Медицинской школе: это убогое подражание римлянам и грекам, столь же напоминающее Колизей или Парфенон, как конституция III года напоминает законы Миноса, – в истории зодчества этот стиль называют «стилем мессидора»; Париж Наполеона – на Вандомской площади: бронзовая колонна, отлитая из пушек, действительно великолепна; Париж времен Реставрации – в Бирже; это очень белая колоннада, поддерживающая очень гладкий фриз, а все вместе взятое представляет собой четырехугольник, стоивший двадцать миллионов.

С каждым из этих характерных для эпохи памятников связаны сходством стиля, формы и расположения некоторые здания, рассеянные по разным кварталам; глаз знатока сразу

отметит их и безошибочно определит время их возникновения. Кто умеет видеть, тот даже по ручке дверного молотка сумеет восстановить дух века и облик короля.

Таким образом, у Парижа наших дней нет определенного лица. Это собрание образцов зодчества нескольких столетий, причем лучшие из них исчезли. Столица растет лишь за счет зданий, но каких зданий! Если так пойдет дальше, Париж будет обновляться каждые пятьдесят лет. Поэтому историческое значение его зодчества с каждым днем падает. Все реже и реже встречаются памятники; жилые дома словно затопляют и поглощают их. Наши предки обитали в каменном Париже, наши потомки будут обитать в Париже гипсовом. Что же касается новых памятников современного Парижа, то мы воздержимся судить о них. Это не значит, что мы не отдаем им должного. Церковь св. Женевьевы, создание Суфло, несомненно является одним из самых удачных савойских пирогов, которые когда-либо выпекались из камня. Дворец Почетного легиона тоже очень изысканное пирожное. Купол Хлебного рынка поразительно похож на фуражку английского жокея, насаженную на длинную лестницу. Башни церкви Сен-Сюльпис напоминают два больших кларнета, чем это хуже чего-нибудь другого? – а кривая, жестикулирующая вышка телеграфа на их крыше вносит приятное разнообразие. Портал церкви св. Роха своим великолепием равен лишь порталу церкви св. Фомы Аквинского. Он также обладает рельефным изображением Голгофы, помещенным в углублении, и солнцем из позолоченного дерева. И то и другое совершенно изумительно! Фонарь лабиринта Ботанического сада также весьма замысловат. Что касается дворца Биржи, с греческой колоннадой, римскими дугообразными окнами и дверьми и большим, низким сводом эпохи Возрождения, то в целом это, несомненно, вполне законченный и безупречный памятник зодчества: доказательством служит невиданная и в Афинах аттическая надстройка, прекрасную и строгую линию коей местами грациозно пересекают печные грубы. Заметим кстати, что если облик здания должен соответствовать его назначению и если это назначение должно само о себе возвещать одним лишь характером постройки, то нельзя не восхищаться памятником, который может служить и королевским дворцом и палатой общин, городской ратушей и учебным заведением, манежем и академией, складом товаров и зданием суда, музеем и казармами, гробницей, храмом и театром. Но пока это лишь Биржа. Кроме того, каждое здание должно быть приноровлено к известному климату. Очевидно, здание Биржи, словно по заказу, создано специально для нашего хмурого и дождливого неба. Его крыша почти плоская, как на Востоке, поэтому зимой, во время снегопада, ее подметают. Конечно, крыши для того и возводятся, чтобы их подметать. А своему назначению вполне соответствует: оно с таким же успехом служит во Франции биржей, с каким в Греции могло бы быть храмом. Правда, зодчему немалого труда стоило скрыть циферблат часов, который нарушил бы чистоту прекрасных линий фасада, но зато осталась опоясывающая здание колоннада, под сенью которой в торжественные дни церковных праздников может величественно продефилировать депутация от биржевых маклеров и менял.

Все это, несомненно, великолепные памятники. К ним можно еще добавить множество красивых, веселых и разнообразных улиц вроде улицы Риволи, и я не теряю надежды, что когда-нибудь вид Парижа с воздушного шара явит то богатство линий, то изобилие деталей, то многообразие, то не поддающееся определению грандиозное в простом и неожиданное в прекрасном, что отличает шахматную доску.

Но каким бы прекрасным вам ни показался современный Париж, восстановите Париж XV столетия, воспроизведите его в памяти; посмотрите на белый свет сквозь удивительный лес шпилей, башен и колоколен; разлейте по необъятному городу Сену, всю в зеленых и желтых переливах, более изменчивую, чем змеиная кожа, вбейте в нее клинья островов, сожмите арками мостов; четко вырежьте на голубом горизонте готический профиль старого Парижа; заставьте в зимнем тумане цепляющемся за бесчисленные трубы, колыхаться его очертания; погрузите город в глубокий ночной мрак и полюбуйтесь прихотливой игрой теней и света в мрачном лабиринте зданий; бросьте на него лунный луч, который неясно обрисует его и

выведет из тумана большие головы башен, или, не тронув светом этот черный силуэт, углубите тени на бесчисленных спорых углах шпилей и коньков и заставьте его внезапно выступить более зубчатым, чем пасть акулы, на медном небе заката. А теперь сравните.

Если же вы захотите получить от старого города впечатление, которого современный Париж вам уже дать не может, то при восходе солнца, утром в день большого праздника, на Пасху или на Троицу, взойдите на какое-нибудь высокое место, где бы столица была у вас перед глазами, и дождитесь пробуждения колоколов. Вы увидите, как по сигналу, данному с неба, – ибо подает его солнце, – сразу дрогнут тысячи церквей. Сначала это редкий, перекидывающийся с одной церкви на другую перезвон, словно оркестранты предупреждают друг друга о начале. Затем вы внезапно увидите, – иногда и ухо обретает зрение, – увидите, как от каждой звонницы вздымается как бы колонна звуков, облако гармонии. Сначала голос каждого колокола, поднимающийся в яркое утреннее небо, чист и поет как бы отдельно от других. Потом, мало-помалу усиливаясь, голоса растворяются один в другом: они смешиваются, они сливаются, они звучат согласно в великолепном оркестре. Теперь это лишь густой поток звучащих колебаний, непрерывно изливающийся из бесчисленных колоколен; он плывет, колышется, подпрыгивает, кружится над городом и далеко разносит оглушительные волны своих раскатов.

А между тем это море созвучий отнюдь не хаотично. Несмотря на всю свою ширину и глубину, о, но не утрачивает прозрачности; вы различаете, как из каждой звонницы змеится согласный подбор колоколов: вы можете расслышать диалог степенного большого колокола и крикливого тенорового; вы различаете, как с одной колокольни на другую перебрасываются октавы; вы видите, как они возносятся, легкие, окрыленные, пронзительные, источаемые серебряным колоколом, и как грузно падают разбитые, фальшивые октавы деревянного; вы наслаждаетесь богатой скользящей то вверх, то вниз гаммой семи колоколов церкви св. Евстафия; вы видите, как в эту гармонию вдруг невпопад врывается несколько ясных стремительных ноток и как, промелькнув тремя-четырьмя ослепительными зигзагами, они гаснут, словно молния. Там запевает аббатство Сен-Мартен, – голос этого певца резок и надтреснут; ближе, в ответ ему, слышен угрюмый, зловещий голос Бастилии; с другого конца к вам доносится низкий бас мощной башни Лувра. Величественный хор колоколов Дворца правосудия шлет непрерывно во все концы лучезарные трели, на которые через одинаковые промежутки падают тяжкие удары набатного колокола Собора Парижской Богоматери, и трели сверкают, точно искры на наковальне под ударами молота Порою до вас доносится в разнообразных сочетаниях звон тройного набора колоколов церкви Сен-Жермен-де-Пре. Время от времени это море божественных звуков расступается и пропускает быструю, резкую музыкальную фразу с колокольни церкви Благовещенья, и, разлетаясь, она сияет, как гроздь звездных алмазов. И смутно, приглушенно, из самых недр оркестра еле слышно доносится церковное пение, которое словно испаряется сквозь поры сотрясаемых звуками сводов.

Эту оперу стоит послушать. Слитный гул, обычно стоящий над Парижем днем, – это говор города; ночью – это его дыхание; а сейчас – город поет. Прислушайтесь же к этому хору колоколов; присоедините к нему говор полумиллионного населения, извечный ропот реки, непрерывные вздохи ветра, торжественный отдаленный квартет четырех лесов, раскинувшихся по гряде холмов на горизонте подобно исполинским трубам органов; смягчите этой полутенью то, что в главной партии оркестра звучит слишком хрипло и слишком резко, и скажите – есть ли в целом мире чтонибудь более пышное, более радостное, более прекрасное и более ослепительное, чем это смятение колоколов и звонниц; чем это горнило музыки; чем эти десять тысяч медных голосов, льющихся одновременно из каменных флейт высотою в триста футов; чем этот город, превратившийся в оркестр, чем эта симфония, гудящая, словно буря.

Книга четвертая

I. Добрые души

За шестнадцать лет до описываемого нами события, в одно погожее воскресное утро на Фоминой неделе, после обедни, в деревянные ясли, вделанные в паперть Собора Парижской Богоматери, с левой стороны, против исполинского изображения святого Христофора, на которое с 1413 года взирала коленопреклоненная каменная статуя мессира Антуана Дезесара до того времени, пока не додумались сбросить и святого и верующего, было положено живое существо. По давнему обычаю на это деревянное ложе клали подкидышей, взывая к общественному милосердию. Отсюда каждый, кто хотел, мог взять его на призрение. Перед яслями стояла медная чаша для пожертвований.

Подобие живого существа, которое покоилось в утро Фомина воскресенья 1467 года от Рождества Христова на этой доске, возбуждало сильнейшее любопытство довольно внушительной группы зрителей, столпившихся около яслей. В группе преобладали особы прекрасного пола, преимущественно – старухи.

Впереди, склонившись ниже всех над яслями, стояли четыре женщины. Судя по их серым платьям монашеского покроя, они принадлежали к одной из благочестивых общин. Я не вижу причин, почему бы истории не увековечить для потомства имена этих четырех скромных и почтенных особ. Это были Агнеса ла Герм, Жеанна де ла Тарм, Генриетта ла Готьер и Гошера ла Виолет. Все четыре были вдовы, все четыре – добрые души из братства Этьен-Одри, вышедшие из дому с дозволения своей настоятельницы, чтобы послушать проповедь согласно уставу Пьера д'Эльи.

Впрочем, если в эту минуту славные сестры страннoприимного братства и соблюдали устав Пьера д'Эльи, то они, несомненно, с легким сердцем нарушали устав Мишеля де Браш и кардинала Пизанского, бесчеловечно предписывающий им молчание.

– Что это такое, сестрица? – спросила Агнеса у Гошеры, рассматривая крошечное существо, которое пищало и ежилось в яслях, испугавшись множества устремленных на него глаз.

– Что только с нами станется, если начали производить на свет таких детей! – воскликнула Жеанна.

– Я мало что смыслю в младенцах, – заметила Агнеса, – но уверена, что на этого и глядеть-то грешно.

– Это вовсе не младенец, Агнеса.

– Это полуобезьяна, – сказала Гошера.

– Это знамение, – вставила Генриетта ла Готьер.

– В таком случае, – сказала Агнеса, – это уже третье начиная с воскресенья Крестопоклонной недели Ведь не прошло и недели, как случилось чудо с тем нечестивцем, которого божественною своею силою покарала богоматерь Обервилье за его насмешки над пилигримами, а то было второе чудо за последний месяц.

– Этот так называемый подкидыш просто гнусное чудовище, – сказала Жеанна.

– И так вопит, что оглушит певчего, – продолжала Гошера. – Да замолчишь ли ты наконец, ревун?

– И подумать только, что архиепископ Реймский посылает такого урода архиепископу Парижскому, – воскликнула ла Готьер, набожно сложив руки.

– По-моему, – сказала Агнеса ла Герм, – это животное, звереныш, словом, что-то нечестивое; его следует бросить либо в воду, либо в огонь.

– Надеюсь, никто не станет на него притязать, – сказала ла Готьер.

– Боже мой! – сокрушалась Агнеса. – Как мне жаль бедных кормилиц приюта для подкидышей, там на берегу, в конце улички, рядом с покоями епископа! Каково-то им будет, когда придется кормить это маленькое чудовище! Я бы предпочла дать грудь вампиру.

– Как она наивна, эта бедняжка ла Герм! – возразила Жеанна. – Да неужели вы не видите, сестра, что этому маленькому чудовищу по крайней мере четыре года и что ваша грудь покажется ему менее лакомой, чем кусок жаркого?

Действительно, это «маленькое чудовище» (назвать его как-нибудь иначе мы тоже не решаемся) не было новорожденным младенцем. Это был какой-то угловатый, подвижный комочек, втиснутый в холщовый мешок, помеченный инициалами Гильома Шартье, бывшего в то время парижским епископом. Из мешка торчала голова. Голова эта была безобразна. Особенно обращали на себя внимание копна рыжих волос, один глаз, рот и зубы. Из глаза текли слезы, рот орал, зубы, казалось, вот-вот в кого-нибудь вонзятся, а все тело извивалось в мешке к великому удивлению толпы, которая все росла и росла.

Госпожа Алоиза Гонделорье, богатая и знатная женщина, державшая за руку хорошенькую девочку лет шести и волочившая за собой длинный вуаль, прикрепленный к золотому рогу высокого головного убора, проходя мимо яслей, остановилась посмотреть на несчастное создание, а ее очаровательное дитя, Флерде-Лис де Гонделорье, разодетая в шелк и бархат, водя хорошеньким пальчиком по прибитой к яслям доске, с трудом разбирала на ней надпись: «Подкидыши».

– Я думала, сюда кладут только детей! – проговорила дама и, с отвращением отвернувшись, направилась к двери, бросив в чашу для пожертвований звякнувший среди медных монет серебряный флорин, что вызвало изумление у бедных сестер общины ЭтьенОдри.

Минуту спустя показался важный, ученый Робер Мистриколь, королевский протонотариус, державший в одной руке громадный требник, а другою поддерживавший свою супругу (урожденную Гильометту ла Мерее), – он шел между двумя своими руководителями: духовным и светским.

– Подкидыш! – сказал он, взглянув на ясли. – Найденный, вероятно, на берегу Флегетона!

– У него только один глаз, а другой закрыт бородавкой, – заметила Гильометта.

– Это не бородавка, – возразил Робер Мистриколь, – а яйцо, которое заключает в себе подобного же демона, в котором, в свою очередь, заложено другое маленькое яйцо, содержащее в себе еще одного дьявола, и так далее.

– Откуда вам это известно? – спросила Гильометта ла Мерее.

– Я это знаю достоверно, – ответил протонотариус.

– Господин протонотариус! – обратилась к нему Гошера. – Как вы думаете, что предвещает этот мнимый подкидыш?

– Величайшие бедствия, – ответил Мистриколь.

– О боже! Уж и без того в прошлом году свирепствовала чума, а теперь люди говорят, будто в Арфле собирается высадиться английское войско! воскликнула какая-то старуха в толпе.

– Это может помешать королеве в сентябре приехать в Париж, – подхватила другая, – а торговля и так идет из рук вон плохо!

– По моему мнению, – воскликнула Жеанна де ла Тарм, – для парижского простонародья было бы гораздо лучше, если бы этого маленького колдуна бросили не в ясли, а на вязанку хвороста.

– На великолепную пылающую вязанку хвороста! – добавила старуха.

– Это было бы благоразумней, – заметил Мистриколь.

К рассуждениям монахинь и сентенциям протонотариуса уже несколько минут прислушивался молодой священник. У него был высокий лоб, задумчивый взгляд и суровое выражение лица. Он молча отстранил толпу, взглянул на «маленького колдуна» и простер над

ним руку. Это было как раз вовремя, ибо все ханжи уже облизывались, предвкушая «великолепную пылающую вязанку хвороста».

– Я усыновляю этого ребенка, – сказал священник и, завернув его в свою сутану, удалился.

Присутствующие проводили его недоумевающими взглядами. Минуту спустя он исчез за Красными вратами, соединявшими в то время собор с монастырем.

Оправившись от изумления, Жеанна де ла Тарм прошептала на ухо Генриетте ла Готьер:

– Я вам давно говорила, сестра, что этот молодой священник Клод Фролло – чернокнижник.

II. Клод Фролло

Действительно, Клод Фролло был личностью незаурядной.

Он принадлежал к одной из тех семей среднего круга, которые на непочтительном языке прошлого века именовались либо именитыми горожанами, либо мелкими дворянами. Это семейство унаследовало от братьев Пакле ленное владение Тиршап, сюзереном которого был епископ Парижский: двадцать один дом этого поместья был в XIII столетии предметом нескончаемых тяжб в консисторском суде. Владелец этого поместья, Клод Фролло был одним из ста сорока феодалов, имевших право на взимание арендной платы в Париже и его предместьях. Благодаря этому много времени спустя его имя значилось в списках, хранившихся в Сен-Мартен-де-Шан, между владением Танкарвиль, принадлежавшим Франсуа Ле Рецу, и владением Турского колежа.

Когда Клод Фролло был еще очень мал, родители предназначили его для духовного звания. Его научили читать по-латыни и воспитали в нем привычку опускать глаза долу и говорить тихим голосом. Он был заключен отцом в коледж Торши, в Университет, где он и рос, склонившись над требником и лексиконом.

Он был грустным, тихим, серьезным ребенком, прилежно учился и быстро усваивал знания. Он не шумел во время рекреаций, мало интересовался вакханалиями улицы Фуар, не имел понятия о науке dare alapas et capillos laniare[45] и не принимал никакого участия в мятеже 1463 года, который летописцы внесли в хронику под громким названием «Шестая университетская смута». Он редко дразнил бедных школяров колежа Монтегю их «ермолками», из-за которых они получили свое прозвище, или стипендиатов колежа Дормана за их тонзуры и одеяния из голубого и фиолетового сукна, azurini coloris et bruni[46], как сказано в хартии кардинала Четырех корон.

Но зато он усердно посещал все большие и малые учебные заведения на улице Сен-Жан-де-Бове. Первым школяром, которого, начиная лекцию о каноническом праве, замечал аббат Сен-Пьер де Валь, был Клод Фролло: приросший к одной из колонн против кафедры в школе Сен-Вандрежезиль, вооруженный роговой чернильницей, покусывая перо, Клод что-то писал в лежавшей на его потертых коленях тетради, для чего зимой ему приходилось предварительно согревать дыханием пальцы. Первым слушателем, которого доктор истории церковных установлении мессир Миль д'Илье видел каждый понедельник утром, был все тот же Клод Фролло: запыхавшись, Клод прибегал как раз, когда отворялись двери школы Шеф-Сен-Дени. И уже в шестнадцать лет юный ученый мог помериться в теологии мистической – с любым отцом церкви, в теологии канонической – с любым из членов Собора, а в теологии схоластической – с доктором Сорбонны.

Покончив с богословием, он принялся изучать церковные установления. Начав со Свода сентенций, он перешел к Капитуляриям Карла Великого. Терзаемый жаждой научных знаний, он поглотил одну за другой декреталии епископа Гиспальского Теодора, епископа Вормского Бушара, декреталии епископа Шартрского Ива, свод Грациана, пополнившего капитулярии Карла Великого, затем сборник Григория IX и Super specula[47] – послание Гонория III. Он разобрался в этом обширном и смутном периоде возникновения и борьбы гражданского и

канонического права, происходившей среди хаоса средних веков, – в периоде, который открывается епископом Теодором в 618 году и заканчивается папой Григорием IX в 1227 году.

Переварив декреталии, он набросился на медицину и на свободные искусства. Он изучил науку лечебных трав, науку целебных мазей, приобрел основательные сведения в области лечения лихорадок, ушибов, ранений и нарывов. Жак д'Эпар охотно выдал бы ему диплом врача, Ришар Гелен – диплом хирурга. С таким же успехом он прошел все ученые степени свободных искусств – лиценциата, магистра и доктора. Он изучил латынь, греческий и древнееврейский – тройную премудрость, мало кому знакомую в те времена. Он был поистине одержим лихорадочным стремлением к приобретению и накоплению научных богатств. В восемнадцать лет он окончил все четыре факультета. Молодой человек полагал, что в жизни есть одна лишь цель: наука.

Как раз в это время, а именно – знойным летом 1466 года, разразилась страшная чума, которая в одном лишь Парижском округе унесла около сорока тысяч человек, в том числе, как говорит Жеан де Труа, «мэтра Арну, королевского астролога, который был весьма добродетелен, мудр и доброжелателен». В Университете распространился слух, что особенно сильное опустошение эпидемия произвела среди жителей улицы Тиршап. На этой улице в своем ленном владении жили родители Клода Фролло. Охваченный тревогой, юный школяр поспешил в родительский дом. Переступив порог, он застал и мать и отца уже мертвыми. Они скончались накануне. Его брат, грудной ребенок, был еще жив; брошенный на произвол судьбы, он плакал в своей колыбели. Это было все, что осталось от его семьи. Юноша взял младенца на руки и задумчиво вышел из дома. До сих пор он витал в мире науки, теперь он столкнулся с действительной жизнью.

Эта катастрофа перевернула жизнь Клода. Оказавшись в девятнадцать лет сиротою и одновременно главой семьи, он почувствовал, как жесток переход от ученических мечтаний к будням. Проникнутый состраданием, он полюбил ребенка, своего брата, страстной, преданной любовью. Это человеческое чувство было необычным и отрадным для того, кто до сих пор любил только книги.

Новая его привязанность оказалась очень сильной; для нетронутой души это было нечто вроде первой любви. Разлученный в раннем детстве с родителями, которых он почти не знал, бедный школяр, зарывшись в книги и как бы замуровавшись в них, томимый жаждой учения и познания, поглощенный запросами ума, обогащаемого наукой, отданный во власть воображения, питаемого чтением книг, не имел времени прислушаться к голосу сердца. Младший брат, лишенный отца и матери, это малое дитя, так внезапно, словно с неба, свалившееся ему на руки, преобразило его. Он понял, что в мире существует еще что-то, кроме научных теорий Сорбонны и стихов Гомера; он понял, что человек нуждается в привязанности, что жизнь, лишенная нежности и любви, – не что иное, как неодушевленный дребезжащий, скрипучий механизм. Но, будучи еще в том возрасте, когда одни иллюзии сменяются другими, он вообразил, что в мире существуют лишь кровные, семейные привязанности и что любви к маленькому брату совершенно достаточно, чтобы заполнить существование.

Он полюбил маленького Жеана со всей страстью уже сложившейся глубокой натуры, пламенной и сосредоточенной. Это милое слабое существо, прелестное, белокурое, румяное, кудрявое, это осиротевшее дитя, не имевшее иной опоры, кроме другого сироты, волновало его до глубины души, привыкший все осмысливать, он с бесконечной нежностью стал размышлять о судьбе Жеана. Он заботился и беспокоился о нем, словно о чем-то очень хрупком и драгоценном. Он был для ребенка больше чем братом: он сделался для него матерью.

Малютка Жеан лишился матери, будучи еще грудным младенцем. Клод нашел ему кормилицу. Кроме владения Тиршап, он унаследовал после смерти отца другое владение – Мулен, сюзереном которого был владелец квадратной башни Жантильи. Это была мельница, стоявшая на холме возле замка Винчестр (Бисетра) неподалеку от Университета. Жена

мельника в то время кормила своего здоровенького младенца, и Клод отнес к мельничихе маленького Жеана.

С той поры, сознавая, что на нем лежит тяжелое бремя, он стал относиться к жизни гораздо серьезнее. Мысль о маленьком брате стала не только его отдохновением, но и целью всех его научных занятий. Он решился посвятить себя воспитанию брата, за которого он отвечал перед богом, и навсегда отказался от мысли о жене и ребенке: он видел свое личное счастье в благоденствии брата. Он еще сильней укрепился в мысли о своем духовном призвании. Его душевные качества, его знания, его положение вассала парижского епископа широко раскрывали перед ним двери церкви. Двадцати лет он, с особого разрешения папской курии, был назначен священнослужителем Собора Парижской Богоматери; самый молодой из всех соборных священников, он служил в том приделе храма, который называли altare pigrorum[48], потому что обедня служилась там поздно.

Еще глубже погрузившись в свои любимые книги, от которых он отрывался лишь для того, чтобы на часок пойти на мельницу, Клод Фролло благодаря своей учености и строгой жизни, какую редко ведут в его возрасте, скоро снискал уважение и восхищение всего клира. Через клириков слава его, как ученого, распространилась среди народа; впрочем, как это часто случалось в те времена, здесь его слава обернулась репутацией чернокнижника.

Так вот, в это утро на Фоминой неделе, только что отслужив обедню в упомянутом приделе «лентяев», находящемся возле входа на хоры, справа от нефа, близ статуи богоматери, и направляясь к себе домой, Клод обратил внимание на старух, визжавших вокруг яслей для подкидышей.

Он подошел к жалкому созданию, вызывавшему столько ненависти и угроз. Вид несчастного уродливого, заброшенного существа, потрясшая его Мысль, что если б он умер, то его любимого братца Жеана тоже могли бы бросить в ясли для подкидышей, – все это взяло его за сердце; острое чувство жалости переполнило его душу. Он унес подкидыша к себе.

Вынув ребенка из мешка, он обнаружил, что это действительно уродец. У бедного малыша на левом глазу оказалась бородавка, голова ушла в плечи, позвоночник изогнут дугой, грудная клетка выпячена, ноги искривлены; но он казался живучим, и хотя трудно было понять, на каком языке он лепетал, его крик свидетельствовал о здоровье и силе. Чувство сострадания усилилось в Клоде при виде этого уродства, и он дал себе обет, из любви к брату, воспитать ребенка: каковы бы ни были впоследствии прегрешения Жеана, их заранее искупал тот акт милосердия, который был совершен ради него. Это был как бы надежно помещенный капитал благодеяний, которым он заранее обеспечивал маленького баловня, сумма добрых дел, приготовленная заблаговременно, на случай, когда его брат будет испытывать нужду в этой монете, единственной, которою взималась плата за вход в райские врата.

Он окрестил своего приемыша и назвал его «Квазимодо»[49] – то ли в память того дня, когда нашел его, то ли желая этим именем выразить, насколько несчастное маленькое создание несовершенно, насколько начерно оно сделано. Действительно, Квазимодо, одноглазый, горбатый, кривоногий, был лишь «почти» человеком.

III. Immanis pecoris custos, immanior ipse[50]

Теперь, в 1482 году. Квазимодо был уже взрослым. Несколько лет назад он стал звонарем Собора Парижской Богоматери по милости своего приемного отца Клода Фролло, который стал жозасским архидьяконом по милости своего сюзерена мессира Луи де Бомона, ставшего в 1472 году, после смерти Гильома Шартье, епископом Парижским по милости своего покровителя Оливье ле Дена, бывшего по милости божьей брадобреем Людовика XI.

Итак, Квазимодо был звонарем в Соборе Богоматери.

С течением времени крепкие узы связали звонаря с собором. Навек отрешенный от мира тяготевшим над ним двойным несчастьем – темным происхождением и физическим уродством, замкнутый с детства в этот двойной непреодолимый круг, бедняга привык не замечать ничего,

что лежало по ту сторону священных стен, приютивших его под своей сенью. В то время как он рос и развивался. Собор Богоматери служил для него то яйцом, то гнездом, то домом, то родиной, то, наконец, вселенной.

Между этим существом и зданием, несомненно, была какая-то таинственная предопределенная гармония. Когда, еще совсем крошкой. Квазимодо с мучительными усилиями, вприскочку пробирался под мрачными сводами, он, с его человечьей головой и звериным туловищем, казался пресмыкающимся, естественно возникшим среди сырых и сумрачных плит, на которые тень романских капителей отбрасывала причудливые узоры.

Позднее, когда он случайно уцепился за веревку колокола и, повиснув на ней, раскачал его, Клоду, приемному отцу Квазимодо, показалось, будто у ребенка развязался язык и он заговорил.

Так, развиваясь под сенью собора, живя и ночуя в нем, почти никогда его не покидая и непрерывно испытывая на себе его таинственное воздействие, Квазимодо в конце концов стал на него похож; он словно врос в здание, превратился в одну из его составных частей. Выступавшие углы его тела как будто созданы были для того, чтобы вкладываться (да простится нам это сравнение!) в вогнутые углы здания, и он казался не только обитателем собора, но и естественным его содержанием. Можно почти без преувеличения сказать, что он принял форму собора, подобно тому как улитки принимают форму раковины. Это было его жилище, его логово, его оболочка. Между ним и старинным храмом существовала глубокая инстинктивная привязанность, физическое сродство; Квазимодо был так же неотделим от собора, как черепаха от своего щитка. Шершавые стены собора были его панцирем.

Излишне предупреждать читателя, чтобы он не понимал буквально тех сравнений, к которым мы вынуждены прибегать здесь, описывая это своеобразное, совершенное, непосредственное, почти органическое слияние человека с жилищем. Излишне также говорить о том, до какой степени благодаря долгой совместной жизни Квазимодо освоился со всем собором. Эта обитель была как бы создана для него. Здесь не было глубин, куда бы не проник Квазимодо, не было высот, которых бы он не одолел. Не раз случалось ему взбираться по фасаду собора, цепляясь лишь за выступы скульптурных украшений. Башни, эти близнецывеликаны, высокие, грозные, страшные, по наружным сторонам которых так часто видели его карабкающимся, словно ящерица, скользящая по отвесной стене, – не вызывали в нем ни головокружения, ни страха, ни дурноты. Видя, как они покорны ему, как легко он на них взбирается, можно было подумать, что он приручил их. Постоянно прыгая, лазая, резвясь среди пропастей исполинского собора, он превратился не то в обезьяну, не то в серну и напоминал детей Калабрии, которые начинают плавать раньше, чем ходить, и в младенческом возрасте играют с морем.

Впрочем, не только его тело, но и дух формировался по образцу собора. Что представляла собой душа Квазимодо? Каковы были ее особенности? Какую форму приняла она под этой угловатой уродливой оболочкой, при этом дикарском образе жизни? Это трудно определить. Квазимодо родился кривым, горбатым, хромым. Много усилий и много терпения потратил Клод Фролло, пока научил его говорить. Но нечто роковое тяготело над несчастным подкидышем. Когда он в четырнадцать лет стал звонарем Собора Парижской Богоматери, новая беда довершила его несчастия: от колокольного звона лопнули его барабанные перепонки, он оглох. Единственная дверь, широко распахнутая перед ним природой, внезапно захлопнулась навек. Захлопнувшись, она закрыла доступ единственному лучу радости и света, еще проникавшему в душу Квазимодо. Душа погрузилась в глубокий мрак. Глубокая печаль несчастного стала теперь столь же неизлечимой и непоправимой, как и его уродство. К тому же глухота сделала его как бы немым. Чтобы не служить причиной постоянных насмешек, он, убедившись в своей глухоте, обрек себя на молчание, которое нарушал лишь наедине с самим собой. Он добровольно вновь сковал свой язык, развязать который стоило таких усилий Клоду

Фролло. Вот почему, когда необходимость принуждала его говорить, язык его поворачивался неуклюже и тяжело, как дверь на ржавых петлях.

И если бы нам удалось сквозь эту плотную и грубую кору добраться до души Квазимодо; если бы мы могли исследовать все глубины духа этого уродливого создания; если бы нам дано было увидеть с помощью факела то, что лежит за непрозрачной его оболочкой, постичь внутренний мир этого непроницаемого существа, разобраться во всех темных закоулках и нелепых тупиках его сознания и ярким лучом внезапно осветить на дне этой пещеры скованную его душу, – то, несомненно, мы застали бы ее в какой-нибудь жалкой позе, скрюченную и захиревшую, подобно тем узникам венецианских тюрем, которые доживали до старости, согнувшись в три погибели в узких и коротких каменных ящиках.

Не вызывает сомнения, что в увечном теле оскудевает и разум. Квазимодо лишь смутно ощущал в себе слепые порывы души, сотворенной по образу и подобию его тела. Прежде чем достичь его сознания, внешние впечатления странным образом преломлялись. Его мозг представлял собою какую-то особую среду: все, что в него попадало, выходило оттуда искаженным. Его понятия, являвшиеся отражением этих преломленных впечатлений, естественно оказывались сбивчивыми и извращенными.

Это порождало множество оптических обманов, неверных суждений и заблуждений, среди которых бродила его мысль, делая его похожим то на сумасшедшего, то на идиота.

Первым последствием такого умственного склада было то, что Квазимодо не мог здраво смотреть на вещи. Он был почти лишен способности непосредственного их восприятия. Внешний мир казался ему гораздо более далеким, чем нам.

Вторым последствием этого несчастья был злобный нрав Квазимодо.

Он был злобен, потому что был дик; он был дик, потому что был безобразен. В его природе, как и в любой другой, была своя логика.

Его непомерно развившаяся физическая сила являлась еще одной из причин его злобы. Malus puer robustus[51], – говорит Гоббс.

Впрочем, следует отдать ему справедливость: его злоба, надо думать, не была врожденной. С первых же своих шагов среди людей он почувствовал, а затем и ясно осознал себя существом отверженным, затравленным, заклейменным. Человеческая речь была для него либо издевкой, либо проклятием. Подрастая, он встречал вокруг себя лишь ненависть и заразился ею. Преследуемый всеобщим озлоблением, он наконец поднял оружие, которым был ранен.

Лишь с крайней неохотой обращал он свой взор на людей. Ему вполне достаточно было собора, населенного мраморными статуями королей, святых, епископов, которые по крайней мере не смеялись ему в лицо и смотрели на него спокойным и благожелательным взором. Статуи чудовищ и демонов тоже не питали к нему ненависти – он был слишком похож на них. Насмешка их относилась скорее к прочим людям. Святые были его друзьями и благословляли его; чудовища также были его друзьями и охраняли его. Он подолгу изливал перед ними свою душу. Сидя на корточках перед какой-то статуей, он часами беседовал с ней. Если в это время кто-нибудь входил в храм, Квазимодо убегал, как любовник, застигнутый за серенадой.

Собор заменял ему не только людей, но и всю вселенную, всю природу. Он не представлял себе иных цветущих живых изгородей, кроме никогда не блекнущих витражей; иной прохлады, кроме тени каменной, отягощенной птицами листвы, распускающейся в кущах саксонских капителей; иных гор, кроме исполинских башен собора; иного океана, кроме Парижа, который бурлил у их подножия.

Но что он любил всего пламенней в своем родном соборе, что пробуждало его душу и заставляло ее расправлять свои жалкие крылья, столь беспомощно сложенные в тесной ее пещере, что порой делало его счастливым, – это колокола. Он любил их, ласкал их, говорил с ними, понимал их. Он был нежен со всеми, начиная с самых маленьких колоколов средней

стрельчатой башенки до самого большого колокола портала. Средняя колоколенка и две боковые башни были для него словно три громадные клетки, в которых вскормленные им птицы заливались лишь для него. А ведь это были те самые колокола, которые сделали его глухим; но ведь и мать часто всего сильнее любит именно то дитя, которое заставило ее больше страдать.

Правда, звон колоколов был единственным голосом, доступным его слуху. Поэтому сильнее всего он любил большой колокол. Среди шумливой этой семьи, носившейся вокруг него в дни больших празднеств, он отличал его особо. Этот колокол носил имя «Мария». Он висел особняком в клетке южной башни, рядом со своей сестрой «Жакелиной», колоколом меньших размеров, заключенным в более тесную клетку. «Жакелина» получила свое имя в честь супруги Жеана Монтегю, который принес этот колокол в дар собору, что, однако, не помешало жертвователю позже красоваться обезглавленным на Монфоконе. Во второй башне висели шесть других колоколов, и, наконец, шесть самых маленьких ютились в звоннице средней башенки вместе с деревянным колоколом, которым пользовались лишь на Страстной неделе, с полудня чистого четверга и до светлой заутрени. Итак, Квазимодо имел в своем гареме пятнадцать колоколов, но фавориткой его была толстая «Мария».

Трудно вообразить себе восторг, испытываемый им в дни великого звона. Как только архидьякон отпускал его, сказав «иди», он взлетал по винтовой лестнице быстрее, чем иной спустился бы с нее. Запыхавшись, вступал он в воздушное жилище большого колокола. С минуту он благоговейно и любовно созерцал колокол, затем начинал ему что-то шептать; он оглаживал его, словно доброго коня, которому предстояла трудная дорога; он уже заранее жалел его, ибо ему предстояли испытания. После этих первых ласк он кричал помощникам, находившимся в нижнем ярусе, чтобы они начинали. Те повисали на канатах, ворот скрипел, и исполинская медная капсула начинала медленно раскачиваться. Квазимодо, трепеща, следил за ней.

Первый удар медного языка о внутренние стенки колокола сотрясал балки, на которых он висел. Квазимодо, казалось, вибрировал вместе с колоколом. «Давай!» – вскрикивал он, разражаясь бессмысленным смехом. Колокол раскачивался все быстрее, и по мере того как угол его размаха увеличивался, глаз Квазимодо, воспламеняясь и сверкая фосфорическим блеском, раскрывался все шире и шире.

Наконец начинался великий звон; вся башня дрожала; балка, водосточные желоба, каменные плиты – все, от свай фундамента и до увенчивающих башню трилистников, гудело одновременно. Квазимодо кипел, как в котле; он метался взад и вперед; вместе с башней он дрожал с головы до пят. Разнузданный, яростный колокол разверзал то над одним просветом башни, то над другим свою бронзовую пасть, откуда вырывалось дыхание бури, распространявшееся на четыре лье кругом. Квазимодо становился перед этой отверстой пастью; следуя движениям колокола, он то приседал на корточки, то вставал во весь рост; он вдыхал этот сокрушающий смерч, глядя то на площадь с кишащей под ним на глубине двухсот футов толпой, то на исполинский медный язык, ревевший ему в уши. Это была единственная речь, доступная его слуху, единственный звук, нарушавший безмолвие вселенной. И он нежился, словно птица на солнце. Вдруг неистовство колокола передавалось ему; его глаз приобретал странное выражение; Квазимодо подстерегал колокол, как паук подстерегает муху, и при его приближении стремглав бросался на него. Повиснув над бездной, следуя за колоколом в страшном его размахе, он хватал медное чудовище за ушки, плотно сжимал его коленями, пришпоривал ударами пяток и всем усилием, всей тяжестью своего тела усиливал неистовство звона. Вся башня сотрясалась, а он кричал и скрежетал зубами, рыжие его волосы вставали дыбом, грудь пыхтела, как кузнечные мехи, глаз метал пламя, чудовищный колокол ржал, задыхаясь под ним. И вот это уже не колокол Собора Богоматери, не Квазимодо, – это бред, вихрь, буря; безумие, оседлавшее звук; дух, вцепившийся в летающий круп; невиданный

кентавр, получеловек, полуколокол; какой-то страшный Астольф, уносимый чудовищным крылатым конем из ожившей бронзы.

Присутствие этого странного существа наполняло собор дыханием жизни. По словам суеверной толпы, он как бы излучал некую таинственную силу, оживлявшую камни Собора Богоматери и заставлявшую трепетать глубокие недра древнего храма. Людям достаточно было узнать о его присутствии в соборе, и вот им уже чудилось, что бесчисленные статуи галерей и порталов оживают и двигаются. И в самом деле, собор казался покорным, послушным его власти существом; он ждал приказаний Квазимодо, чтобы возвысить свой мощный голос; он был одержим, полон им, словно духом-покровителем. Казалось, Квазимодо вливал жизнь в это необъятное здание. Он был вездесущ: как бы размножившись, он одновременно присутствовал в каждой точке храма. Люди с ужасом видели, как карабкается карлик по верху башни, извивается, ползет на четвереньках, повисает над пропастью, перепрыгивает с выступа на выступ и обшаривает недра какой-нибудь каменной горгоны, это Квазимодо разорял вороньи гнезда. В укромном углу собора наталкивались на некое подобие ожившей химеры, насупившейся и скорчившейся, – это был Квазимодо, погруженный в раздумье. Под колоколом обнаруживали чудовищную голову и мешок с уродливыми щупальцами, остервенело раскачивавшийся на конце веревки, – это Квазимодо звонил к вечерне или Angelas'у[52]. Ночью часто видели отвратительное существо, бродившее по хрупкой кружевной балюстраде, венчавшей башни и окаймлявшей окружность свода над хорами, – то был горбун из Собора Богоматери.

И как уверяли кумушки из соседних домов, собор принимал тогда фантастический, сверхъестественный, ужасный вид: раскрывались глаза и пасти; слышен был лай каменных псов, шипенье сказочных змей и каменных драконов, которые денно и нощно с вытянутыми шеями и разверстыми зевами сторожили громадный собор. А в ночь под Рождество, когда большой колокол хрипел от усталости, призывая верующих на полуночное бдение, сумрачный фасад здания принимал такой вид, что главные врата можно было принять за пасть, пожирающую толпу, а розетку – за око, взирающее на нее. И все это творил Квазимодо. В Египте его почитали бы за божество этого храма; в средние века его считали демоном; на самом же деле он был душой собора.

Для всех, кто знал о существовании Квазимодо, Собор Богоматери кажется теперь пустынным, бездыханным, мертвым. Что-то отлетело от него. Исполинское тело храма опустело; это только остов; дух покинул его, осталась лишь оболочка. Так в черепе глазные впадины еще зияют, но взор угас навеки.

IV. Собака и ее господин

И все же был на свете человек, на которого Квазимодо не простирал свою злобу и ненависть, которого он любил так же, а быть может, даже сильней, чем собор. Это был Клод Фролло.

Причина ясна. Клод Фролло подобрал его, усыновил, вскормил, воспитал. Квазимодо еще ребенком привык находить у ног Клода Фролло убежище, когда его преследовали собаки и дети. Клод Фролло научил его говорить, читать и писать. Наконец Клод Фролло сделал его звонарем. Обручить Квазимодо с большим колоколом – это значило отдать Ромео Джульетту.

Признательность Квазимодо была глубока, пламенна и безгранична; и хотя лицо его приемного отца часто бывало сумрачно и сурово, хотя обычно речь его была отрывиста, суха и повелительна, но сила признательности не ослабевала в Квазимодо. Архидьякон имел в его лице покорного раба, исполнительного слугу, бдительного сторожевого пса. Когда несчастный звонарь оглох, между ним и Клодом Фролло установился таинственный язык знаков, понятный им одним. Архидьякон был единственный человек, с которым Квазимодо мог общаться. В этом мире он был связан лишь с Собором Парижской Богоматери да с Клодом Фролло.

Ничто на свете не могло сравниться с властью архидьякона над звонарем и привязанностью звонаря к архидьякону. По одному знаку Клода, из одного желания доставить ему удовольствие. Квазимодо готов был ринуться вниз головой с высоких башен собора. Казалось странным, что физическая сила Квазимодо, достигшая необычайного развития, слепо подчинена другому человеку. В этом сказывались не только сыновняя привязанность и преданность слуги господину, но и непреодолимое влияние более сильного ума. Убогий, неуклюжий, неповоротливый разум взирал с мольбой и смирением на ум возвышенный и проницательный, могучий и властный.

Но над всем этим господствовало чувство признательности, доведенной до такого предела, что ее трудно с чем-либо сравнить. Среди людей примеры этой добродетели чрезвычайно редки. Поэтому скажем лишь, что Квазимодо любил архидьякона так сильно, как ни собака, ни конь, ни слон никогда не любили своего господина.

V. Продолжение главы о Клоде Фролло

В 1482 году Квазимодо было около двадцати лет, Клоду Фролло – около тридцати шести. Первый возмужал, второй начал стареть.

Клод Фролло уже не был наивным школяром Торши, нежным покровителем беспомощного ребенка, юным мечтательным философом, который много знал, но о многом еще не подозревал. Теперь это был строгий, суровый, угрюмый священник, блюститель душ, архидьякон Жозасский, второй викарий епископа, управлявший двумя благочиниями Монлерийским и Шатофорским, и ста семьюдесятью четырьмя сельскими приходами. Это была важная и мрачная особа, перед которой трепетали и маленькие певчие в стихарях и курточках, и взрослые церковные певчие, и братия святого Августина, и причетники ранней обедни Собора Богоматери, когда он, величавый, задумчивый, скрестив руки на груди и так низко склонив голову, что виден был лишь его большой облысевший лоб, медленно проходил под высоким стрельчатым сводом хоров.

Однако Клод Фролло не забросил ни науки, ни воспитания своего юного брата – двух главных занятий своей жизни. Но с течением времени какая-то горечь примешалась к этим сладостным обязанностям. В конце концов, как утверждает Павел Диакон, и наилучшее сало горкнет. Маленький Жеан Фролло, прозванный Мельником в честь мельницы, на которой он был вскормлен, развился вовсе не в том направлении, какое наметил для него Клод. Старший брат рассчитывал, что Жеан будет набожным, покорным, любящим науку, достойным уважения учеником. А между тем, подобно деревцам, которые наперекор стараниям садовника упорно тянутся в ту сторону, где воздух и солнце, – младший брат рос и развивался, давая чудесные пышные и мощные побеги лишь в сторону лени, невежества и распутства. Это был сущий чертенок, до ужаса непослушный, что заставляло грозно хмурить брови отца Клода, но зато очень забавный и очень умный, что заставляло старшего брата улыбаться.

Клод доверил воспитание младшего брата коледжу Торши, где в занятиях и размышлениях сам провел свои юные годы; и для него явилось большим огорчением, что имя Фролло, когда-то делавшее честь святилищу науки, теперь стало предметом соблазна. Иногда он читал Жеану строгие и пространные нравоучения, которые тот мужественно выслушивал. Впрочем, юный повеса обладал добрым сердцем, как это обычно бывает во всех комедиях. Выслушав назидание, он как ни в чем не бывало вновь принимался за свои похождения и дебоши. То начинал потасовку, в честь его прибытия, с «желторотым» (так называли в Университете новичков), соблюдая благородную традицию, бережно сохраняющуюся до наших дней. То подстрекал школяров, и те, quasi classico excitati[53], атаковали по всем правилам кабачок, избивали кабатчика деревянными рапирами и с хохотом громили таверну, вышибая напоследок днища винных бочек. К отцу Клоду являлся младший наставник коледжа Торши и с постной физиономией вручал составленный на великолепной латыни отчет со следующей горестной пометкой на полях: Rixa; prima causa uinum optimum potatum[54]. Поговаривали даже

о том, что распущенность Жеана частенько доводила его и до улицы Глатиньи, что шестнадцатилетнему юноше было совсем не по возрасту.

Вот почему опечаленный Клод, разочаровавшись в своих человеческих привязанностях, с еще большим увлечением отдался науке, этой сестре, которая по крайней мере не издевается над вами и за внимание к ней вознаграждает вас, правда, иногда довольно стертой монетой. Он становился все более сведущим ученым и вместе с тем, что вполне естественно, – все более суровым священнослужителем и все более мрачным человеком. В каждом из нас существует гармония между нашим непрерывно развивающимся умом, склонностями и характером, и нарушается она лишь во время сильных душевных потрясений.

Так как Клод Фролло уже в юности прошел почти весь круг гуманитарных положенных и внеположенных законом наук, то он вынужден был либо поставить себе предел там, ubi defuit or bis[55], либо идти дальше, в поисках иных средств для утоления своей ненасытной жажды познания. Древний символ змеи, жалящей собственный хвост, более всего применим к науке. По-видимому, Клод Фролло убедился в этом на личном опыте. Многие серьезные люди утверждали, что, исчерпав все fas[56] человеческого познания, он осмелился проникнуть в nefas[57]. Говорили, что, последовательно вкусив от всех плодов древа познания, он, то ли не насытившись, то ли пресытившись, кончил тем, что дерзнул вкусить от плода запретного. Читатели помнят, что он принимал участие в совещаниях теологов Сорбонны, в философских собраниях при СентИлер, в диспутах докторов канонического права при Сен-Мартен, в конгрегациях медиков при «Кропильнице Богоматери», ad cupam Nostrae Daminae. Он проглотил все разрешенные и одобренные кушанья, которые эти четыре громадные кухни, именуемые четырьмя факультетами, могли изготовить и предложить разуму, и пресытился ими, прежде чем успел утолить свой голод. Тогда он проник дальше, глубже, в самое подземелье этой законченной материальной ограниченной науки. Быть может, он даже поставил свою душу на карту ради того, чтобы принять участие в мистической трапезе алхимиков, астрологов и герметиков за столом, верхний конец которого в средние века занимали Аверроэс, Гильом Парижский и Никола Фламель, а другой, затерявшийся на Востоке и освещенный семисвечником, достигал Соломона, Пифагора и Зороастра.

Справедливо или нет, но так по крайней мере предполагали люди.

Достоверно известно, что архидьякон нередко посещал кладбище Невинных, где покоились его родители вместе с другими жертвами чумы 1466 года; но там он как будто не так усердно преклонял колени перед крестом на их могиле, как перед странными изваяниями над возведенными рядом гробницами Никола Фламеля и Клода Пернеля.

Достоверно известно и то, что его часто видели на Ломбардской улице, где он украдкой проскальзывал в домик на углу улицы Писателей и Мариво. Этот дом выстроил Никола Фламель; там он и скончался около 1417 года. С тех пор домик пустовал и начал уже разрушаться, до такой степени герметики и искатели философского камня всех стран исскоблили его стены, вырезая на них свои имена. Соседи утверждали, что видели через отдушину, как однажды архидьякон Клод рыл, копал и пересыпал землю в двух подвалах, каменные подпоры которых были исчерчены бесчисленными стихами и иероглифами самого Никола Фламеля. Полагали, что Фламель зарыл здесь философский камень. И вот в течение двух столетий алхимики, начиная с Мажистри и кончая Миротворцем, до тех пор ворошили там землю, пока дом, столь безжалостно перерытый и чуть не вывернутый наизнанку, не рассыпался наконец прахом под их ногами.

Достоверно известно также и то, что архидьякон воспылал особенной страстью к символическому порталу Собора Богоматери, к этой странице чернокнижной премудрости, изложенной в каменных письменах и начертанной рукой епископа Парижского Гильома, который, несомненно, погубил свою душу, дерзнув приделать к этому вечному зданию, к этой божественной поэме кощунственный заголовок. Говорили, что архидьякон досконально исследовал исполинскую статую святого Христофора и загадочное изваяние, высившееся в те

времена у главного портала, которое народ в насмешку называл «господином Легри»[58]. Во всяком случае, все могли видеть, как Клод Фролло, сидя на ограде паперти, подолгу рассматривал скульптурные украшения главного портала, словно изучая фигуры неразумных дев с опрокинутыми светильниками, фигуры дев мудрых с поднятыми светильниками, или рассчитывая угол, под которым ворон, изваянный над левым порталом, смотрит в какую-то таинственную точку в глубине собора, где, несомненно, был запрятан философский камень, если его нет в подвале дома Никола Фламеля.

Заметим мимоходом: странная судьба выпала в те времена на долю Собора Богоматери – судьба быть любимым столь благоговейно, но совсем по-разному двумя такими несхожими существами, как Клод и Квазимодо. Один из них – подобие получеловека, дикий, покорный лишь инстинкту, любил собор за красоту, за стройность, за гармонию, которую излучало это великолепное целое. Другой, одаренный пылким, обогащенным знаниями воображением, любил в нем его внутреннее значение, скрытый в нем смысл, любил связанную с ним легенду, его символику, таящуюся за скульптурными украшениями фасада, подобно первичным письменам древнего пергамента, скрывающимся под более поздним текстом, – словом, любил ту загадку, какой испокон веков остается для человеческого разума Собор Парижской Богоматери.

Наконец, достоверно известно также и то, что архидьякон облюбовал в той башне собора, которая обращена к Гревской площади, крошечную потайную келью, непосредственно примыкавшую к колокольной клетке, куда никто, даже сам епископ, как гласила молва, не смел проникнуть без его дозволения. Эта келья, находившаяся почти на самом верху башни, среди вороньих гнезд, была когда-то устроена епископом Безансонским Гюго[59], который занимался там колдовством. Никто не знал, что таила в себе эта келья; но нередко по ночам с противоположного берега Сены видели, как в слуховом окошечке с задней стороны башни то вспыхивал, то потухал через короткие и равномерные промежутки, словно от прерывистого дыхания кузнечного меха, неровный, багровый, странный свет, скорее походивший на отсвет очага, нежели светильника. Во мраке и на такой высоте этот огонь производил странное впечатление, и кумушки говорили: «Опять архидьякон орудует мехами! Там полыхает сама преисподняя».

Впрочем, во всем этом еще не было неопровержимых доказательств колдовства, но нет дыму без огня, тем более что архидьякон вообще пользовался далеко не доброй славой. А между тем мы должны признать, что все науки Египта – некромантия, магия, не исключая даже самой невинной из них, белой магии, – не имели более заклятого врага, более беспощадного обличителя перед судьями консистории Собора Богоматери, чем архидьякон Клод Фролло. Быть может, это было искренним отвращением, быть может лишь уловкой вора, кричащего «держи вора! «, однако это не мешало ученым мужам капитула смотреть на архидьякона как на душу, дерзнувшую вступить в преддверие ада, затерянную в дебрях каббалистики и блуждающую во мраке оккультных наук. Народ тоже не заблуждался на этот счет: каждый мало-мальски проницательный человек считал Квазимодо дьяволом, а Клода Фролло – колдуном. Было совершенно ясно, что звонарь обязался служить архидьякону до известного срока, а затем, в виде платы за свою службу, он унесет его душу в ад. Вот почему архидьякон, невзирая на чрезмерную строгость своего образа жизни, пользовался дурной славой среди христиан, и не было ни одного неискушенного святоши, нос которого не чуял бы здесь чернокнижника.

И если с течением времени в познаниях Клода Фролло разверзались бездны, то такие же бездны вырыли годы в его сердце. По крайней мере этого нельзя было не подумать, всматриваясь в его лицо, на котором душа мерцала, словно сквозь темное облако. Отчего полысел его широкий лоб, отчего голова его всегда была опущена, а грудь вздымалась от непрерывных вздохов? Какая тайная мысль кривила горькой усмешкой его рот, в то время как нахмуренные брови сходились, словно два быка, готовые ринуться в бой? Почему поседели его

поредевшие волосы? Что за тайное пламя вспыхивало порой в его взгляде, уподобляя глаза отверстиям, проделанным в стенке горна?

Все эти признаки внутреннего смятения достигли особой силы к тому времени, когда стали развертываться описываемые нами события. Не раз какой-нибудь маленький певчий, столкнувшись с архидьяконом в пустынном соборе, в ужасе бежал прочь, – так странен и ярок был его взор. Не раз на хорах, во время богослужения, его сосед по скамье слышал, как он к пенью, ad отпет tonum[60], примешивал какие-то непонятные слова. Не раз прачка с мыса Терен, стиравшая на капитул, с ужасом замечала на стихаре архидьякона Жозасского следы вонзавшихся в материю ногтей.

Вместе с тем он держал себя еще строже и безупречнее, чем всегда. Как по своему положению, так и по складу своего характера он и прежде чуждался женщин; теперь же, казалось, он ненавидел их сильнее, чем когда-либо. Стоило зашуршать возле него шелковому женскому платью, как он тотчас же надвигал на глаза капюшон. В этом отношении он был настолько ревностным блюстителем установленных правил, что когда в декабре 1481 года дочь короля, Анна де Боже, пожелала посетить монастырь Собора Богоматери, он решительно воспротивился этому посещению, напомнив епископу устав Черной книги, помеченный кануном дня св. Варфоломея 1334 года и воспрещавший доступ в монастырь всякой женщине, «будь она стара или молода, госпожа или служанка». Епископ сослался на легата Одо, допускавшего исключение для некоторых высокопоставленных дам, aliquae magnates mulieres, quae sine scandalo evitari поп possunt[61]. На это архидьякон возразил, что постановление легата издано в 1207 году, то есть на сто двадцать семь лет раньше Черной книги; следовательно, его должно считать упраздненным. И он отказался предстать перед принцессою.

Между прочим, с некоторых пор стали замечать, что отвращение архидьякона к египтянкам и цыганкам усилилось. Он добился от епископа особого указа, по которому цыганкам воспрещалось плясать и бить в бубен на соборной площади; он рылся в истлевших архивах консистории, отыскивая процессы, где, по постановлению церковного суда, колдуны и колдуньи приговаривались к сожжению на костре или к виселице за наведение порчи на людей при помощи козлов, свиней или коз.

VI. Нелюбовь народа

Как мы уже указывали, архидьякон и звонарь не пользовались любовью ни у людей почтенных, ни у мелкого люда, жившего близ собора. Всякий раз, когда Клод и Квазимодо, выйдя вместе, шли, слуга позади господина, по прохладным, узким и сумрачным улицам, прорезавшим квартал Собора Богоматери, вслед им летели острые словечки, насмешливые песенки, оскорбительные замечания. Но случалось, хотя и редко, что Клод Фролло ступал с высоко поднятой головой; тогда его открытое чело и строгий, почти величественный вид приводили в смущение зубоскалов.

Оба они в своем околотке напоминали тех двух поэтов, о которых говорит Ренье:

И всякий сброд преследует поэтов, Вот так малиновки преследуют сову.

То озорной мальчишка рисковал своими костями и шкурой ради неописуемого наслаждения вонзить булавку в горб Квазимодо. То не в меру бойкая и дерзкая хорошенькая девушка мимоходом умышленно задевала черную сутану священника, напевая ему прямо в лицо язвительную песенку: «Ага, попался, пойман бес!» Иногда неопрятные старухи, примостившиеся на ступеньках паперти, брюзжали при виде проходивших мимо архидьякона и звонаря и вместе с бранью посылали им вслед подбадривающие приветствия: «Гм! У этого душа точь-в-точь, как у другого тело». Или же ватага школьников и сорванцов, игравших в котел, вскакивала и встречала их улюлюканьем и каким-нибудь латинским восклицанием вроде: Eia! Eia! Claudius cum claudo.[62]

Но чаще всего оскорбления пролетали мимо священника и звонаря. Квазимодо был глух, а Клод погружен в свои размышления, и все эти любезности не достигали их слуха.

Книга пятая

I. Abbas beati Martini[63]

Известность отца Клода простиралась далеко за пределы собора. Ей он был обязан навсегда оставшимся в его памяти посещением, незадолго до того, как он отказался принять г-жу де Боже.

Дело было вечером. Отслужив вечерню, он вернулся в свою священническую келью в монастыре Собора Богоматери. В этой келье, не считая стеклянных пузырьков, убранных в угол и наполненных каким-то подозрительным порошком, напоминавшим порошок алхимиков, не было ничего необычного или таинственного. Правда, кое-где на стенах виднелись надписи, но то были либо чисто научные рассуждения, либо благочестивые поучения почтенных авторов. Архидьякон сел при свете медного трехсвечника перед широким ларем, заваленным рукописями. Облокотившись на раскрытую книгу Гонория Отенского De praedestinatione et libero arbitrio[64] – он в глубокой задумчивости перелистывал только что принесенный им том in folio: это была единственная во всей келье книга, вышедшая из-под печатного станка. Стук в дверь вывел его из задумчивости.

– Кто там? – крикнул ученый с приветливостью потревоженного голодного пса, которому мешают глодать кость.

За дверью ответили:

– Ваш друг, Жак Куактье.

Архидьякон встал и отпер дверь.

То был действительно медик короля, человек лет пятидесяти, жесткое выражение лица которого несколько смягчалось вкрадчивым взглядом. Его сопровождал какой-то незнакомец. Оба они были в длиннополых, темно-серых, подбитых беличьим мехом одеяниях, наглухо застегнутых и перетянутых поясами, и в капюшонах из той же материи, того же цвета. Руки у них были скрыты под рукавами, ноги – под длинной одеждой, глаза – под капюшонами.

– Господи помилуй! – сказал архидьякон, вводя их в свою келью. – Вот уж никак не ожидал столь лестного посещения в такой поздний час. – Но произнося эти учтивые слова, он окидывал медика и его спутника беспокойным, испытующим взглядом.

– Нет того часа, который был бы слишком поздним, чтобы посетить столь знаменитого ученого мужа, как отец Клод Фролло из Тиршапа, – ответил медик Куактье; манера растягивать слова изобличала в нем уроженца Франш-Конте; фразы его влеклись с торжественной медлительностью, как шлейф парадного платья.

И тут между медиком и архидьяконом начался предварительный обмен приветствиями, который в эту эпоху обычно служил прологом ко всем беседам между учеными, что отнюдь не препятствовало им от всей души ненавидеть друг друга. Впрочем, то же самое мы наблюдаем и в наши дни: уста каждого ученого, осыпающего похвалами своего собрата, – это чаша подслащенной желчи.

Любезности, расточавшиеся Жаку Куактье Клодом Фролло, намекали на многочисленные мирские блага, которые почтенный медик, возбуждавший своей карьерой столько зависти, умел извлекать для себя из каждого недомогания короля с помощью более совершенной и более достоверной алхимии, нежели та, которая занимается поисками философского камня.

– Я был очень рад, господин Куактье, что вашего племянника, достопочтимого сеньора Пьера Верее, облекли в сан епископа. Ведь он теперь епископ Амьенский?

– Да, отец архидьякон, благодатью и милостью божией.

– А знаете, у вас был очень величественный вид на Рождество, когда вы, господин президент, выступали во главе всех членов счетной палаты!

– Вице-президент, отец Клод, увы, всего лишь вице-президент!

– А как далеко подвинулась постройка вашего великолепного особняка на улице Сент-Андре-Дезарк? Это настоящий Лувр. Мне очень нравится абрикосовое дерево, высеченное над входом, с этой забавной шутливой надписью: «Приют на берегу»![65]

– Увы, мэтр Клод! Эта постройка стоит мне бешеных денег. По мере того как дом растет, я разоряюсь.

– И, полноте! Разве у вас нет доходов от тюрьмы, присутственных мест Дворца правосудия и арендной платы со всех домов, лавок, балаганов, мастерских, расположенных в его ограде? Это для вас хорошая дойная корова.

– Мое кастелянство в Пуасси в этом году не дало ничего.

– Зато дорожные пошлины на заставах Триэль, Сен-Джемс, Сен-Жермен-ан-Ле всегда прибыльны.

– Они дают всего сто двадцать ливров, да и то не парижских.

– Но вы получаете жалованье в качестве королевского советника. Уж это верный доход.

– Да, брат Клод; но зато это проклятое поместье Полиньи, о котором так много толкуют, не приносит мне и шестидесяти экю в год.

В любезностях, которые отец Клод расточал Куактье, слышалась язвительная затаенная издевка, печальная и жестокая усмешка одаренного неудачника, который, чтобы отвлечься, подшучивает над грубым благополучием человека заурядного. Последний ничего этого не замечал.

– Клянусь душой, – сказал наконец Клод, пожимая ему руку, – я счастлив видеть вас в столь вожделенном здравии.

– Благодарю вас, мэтр Клод.

– А кстати, – воскликнул отец Клод, – как здоровье вашего царственного больного?

– Он скупо оплачивает своего врача, – ответил медик, искоса поглядывая на своего спутника.

– Вы находите, кум Куактье? – спросил его тот.

Эти слова, в которых слышались удивление и упрек, обратили внимание архидьякона на незнакомца, хотя, по правде говоря, с тех пор как этот человек переступил порог его кельи, архидьякон и так ни на минуту не забывал о его присутствии. Не будь у него веских причин сохранять добрые отношения с медиком Жаком Куактье, этим всемогущим лекарем короля Людовика XI, он ни за что не принял бы его в сопровождении этого неизвестного. И он не выразил ни малейшего удовольствия, когда Куактье сказал ему:

– Кстати, отец Клод, я привел к вам одного из ваших собратьев, который, прослышав о вашей славе, пожелал с вами познакомиться.

– Ваш спутник тоже причастен к науке? – спросил архидьякон, вперив в незнакомца проницательный взгляд. Из-под нависших бровей на него сверкнул такой же зоркий и недоверчивый взор.

Насколько можно было разглядеть при мерцании светильника, это был старик лет шестидесяти, среднего роста, казавшийся больным и дряхлым. Его профиль, хотя и не отличался благородством линий, таил в себе что-то властное и суровое; из-под надбровных дуг сверкали зрачки, словно пламя в недрах пещеры, а под низко надвинутым капюшоном угадывались очертания широкого лба – признак одаренности.

Незнакомец сам ответил на вопрос архидьякона.

– Досточтимый учитель, – степенно проговорил он, – ваша слава дошла до меня, и я хочу просить у вас совета. Сам я – скромный провинциальный дворянин, смиренно снимающий свои сандалии у порога жилища ученого. Но вы еще не знаете моего имени: меня зовут кум Туранжо.

«Странное имя для дворянина! – подумал архидьякон. Однако он чувствовал, что перед ним сильная, незаурядная личность. Он чутьем угадал, что под меховым капюшоном кума Туранжо скрывается высокий ум, и по мере того, как он вглядывался в эту исполненную достоинства фигуру, ироническая усмешка, вызванная на его угрюмом лице присутствием Жака Куактье, постепенно таяла, подобно сумеркам перед наступлением ночи. Мрачный и молчаливый, он снова уселся в свое глубокое кресло и привычно облокотился о стол, подперев лоб рукой. После нескольких минут раздумья он знаком пригласил обоих посетителей сесть и сказал, обратившись к куму Туранжо:

– О чем же вы хотите со мной посоветоваться?

– Досточтимый учитель! – отвечал кум Туранжо. – Я болен, я очень серьезно болен. За вами утвердилась слава великого эскулапа, и я пришел просить у вас медицинского совета.

– Медицинского! – покачав головой, проговорил архидьякон. С минуту подумав, он сказал: – Кум Туранжо, раз уж вас так зовут, оглянитесь! Мой ответ вы увидите начертанным на стене.

Кум Туранжо повиновался и прочел как раз над своей головой вырезанную на стене надпись.

«Медицина – дочь сновидений Ямвлих».

Медик Жак Куактье выслушал вопрос своего спутника с досадой, которую ответ Клода еще усилил. Он наклонился к куму Туранжо и шепнул, чтобы архидьякон его не услышал:

– Я предупреждал вас, что это сумасшедший. Но вы во что бы то ни стало хотели его видеть!

– Вполне возможно, что этот сумасшедший и прав, доктор Жак! – ответил тоже шепотом и с горькой усмешкой кум Туранжо.

– Как вам угодно, – сухо сказал Куактье и, обратившись к архидьякону, проговорил: – Вы человек скорый в своих суждениях, отец Клод: вам, по-видимому, разделаться с Гиппократом так же легко, как обезьяне с орехом. «Медицина – дочь сновидений»! Сомневаюсь, чтобы аптекари и лекари, будь они здесь, удержались от того, чтобы не побить вас камнями. Итак, вы отрицаете действие любовных напитков на кровь и лекарственных мазей на кожу? Вы отрицаете эту вековечную аптеку трав и металлов, которая именуется природой и которая нарочно создана для вечного больного, именуемого человеком?

– Я не отрицаю ни аптеки, ни больного, – холодно ответил отец Клод. Я отрицаю лекаря.

– Стало быть, – с жаром продолжал Куактье, – повашему, не верно, что подагра – это лишай, вошедший внутрь тела, что огнестрельную рану можно вылечить, приложив к ней жареную полевую мышь, что умелое переливание молодой крови возвращает старым венам молодость? Вы отрицаете, что дважды два – четыре и что при судорогах тело выгибается сначала вперед, а потом назад?

– О некоторых вещах я имею свое особое мнение, – спокойно ответил архидьякон.

Куактье побагровел от гнева.

– Вот что, милый мой Куактье, – вмешался кум Туранжо, – не будем горячиться. Не забывайте, что архидьякон наш друг.

Куактье успокоился, проворчав, однако, вполголоса «И то правда. Чего можно ожидать от сумасшедшего»

– Ей-богу, мэтр Клод, – помолчав некоторое время, вновь заговорил кум Туранжо. – Вы меня сильно озадачили. Я имел в виду получить у вас два совета касательно своего здоровья и своей звезды.

– Сударь, – ответил архидьякон, – если вы пришли только с этим, то напрасно утруждали себя, взбираясь ко мне на такую высоту. Я не верю ни в медицину, ни в астрологию.

– В самом деле? – с изумлением спросил кум Туранжо.

Куактье принужденно рассмеялся.

– Вы теперь убедились, что он не в своем уме? – шепнул он куму Туранжо. – Он не верит даже в астрологию!

– Невозможно себе представить, будто каждый звездный луч есть нить, протянутая к голове человека, – продолжал отец Клод.

– Но во что же вы тогда верите? – воскликнул кум Туранжо.

Архидьякон поколебался, затем с мрачной улыбкой, не гармонировавшей с его словами, ответил:

– Credo in Deum.[66]

– Dominum nostrum[67], – добавил кум Туранжо, осенив себя крестным знамением.

– Amen[68], – заключил Куактье.

– Уважаемый учитель, – продолжал кум Туранжо, – я искренне рад, что вы столь непоколебимы в вере. Но неужели, будучи таким великим ученым, вы дошли до того, что перестали верить в науку?

– Нет, – ответил архидьякон, схватив за руку кума Туранжо, и в потускневших зрачках его вспыхнуло пламя воодушевления, – нет, науку я не отрицаю. Недаром же я так долго, ползком, вонзая ногти в землю, пробирался сквозь бесчисленные разветвления этой пещеры, пока далеко впереди, в конце темного прохода, мне не блеснул какой-то луч, какое-то пламя; несомненно, то был отсвет ослепительной центральной лаборатории, в которой все терпеливые и мудрые обретают бога.

– Но все же, – перебил его кум Туранжо, – какую науку вы почитаете истинной и непреложной?

– Алхимию.

– Помилуйте, отец Клод! – воскликнул Куактье. – Положим, алхимия по-своему права, но зачем же поносить медицину и астрологию?

– Ваша наука о человеке – ничто! Ваша наука о небе – ничто! – твердо сказал архидьякон.

– Попросту говоря, это значит разделаться с Эпидавром и Халдеей, посмеиваясь, заметил медик.

– Послушайте, мессир Жак. Я сказал то, что думаю. Я не лекарь короля, и его величество не подарил мне сада Дедала, чтобы я мог наблюдать там созвездия… Не сердитесь и выслушайте меня. Я уже не говорю о медицине, которая вовсе лишена смысла, но скажите, какие истины вы извлекли из астрологии? Укажите мне свойства вертикального бустрофедона, укажите открытия, сделанные при помощи чисел зируф и зефирот!

– Неужели вы станете отрицать, – возразил Куактье, – симпатическую силу клавикулы и то, что от нее ведет свое начало вся кабалистика?

– Заблуждение, мессир Жак! Ни одна из ваших формул не приводит ни к чему положительному, тогда как алхимия имеет за собой множество открытий. Будете ли вы оспаривать следующие утверждения этой науки: что лед, пролежавший тысячу лет в недрах земли, превращается в горный хрусталь; что свинец – родоначальник всех металлов, ибо золото не металл, золото это свет; что свинцу нужно лишь четыре периода, по двести лет каждый, чтобы последовательно превратиться в красный мышьяк, из красного мышьяка в олово, из олова в серебро? Разве это не истины? Но верить в силу клавикулы, в линию судьбы, во влияние звезд так же смешно, как верить заодно с жителями Китая, что иволга превращается в крота, а хлебные зерна в золотых рыбок.

– Я изучил герметику, – вскричал Куактье, – и утверждаю, что…

Но вспыливший архидьякон не дал ему договорить.

– А я изучал и медицину, и астрологию, и герметику. Но истина только вот в чем! – С этими словами он взял с ларя стоявший на нем пузырек, полный того порошка, о котором мы упоминали выше. – Только в этом свет! Гиппократ – мечта, Урания – мечта; Гермес – мысль Золото – это солнце, уметь делать золото – значит быть равным богу. Вот единственная наука! Повторяю, я исследовал глубины астрологии и медицины, – все это ничто! Ничто! Человеческое тело – потемки! Светила – тоже потемки!

Властным и вдохновенным движением он откинулся в кресле. Кум Туранжо молча наблюдал за ним Куактье, принужденно посмеиваясь, пожимал незаметно плечами и повторял про себя: «Вот сумасшедший!»

– Ну, а удалось вам достигнуть своей чудесной цели? Удалось добыть золото?

– Если бы я ее достиг, то короля Франции звали бы Клодом, а не Людовиком, – медленно выговаривая слова, словно в раздумье, ответил архидьякон.

Кум Туранжо нахмурил брови.

– Впрочем, что я говорю! – презрительно усмехнувшись, проговорил Клод. – На что мне французский престол, когда я властен был бы восстановить Восточную империю!

– В добрый час! – сказал кум.

– О несчастный безумец! – пробормотал Куактье.

Казалось, архидьякона занимали только собственные мысли, и он продолжал:

– Нет, я все еще передвигаюсь ползком; я раздираю себе лицо и колени о камни подземного пути. Я пока лишь предполагаю, но еще не вижу! Я не читаю, я только разбираю по складам!

– А когда вы научитесь читать, вы сумеете добыть золото? – спросил кум.

– Кто может в этом сомневаться! – воскликнул архидьякон.

– В таком случае, пресвятой деве известно, как я нуждаюсь в деньгах, – я очень хотел бы научиться читать по вашим книгам Скажите, уважаемый учитель, ваша наука не враждебна и не противна божьей матери?

В ответ на этот вопрос Клод с высокомерным спокойствием промолвил:

– А кому же я служу как архидьякон?

– Ваша правда А вы удостоите посвятить меня в тайны вашей науки? Позвольте мне вместе с вами учиться читать.

Клод принял величественную позу первосвященника Самуила:

– Старик! Чтобы предпринять путешествие сквозь эти таинственные дебри, нужны долгие годы, которых у вас уже нет впереди. Ваши волосы серебрит седина. Но с седой головой выходят из этой пещеры, а вступают в нее тогда, когда волос еще темен. Наука и сама умеет избороздить, обесцветить и иссушить человеческий лик. Зачем ей старость с ее морщинами? Но если вас, в ваши годы, все еще обуревает желание засесть за науку и разбирать опасную азбуку мудрых, придите, пусть будет так, я попытаюсь. Я не пошлю вас, слабого старика, изучать усыпальницы пирамид, о которых свидетельствует древний Геродот, или кирпичную Вавилонскую башню, или исполинское, белого мрамора святилище индийского храма в Эклинге. Я и сам не видел ни халдейских каменных сооружений, воспроизводящих священную форму Сикры, ни разрушенного храма Соломона, ни сломанных каменных врат гробницы царей израильских. Мы с вами удовольствуемся отрывками из имеющейся у нас книги Гермеса. Я объясню вам смысл статуи святого Христофора, символ сеятеля и символ двух ангелов, изображенных у портала Сент-Шапель, из которых один погрузил свою длань в сосуд, а другой скрыл свою в облаке…

Но тут Жак Куактье, смущенный пылкой речью архидьякона, оправился и прервал его торжествующим тоном ученого, исправляющего ошибку собрата:

– Err as, amice Claudi![69] Символ не есть число. Вы принимаете Орфея за Гермеса.

– Это вы заблуждаетесь, – внушительным тоном ответил архидьякон. Дедал – это цоколь; Орфей – это стены; Гермес – это здание в целом. Вы придете, когда вам будет угодно, – продолжал он, обращаясь к Туранжо, я покажу вам крупинки золота, осевшего на дне тигля Никола Фламеля, и вы сравните их с золотом Гильома Парижского. Я объясню вам тайные свойства греческого слова peristera[70], но прежде всего я научу вас разбирать одну за другой мраморные буквы алфавита, гранитные страницы великой книги. От портала епископа Гильома и Сен-Жан ле Рон мы отправимся к Сент-Шапель, затем к домику Никола Фламеля на улице Мариво, к его могиле на кладбище Невинных, к двум его больницам на улице Монморанси. Я научу вас разбирать иероглифы, которыми покрыты четыре массивные железные решетки портала больницы Сен-Жерве и на Скобяной улице. Мм вместе постараемся разобраться в том, о чем говорят фасады церквей Сен-Ком, Сент-Женевьев-дез-Ардан, Сен-Мартен, Сен-Жак-де-ла-Бушри…

Уже давно, несмотря на весь свой ум, светившийся у него в глазах, кум Туранжо перестал понимать отца Клода. Наконец он перебил его:

– С нами крестная сила! Что же это за книга?

– А вот одна из них, – ответил архидьякон.

Распахнув окно своей кельи, он указал на громаду Собора Богоматери. Выступавший на звездном небе черный силуэт его башен, каменных боков, всего чудовищного корпуса казался исполинским двуглавым сфинксом, который уселся посреди города.

Некоторое время архидьякон молча созерцал огромное здание, затем со вздохом простер правую руку к лежавшей на столе раскрытой печатной книге, а левую – к Собору Богоматери и, переведя печальный взгляд с книги на собор, произнес:

– Увы! Вот это убьет то.

Куактье, который поспешно приблизился к книге, не утерпел и воскликнул:

– Помилуйте! Да что же тут такого страшного? Glossa in epistolas D. Pauli. Norimbergae, Antonius Koburger, 1474.[71] Это вещь не новая. Это сочинение Пьера Ломбара, прозванного «Мастером сентенций». Может быть, эта книга страшит вас тем, что она печатная?

– Вот именно, – ответил Клод. Погрузившись в глубокое раздумье, он стоял у стола, держа согнутый указательный палец на фолианте, оттиснутом на знаменитых нюрнбергских печатных станках. Затем он произнес следующие загадочные слова:

– Увы! Увы! Малое берет верх над великим; одинединственный зуб осиливает целую толщу. Нильская крыса убивает крокодила, меч-рыба убивает кита, книга убьет здание!

Монастырский колокол дал сигнал о тушении огня в ту минуту, когда Жак Куактье повторял на ухо своему спутнику свой неизменный припев: «Это сумасшедший». На этот раз и спутник ответил: «Похоже на то!»

Пробил час, когда посторонние не могли уже оставаться в монастыре. Оба посетителя удалились.

– Учитель! – сказал Туранжо, прощаясь с архидьяконом. – Я люблю ученых и великие умы, а к вам я испытываю особое уважение. Приходите завтра во дворец Турнель и спросите там аббата Сен-Мартен-де-Тур.

Архидьякон вернулся к себе в келью совершенно ошеломленный; только теперь он уразумел наконец, кто такой был «кум Туранжо», и вспомнил то место из сборника грамот монастыря Сен-Мертен-де-Тур, где сказано:

Abbas beati Martini, scilicet rex Franciae, est canonicus de consuetudine et habet parvam praebendam, quam habet sanctus. Venantius et debet sedere in sede thesaurarii.[72]

Утверждают, что с этого времени архидьякон часто беседовал с Людовиком XI, когда его величество посещал Париж, и что влияние отца Клода тревожило Оливье ле Дена и Жака Куактье, причем последний по своему обыкновению грубо пенял на это королю.

II. Вот это убьет то

Наши читательницы простят нам, если мы на минуту отвлечемся, чтобы попытаться разгадать смысл загадочных слов архидьякона: «Вот это убьет то. Книга убьет здание».

На наш взгляд, эта мысль была двойственной. Прежде всего это была мысль священника. Это был страх духовного лица перед новой силой – книгопечатанием. Это был ужас и изумление служителя алтаря перед излучающим свет печатным станком Гутенберга. Церковная кафедра и манускрипт, изустное слово и слово рукописное били тревогу в смятении перед словом печатным, – так переполошился бы воробей при виде ангела Легиона, разворачивающего перед ним свои шесть миллионов крыльев. То был вопль пророка, который уже слышит, как шумит и бурлит освобождающееся человечество, который уже провидит то время, когда разум пошатнет веру, свободная мысль свергнет с пьедестала религию, когда мир стряхнет с себя иго Рима. То было предвидение философа, который зрит, как человеческая мысль, ставшая летучей при помощи печати, уносится, подобно пару, из-под стеклянного колпака теократии. То был страх воина, следящего за медным тараном и возвещающего: «Башня рухнет». Это означало, что новая сила сменит старую силу; иными словами – печатный станок убьет церковь.

Но за этой первой, несомненно, более простой мыслью скрывалась, как необходимое ее следствие, другая мысль, более новая, менее очевидная, легче опровержимая и тоже философская. Мысль не только священнослужителя, но ученого и художника. В ней выражалось предчувствие того, что человеческое мышление, изменив форму, изменит со временем и средства ее выражения; что господствующая идея каждого поколения будет начертана уже иным способом, на ином материале; что столь прочная и долговечная каменная книга уступит место еще более прочной и долговечной книге – бумажной. В этом заключался второй смысл неопределенного выражения архидьякона. Это означало, что одно искусство будет вытеснено другим; иными словами, – книгопечатание убьет зодчество.

С сотворения мира и вплоть до XV столетия христианской эры зодчество было великой книгой человечества, основной формулой, выражавшей человека на всех стадиях его развития – как существа физического, так и существа духовного.

Когда память первобытных поколений ощутила себя чересчур обремененной, когда груз воспоминаний рода человеческого стал так тяжел и неопределенен, что простое летучее слово рисковало утерять его в пути, тогда эти воспоминания были записаны на почве самым явственным, самым прочным и вместе с тем самым естественным способом. Каждое предание было запечатлено в памятнике.

Первобытные памятники были простыми каменными глыбами, которых «не касалось железо», как говорит Моисей. Зодчество возникло так же, как и всякая письменность. Сначала это была азбука. Ставили стоймя камень, и он был буквой, каждая такая буква была иероглифом, и на каждом иероглифе покоилась группа идей, подобно капители на колонне. Так поступали первые поколения всюду, одновременно, на поверхности всего земного шара. «Стоячий камень» кельтов находят и в азиатской Сибири и в американских пампасах.

Позднее стали складывать целые слова. Водружали камень на камень, соединяли эти гранитные слоги и пытались из нескольких слогов создать слова. Кельтские дольмены и кромлехи, этрусские курганы, иудейские могильные холмы – все это каменные слова. Некоторые из этих сооружений, преимущественно курганы, – имена собственные. Иногда, если располагали большим количеством камней и обширным пространством, выводили даже фразу. Исполинское каменное нагромождение Карнака – уже целая формула.

Наконец, стали составлять и книги. Предания порождали символы, под которыми сами они исчезли, как под листвой исчезает древесный ствол; все эти символы, в которые веровало человечество, постепенно росли, размножаясь, перекрещиваясь и все более и более усложняясь; первобытные памятники не могли уже их вместить; символы их переросли; памятники почти перестали выражать первобытное предание, такое же простое, несложное и сливающееся с почвой, как и они сами. Чтобы развернуться, символу потребовалось здание. Тогда, вместе с развитием человеческой мысли, стало развиваться и зодчество; оно превратилось в тысячеглавого, тысячерукого великана и заключило зыбкую символику в видимую, осязаемую бессмертную форму. Пока Дедал – символ силы – измерял, пока Орфей – символ разума пел, в это время столп – символ буквы, свод – символ слога, пирамида символ слова, движимые разумом по законам геометрии и поэзии, стали группироваться, сочетаться, сливаться, снижаться, возвышаться, сдвигаться вплотную на земле, устремляться в небеса до тех пор, пока под диктовку господствующих идей эпохи им не удалось наконец написать те чудесные книги, которые являются одновременно и чудесными зданиями: пагоду в Эклинге, мавзолей Рамзеса в Египте и храм Соломона.

Основная идея – слово – заключалась не только в сокровенной их сущности, но также и в их формах. Так, например, храм Соломона отнюдь не был только переплетом священной книги, он был самой книгой. На каждой из его концентрических оград священнослужители могли прочесть явленное и истолкованное слово, и, наблюдая из святилища в святилище за его превращениями, они настигали слово в его последнем убежище, в его самой вещественной форме, которая была опять-таки зодческой, – в кивоте завета. Таким образом, слово хранилось в недрах здания, но образ этого слова, подобно изображению человеческого тела на крышке саркофага, был запечатлен на внешней оболочке здания.

И не только форма зданий, но и самое место, которое для них выбиралось, раскрывало идею, изображаемую ими. В зависимости от того, светел или мрачен был ждущий воплощения символ, Греция увенчивала свои холмы храмами, пленявшими глаз, а Индия вспарывала свои горы, чтобы высекать в них неуклюжие подземные пагоды, поддерживаемые вереницами исполинских гранитных слонов.

Таким образом, в течение первых шести тысячелетий, начиная с самой древней пагоды Индостана и до Кельнского собора, зодчество было величайшей книгой рода человеческого. Неоспоримость этого подтверждается тем, что не только все религиозные символы, но и вообще всякая мысль человеческая имеет в этой необъятной книге свою страницу и свой памятник.

Каждая цивилизация начинается с теократии и заканчивается демократией. Этот закон последовательного перехода от единовластия к свободе запечатлен и в зодчестве. Ибо, – мы на этом настаиваем, – строительное искусство не ограничивается возведением храмов, изображением мифов и священных символов, оно не только записывает иероглифами на каменных своих страницах таинственные скрижали закона. Если бы это было так, то, поскольку для каждого человеческого общества наступает пора, когда священный символ под давлением свободной мысли изнашивается и стирается, когда человек ускользает от влияния священнослужителя, когда опухоль философских теорий и государственных систем разъедает лик религии, – зодчество не могло бы воспроизвести это новое состояние человеческой души, его страницы, исписанные с одной стороны, были бы пусты на обороте, его творение было бы искалечено, его летопись была бы неполна. Между тем это не так.

Обратимся для примера к средним векам, в которых мы можем легче разобраться, потому что они ближе к нам. Когда теократия в течение первого периода своего существования устанавливает свой порядок в Европе, когда Ватикан объединяет и заново группирует вокруг себя элементы того Рима, который возник из Рима старого, лежащего в развалинах вокруг Капитолия, когда христианство начинает отыскивать среди обломков древней цивилизации все ее общественные слои и воздвигает при помощи этих руин новый иерархический мир,

краеугольным камнем которого является священство, тогда в этом хаосе сперва возникает, а затем мало-помалу из-под мусора мертвого греческого и римского зодчества, под дуновением христианства, под натиском варваров, пробивается таинственное романское зодчество, родственное теократическим сооружениям Египта и Индии, – эта неблекнущая эмблема чистого католицизма, этот неизменный иероглиф папского единства.

И действительно, мысль того времени целиком вписана в мрачный романский стиль. От него веет властностью, единством, непроницаемостью, абсолютизмом, – иначе говоря, папой Григорием VII; во всем чувствуется влияние священника и ни в чем – человека; влияние касты, но не народа.

Но вот начинаются крестовые походы. Это было мощное народное движение, а всякое великое народное движение, независимо от его причины и цели, всегда дает как бы отстой, из которого возникает дух свободолюбия. Начинают пробиваться ростки чего-то нового. И открывается бурный период «жакерии», «прагерий», «лиг». Власть расшатывается, единовластие раскалывается. Феодализм требует разделения власти с теократией в ожидании неизбежного появления народа, который, как это всегда бывает, возьмет себе львиную долю. Quia nominor leo.[73]Из-под духовенства начинает пробиваться дворянство, из-под дворянства – городская община. Лик Европы изменился. И что же? Изменяется и облик зодчества. Оно, как и цивилизация, перевернуло страницу, и новый дух эпохи находит его готовым к тому, чтобы писать под свою диктовку. Из крестовых походов оно вынесло стрельчатый свод, как народы – свободолюбие. И тогда вместе с постепенным распадом Рима умирает и романское зодчество. Иероглиф покидает собор и переходит в гербы на замковых башнях, чтобы придать престиж феодализму. Самый храм, это некогда столь верное догме сооружение, захваченное отныне средним сословием, городской общиной, свободой, ускользает из рук священника и поступает в распоряжение художника. Художник строит его по собственному вкусу. Прощайте, тайна, предание, закон! Да здравствует фантазия и каприз! Лишь бы священнослужитель имел свой храм и свой алтарь, – ничего другого он и не требует. А стенами распоряжается художник.

Отныне книга зодчества не принадлежит больше духовенству, религии и Риму; она во власти фантазии, поэзии и народа. Отсюда стремительные и бесчисленные превращения этого имеющего всего триста лет от роду зодчества, – превращения, так поражающие нас после устойчивой неподвижности романской архитектуры, насчитывающей шесть или семь веков.

Между тем искусство движется вперед – гигантскими шагами. Народный гений во всем своеобразии своего творчества выполняет задачу, которую до него выполняли епископы. Каждое поколение мимоходом заносит свою строку на страницу этой книги; оно соскребает древние романские иероглифы с церковных фасадов, и лишь с большим трудом удается различить под наново нанесенными символами кое-где пробивающуюся догму. Религиозный остов еле различим сквозь завесу народного творчества. Трудно вообразить, какие вольности разрешали себе зодчие даже тогда, когда дело касалось церквей. Вот витые капители в виде непристойно обнявшихся монахов и монахинь, как, например, в Каминной зале Дворца правосудия в Париже; вот история посрамления Ноя, высеченная резцом со всеми подробностями на главном портале собора в Бурже; вот пьяный монах с ослиными ушами, держащий чашу с вином и хохочущий прямо в лицо всей братии, как на умывальнике в Бошервильском аббатстве. В ту эпоху мысль, высеченная на камне, пользовалась привилегией, сходной с нашей современной свободой печати. Это было время свободы зодчества.

Свобода эта заходила очень далеко. Порой символическое значение какого-нибудь фасада, портала и даже целого собора было не только чуждо, но даже враждебно религии и церкви. Гильом Парижский в XIII веке и Никола Фламель в XV оставили несколько таких исполненных соблазна страниц. Церковь СенЖак-де-ла-Бушри в целом являлась воплощением духа оппозиции.

Будучи свободной лишь в области зодчества, мысль целиком высказывалась только в тех книгах, которые назывались зданиями. В этой форме она могла бы лицезреть собственное

сожжение на костре от руки палача, если бы по неосторожности отважилась принять вид рукописи; мысль, воплощенная в церковном портале, присутствовала бы при казни мысли, воплощенной в книге. Вот почему, не имея иного пути, кроме зодчества, чтобы пробить себе дорогу, она и стремилась к нему отовсюду. Только этим и можно объяснить невероятное обилие храмов, покрывших всю Европу, – их число так велико, что, даже проверив его, с трудом можно себе его вообразить. Все материальные силы, все интеллектуальные силы общества сошлись в одной точке – в зодчестве. Таким образом, искусство, под предлогом возведения божьих храмов, достигло великолепного развития.

В те времена каждый родившийся поэтом становился зодчим. Рассеянные среди масс дарования, придавленные со всех сторон феодализмом, словно testudo[74] из бронзовых щитов, не видя иного исхода, кроме зодчества, открывали себе дорогу с помощью этого искусства, и их илиады отливались в форму соборов. Все прочие искусства повиновались зодчеству и подчинялись его требованиям. Они были рабочими, созидавшими великое творение. Архитектор – поэт – мастер в себе одном объединял скульптуру, покрывающую резьбой созданные им фасады, живопись, расцвечивающую его витражи, музыку, приводящую в движение колокола и гудящую в органных трубах. Даже бедная поэзия, подлинная поэзия, столь упорно прозябавшая в рукописях, вынуждена была в форме гимна или хорала заключить себя в оправу здания, чтобы приобрести хоть какое-нибудь значение, – другими словами, играть ту же роль, какую играли трагедии Эсхила в священных празднествах Греции или Книга Бытия в Соломоновом храме.

Итак, вплоть до Гутенберга зодчество было преобладающей формой письменности, общей для всех народов. Эта гранитная книга, начатая на Востоке, продолженная греческой и римской древностью, была дописана средними веками. Впрочем, явление смены кастового зодчества зодчеством народным, наблюдаемое нами в средние века, повторялось при подобных же сдвигах человеческого сознания и в другие великие исторические эпохи.

Укажем здесь лишь в общих чертах этот закон, для подробного изложения которого потребовались бы целые тома. На Дальнем Востоке, в этой колыбели первобытного человечества, на смену индусскому зодчеству приходит финикийское – плодовитая родоначальница арабского зодчества; в античные времена за египетским зодчеством, разновидностью которого были этрусский стиль и циклопические постройки, следует греческое зодчество, продолжением которого является римский стиль, но уже отягощенный карфагенским куполообразным сводом, а в описываемое время на смену романскому зодчеству пришло зодчество готическое. Разбив на две группы эти три вида зодчества, мы найдем, что первая группа, три старшие сестры – зодчество индусское, зодчество египетское и зодчество романское – воплощают в себе один и тот же символ: теократии, касты, единовластия, догмата, мифа, божества. Что же касается второй группы, младших сестер – зодчества финикийского, зодчества греческого и зодчества готического, – то, при всем многообразии присущих им форм, все они также обозначают одно и то же: свободу, народ, человека.

В постройках индусских, египетских, романских ощущается влияние служителя религиозного культа, и только его, будь то брамин, жрец или папа. Совсем другое в народном зодчестве. В нем больше роскоши и меньше святости. Так, в финикийском зодчестве чувствуешь купца; в греческом – республиканца; в готическом – горожанина.

Основные черты всякого теократического зодчества – это косность, ужас перед прогрессом, сохранение традиционных линий, канонизирование первоначальных образцов, неизменное подчинение всех форм человеческого тела и всего, что создано природой, непостижимой прихоти символа. Это темные книги, разобрать которые в силах только посвященный. Впрочем, каждая форма, даже уродливая, таит в себе смысл, делающий ее неприкосновенной. Не требуйте от индусского, египетского или романского зодчества, чтобы они изменили свой рисунок или улучшили свои изваяния. Всякое усовершенствование для них – святотатство. Суровость догматов, застыв на камне созданных ею памятников, казалось,

подвергла их вторичному окаменению. Напротив, характерные особенности построек народного зодчества – разнообразие, прогресс, самобытность, пышность, непрестанное движение. Здания уже настолько отрешились от религии, что могут заботиться о своей красоте, лелеять ее и непрестанно облагораживать свой убор из арабесок или изваяний. Они от мира. Они таят в себе элемент человеческого, непрестанно примешиваемый ими к божественному символу, во имя которого они продолжают еще воздвигаться. Вот почему эти здания доступны каждой душе, каждому уму, каждому воображению. Они еще символичны, но уже доступны пониманию, как сама природа. Между зодчеством теократическим и народным такое же различие, как между языком жрецов и разговорной речью, между иероглифом и искусством, между Соломоном и Фидием.

Если мы вкратце повторим то, что лишь в общих чертах, опуская множество доказательств и неважных возражений, мы говорили выше, то придем к следующему заключению. До XV столетия зодчество было главной летописью человечества; за этот промежуток времени во всем мире не возникало ни одной хоть сколько-нибудь сложной мысли, которая не выразила бы себя в здании; каждая общедоступная идея, как и каждый религиозный закон, имела свой памятник; все значительное, о чем размышлял род человеческий, он запечатлел в камне. Почему? Потому что всякая идея, будь то идея религиозная или философская, стремится увековечить себя; иначе говоря, всколыхнув одно поколение, она хочет всколыхнуть и другие и оставить по себе след. И как ненадежно это бессмертие, доверенное рукописи! А вот здание – это уже книга прочная, долговечная и выносливая! Для уничтожения слова, написанного на бумаге, достаточно факела или варвара. Для разрушения слова, высеченного из камня, необходим общественный переворот или возмущение стихий. Орды варваров пронеслись над Колизеем, волны потопа, быть может, бушевали над пирамидами.

В XV столетии все изменяется.

Человеческая мысль находит способ увековечить себя, не только обещающий более длительное и устойчивое существование, нежели зодчество, но также и более простой и легкий. Зодчество развенчано. Каменные буквы Орфея заменяются свинцовыми буквами Гуттенберга.

Книга убьет здание.

Изобретение книгопечатания – величайшее историческое событие. В нем зародыш всех революций. Оно является совершенно новым средством выражения человеческой мысли; мышление облекается в новую форму, отбросив старую. Это означает, что тот символический змий, который со времен Адама олицетворял разум, окончательно и бесповоротно сменил кожу.

В виде печатного слова мысль стала долговечной, как никогда: она крылата, неуловима, неистребима. Она сливается с воздухом. Во времена зодчества мысль превращалась в каменную громаду и властно завладевала определенным веком и определенным пространством. Ныне же она превращается в стаю птиц, разлетающихся на все четыре стороны, и занимает все точки во времени и в пространстве.

Повторяем: мысль, таким образом, становится почти неизгладимой. Утратив прочность, она приобрела живучесть. Долговечность она сменяет на бессмертие. Разрушить можно любую массу, но как искоренить то, что вездесуще? Наступит потоп, исчезнут под водой горы, а птицы все еще будут летать, и пусть уцелеет хоть один ковчег, плывущий по бушующей стихии, птицы опустятся на него, уцелеют вместе с ним, вместе с ним будут присутствовать при убыли воды, и новый мир, который возникнет из хаоса, пробуждаясь, увидит, как над ним парит крылатая и живая мысль мира затонувшего.

И когда убеждаешься в том, что этот способ выражения мысли является не только самым надежным, но и более простым, наиболее удобным, наиболее доступным для всех; когда думаешь о том, что он не связан с громоздкими приспособлениями и не требует тяжеловесных

орудий; когда сравниваешь ту мысль, которая для воплощения в здание вынуждена была приводить в движение четыре, а то и пять других искусств, целые тонны золота, целую гору камней, целые леса стропил, целую армию рабочих, – когда сравниваешь ее с мыслью, принимающей форму книги, для чего достаточно иметь небольшое количество бумаги, чернила и перо, то можно ли удивляться тому, что человеческий разум предпочел книгопечатание зодчеству? Пересеките внезапно первоначальное русло реки каналом, прорытым ниже ее уровня, и река покинет старое русло.

Обратите внимание на то, как с момента изобретения печатного станка постепенно нищает, чахнет и увядает зодчество. Вы чувствуете, что вода в этом русле идет на убыль, что жизненных сил в нем не стало, что мысль веков и народов уклоняется от него! Это охлаждение к зодчеству в XV веке еще еле заметно, так как печатное слово не окрепло; самое большее, на что оно способно, это оттянуть у могучего зодчества лишь избыток его жизненных сил. Но уже с XVI столетия болезнь зодчества очевидна: оно перестает быть главным выразителем основных идей общества; оно униженно ищет опоры в искусстве классическом. Галльское, европейское, самобытное, оно делается греческим и римским; правдивое и современное, оно становится ложноклассическим. Именно эту эпоху упадка именуют эпохой Возрождения. Упадок, впрочем, блистательный, ибо древний готический гений, это солнце, закатившееся за гигантский печатный станок Майнца, еще некоторое время пронизывает своими последними лучами нагромождение латинских аркад и коринфских колоннад.

И вот это заходящее солнце мы принимаем за утреннюю зарю.

Однако с той минуты, как зодчество сравнялось с другими искусствами, с той минуты, как оно перестало быть искусством всеобъемлющим, искусством господствующим, искусством тираническим, оно уже не в силах сдерживать развитие прочих искусств. И они освобождаются, разбивают ярмо зодчего и устремляются каждое в свою сторону. Каждое из них от этого расторжения связи выигрывает. Самостоятельность содействует росту. Резьба становится ваянием, роспись – живописью, литургия – музыкой. Это как бы расчленившаяся после смерти своего Александра империя, каждая провинция которой превратилась в отдельное государство.

Вот что породило Рафаэля, Микеланджело, Жана Гужона, Палестрину этих светочей лучезарного XVI века.

Одновременно с искусством освобождается и человеческая мысль. Ересиархи средневековья пробили уже широкие бреши в католицизме. Шестнадцатый век окончательно сокрушает единство церкви. До книгопечатания реформация была бы лишь расколом; книгопечатание превратило ее в революцию. Уничтожьте печатный станок – и ересь обессилена. По предопределению ли свыше, или по воле рока, но Гуттенберг является предтечей Лютера.

Когда солнце средневековья окончательно закатилось и гений готики навсегда померк на горизонте искусства, зодчество все более и более тускнеет, обесцвечивается и отступает в тень. Печатная книга, этот древоточец зданий, сосет его и гложет. Подобно дереву, оно оголяется, теряет листву и чахнет на глазах. Оно скудно, оно убого, оно – ничто. Оно уже больше ничего не выражает, даже воспоминаний об искусстве былых времен. Предоставленное собственным силам, покинутое остальными искусствами, ибо и мысль человеческая покинула его, оно призывает себе на помощь ремесленников за недостатком мастеров. Витраж заменяется простым окном. За скульптором приходит каменотес. Прощайте, сила, своеобразие, жизненность, осмысленность! Словно жалкий попрошайка, влачит он свое существование при мастерских, пробавляясь копиями. Микеланджело, уже в XVI веке несомненно почуявший, что оно гибнет, был озарен последней идеей – идеей отчаяния. Этот титан искусства нагромождает Пантеон на Парфенон и создает Собор св. Петра в Риме. Это величайшее творение искусства, заслуживающее того, чтобы остаться неповторимым, последний самостоятельный образчик зодчества, последний росчерк колоссахудожника на исполинском каменном списке, у которого

нет продолжения. Микеланджело умирает, и что же делает это жалкое зодчество, пережившее само себя в виде какого-то призрака, тени? Оно принимается за Собор св. Петра в Риме, рабски воспроизводит его, подражает ему. Это превращается в жалкую манию. У каждого столетия есть свой Собор св. Петра: в XVII веке – это церковь Валь-де-Грас, в XVIII веке – церковь св. Женевьевы. У каждой страны есть свой Собор св. Петра: у Лондона – свой, у Петербурга – свой. У Парижа их даже два или три. Но все это – лишенное всякого значения завещание, последнее надоедливое бормотание одряхлевшего великого искусства, впадающего перед смертью в детство.

Если мы вместо отдельных характерных памятников, о которых мы только что упоминали, исследуем общий облик этого искусства за время от XVI до XVIII века, то заметим те же признаки упадка и худосочия. Начиная с Франциска II архитектурная форма зданий все заметнее сглаживается, и из нее начинает выступать, подобно костям скелета на теле исхудавшего больного, форма геометрическая. Изящные линии художника уступают место холодным и неумолимым линиям геометра. Здание перестает быть зданием: это всего лишь многогранник. И зодчество мучительно силится скрыть эту наготу. Вот греческий фронтон, который внедряется в римский, и наоборот. Это все тот же Пантеон в Парфеноне, все тот же Собор св. Петра в Риме. А вот кирпичные дома с каменными углами эпохи Генриха IV; вот Королевская площадь и площадь Дофина. Вот церкви эпохи Людовика XIII, тяжелые, приземистые, с плоскими сводами, неуклюжие, отягощенные куполами, словно горбами. Вот зодчество времен Мазарини, коллеж Четырех наций, скверная подделка под итальянцев. Вот дворцы Людовика XIV – длинные, суровые, холодные, скучные казармы, построенные для придворных. Вот, наконец, и эпоха Людовика XV, с ее пучками цикория, червячками, бородавками и наростами, обезображивающими древнее зодчество, ветхое, беззубое, но все еще кокетливое. От Франциска II и до Людовика XV недуг возрастает в геометрической прогрессии. От прежнего искусства остались лишь кожа да кости. Оно умирает жалкой смертью.

А что же тем временем сталось с книгопечатанием? В него вливаются все жизненные соки, иссякающие в зодчестве. По мере того как зодчество падает, книгопечатание разбухает и растет. Весь запас сил, который человеческая мысль расточала на возведение зданий, ныне затрачивается ею на создание книг. Начиная с XVI столетия печать, сравнявшись со слабеющим зодчеством, вступает с ним в единоборство и убивает его. В XVII веке она уже настолько могущественна, настолько победоносна, настолько упрочила свою победу, что в силах устроить для мира празднество великого литературного века. В XVIII, после долгого отдыха при дворе Людовика XIV, она вновь хватается за старый меч Лютера, вооружая им Вольтера, и шумно устремляется на приступ той самой Европы, архитектурную форму выражения которой она уже уничтожила. К концу XVIII века печать ниспровергла все старое. В XIX столетии она начинает строить заново.

Теперь зададим себе вопрос: которое же из двух искусств является за последние три столетия подлинным представителем человеческой мысли? Которое из них передает ее? Которое выражает не только ее литературные и схоластические увлечения, но и все ее движение, во всей его широте, глубине и охвате? Которое из них неизменно, непрерывно, постоянно идет в ногу с движущимся вперед родом человеческим, этим тысяченогим чудовищем? Зодчество или книгопечатание? Конечно, книгопечатание.

Не следует заблуждаться: зодчество умерло, умерло безвозвратно. Оно убито печатной книгой; убито, ибо оно менее прочно; убито, ибо обходится дороже. Каждый собор – это миллиард. Представьте же себе теперь, какие понадобились бы громадные затраты, чтобы снова написать эту книгу зодчества; чтобы на земле вновь возникли тысячи зданий, чтобы вернуться к тому времени, когда количество архитектурных памятников было таково, что, по словам очевидца, «казалось, мир, отряхнувшись, сбросил с себя свои старые одежды и облекся

в белые церковные ризы». Erat emm ut si mundus, ipse excutiendo semei, rejecta ve tu. sta. te, candidam ecclesiarum vestem indueret (Glaber Radulphus).

А книга создается так быстро, она так дешево стоит, и ее так легко распространить! Не удивительно, что всякая человеческая мысль устремляется по этому склону! Это не значит, что зодчество не может создать то здесь, то там великолепные памятники, отдельные образцы искусства. Время от времени, даже при господстве книгопечатания, конечно, будут появляться колонны, воздвигнутые из сплава пушек при помощи целой армии, подобно тому как при господстве зодчества целый народ, собирая и сливая воедино отрывки, создавал илиады, романсеро, махабхараты и нибелунгов. Великая случайность может породить и в XX столетии гениального зодчего, подобно тому как она породила в XIII веке Данте. Но отныне зодчество уже не будет искусством общественным, искусством коллективным, искусством преобладающим. Великая поэма, великое здание, великое творение человечества уже не будет строиться: оно будет печататься.

И если зодчество случайно воспрянет, то оно уже не будет властелином. Оно подчинится правилам литературы, для которой некогда само их устанавливало. Взаимоотношения обоих искусств резко изменятся. Несомненно, в эпоху зодчества поэмы, правда малочисленные, походили на его же собственные творения. В Индии поэмы Виаза сложны, своеобразны и непроницаемы, как пагода; на египетском Востоке поэзии, как и зданиям, свойственны благородные и бесстрастные линии; в античной Греции – красота, ясность и спокойствие; в христианской Европе – величие католицизма, простодушие народа, богатый и пышный расцвет эпохи обновления. В Библии есть сходство с пирамидами, в Илиаде – с Парфеноном, в Гомере-с Фидием. Данте в XIII столетии – это последняя романская церковь; Шекспир в XVI последний готический собор.

Итак, чтобы в немногих словах повторить самое существенное из всего, о чем мы доселе по необходимости говорили неполно и бегло, мы скажем, что роду человеческому принадлежат две книги, две летописи, два завещания – зодчество и книгопечатание, библия каменная и библия бумажная. Бесспорно, когда сравниваешь эти две библии, так широко раскрытые в веках, то невольно сожалеешь о неоспоримом величии гранитного письма, об этом исполинском алфавите, принявшем форму колоннад, пилонов и обелисков, об этом подобии гор, сложенных руками человека, покрывающих все лицо земли и охраняющих прошлое, – от пирамиды до колокольни, от времен Хеопса до даты создания Страсбургского собора. Следует перечитывать прошлое, записанное на этих каменных страницах. Надо неустанно перелистывать эту книгу, созданную зодчеством, и восхищаться ею, но не должно умалять величие здания, воздвигаемого книгопечатанием.

Это строение необозримо. Какой-то статистик вычислил, что если наложить одна на другую все книги, которые печатались со времен Гуттенберга, то ими можно заполнить расстояние от Земли до Луны; но мы не намерены говорить о такого рода величии. И все же, когда мы пытаемся мысленно представить себе общую картину того, что дало нам книгопечатание вплоть до наших дней, то разве не возникает перед нами вся совокупность его творений как исполинское здание, над которым неустанно трудится человечество и которое основанием своим опирается на весь земной шар, а недосягаемой вершиной уходит в непроницаемый туман грядущего? Это какой-то муравейник умов. Это улей, куда золотистые пчелы воображения приносят свой мед.

В этом здании тысячи этажей. То тут, то там на их площадки выходят сумрачные пещеры науки, пересекающиеся в его недрах. Повсюду на наружной стороне здания искусство щедро разворачивает перед нашими глазами свои арабески, свои розетки, свою резьбу. Здесь каждое отдельное произведение, каким бы причудливым и обособленным оно ни казалось, занимает свое место, свой выступ. Здесь все исполнено гармонии Начиная с собора Шекспира и кончая мечетью Байрона, тысячи колоколенок громоздятся как попало в этой метрополии всемирной мысли. У самого подножия здания воспроизведены некоторые не запечатленные зодчеством

древние хартии человечества. Налево от входа вделан античный барельеф из белого мрамора – это Гомер, направо – многоязычная Библия возвышает свои семь голов Дальше щетинится гидра Романсеро и некоторые другие смешанные формы, Веды и Нибелунги.

Впрочем, чудесное здание все еще остается незаконченным. Печать, этот гигантский механизм, безостановочно выкачивающий все умственные соки общества, неустанно извергает из своих недр новые строительные материалы. Род человеческий – весь на лесах Каждый ум – каменщик. Самый смиренный из них заделывает щель или кладет свой камень – даже Ретиф де ла Бретон тащит сюда свою корзину, полную строительного мусора. Ежедневно вырастает новый ряд каменной кладки. Помимо отдельного, самостоятельного вклада каждого писателя, имеются и доли, вносимые сообща. Восемнадцатый век дал Энциклопедию, эпоха революции создала Монитор.

Итак, печать – это тоже сооружение, растущее и взбирающееся ввысь бесконечными спиралями; в ней такое же смешение языков, беспрерывная деятельность, неутомимый труд, яростное соревнование всего человечества; в ней – обетованное убежище для мысли на случай нового всемирного потопа, нового нашествия варваров. Это вторая Вавилонская башня рода человеческого.

Книга шестая

I. Беспристрастный взгляд на старинную магистратуру

В 1482 году от Рождества Христова благородный Робер д'Эстутвиль, рыцарь сьер де Бейн, барон д'Иври и Сент-Андри в Ла-Марш, советник и камергер короля, он же парижский прево, был вполне счастливым человеком. Прошло уже почти семнадцать лет с тех пор, как он 7 ноября 1465, то есть в самый год появления кометы[75], получил от короля эту видную должность – скорее вотчину, чем службу: dignitas, quae cum non exigua potestate politiam concernente, atque praerogatiuis multis et juribus conjuncta est[76], – говорит Иоанн Лемней. В 1482 году странно было видеть на королевской службе дворянина, назначение на должность которого относится ко времени бракосочетания побочной дочери короля Людовика XI с незаконнорожденным сыном герцога Бурбонского. Когда Робер д'Эстутвиль сменил мессира Жака де Вилье в должности парижского прево, в тот же день Жеан Дове занял место Эли де Торета, первого председателя судебной палаты; Жеан Жувенель стал верховным судьей Франции вместо Пьера де Морвилье, а Реньо де Дорман занял место постоянного докладчика в королевском суде, разбив надежды Пьера Пюи. Вот как сменялись председатели палаты, верховные судьи и докладчики с тех пор, как Робер д'Эстутвиль стал парижским прево.

Его должность была ему вручена «на хранение», так гласила королевская грамота. И точно, он зорко охранял ее. Он вцепился в нее, он врос в нее, он настолько отождествил себя с нею, что сумел устоять против той мании смен, которая владела Людовиком XI, этим недоверчивым, сварливым и деятельным королем, стремившимся при помощи частых назначений и смещений сохранить неограниченность своей власти. Этого мало: славный рыцарь добился для сына наследования после него этой должности, и вот уже два года, как имя дворянина Жака д'Эстутвиля красуется рядом с именем отца во главе списка постоянных членов парижского городского суда. Редкая и безусловно необычная милость! Правда, Робер д'Эстутвиль был храбрым воином, он мужественно поднял рыцарское знамя против Лиги общественного блага и преподнес королеве в день ее вступления в Париж, в 14… году, великолепного сахарного оленя. К тому же он был в наилучших отношениях с мессиром Тристаном Отшельником, председателем королевского суда.

Счастливо и привольно текла жизнь мессира Робера. Во-первых, он получал очень большое жалованье, к которому прибавлялись, точно лишние тяжелые гроздья в его винограднике, доходы с канцелярий при гражданских и уголовных судах всего судебного округа, затем доходы с гражданских и уголовных дел, разбиравшихся в нижних судебных залах

Шатле, не считая мелких сборов с мостов Мант и Корбейль, налогов со сборщиков винограда, меряльщиков дров и весовщиков соли.

Прибавьте к этому удовольствие разъезжать по городу в сопровождении целой свиты общинных старост и квартальных надзирателей, одетых в платье наполовину красного, наполовину коричневого цвета, и красоваться среди них своим мундиром и шлемом, помятым в битве при Монлери, изображения которых вы еще и сейчас можете видеть на его гробнице в Вальмонтанском аббатстве в Нормандии. А кроме того, разве плохо иметь в полном подчинении городскую стражу, привратника и караул Шатле, двух членов суда Шатле, auditores Castflleti, шестнадцать комиссаров шестнадцати кварталов, тюремщика Шатле, четырех ленных сержантов, сто двадцать конных сержантов, сто двадцать сержантов-жезлоносцев, начальника ночного дозора со всеми его подчиненными? А разве это пустяки – вершить правосудие, разрешать все гражданские и уголовные дела, иметь право привода, право выставлять к позорному столбу и вешать, не считая права разбирательства мелких дел в первой инстанции (in. prima instantia, как сказано в хартиях) в парижском виконтстве, которому в знак особого почета пожаловали семь дворянских судебных округов? Можно ли вообразить себе что-нибудь более приятное, чем чинить суд и расправу, как это ежедневно делал мессир д'Эстутвиль, заседая в Гран-Шатле, под сенью широких и приземистых сводов эпохи Филиппа-Августа? А какое удовольствие возвращаться ежевечерне в свой очаровательный домик на Галилейской улице, за оградой королевского дворца, полученный им в приданое за женой, Амбруазой де Лоре, и отдыхать там от трудов, состоявших в том, что он обрекал какого-нибудь горемыку на ночевку в «хижинке» на Живодерной улице, которой судьи и общинные старосты Парижа обычно пользовались как тюрьмой, а «таковая имела одиннадцать футов в длину, семь футов четыре дюйма в ширину и одиннадцать футов в вышину»![77]

Мессир Робер д'Эстутвиль властвовал не только в судебном ведомстве по праву прево и виконта парижского, но запускал глаза и зубы в дела верховного королевского суда. Не было ни одного сколько-нибудь высокопоставленного лица, которое, прежде чем достаться палачу, не прошло бы через его руки. Это он отправился за герцогом Немурским в Бастилию к Сент-Антуанскому предместью, чтобы доставить его оттуда на площадь Главного рынка, и за г-ном Сен-Поль, чтобы доставить его на Гревскую площадь, причем последний кричал и отбивался, к великому удовольствию господина прево, который недолюбливал господина коннетабля.

Всего этого, конечно, было более чем достаточно, чтобы сделать жизнь человека счастливой и блистательной и чтобы впоследствии обеспечить ему поучительную страничку в той любопытной истории парижских прево, из которой можно узнать, что Удард де Вильнев имел собственный дом на Мясницкой улице, что Гильом де Ангаст купил Большую и Малую Савойю, что Гильом Тибу завещал монахиням общины святой Женевьевы свои дома на улице Клопен, что Гюг Обрио проживал в гостинице Дикобраза, и много других бытовых подробностей.

Однако, несмотря на то, что мессир Робер д'Эстутвиль имел все основания жить спокойно и весело, он проснулся утром 7 января 1482 года в очень мрачном расположении духа. Откуда взялось это настроение, он и сам не сумел бы сказать. Потому ли, что пасмурно было небо? Потому ли, что пряжка его старой портупеи времен Монлери плохо была застегнута, слишком туго, по-военному, стягивая его дородную, как у всех прево, фигуру? Потому ли, что мимо его окон прошли выказавшие ему неуважение гуляки, шествовавшие по четыре в ряд, в одних куртках без рубашек, с продырявленными шляпами, с котомками и фляжками у пояса? А может статься, его томило смутное предчувствие, что будущий король Карл VIII в следующем году урежет доходы парижского прево на триста семьдесят ливров шестнадцать солей и восемь денье? Пускай читатель решит это сам; мы же склонны думать, что он был не в духе просто потому, что был не в духе.

Впрочем, сегодня, после вчерашнего праздника, был скучный день для всех, в особенности для чиновника, обязанного убирать все нечистоты как в переносном, так и в буквальном смысле, оставляемые всяким празднеством в Париже. Кроме того, ему предстояло заседать в Гран-Шатле, а мы заметили, что обычно судьи всегда подгоняют свое дурное расположение духа к дням судебных заседаний, чтобы всегда иметь кого-нибудь под рукой, на ком можно было бы безнаказанно сорвать сердце именем короля, закона и правосудия.

Между тем заседание началось без него. Его заменяли помощники по уголовным, гражданским и частным делам. Уже с восьми часов утра несколько десятков горожан и горожанок, скученных и стиснутых в темном углу между крепкой дубовой перегородкой и стеною нижней залы заседаний Шатле, разинув рты от изумления, присутствовали при разнообразном и увлекательном зрелище гражданского и уголовного правосудия, чинимого как придется Флорианом Барбедьеном – младшим судьей Шатле и помощником прево.

Зала была небольшая, низкая, сводчатая. В глубине ее стоял украшенный изображениями королевских гербов стол с громадным креслом резного дуба, предназначенным для прево и в данное время не занятым, а влево от него скамья для младшего судьи, Флориана Барбедьена. Чуть ниже сидел что-то строчивший протоколист; напротив – толпа; перед дверью и перед столом множество судейских в лиловых камлотовых полукафтаньях с белыми крестами на груди. Два сержанта городского совета общинных старост, одетые в наполовину красные, наполовину голубые стеганые камзолы, стояли на часах у низкой затворенной двери, видневшейся в глубине зала, за столом. Единственное узкое стрельчатое окно, пробитое в толстой стене, тусклым светом январского дня освещало две забавные фигуры: причудливого каменного демона, который свисал из самого центра свода, и судью, который восседал в глубине залы среди королевских лилий, украшавших его стол.

Вообразите себе фигуру, склонившуюся, тяжело опираясь на локти, над судейским столом, между двух связок судебных дел, с шлейфом гладкого коричневого одеяния под ногами, с багровым бугристым лицом, утонувшим в белом барашковом воротнике, два клочка которого, казалось, заменяли ему брови; вообразите моргающие глаза, величественно свисающие толстые щеки, которые как бы встречались под подбородком, – и перед вами Флориан Барбедьен, младший судья Шатле.

Прибавьте к этому, что он был глух. Порок для судьи, впрочем, несущественный. Это не мешало Флориану Барбедьену выносить определенные и безапелляционные решения. Ведь судье достаточно только делать вид, будто он слушает, а почтенный законник вполне удовлетворял этому условию нелицеприятного суда, так как внимание его не нарушалось никаким посторонним шумом.

Однако в зале суда присутствовал один наблюдатель, который безжалостно высмеивал все его поступки и жесты. Это был наш друг Жеан Мельник, вчера еще школяр, «шныряла», которого во всякое время можно было встретить в любом уголке Парижа, но только не перед профессорской кафедрой.

– Смотри! – шепотом обратился он к своему спутнику Робену Пуспену, который ухмылялся, слушая его комментарии по поводу всего, что происходило у них перед глазами. – Вот Жанетта де Бюисон, хорошенькая дочка лежебоки с Нового рынка! Клянусь душой, он ее осудил, этот старикашка! Да он, кажется, не только оглох, но и ослеп. Пятнадцать солей четыре парижских денье штрафа за то, что она нацепила на себя пару четок! Дороговато! Lex duri carminis.[78] А это кто такой? А! Робен Шьеф де Виль, кольчужный мастер. «По случаю получения им звания мастера и принятия его в вышеозначенный цех». Это он платит свой вступительный взнос! Что это? Два дворянина среди этих бездельников! Эгле де Суан и Ютен де Мальи! Два кавалера, клянусь телом Христовым! А, вот оно что! Они попались за игрой в кости! Когда же я увижу здесь нашего ректора? Сто парижских ливров штрафа в пользу короля! Этот Барбедьен лупит здорово! Впрочем, так и подобает глухому. Пусть я превращусь в моего братца архидьякона, если это может мне помешать играть; играть днем, играть ночью, жить

за игрой, умереть за игрой и, проиграв последнюю рубашку, поставить на карту душу! Пречистая дева, а девок-то, девок! Так и идут, овечки мои, одна за другой! Амбру аза Лекюйер, Изабо ла Пейнет, Берарда Жиронен! Я всех знаю! Штраф! Штраф! То-то! Сейчас вам покажут, как красоваться в золоченых кушаках! Десять парижских солей, щеголихи! Ах ты, старая судейская морда, глухарь полоумный! Ах ты, пентюх Флориан! Ах ты, невежа Барбедьен! Ишь как расселся у стола! Он жрет истцов, жрет дела, он жрет, он жует, он давится, он до отказу набивает себе брюхо. Штрафы, доход от бесхозяйственного имущества, налоги, пени, судебные издержки, вознаграждение, протори и убытки, пытка, тюрьма и темница, кандалы с взысканием издержек – все это для него святочные пряники и марципаны Иванова дня! Погляди-ка на этого борова! Ого, еще одна жрица любви! Не более не менее, как сама Тибо-ла-Тибод. Попалась за то, что вышла за пределы улицы Глатиньи! А это что за парень? Жифруа Мабон, конник стрелковой команды. Он всуе поминал господа бога. Оштрафовать ла Тибод! Оштрафовать Жифруа! Оштрафовать обоих! Старый глухарь! Он, должно быть, перепутал эти дела! Ставлю десять против одного, что девицу он заставит платить за божбу, а конника за любовь! Внимание, Робен Пуспен! Кого это они ведут? Смотри, сколько стражи! Клянусь Юпитером, тут вся свора гончих! Видно, поймали красного зверя. Вроде кабана! Кабан, Робен, как есть кабан! Да еще какой матерый! Клянусь Геркулесом, это же наш вчерашний владыка, наш папа шутов, наш звонарь, наш кривой, наш горбун, наш гримасник! Это же Квазимодо!

Действительно, это был он.

Это был Квазимодо, связанный, скрученный, в путах и оковах, под сильным конвоем. Окружавшую его стражу возглавлял сам начальник ночного дозора, грудь которого была украшена вышитым гербом Франции, а спина гербом Парижа. Впрочем, в самом Квазимодо не было ничего, за исключением его уродства, что оправдывало бы весь этот набор алебард и аркебуз. Он был мрачен, молчалив и спокоен. Лишь изредка его единственный глаз бросал гневный и угрюмый взгляд на сковывавшие его путы.

Он осмотрелся кругом, и его взгляд стал таким безжизненным и сонным, что женщины указывали на звонаря пальцем, только чтобы посмеяться над ним.

Тем временем младший судья Флориан перелистывал поданное ему протоколистом дело, возбужденное против Квазимодо; бегло просмотрев его, он помолчал, как бы собираясь с мыслями. Благодаря этой предосторожности, к которой он неизменно прибегал, прежде чем приступить к допросу, он всегда заранее знал имя, звание, проступок подсудимого, заранее готовил возражения на предполагаемые ответы и, таким образом, благополучно выпутывался из всех затруднений допроса, не слишком явно обнаруживая свою глухоту. Документы, приложенные к делу, были для него тем же, чем собака-поводырь для слепого. Если ему порой и случалось из-за неуместного замечания или бессмысленного вопроса обнаружить свой недостаток, то одни это принимали за глубокомыслие, а другие – за глупость; но и в том и в другом случае честь суда никак не была затронута, ибо лучше судье слыть глубокомысленным или глупым, нежели глухим. Поэтому судья тщательно скрывал свою глухоту и большей частью настолько успевал в этом, что под конец сам себя вводил в заблуждение, что, впрочем, гораздо легче, чем принято думать. Все горбатые ходят с высоко поднятой головой, все заики ораторствуют, все глухие говорят шепотом. Что же касается Флориана Барбедьена, то он считал себя всего лишь туговатым на ухо. Это была единственная уступка, которую он делал общественному мнению, и то лишь в минуты откровенности и трезвой оценки собственной личности.

Итак, прожевав дело Квазимодо, он откинул голову и полузакрыл глаза, чтобы придать себе более величественный и более беспристрастный вид. Таким образом, он оказался глухим и слепым одновременно. Вот условие, необходимое для того, чтобы быть образцовым судьей! Приняв эту величественную позу, он приступил к допросу:

– Ваше имя?

Но здесь возник казус, не «предусмотренный законом»: глухой допрашивал глухого.

Никем не предупрежденный о том, что к нему обращаются с вопросом. Квазимодо продолжал пристально глядеть на судью и молчал. Глухой судья, никем не предупрежденный о глухоте обвиняемого, подумал, что тот ответил, как обычно отвечают все обвиняемые, и продолжал вести допрос с присущей ему дурацкой самоуверенностью.

– Прекрасно. Ваш возраст?

Квазимодо и на этот вопрос не – ответил. Судья, убежденный в том, что получил ответ, продолжал:

– Так. Ваше звание?

Допрашиваемый по-прежнему молчал. А между тем слушатели начали перешептываться и переглядываться.

– Довольно, – проговорил невозмутимый вершитель правосудия, предполагая, что обвиняемый ответил и на третий вопрос. – Вы обвиняетесь: primo[79], в нарушении ночной тишины; secundo[80], в насильственных и непристойных действиях по отношению к женщине легкого поведения, in praejudicium meretricis[81]; tertio[82], в бунте и неподчинении стрелкам, состоящим на службе короля, нашего повелителя. Выскажитесь по всем этим пунктам. Протоколист! Вы записали предыдущие ответы подсудимого?

При этом злополучном вопросе по всему залу, начиная со скамьи протоколиста, раздался такой неистовый, такой безумный, такой заразительный, такой дружный хохот, что даже и глухой судья и глухой подсудимый заметили это. Квазимодо оглянулся, презрительно поводя своим горбом; между тем Флориан Барбедьен, не менее удивленный, чем он, подумал, что смех слушателей вызван каким-нибудь непочтительным ответом обвиняемого; презрительное движение плеч Квазимодо утвердило его в этой мысли, и он накинулся на него:

– Негодяй! Подобный ответ заслуживает виселицы! Знаете ли вы, с кем говорите?

Этот выпад только увеличил приступ всеобщего веселья. Он показался всем до того неожиданным и до того несуразным, что бешеный хохот заразил даже сержантов городского совета общинных старост – эту породу копьеносцев, тупоумие которых было как бы необходимой принадлежностью их мундира. Один лишь Квазимодо, по той простой причине, что ничего не мог понять из всего происходившего, сохранял невозмутимую серьезность. Судья, раздражаясь все сильнее и сильнее, решил продолжать в том же тоне, надеясь нагнать страх на подсудимого и этим способом косвенно воздействовать на слушателей, напомнив им о должном уважении к суду.

– Ах ты, разбойник, гнездилище разврата! Так ты еще издеваешься над судьей Шатле, над сановником, коему вверена охрана порядка в Париже, над тем, на кого возложена обязанность расследовать преступления, карать за проступки и распутство, иметь надзор за всеми промыслами и не допускать никаких монополий, содержать в порядке мостовые, пресекать торговлю в разнос домашней и водяной птицей и дичью, следить за правильной мерою дров и других лесных материалов, очищать город от нечистот, а воздух от заразных заболеваний, одним словом, неусыпно заботиться о народном благе, и все это безвозмездно, не рассчитывая на вознаграждение! Известно ли тебе, что мое имя – Флориан Барбедьен, что я являюсь заместителем господина прево и, кроме того, комиссаром, следователем, контролером и допросчиком и что я одинаково пользуюсь влиянием как в суде парижском, так и областном, и в делах надзора, и в судах первой инстанции?..

Нет причины, которая заставила бы замолчать глухого, говорящего с другим глухим. Бог весть, где и когда достиг бы берега Флориан Барбедьен, пустившийся на всех парусах в океан красноречия, если бы в эту минуту низкая дверь в глубине комнаты внезапно не распахнулась, пропуская самого господина прево.

При его появлении Флориан Барбедьен не запнулся, но, сделав полуоборот на каблуках, сразу обратил свою речь, в которой он за минуту перед тем угрожал Квазимодо, к господину прево.

– Монсеньер! – сказал он. – Я требую по отношению к присутствующему здесь подсудимому того наказания, какое вам будет угодно назначить за нанесенное им тяжелое и неслыханное оскорбление суду.

Запыхавшись, он опять сел на свое место, отирая крупные капли пота, скатывавшиеся со лба и увлажнявшие, подобно слезам, разложенные перед ним на столе бумаги. Мессир Робер д'Эстутвиль нахмурил брови и сделал такое величественное, многозначительное и призывающее к вниманию движение, что глухой начал кое-что соображать.

– Отвечай, висельник, – строго обратился к нему прево, – какое преступление привело тебя сюда?

Бедняга, полагая, что прево спрашивает, как его имя, нарушил свое обычное молчание и ответил гортанным и хриплым голосом:

– Квазимодо.

Ответ до того мало соответствовал вопросу, что опять поднялся безумный хохот, а мессир Робер, побагровев от злости, закричал:

– Да ты что, и надо мной потешаешься, мерзавец ты этакий?

– Звонарь Собора Парижской Богоматери, – ответил Квазимодо, думая, что ему надлежит объяснить судье род своих занятий.

– Звонарь! – продолжал судья, который, как мы упоминали выше, проснулся в это утро в таком скверном расположении духа, что и без таких странных ответов подсудимого готов был распалиться гневом. – Звонарь! Вот я тебе задам трезвону прутьями по спине! Слышишь, ты, негодяй?

– Если вы спрашиваете меня о моем возрасте, – сказал Квазимодо, – то, кажется, в день святого Мартина мне исполнится двадцать лет.

Это было уже слишком; прево вышел из себя.

– А! Ты измываешься и над прево! Господа сержанты-жезлоносцы! Отведите этого мошенника к позорному столбу на Гревской площади, отстегайте его и покружите-ка его часок на колесе. Клянусь богом, он мне дорого заплатит за свою дерзость! Я требую, чтобы о настоящем приговоре были оповещены через четырех глашатаев все семь округов парижского виконтства.

Протоколист тотчас же принялся составлять судебный приговор.

– Клянусь господним брюхом, вот так рассудил! – крикнул из своего угла школяр Жеан Фролло Мельник.

Прево обернулся и вновь устремил на Квазимодо сверкающий взгляд.

– Мне послышалось, что этот пройдоха помянул брюхо господне? Протоколист! Добавьте к приговору еще штраф в двенадцать парижских денье за богохульство, и пускай половина этого штрафа будет отдана церкви святого Евстафия. Я особенно чту этого святого.

В несколько минут приговор был готов. Содержание его было несложно и кратко. Старое обычное право, лежавшее в основе судопроизводства прево и парижского виконтства, не было еще в те времена усовершенствовано председателем суда Тибо Балье и королевским прокурором Роже Барном. Высокоствольный лес крючкотворства и формальностей, насажденный в начале XVI века этими двумя законниками, еще не загромождал его. Все в этом праве было ясно, недвусмысленно и легко исполнимо. Тогда шли прямо к цели и сейчас же, в конце каждой тропинки, лишенной поворотов и зарослей кустарника, видели колесование, позорный столб или виселицу. По крайней мере каждый знал, что его ждет впереди.

Протоколист подал постановление суда господину прево, и тот, приложив к нему свою печать, вышел, продолжая обход по залам судебных заседаний в таком расположении духа, при котором следовало ожидать, что все тюрьмы Парижа окажутся в этот день переполненными. Жеан Фролло и Робен Пуспен смеялись втихомолку. Квазимодо на все происходившее глядел равнодушно и удивленно.

В то время как Флориан Барбедьен перечитывал приговор суда, чтобы скрепить его еще и своей подписью, протоколист, почувствовав сострадание к осужденному и в надежде добиться некоторого смягчения наказания, наклонился к самому уху судьи и, указывая на Квазимодо, проговорил.

– Этот человек глух.

Он полагал, что общность физического недостатка расположит Флориана Барбедьена в пользу осужденного. Но, как мы уже заметили, Флориан Барбедьен не желал, чтобы замечали его глухоту, а кроме того, он был настолько туг на ухо, что не услышал ни звука из того, что сказал ему протоколист; однако он хотел показать, что слышит, и ответил:

– Ах, вот как? Это меняет дело, этого я не знал. В таком случае, прибавьте ему еще один час наказания у позорного столба.

И он подписал исправленный приговор.

– Так ему и надо, – проговорил Робен Пуспен, имевший зуб на Квазимодо, – это научит его поучтивее обходиться с людьми.

II. Крысиная нора

Да позволит нам читатель вновь привести его на Гревскую площадь, которую мы покинули накануне, с тем чтобы вместе с Гренгуаром последовать за Эсмеральдой.

Десять часов утра. Все кругом еще напоминает о вчерашнем празднике. Мостовая усеяна осколками, лентами, тряпками, перьями от султанов, каплями воска от факелов, объедками от народного пиршества. Там и сям довольно многочисленные группы праздношатающихся горожан ворошат ногами потухшие головни праздничных костров, или, остановившись перед «Домом с колоннами», с восторгом вспоминают украшавшие его вчера великолепные драпировки, ныне взирая лишь на гвозди, – последнее оставшееся им развлечение. Среди толпы катят свои бочонки продавцы сидра и браги и деловито снуют взад и вперед прохожие. Стоя в дверях лавок, болтают и перекликаются торговцы. У всех на устах вчерашнее празднество, папа шутов, фландрское посольство, Копеноль; все наперебой сплетничают и смеются.

А между тем четыре конных сержанта, ставшие с четырех сторон позорного столба, уже успели привлечь к себе внимание довольно значительного количества шалопаев, толпящихся на площади и скучающих в надежде увидеть хоть какое-нибудь публичное наказание.

Теперь, если читатель, насмотревшись на эти оживленные и шумные сцены, которые разыгрываются во всех уголках площади, взглянет на древнее, полуготическое, полуроманское здание Роландовой башни, образующее на западной стороне площади угол с набережной, то в конце его фасада он заметит толстый, богато раскрашенный общественный молитвенник, защищенный от дождя небольшим навесом, а от воров – решеткой, не препятствующей, однако, его перелистывать. Рядом с этим молитвенником он увидит выходящее на площадь узкое слуховое стрельчатое оконце, перегороженное двумя положенными крест-накрест железными полосами; это единственное отверстие, сквозь которое проникает немного света и воздуха в тесную, лишенную дверей келью, устроенную в толще стены старого здания на уровне мостовой; царящая в ней мрачная тишина кажется особенно глубокой еще и потому, что рядом кипит и грохочет самая людная и шумная площадь Парижа.

Келья эта получила известность около трехсот лет назад, с тех пор как г-жа Роланд, владелица Роландовой башни, в знак скорби по отце, погибшем в крестовых походах,

приказала выдолбить ее в стене собственного дома и навеки заключила себя в эту темницу, отдав все свое богатство нищим и богу и не оставив себе ничего, кроме этой конуры с замурованной дверью, с раскрытым летом и зимой оконцем. Двадцать лет неутешная девица ждала смерти в преждевременной могиле, молясь денно и нощно о спасении души своего отца, почивая на куче золы, не имея даже камня под головою; облаченная в черное вретище, она питалась хлебом и водой, которые сердобольные прохожие оставляли на выступе ее окна, – так вкушала она от того милосердия, которое ранее оказывала сама В смертный свой час, прежде чем перейти в вечную могилу, она завещала эту временную усыпальницу тем скорбящим женщинам, матерям, вдовам или дочерям, которые пожелают, предавшись великой скорби или великому раскаянию, схоронить себя заживо в келье, чтобы молиться за себя или за других.

Парижская беднота устроила ей пышные похороны, со слезами и молениями; но, к величайшему прискорбию всех ее приверженцев, богобоязненная девица не была причислена к лику святых за неимением необходимого покровительства. Менее благочестивые надеялись, что это дело пройдет в раю глаже, чем в Риме, и просто молились за покойницу, которой папа не воздал должного. Большинство верующих удовлетворялось тем, что свято чтило память г-жи Роланд и, как святыню, берегло кусочки ее лохмотьев. Город в память знатной девицы прикрепил рядом с оконцем ее кельи общественный молитвенник, дабы прохожие могли останавливаться около него и помолиться, дабы молитва наводила их на мысль о милосердии и дабы бедные затворницы, наследницы г-жи Роланд, позабытые всеми, не погибали от голода.

В городах средневековья подобного рода гробницы встречались нередко. Даже на самых людных улицах, на самом шумном и пестром рынке, в самой его середине, чуть ли не под копытами лошадей и колесами повозок, можно было наткнуться на нечто вроде погреба, колодца или же на замурованную, зарешеченную конуру, в глубине которой днем и ночью возносило моления человеческое существо, добровольно обрекшее себя на вечные стенания, на тяжкое покаяние.

Но людям того времени были несвойственны размышления, какие вызвало бы у нас нынче это странное зрелище. Эта жуткая келья, представлявшая собой как бы промежуточное звено между домом и могилой, между кладбищем и городом; это живое существо, обособившееся от человеческого общества и считающееся мертвецом; этот светильник, снедающий во мраке свою последнюю каплю масла; этот теплящийся в могиле огонек жизни; это дыхание, этот голос, это извечное моление из глубины каменного мешка; этот лик, навек обращенный к иному миру; это око, уже осиянное иным солнцем; это ухо, приникшее к могильной стене; эта душа – узница тела, это тело – узник этой темницы, и под этой двойной, телесной и гранитной, оболочкой приглушенный ропот страждущей души – все это было непонятно толпе. Нерассуждающее и грубое благочестие той эпохи проще относилось к религиозному подвигу. Люди воспринимали факт в целом, уважали, чтили, временами даже преклонялись перед подвигом самоотречения, но не вдумывались глубоко в страдания, сопряженные с ним, и не очень им сочувствовали. Время от времени они приносили пищу несчастному мученику и заглядывали к нему в окошечко, чтобы убедиться, что он еще жив, не ведая его имени и едва ли зная, как давно началось его умирание. А соседи, вопрошаемые приезжими об этом живом, гниющем в погребе скелете, просто отвечали: «Это затворник», если то был мужчина, или: «Это затворница», если то была женщина.

В те времена на все явления жизни смотрели так же, без метафизики, трезво, без увеличительного стекла, невооруженным глазом. Микроскоп в ту пору еще не был изобретен ни для явлений мира физического, ни для явлений мира духовного.

Вот почему случаи подобного добровольного затворничества в самом сердце города не вызывали удивления и, как мы только что упоминали, встречались довольно часто. В Париже насчитывалось немало таких келий для молитвы и покаяния, и почти все они были заняты. Правда, само духовенство радело о том, чтобы они не пустовали, – это служило бы признаком

оскудения веры; если не было кающегося, в них заточали прокаженного. Кроме этой келейки на Гревской площади, существовала еще одна в Монфоконе, другая – на кладбище Невинных, еще одна – не помню где, кажется, в стене жилища Клишон; сверх того – множество рассеянных в разных местах города других убежищ, след которых можно отыскать лишь в преданиях, так как самих убежищ уже не существует. На Университетской стороне тоже была такая келья. А на горе святой Женевьевы какой-то средневековый Иов в течение тридцати лет читал нараспев семь покаянных псалмов, сидя на гноище, в глубине водоема; окончив последний псалом, он снова принимался за первый, по ночам распевая громче, чем днем, – magna voce per umbras[83]. И поныне еще любителю древностей, сворачивающему на улицу Говорящего колодца, слышится этот голос.

Что же касается кельи Роландовой башни, то надо заметить, что у нее никогда не было недостатка в затворницах. После смерти г-жи Роланд она редко пустовала больше двух лет. Многие женщины до самой смерти оплакивали в ней – кто родителей, кто любовников, кто свои прегрешения. Злоязычные парижане, любящие совать нос не в свое дело, утверждают, что вдов там видели мало.

По обычаю того времени, латинская надпись, начертанная на стене, предупреждала грамотного прохожего о благочестивом назначении этой кельи. Вплоть до середины XVI века сохранилось обыкновение разъяснять смысл здания кратким изречением, написанным над входной дверью. Так, например, во Франции над тюремной калиткой в феодальном замке Турвиль мы читаем слова: Sileto et spera[84]; в Ирландии, под гербом, увенчивающим главные ворота замка Фортескью: Forte scutum, salus ducum[85]; в Англии, над главным входом гостеприимного загородного дома графов Коуперов: Тиит est[86]. В те времена каждое здание выражало собою мысль.

Так как в замурованной келье Роландовой башни дверей не было, то над ее окном вырезали крупными романскими буквами два слова:

TU ORA![87]

Народ, здравый смысл которого не считает нужным разбираться во всяких тонкостях и охотно переделывает арку Ludovico Magno[88] в «Ворота Сен-Дени», прозвал эту черную, мрачную и сырую дыру «Крысиная нора»[89]. Название менее возвышенное, но зато более образное.

III. Рассказ о маисовой лепешке

В ту пору, когда происходили описываемые события, келья Роландовой башни была занята. Если читателю угодно знать, кем именно, то ему достаточно прислушаться к болтовне трех почтенных кумушек, которые в тот самый миг, когда мы остановили его внимание на Крысиной норе, направлялись в ее сторону, поднимаясь по набережной от Шатле к Гревской площади.

Две из этих женщин были одеты, как пристало одеваться почтенным парижанкам. Их тонкие белые косынки, юбки из грубого сукна в синюю и красную полоску, белые нитяные, туго натянутые чулки с вышитыми цветной ниткой стрелками, квадратные башмаки из желтой кожи, с черными подошвами и в особенности их головные уборы – род расшитого мишурного рога, увешанного лентами и кружевами, которые еще и ныне носят крестьянки Шампани, соревнуясь с гренадерами русской императорской лейб-гвардии, – свидетельствовали о том, что это богатые купчихи, представляющие нечто среднее между теми, кого лакеи называют «женщиной», и теми, кого они называют «дамой». На них не было ни колец, ни золотых крестиков, но легко было понять, что это не от бедности, а просто из боязни штрафа. Их спутница была одета приблизительно так же, как и они, но в ее одежде и во всех ее повадках было нечто такое, что изобличало в ней жену провинциального нотариуса. Уже по одному

тому, как высоко она носила кушак, видно было, что она недавно приехала в Париж. Прибавьте к этому шейную косынку в складках, банты из лент на башмаках, полосы юбки, идущие в ширину, а не вдоль, и тысячу других погрешностей против хорошего вкуса.

Две женщины шли той особой поступью, которая свойственна парижанкам, показывающим Париж провинциалке. Провинциалка держала за руку толстого мальчугана, а мальчуган держал в руке толстую лепешку. К нашему прискорбию, мы вынуждены присовокупить, что стужа заставляла его пользоваться языком вместо носового платка.

Ребенка приходилось тащить за собой non passibus aequis[90], как говорит Вергилий, и он на каждом шагу спотыкался, вызывая окрики матери. Правда и то, что он чаще смотрел на лепешку, чем себе под ноги. Весьма уважительная причина мешала ему откусить кусочек, и он довольствовался тем, что умильно взирал на нее. Но матери следовало бы взять лепешку на свое попечение – жестоко было подвергать толстощекого карапуза танталовым мукам.

Все три «дамуазель» («дамами» в то время называли женщин знатного происхождения) болтали наперебой.

– Прибавим шагу, дамуазель. Майетта, – говорила, обращаясь к провинциалке, самая младшая и самая толстая из них. – Боюсь, как бы нам не опоздать; в Шатле сказали, что его сейчас же поведут к позорному столбу.

– Да будет вам, дамуазель Ударда Мюнье! – возражала другая парижанка. – Ведь он же целых два часа будет привязан к позорному столбу. Времени у нас достаточно. Вы когда-нибудь видели такого рода наказания, дорогая Майетта?

– Видела, – ответила провинциалка, – в Реймсе.

– Могу себе представить, что такое ваш реймский позорный столб! Какая-нибудь жалкая клетка, в которой крутят одних мужиков. Эка невидаль!

– Одних мужиков! – воскликнула Майетта. – Это на Суконном-то рынке! В Реймсе! Да там можно увидеть удивительных преступников, даже таких, которые убивали мать или отца! Мужиков! За кого вы нас принимаете, Жервеза?

Очевидно, провинциалка готова была яростно вступиться за честь реймского позорного столба. К счастью, благоразумная дамуазель Ударда Мюнье успела вовремя направить разговор по иному руслу.

– Кстати, дамуазель Майетта, что вы скажете о наших фландрских послах? Видели вы когда-нибудь подобное великолепие в Реймсе?

– Сознаюсь, – ответила Майетта, – что таких фламандцев можно увидать только в Париже.

– А вы заметили того рослого посла, который назвал себя чулочником? спросила Ударда.

– Да, – ответила Майетта, – это настоящий Сатурн.

– А того толстяка, у которого – лицо похоже на голое брюхо? – продолжала Жервеза. – А того низенького, с маленькими глазками и красными веками без ресниц, зазубренными, точно лист чертополоха?

– Самое красивое – это их лошади, убранные по фламандской моде, – заявила Ударда.

– О, моя милая, – перебила ее провинциалка Майетта, чувствуя на этот раз свое превосходство, – а что бы вы сказали, если бы вам довелось увидеть в шестьдесят первом году, восемнадцать лет тому назад, в Реймсе, во время коронации, коней принцев и королевской свиты? Попоны и чепраки всех сортов: одни из» дамасского сукна, из тонкой золотой парчи; подбитой соболями; другие – бархатные, подбитые горностаем; третьи – все в драгоценных украшениях, увешанные тяжелыми золотыми и серебряными кистями! А каких денег все это стоило! А красавцы пажи, которые сидели верхом!

– Все может быть, – сухо заметила дамуазель Ударда, – но у фламандцев прекрасные лошади, и в честь посольства купеческий старшина дал блестящий ужин в городской ратуше, а за столом подавали засахаренные сласти, коричное вино, конфеты и разные разности.

– Что вы рассказываете, соседка? – воскликнула Жервеза. – Да ведь фламандцы ужинали у кардинала, в Малом Бурбонском дворце!

– Нет, в городской ратуше!

– Да нет же, в Малом Бурбонском дворце!

– Нет, в городской ратуше, – со злостью возразила Ударда. – Еще доктор Скурабль обратился к ним с речью на латинском языке, которою они остались очень довольны. Мне рассказывал об этом мой муж, а он библиотекарь.

– Нет, в Малом Бурбонском дворце, – упорствовала Жервеза. – Еще эконом кардинала выставил им двенадцать двойных кварт белого, розового и красного вина, настоянного на корице, двадцать четыре ларчика двойных золоченых лионских марципанов, столько же свечей весом в два фунта каждая и полдюжины двухведерных бочонков белого и розового боннского вина, самого лучшего, какое только можно было найти. Против этого-то, надеюсь, вы возражать не станете? Мне все известно от моего мужа, – он пятидесятник в городском совете общинных старост. Он еще нынче утром сравнивал фландрских послов с послами отца Жеана и императора Трапезундского; они приезжали из Месопотамии в Париж при покойном короле, и в ушах у них были кольца.

– А все-таки они ужинали в городской ратуше, – ничуть не смущаясь пространными доводами Жервезы, возразила Ударда, – и там подавали такое количество жаркого и сластей, какого никогда еще не видели!

– А я вам говорю, что они ужинали в Малом Бурбонском дворце, но прислуживал им Ле Сек из городской стражи, и вот это-то вас и сбивает с толку.

– В ратуше, говорят вам!

– В Малом Бурбонском, милочка! Я даже знаю, что слово «Надежда» над главным входом было иллюминировано цветными фонариками.

– В городской ратуше! В городской ратуше! И Гюсон-ле-Вуар играл там на флейте!

– А я говорю, что нет!

– А я говорю, что да!

– А я говорю, что нет!

Толстая добродушная Ударда не собиралась уступать. Их головным уборам уже грозила опасность, но в эту минуту Майетта воскликнула:

– Глядите: сколько народу столпилось там, в конце моста! Они на что-то смотрят.

– Правда, – сказала Жервеза, – я слышу бубен. Должно быть, это малютка Смеральда выделывает свои штучки с козой. Скорей, скорей, Майетта, прибавьте шагу и поторопите вашего мальчугана. Вы приехали сюда, чтобы поглядеть на диковинки Парижа. Вчера вы видели фламандцев, нынче нужно поглядеть на цыганку.

– На цыганку! – воскликнула Майетта, круто поворачивая назад и крепко сжимая ручонку сына. – Боже меня избави! Она украдет у меня ребенка! Бежим, Эсташ!

Она бросилась бежать по набережной к Гревской площади и бежала до тех пор, пока мост не остался далеко позади. Ребенок, которого она волокла за собой, упал на колени, и она, запыхавшись, остановилась. Ударда и Жервеза нагнали ее.

– Цыганка украдет вашего ребенка? – спросила Жервеза. – Что за нелепая выдумка!

Майетта задумчиво покачала головой.

– Странно, – заметила Ударда, – ведь и вретишница того же мнения о цыганках.

– Что это за «вретишница»? – спросила Майетта.

– Это сестра Гудула, – ответила Ударда.

– Кто это сестра Гудула?

– Вот и видно, что вы приезжая из Реймса, если этого не знаете! сказала Ударда. – Затворница Крысиной норы.

– Как, – спросила Майетта, – та самая несчастная женщина, которой мы несем лепешку?

Ударда утвердительно кивнула головой.

– Она самая. Вы сейчас увидите ее у оконца, которое выходит на Гревскую площадь. Она думает то же самое, что и вы, об этих египетских бродяжках, которые бьют в бубен и гадают. Никто не знает, откуда у нее взялась эта ненависть к египтянам и цыганам. А вы, Майетта, почему их так боитесь?

– О! – воскликнула Майетта, обхватив белокурую головку своего ребенка. – Я не хочу, чтобы со мной случилось то, что с Пакеттой Шантфлери.

– Милая Майетта, расскажите нам эту историю! – воскликнула Жерveза, беря ее за руку.

– Охотно, – ответила Майетта. – Вот и видно, что вы парижанка, если не знаете этой истории! Так вот… Но что же мы остановились? Рассказывать можно и на ходу… Так вот, Пакетта Шантфлери была хорошенькой восемнадцатилетней девушкой как раз в то время, когда и мне было столько же, то есть восемнадцать лет тому назад, и если из нее не вышло, подобно мне, здоровой, полной, свежей тридцатишестилетней женщины, имеющей мужа и ребенка, то это ее вина. Впрочем, уже с четырнадцати лет ей было поздно думать о замужестве! Она, знаете ли, дочь Гиберто, реймского менестреля на речных судах, того самого, который увеселял короля Карла Седьмого во время коронации, когда тот катался по нашей реке Вель от Сильери до Мюизона, вместе с Орлеанской девой. Старик отец умер, когда Пакетта была еще совсем малюткой; у нее осталась мать, сестра Прадона, мастера медных и жестяных изделий в Париже, на улице Парен-Гарлен, умершего в прошлом году. Как видите, Пакетта была из хорошей семьи. Мать ее на беду была добрая женщина и ничему не обучала Пакетту, как только вышивать золотом и бисером разные безделушки. Девочка росла в бедности. Обе жили в Реймсе, у самой реки, на улице Великой скорби. Запомните название: мне сдается, что от этого-то и пошли все ее несчастья. В шестьдесят первом году, в год венчания на царство нашего богохранимого короля Людовика Одиннадцатого, Пакетта была такая веселая и хорошенькая, что ее иначе и не называли, как «Шантфлери».[91] Бедная девушка! У нее были прелестные зубы, и она любила смеяться, чтобы все их видели. А девушка, которая любит смеяться, – на пути к слезам прелестные зубы – гибель для прелестных глаз. Вот какова была Шантфлери. Жилось им с матерью нелегко. Со дня смерти музыканта они очень опустились, золотошвейным ремеслом зарабатывали не более десяти денье в неделю, что составляет неполных два лиара с орлами. Прошло то время, когда ее отец Гиберто в течение одной лишь коронации зарабатывал своими песнями двенадцать парижских солей. Однажды зимой, – это было в том же шестьдесят первом году, – они остались совсем без дров и без хвороста, и стужа так разрумянила щечки Шантфлери, что мужчины то и дело стали окликать ее – одни: «Пакетта!», другие «Пакеретта!» Это ее и погубило! – Эсташ, ты опять грызешь лепешку?! – Однажды в воскресенье она явилась в церковь с золотым крестиком на шее. Тут мы поняли, что она погибла. В четырнадцать-то лет! Подумайте только! Началось с молодого виконта де Кормонтрей, владельца поместья в трех четвертях лье от Реймса; затем мессир Анри де Трианкур, королевский форейтор; потом – попроще: городской глашатай Шиар де Болион; затем, опускаясь все ниже, она перешла к королевскому стольнику Гери Обержону, еще ниже – к брадобрею дофина Масе де Фрепюсу; затем к королевскому повару Тевенен-ле-Муэну; затем, переходя к более пожилым и менее знатным, она докатилась наконец до менестреля-рылейщика Гильома Расина и до фонарщика Тьери-де-Мера. Потом бедняжка Шантфлери просто пошла по рукам. От всего ее достатка у нее не осталось ни гроша. Да что

там говорить! Во время коронационных торжеств, все в том же шестьдесят первом году, она уже грела постели смотрителя публичных домов! И все в один год!

Майетта вздохнула и отерла навернувшуюся слезу.

– Ну, это обычная история, – заметила Жерveза, – но я не понимаю, при чем же тут цыгане и дети?

– Подождите, – ответила Майетта, – сейчас вы об этом услышите. В этом месяце, в день святой Павлы, исполнится ровно шестнадцать лет с тех пор, как Пакетта родила девочку. Бедняжка! Она так обрадовалась! Она давно хотела иметь ребенка. Ее мать, добрая женщина, закрывавшая на все глаза, уже умерла. Пакетте больше некого было любить, да и ее никто не любил. За пять лет, со времени своего падения, бедняжка Шантфлери превратилась в жалкое существо. Она осталась одна-одинешенька на свете. На нее указывали пальцами, над ней глумились, ее била городская стража и высмеивали оборвыши-мальчишки. Кроме того, ей исполнилось уже двадцать лет, а двадцать лет – ведь это уже старость для публичных женщин. Ее промысел приносил ей не более того, что она вырабатывала золотошвейным мастерством; с каждой новой морщинкой убавлялся экю из ее заработка. Все суровей становилась для нее зима, поленья в очаге и тесто в квашне появлялись у нее все реже. Работать она больше не могла: сделавшись распутницей, она обленилась, а от лености стала еще распутнее. Кюре церкви Сен-Реми говорит, что такие женщины в старости сильнее других страдают от холода и голода.

– Так, – сказала Жерveза, – ну, а цыганки?

– Погоди, Жерveза! – проговорила более терпеливая Ударда. – Что же останется к концу, если все будет известно с самого начала? Продолжайте, пожалуйста, Майетта. Бедняжка Шантфлери!

Майетта продолжала:

– Она была очень грустна, очень несчастна, щеки ее поблекли от слез. Но при всем своем позоре, безрассудстве и одиночестве она все-таки думала, что не была бы такой опозоренной, безрассудной и одинокой, если бы нашлось на свете существо, которое она могла бы полюбить и которое отвечало бы ей взаимностью. Ей нужно было дитя, потому что только невинное дитя могло полюбить ее. Она в этом убедилась после того, как попыталась любить вора, единственного мужчину, который ее пожелал; но вскоре поняла, что даже вор презирает ее. Чтобы заполнить жизнь, гулящим нужен или любовник, или ребенок. Иначе им тяжело жить на свете. Верного любовника она не нашла, и ей очень захотелось ребенка. Она была по-прежнему набожна и все молилась милосердному богу. Господь сжалился над нею и даровал ей дочь. Нечего и говорить, как она была счастлива: это был ураган слез, ласк и поцелуев. Она выкормила грудью свое дитя, нашила ему пеленок из своего единственного одеяла и уже больше не чувствовала ни холода, ни голода. Она похорошела. Стареющая девушка превратилась в юную мать. Возобновились любовные связи, мужчины опять стали посещать Шантфлери, опять нашлись покупатели на ее товар. Из всей этой мерзости она извлекала деньги на пеленочки, детские чепчики, слюнявочки, кружевные распашонки и шелковые капоры и даже не помышляла о том, чтобы купить себе хотя бы одеяло. – Эсташ! Я тебе сказала, чтобы ты не смел есть лепешку! – Я уверена, что у маленькой Агнесы, – так нарекли девочку, фамилию свою Шантфлери давно утратила, – у этой малютки было больше ленточек и всяких вышивок, чем у дочери владельца дофинэ. У нее была пара башмачков, таких красивых, каких, наверно, сам король Людовик Одиннадцатый не носил в детстве! Мать сама сшила и вышила их, как только может вышить золотошвейка, разукрасила, точно покрывало божьей матери. Это были самые малюсенькие розовые башмачки, какие я только видела. Они были не длиннее моего большого пальца; не верилось, что они впору малютке, пока не увидишь, как ее разувают. Правда, ножки у нее были такие маленькие, такие миленькие, такие

розовые, – розовее, чем шелк на башмачках! Ах, когда у вас будут дети, Ударда, вы поймете, что нет ничего милее этих маленьких ножек и ручек!

– Я-то не прочь! – вздохнув, ответила Ударда, – но мне приходится ждать, когда этого пожелает Андри Мюнье.

– Но у дочурки Пакетты были хороши не только ножки, – продолжала Майетта. – Я видела ее, когда ей исполнилось всего четыре месяца. Это был настоящий херувимчик! Глазки большие, больше, чем ротик, волосики шелковистые, черные и уже вились. Она была бы красавицей брюнеткой к шестнадцати годам! Мать с каждым днем все больше влюблялась в нее. Она ласкала ее, щекотала, купала, наряжала и осыпала поцелуями. Она просто с ума по ней сходила, она благодарила за нее бога. Особенно ее восхищали крошечные розовые ножки ребенка! Она не переставала им удивляться, она не отрывала от них губ, она теряла голову от счастья. Она их обувала и разувала, любовалась, поражалась, целыми днями разглядывала их, умилялась, видя, как они пытаются ходить по кровати, и охотно провела бы всю свою жизнь на коленях, надевая на них башмачки и снимая, словно то были ножки младенца Иисуса.

– Интересно, – заметила вполголоса Жервеза, – но все-таки при чем же тут цыгане?

– А вот при чем, – продолжала Майетта. – Както в Реймс прибыли странные всадники. То были нищие и бродяги, шнырявшие по всей стране под предводительством своего герцога и своих графов. Все как один смуглые, с курчавыми волосами и серебряными кольцами в ушах. Женщины еще уродливее мужчин. У них были еще более загоревшие, всегда открытые лица, скверные платья, ветхие покрывала из грубой мешковины, завязанные на плече, и волосы, как лошадиные хвосты. А дети, копошившиеся у них на коленях, могли бы напугать даже обезьян! Шайка нехристей! Все они из Нижнего Египта, прямо через Польшу, нахлынули на Реймс. Говорили, что их исповедовал сам папа и наложил на них эпитимью – семь лет кряду скитаться по белу свету, ночуя под открытым небом. Поэтому их называли также «кающимися», и от них плохо пахло. Когда-то они, кажется, были сарацинами, а потому верили в Юпитера и требовали по десяти турецких ливров со всех архиепископов, епископов и аббатов, имеющих право на митру и посох. И все это будто бы по папской булле. В Реймс они явились затем, чтобы именем алжирского короля и германского императора предсказывать судьбу. Вы понимаете, что вход в город им был воспрещен. Вся эта шайка охотно расположилась табором близ Бренских ворот, на том самом пригорке, где стоит мельница, рядом со старыми меловыми ямами. Понятно, что весь Реймс отправился на них глазеть. Они смотрели людям на руки и пророчили всякие чудеса. Они могли предсказать Иуде, что тот сделается папой. Но тут стали поговаривать, будто они похищают детей, срезают кошельки и едят человеческое мясо. Благоразумные люди советовали безрассудным: «Не ходите туда», а сами ходили тайком. Все словно помешались на них. Правда, они так ловко предсказывали, что могли бы удивить даже кардинала. Все матери стали гордиться своими детьми с тех пор, как цыганки прочли по линиям детских ручек чудеса, написанные там на каком-то дикарском и турецком языках. У одной ребенок – будущий император, у другой – папа, у третьей – полководец. Бедняжку Пакетту разбирало любопытство: она тоже хотела знать, не суждено ли ее хорошенькой Агнесе стать когда-нибудь императрицей Армении или других каких-нибудь земель. И вот она тоже отправилась к цыганам. Цыганки стали любоваться девочкой, ласкать, целовать ее своими черными губами и восторгаться ее крошечной ручкой, и все это – увы! – к великому удовольствию матери. Особенно хвалили они прелестные ножки и башмачки малютки. Девочке не было еще и года. Она уже лепетала, заливалась смехом при виде матери, была такая пухленькая, кругленькая, ну прямо ангелочек! Она очень испугалась цыганок и заплакала. Но мать крепко поцеловала ее и ушла в восторге от будущего, какое ворожея предсказала ее Агнессе. Девочка должна была стать воплощением красоты и добродетели, более того королевой. Пакетта возвратилась в свою лачугу на улице Великой скорби, гордая тем, что несет домой будущую королеву.

На следующий день, воспользовавшись минуткой, когда ребенок уснул на ее кровати, – она всегда укладывала ее спать рядом с собой, – Пакетта, тихонько притворив дверь, побежала

на Сушильную улицу к своей подруге рассказать, что наступит день, когда ее Агнессе будут прислуживать за столом король английский и эрцгерцог эфиопский, чего-чего только она не нарассказала! Подымаясь домой по лестнице и не слыша детского плача, она сказала себе: «Отлично, дитя еще спит». Дверь была распахнута гораздо шире, чем она ее оставила, когда уходила. Бедная мать вошла, подбежала к кровати… Девочка исчезла, кровать была пуста. Остался только один из ее хорошеньких башмачков. Мать бросилась вниз по лестнице и стала биться головой об стену. «Мое дитя! Где мое дитя? Кто отнял у меня мое дитя? кричала она. Улица была пустынна, дом стоял на отлете; никто не мог ей ничего сказать. Она обегала город, обшарила все улички, целый день металась то туда, то сюда, исступленная, обезумевшая, страшная, обнюхивая, словно дикий зверь, потерявший своих детенышей, пороги и окна домов. Задыхающаяся, растрепанная, страшная, с иссушающим слезы пламенем в очах, она задерживала каждого прохожего: „Дочь моя! Дочь моя! – кричала она. Прелестная моя дочурка! Я буду рабой того, кто возвратит мне мою дочь, буду рабой его собаки, и пусть она сожрет мое сердце!‟ Встретив кюре церкви СенРеми, она сказала: „Господин кюре! Я буду пахать землю ногтями, только верните мне ребенка!‟ О, это было душераздирающее зрелище, Ударда! Я видела, как даже прокурор Понс Лакаор, человек жестокий, и тот не мог удержаться от слез. Ах, бедная мать! – Вечером она возвратилась домой. Соседка видела, как во время ее отсутствия к ней украдкой поднялись по лестнице две цыганки с каким-то свертком в руках, а затем убежали, захлопнув за собой дверь. После их ухода из комнаты Пакетты послышался детский плач. Мать радостно засмеялась, словно на крыльях взбежала к себе наверх, распахнула дверь настежь и вошла… О ужас, Ударда! Вместо ее хорошенькой маленькой Агнессы, такой румяной и свеженькой, вместо этого божьего дара, по полу визжа ползало какое-то чудовище, мерзкое, хромое, кривое, безобразное. В ужасе она закрыла глаза. „О! Неужели колдуньи превратили мою дочь в это страшное животное?‟ – проговорила она. Уродца сейчас же унесли. Он свел бы ее с ума. Это было чудовище, родившееся от какой-нибудь цыганки, отдавшейся дьяволу. На вид ему было года четыре, он лепетал на каком-то не человеческом языке: это были какие-то совершенно непонятные слова. Шантфлери упала на пол, схватила башмачок, – это все, что у нее осталось от того, что она любила. Долго она так лежала, неподвижная, бездыханная, безмолвная, – казалось, она мертва. Внезапно она вздрогнула всем телом и, покрывая страстными поцелуями свою святыню, разразилась такими рыданиями, словно сердце ее готово было разорваться. И мы все рыдали, уверяю вас! Она стонала: „О моя дочка! Моя хорошенькая дочка! Где ты?‟ Я и сейчас еще плачу, как вспомню об этом. Подумайте только: ведь наши дети – плоть от плоти нашей. – Милый мой Эсташ, ты такой славный! Если бы вы знали, как он мил! Вчера он сказал: „Я хочу быть конным латником‟. О мой Эсташ! И вдруг бы я лишилась тебя! Пакетта вскочила и помчалась по улицам Реймса. «В цыганский табор! В цыганский табор! Зовите стражу! Надо сжечь этих проклятых колдуний! – кричала она. Но цыгане уже исчезли. Была глухая ночь. Гнаться за ними было невозможно.

Назавтра в двух лье от Реймса, на пустоши, поросшей вереском, между Ге и Тилуа, нашли следы большого костра, ленточки маленькой Агнесы, капли крови и козий помет. Накануне была как раз суббота. Очевидно, цыгане справляли на этой пустоши свой шабаш и сожрали ребенка в сообществе самого Вельзевула, как это водится у магометан. Когда Шантфлери узнала про эти ужасы, она не заплакала, она только пошевелила губами, словно хотела сказать что-то, но не могла произнести ни слова. За одну ночь она поседела. На третий день она исчезла.

– Да, это страшная история, – сказала Ударда, – тут бургундец – и тот бы заплакал!

– Теперь понятно, почему вы так боитесь цыган, – добавила Жервеза.

– Хорошо, что вы убежали с Эсташем, – ведь эти цыгане тоже из Польши, – вставила Ударда.

– Да нет же, – возразила Жервеза, – они из Испании и из Каталонии.

– Возможно, что из Каталонии, – согласилась Ударда, – Полония, Каталония, Валония – я всегда смешиваю эти три провинции. Достоверно одно: это – цыгане.

– И, конечно, – подхватила Жервеза, – зубы у них достаточно длинные, чтобы сожрать ребенка. Меня нисколько не удивит, если я узнаю, что эта Смеральда тоже лакомится маленькими детьми, складывая при этом свои губки бантиком. У ее белой козочки чересчур хитрые повадки, наверно, тут кроется какое-нибудь нечестие.

Майетта шла молча. Она была погружена в раздумье, которое является как бы продолжением услышанного печального рассказа и рассеивается лишь, когда вызванная им дрожь волнения проникнет до глубины сердца. Жервеза обратилась к ней с вопросом:

– Так никто и не узнал, что сталось с Шантфлери?

Майетта не ответила. Жервеза повторила вопрос, тряся ее за руку и окликая по имени. Майетта как бы очнулась.

– Что сталось с Шантфлери? – машинально повторила она и, сделав над собой усилие, чтобы вникнуть в смысл этих слов, поспешила ответить:

– Ах, об этом ничего не известно.

И, помолчав, добавила:

– Кто говорит, будто видел, как она в сумерки уходила из Реймса через ворота Флешамбо, а другие – что это было на рассвете, и вышла она через старые ворота Базе. Какой-то нищий нашел ее золотой крестик, висевший на каменном кресте в поле на том месте, где бывает ярмарка. Это был тот самый крестик, который погубил ее и был подарен в шестьдесят первом году ее первым любовником, красавцем виконтом де Кормонтрей. Пакетта никогда не расставалась с этим подарком, в какой бы нужде ни была. Она дорожила им, как собственной жизнью. И когда мы узнали об этой находке, то решили, что она умерла. Однако люди из Кабаре-ле-Вот утверждают, будто видели, как она, босая, ступая по камням, брела по большой Парижской дороге. Но в таком случае она должна была выйти из города через Вольские ворота. Все это как-то не вяжется одно с другим. Вернее всего, она вышла через Вольские ворота, но только на тот свет.

– Я вас не понимаю, – сказала Жервеза.

– Вель – это река, – с печальной улыбкой ответила Майетта.

– Бедная Шантфлери! – содрогаясь, воскликнула Ударда. – Значит, она утопилась?

– Утопилась, – ответила Майетта. – Думал ли добряк Гиберто, проплывая с песнями в своем челне вниз по реке под мостом Тенке, что придет день, когда его любимая крошка Пакетта тоже проплывет под этим мостом, но только без песен и без челна?

– А башмачок? – спросила Жервеза.

– Исчез вместе с матерью, – ответила Майетта.

– Бедный башмачок! – воскликнула Ударда.

Ударда, женщина тучная и чувствительная, повздыхала бы с Майеттой и на том бы и успокоилась, но более любопытная Жервеза продолжала расспрашивать.

– А чудовище? – вдруг вспомнила она.

– Какое чудовище? – спросила Майетта.

– Маленькое цыганское чудовище, оставленное ведьмами Шантфлери вместо ее дочери? Что вы с ним сделали? Надеюсь, вы его тоже утопили?

– Нет, – ответила Майетта.

– Как! Значит, сожгли? Для отродья ведьмы это, пожалуй, и лучше!

– Ни то, ни другое, Жервеза. Архиепископ принял в нем участие, прочитал над ним молитвы, окрестил его, изгнал из него дьявола и отослал в Париж. Там его положили в ясли для подкидышей при Соборе Парижской Богоматери.

– Ох уж эти епископы! – проворчала Жервеза. – От большой учености они всегда поступают не по-людски. Ну скажите на милость, Ударда, на что это похоже – класть дьявола в ясли для подкидышей! Я не сомневаюсь, что это был сам дьявол! А что же с ним сталось в Париже? Надеюсь, ни один добрый христианин не пожелал взять его на воспитание?

– Не знаю, – ответила жительница Реймса. – Муж мой как раз в это время откупил место сельского нотариуса в Берю, в двух лье от Реймса, и мы больше не интересовались этой историей; да и Реймса-то из Берю не видно, – два холма Серне заслоняют от нас даже соборные колокольни.

Беседуя таким образом, три почтенные горожанки незаметно дошли до Гревской площади. Заболтавшись, они, не останавливаясь, прошли мимо молитвенника Роландовой башни и машинально направились к позорному столбу, вокруг которого толпа росла с каждой минутой. Весьма вероятно, что зрелище, притягивавшее туда все взоры, заставило бы приятельниц окончательно позабыть о Крысиной норе и о том, что они хотели там приостановиться, если бы шестилетний толстяк Эсташ, которого Майетта тащила за руку, внезапно не напомнил им об этом.

– Мама! – заговорил он, как будто почуяв, что Крысиная нора осталась позади. – Можно мне теперь съесть лепешку?

Будь Эсташ похитрее или, вернее, не будь он таким лакомкой, он повременил бы с этим вопросом до возвращения в квартал Университета, в дом Андри Мюнье на улице Мадам-ла-Валанс. Тогда между Крысиной норой и его лепешкой легли бы оба рукава Сены и пять мостов Сите. Теперь же этот опрометчивый вопрос привлек внимание Майетты.

– Кстати, мы совсем забыли о затворнице! – воскликнула она. – Покажите мне вашу Крысиную нору, я хочу отдать лепешку.

– Да, да, – молвила Ударда, – вы сделаете доброе дело.

Но это вовсе не входило в расчеты Эсташа.

– Вот еще! Это моя лепешка! – захныкал он и то правым, то левым ухом стал тереться о свои плечи, что, как известно, служит у детей признаком высшего неудовольствия.

Три женщины повернули обратно. Когда они дошли до Роландовой башни, Ударда сказала своим двум приятельницам:

– Не следует всем сразу заглядывать в нору, это может испугать вретишницу. Вы сделайте вид, будто читаете Dominus[92] по молитвеннику, а я тем временем загляну к ней в оконце. Она меня уже немножко знает. Я вам скажу, когда можно будет подойти.

Ударда направилась к оконцу. Едва лишь взгляд ее проник в глубь кельи, как глубокое сострадание отразилось на ее лице. Выражение и краски ее веселого открытого лица изменились так резко, как будто вслед за солнечным лучом по ней скользнул луч луны. Ее глаза увлажнились, губы скривились, словно она собиралась заплакать. Она приложила палец к губам и сделала Майетте знак подойти.

Майетта подошла взволнованная, молча, на цыпочках, как будто приближалась к постели умирающего.

Грустное зрелище представилось глазам обеих женщин; боясь шелохнуться, затаив дыхание, глядели они в забранное решеткой оконце Крысиной норы.

Это была тесная келья со стрельчатым сводом, похожая изнутри на большую епископскую митру. На голой плите, служившей полом, в углу, скорчившись, сидела женщина. Подбородок ее упирался в колени, прижатые к груди скрещенными руками. На первый взгляд это сжавшееся в комок существо, утонувшее в широких складках коричневого вретища, с длинными седыми волосами, которые свисали на лицо и падали вдоль ног до самых ступней, казалось каким-то странным предметом, чернеющим на сумрачном фоне кельи, каким-то подобием темного треугольника, четко разделенного падающим из оконца лучом света на две

половины – одну темную, другую светлую. Это был один из тех призраков, наполовину погруженных во мрак, наполовину залитых светом, которых видишь либо во сне, либо на причудливых полотнах Гойи, – бледных, недвижных, зловещих, присевших на чьей-нибудь могиле или прислонившихся к решетке темницы. Создание это не походило ни на женщину, ни на мужчину, ни на какое живое существо: это был набросок человека, нечто вроде видения, в котором действительность сливалась с фантастикой, как свет сливается с тьмой. Сквозь ниспадавшие до полу волосы с трудом можно было различить изможденный суровый профиль; из-под платья чуть виднелся кончик босой ноги, скрюченной на жестком ледяном полу. Человеческий облик, смутно проступавший сквозь эту скорбную оболочку, вызывал в зрителе содрогание.

Этой фигуре, словно вросшей в каменную плиту, казалось, были чужды движение, мысль, дыхание. Прикрытая в январский холод лишь тонкой холщовой рубахой, на голом гранитном полу, без огня, в полумраке темницы, косое оконце которой пропускало лишь стужу, но не давало доступа солнцу, она, по-видимому, не только не страдала, но вообще ничего не ощущала. Она стала каменной, как ее келья, и ледяной, как зима. Руки ее были скрещены, взгляд устремлен в одну точку. В первую минуту ее можно было принять за призрак, вглядевшись пристальнее – за статую.

И все же ее посиневшие губы время от времени приоткрывались от вздоха, но движение их было столь же безжизненным, столь же бесстрастным, как трепетанье листьев на ветру.

И все же в ее потускневших глазах порой зажигался взгляд, неизъяснимый, проникновенный, скорбный, прикованный к невидимому снаружи углу кельи, – взгляд, который, казалось, устанавливал связь между мрачными мыслями этой страждущей души и какимто таинственным предметом.

Таково было это существо, прозванное за обиталище «затворницей», а за одежду – «вретишницей».

Все три женщины – Жервеза тоже присоединилась к Майетте и Ударде смотрели в оконце. Несчастная не замечала их, хотя их головы, заслоняя окно, лишали ее и без того скудного дневного света.

– Не будем ее тревожить, – шепотом проговорила Ударда, – она молится.

Между тем Майетта с возраставшим волнением всматривалась в эту безобразную, поблекшую, растрепанную голову.

– Как странно! – бормотала она.

Просунув голову сквозь решетку, она ухитрилась заглянуть в тот угол, к которому был прикован взор несчастной.

Когда Майетта оторвалась от окна, все лицо у нее было в слезах.

– Как зовут эту женщину? – спросила она Ударду.

– Мы зовем ее сестрой Гудулой, – ответила Ударда.

– А я назову ее Пакеттой Шантфлери, – сказала Майетта.

Приложив палец к губам, она предложила Ударде просунуть голову в оконце и заглянуть внутрь.

Ударда заглянула в тот угол, куда был неотступно устремлен горевший мрачным восторгом взор затворницы, и увидала розовый шелковый башмачок, расшитый золотыми и серебряными блестками.

Вслед за Ударадой заглянула в келью и Жервеза, и все три женщины расплакались при виде несчастной матери.

Однако ни их взоры, ни их слезы не отвлекли внимания затворницы. Ее руки продолжали оставаться скрещенными, уста немыми, глаза неподвижными. Тем, кому была теперь известна ее история, башмачок, на который она смотрела не отрываясь, разрывал сердце.

Женщины не обменялись ни словом; они не осмеливались говорить даже шепотом. Это великое молчание, эта великая скорбь, это великое забвение, поглотившее все, кроме башмачка, производили на них такое впечатление, как будто они стояли перед алтарем на Пасху или на Рождество. Они безмолвствовали, полные благоговения, готовые преклонить колени. Им казалось, что они вошли в храм в Страстную пятницу.

Наконец Жервеза, самая любопытная и потому наименее чувствительная, попыталась заговорить с затворницей:

– Сестра! Сестра Гудула!

Она трижды окликнула ее, и с каждым разом все громче. Затворница не шелохнулась. Ни слова, ни взгляда, ни взора, ни малейшего признака жизни.

– Сестра! Сестра Гудула! – в свою очередь, сказала Ударда более мягким и ласковым голосом.

Все то же молчание, та же неподвижность.

– Странная женщина! – воскликнула Жервеза. – Ее и выстрелом не разбудишь!

– Может, она оглохла? – высказала предположение Ударда.

– Или ослепла? – прибавила Жервеза.

– А может, умерла? – спросила Майетта.

Но если душа еще и не покинула это недвижимое, безгласное, бесчувственное тело, то, во всяком случае, она ушла так далеко, затаилась в таких его» глубинах, куда не проникали ощущения внешнего мира.

– Придется оставить лепешку на подоконнике, – сказала Ударда. – Но ее стащит какой-нибудь мальчишка. Как бы это заставить ее очнуться?

Тем временем Эсташ, чье внимание было до сих пор отвлечено проезжавшей тележкой, которую тащила большая собака, вдруг заметил, что его спутницы что-то разглядывают в оконце. Его тоже разобрало любопытство, он влез на тумбу, приподнялся на цыпочках и, прижав свое пухлое румяное личико к решетке, воскликнул:

– Мама, я тоже хочу посмотреть!

При звуке этого свежего, звонкого детского голоска затворница вздрогнула. Резким, стремительным движением стальной пружины она повернула голову и, откинув со лба космы волос своими длинными, костлявыми руками, вперила в ребенка изумленный, исполненный горечи и отчаяния взгляд, быстрый, как вспышка молнии.

– О боже! – крикнула она, уткнувшись лицом в колени; ее хриплый голос, казалось, разрывал ей грудь. – Не показывайте мне чужих детей!

– Здравствуйте, сударыня! – с важностью сказал мальчик.

Неожиданное потрясение как бы пробудило затворницу к жизни. Длительная дрожь пробежала по ее телу, зубы застучали, она приподняла голову и, прижав локти к бедрам, обхватив руками ступни, словно желая согреть их, промолвила:

– О, какая стужа!

– Бедняжка! – с живым участием сказала Ударда. – Не принести ли вам огонька?

Она отрицательно покачала головой.

– Ну так вот коричное вино, выпейте, это вас согреет, – продолжала Ударда, протягивая ей бутылку.

Затворница снова отрицательно покачала головой и, пристально взглянув на Ударду, сказала:

– Воды!

– Ну какой же это напиток в зимнюю пору! Вам необходимо выпить немного вина и съесть вот эту маисовую лепешку, которую мы испекли для вас, настаивала Ударда.

Затворница оттолкнула лепешку, протягиваемую ей Майеттой, и проговорила:

– Черного хлеба!

– Сестра Гудула, – разжалобившись, сказала Жервеза и расстегнула свою суконную накидку. – Вот вам покрывало потеплее вашего. Накиньте-ка его себе на плечи.

Затворница отказалась от одежды, как ранее от вина и лепешки.

– Достаточно и вретища! – проговорила она.

– Но ведь надо же чем-нибудь помянуть вчерашний праздник, – сказала добродушная Ударда.

– Я его и так помню, – проговорила затворница, – вот уже два дня, как в моей кружке нет воды. – Помолчав немного, она добавила: – В праздники меня совсем забывают. И хорошо делают! К чему людям думать обо мне, если я не думаю о них? Потухшим угольям – холодная зола.

И, как бы утомившись от такой длинной речи, она вновь уронила голову на колени.

Простоватая и сострадательная Ударда, понявшая из последних слов затворницы, что та все еще продолжает жаловаться на холод, наивно спросила:

– Может быть, вам все-таки принести огонька?

– Огонька? – спросила вретишница с каким-то странным выражением. – А принесете вы его и той бедной крошке, которая вот уже пятнадцать лет покоится в земле?

Она вся дрожала, голос у нее прерывался, очи пылали, она привстала на колени. Вдруг она простерла свою бледную, исхудавшую руку к изумленно смотревшему на нее Эсташу.

– Унесите ребенка! – воскликнула она. – Здесь сейчас пройдет цыганка!

И упала ничком на пол; лоб ее с резким стуком ударился о плиту, словно камень о камень.

Женщины подумали, что она умерла. Однако спустя мгновение она зашевелилась и поползла в тот угол, где лежал башмачок. Они не посмели заглянуть туда, но им слышны были бессчетные поцелуи и вздохи, перемежавшиеся с душераздирающими воплями и глухими ударами, точно она билась головой о стену. После одного из ударов, столь яростного, что все они вздрогнули, до них больше не донеслось ни звука.

– Неужели она убилась? – воскликнула Жервеза, рискнув просунуть голову сквозь решетку. – Сестра! Сестра Гудула!

– Сестра Гу дула! – повторила Ударда.

– Боже мой! Она не шевелится! Неужели она умерла? – продолжала Жервеза-Гудула! Гудула!

В горле у Майетты стоял ком, и она долго не могла выговорить ни слова, но потом сделала над собой усилие и сказала:

– Подождите! – наклонившись к окну, она окликнула затворницу: – Пакетта! Пакетта Шантфлери!

Ребенок, беспечно дунувший на тлеющий фитиль петарды и вызвавший этим взрыв, опаливший ему глаза, не испугался бы до такой степени, как испугалась Майетта, увидев, какое действие произвело это имя, вдруг прозвучавшее в келье сестры Гудулы.

Затворница вздрогнула всем телом, встала на свои босые ноги и бросилась к оконцу; глаза ее горели таким огнем, что все три женщины и ребенок попятились до самого парапета набережной.

Страшное лицо затворницы прижалось к решетке отдушины.

– О! Это цыганка зовет меня! – с диким хохотом крикнула она.

Сцена, происходившая в этот момент у позорного столба, приковала ее блуждающий взор. Ее лицо исказилось от ужаса, она протянула сквозь решетку высохшие, как у скелета, руки и голосом, походившим на предсмертное хрипение, крикнула:

– Так это опять ты, цыганское отродье! Это ты кличешь меня, воровка детей! Будь же ты проклята! Проклята! Проклята!

IV. Слеза за каплю воды

Слова эти были как бы соединительным звеном между двумя сценами, которые разыгрывались одновременно и параллельно, каждая на своих подмостках; одна, только что нами описанная, – в Крысиной норе; другая, которую нам еще предстоит описать, – на лестнице позорного столба. Свидетельницами первой были три женщины, с которыми читатель только что познакомился; зрителями второй был весь народ, который толпился на Гревской площади вокруг позорного столба и виселицы.

Появление четырех сержантов с девяти часов утра у четырех углов позорного столба сулило толпе не одно, так другое зрелище: если не повешение, то наказание плетьми или отсекновение ушей, – словом, нечто любопытное. Толпа росла так быстро, что сержантам, на которых она наседала, приходилось ее «свинчивать», как тогда говорили, ударами тяжелой плети и крупами лошадей.

Впрочем, толпа, уже привыкшая к долгому ожиданию зрелища публичной кары, не выказывала слишком большого нетерпения. Она развлекалась тем, что разглядывала позорный столб – незамысловатое сооружение в форме каменного полого куба вышиной футов в десять. Несколько очень крутых, из необтесанного камня ступеней, именуемых «лестницей», вели на верхнюю площадку, где виднелось прикрепленное в горизонтальном положении колесо, сделанное из цельного дуба. Преступника, поставленного на колени со скрученными за спиной руками, привязывали к этому колесу. Деревянный стержень, приводившийся в движение воротом, скрытым в этом маленьком строении, сообщал колесу вращательное движение и таким образом давал возможность видеть лицо наказуемого со всех концов площади. Это называлось «вертеть» преступника.

Из вышеописанного ясно, что позорный столб на Гревской площади далеко не был таким затейливым, как позорный столб на Главном рынке. Тут не было ни сложной архитектуры, ни монументальности. Не было ни крыши с железным крестом, ни восьмигранного фонаря, ни хрупких колонок, расцветающих у самой крыши капителями в форме листьев аканта и цветов, ни водосточных труб в виде химер и чудовищ, ни деревянной резьбы, ни изящной, глубоко врезанной в камень скульптуры.

Зрителям здесь приходилось довольствоваться четырьмя стенками бутовой кладки, двумя заслонами из песчаника и стоящей рядом скверной, жалкой виселицей из простого камня.

Это было скудное угощение для любителей готической архитектуры. Правда, почтенные ротозеи средних веков меньше всего интересовались памятниками старины и не думали о красоте позорного столба.

Наконец прибыл осужденный, привязанный к задку телеги. Когда его подняли на помост и привязали веревками и ремнями к колесу позорного столба, на площади поднялось неистовое гиканье вперемежку с хохотом и насмешливыми приветствиями. В осужденном узнали Квазимодо.

Да, это был он. Странная превратность судьбы! Быть прикованным к позорному столбу на той же площади, где еще накануне он, шествуя в сопровождении египетского герцога, короля Алтынного и императора Галилеи, был встречен приветствиями, рукоплесканиями и провозглашен единогласно папой и князем шутов! Но можно было не сомневаться, что во всей этой толпе, включая и его самого, – то триумфатора, то осужденного, – не нашлось бы ни одного человека, способного сделать такое сопоставление. Для этого нужен был Гренгуар с его философией.

Вскоре глашатай его величества короля Мишель Нуаре заставил замолчать этот сброд и, согласно распоряжению и повелению прево, огласил приговор. Затем он со своими людьми в форменных полукафтаньях стал позади телеги.

Квазимодо отнесся к этому безучастно, он даже бровью не повел. Всякую попытку сопротивления пресекало то, что на языке тогдашних канцелярий уголовного суда называлось «силою и крепостью уз», иными словами – ремни и цепи, врезавшиеся в его тело. Эта традиция тюрем и галер все еще не исчезла. Мы – народ просвещенный, мягкий, гуманный (если взять в скобки гильотину и каторгу), и мы бережно храним ее в виде наручников.

Квазимодо позволял распоряжаться собой, позволял толкать себя, тащить наверх, вязать и скручивать. На его лице ничего нельзя было прочесть, кроме изумления дикаря или идиота. Что он глухой – знали все, но сейчас он казался еще и слепым.

Его поставили на колени на круглую доску – он подчинился. С него сорвали куртку и рубашку и обнажили до пояса – он не сопротивлялся. Его опутали еще одной сетью ремней и пряжек – он позволил себя стянуть и связать. Лишь время от времени он пыхтел, как теленок, голова которого, свесившись через край тележки мясника, болтается из стороны в сторону.

– Вот дуралей! – сказал Жеан Мельник своему другу Робену Пуспену (само собой разумеется, оба школяра следовали за осужденным). – Он соображает не больше майского жука, посаженного в коробку!

Дикий хохот раздался в толпе, когда она увидела обнаженный горб Квазимодо, его верблюжью грудь, его волосатые острые плечи. Не успело утихнуть это веселье, как на помост поднялся коренастый, дюжий человек, на одежде которого красовался герб города, и стал возле осужденного. Его имя с быстротой молнии облетело толпу. Это был постоянный палач Шатле Пьера Тортерю.

Он начал с того, что поставил в один из углов площадки позорного столба черные песочные часы, верхняя чашечка которых была наполнена красным песком, мерно ссыпавшимся в нижнюю; затем снял с себя двухцветный плащ, и все увидели висевшую на его правой руке тонкую плеть из белых лоснившихся длинных узловатых ремней с металлическими коготками на концах; левой рукой он небрежно засучил рукав на правой до самого плеча. Тем временем Жеан Фролло, подняв белокурую кудрявую голову над толпой (для чего он взобрался на плечи Робена Пуспена), выкрикивал:

– Господа! Дамы! Пожалуйте сюда! Сию минуту начнут стегать Квазимодо, звонаря моего брата, архидьякона Жозасского. Чудный образец восточной архитектуры: спина – как купол, ноги – как витые колонны!

Толпа разразилась хохотом; особенно весело смеялись дети и молодые девушки.

Палач топнул ногой. Колесо завертелось, Квазимодо покачнулся в своих оковах. Безобразное его лицо выразило изумление; смех толпы стал еще громче.

Когда во время одного из поворотов колеса горбатая спина Квазимодо оказалась перед мэтром Пьера, палач взмахнул рукой. Тонкие ремни, словно клубок ужей, с пронзительным свистом рассекли воздух и яростно обрушились на спину несчастного.

Квазимодо подскочил на месте, как бы внезапно пробужденный от сна. Теперь он начинал понимать. Он корчился в своих путах, сильнейшая судорога изумления и боли исказила его лицо, но он не издал ни единого звука. Он лишь откинул голову, повернул ее направо, затем налево, словно бык, которого укусил слепень.

За первым ударом последовал второй, третий, еще, и еще, без конца. Колесо вращалось непрерывно, удары сыпались градом. Полилась кровь; было видно, как она тысячью струек змеилась по смуглым плечам горбуна, а тонкие ремни, вращаясь и разрезая воздух, разбрызгивали ее в толпу.

Казалось, по крайней мере с виду, что Квазимодо вновь стал безучастен ко всему. Сначала он пытался незаметно, без особенно сильных движений, разорвать свои путы. Видно было, как загорелся его глаз, как напружинились мускулы, как напряглось тело и натянулись ремни и цепи. Это было мощное, страшное, отчаянное усилие; но испытанные оковы парижского прево выдержали. Они только затрещали. Обессиленный Квазимодо словно обмяк. Изумление на его лице сменилось выражением глубокой скорби и уныния. Он закрыл свой единственный глаз, поник головою и замер.

Больше он уже не шевелился. Ничто не могло вывести его из оцепенения: ни льющаяся кровь, ни усилившееся бешенство ударов, ни ярость палача, возбужденного и опьяненного собственной жестокостью, ни свист ужасных ремней, более резкий, чем полет ядовитых насекомых.

Наконец судебный пристав Шатле, одетый в черное, верхом на вороном коне, с самого начала наказания стоявший возле лестницы, протянул к песочным часам свой жезл из черного дерева. Палач прекратил пытку. Колесо остановилось. Медленно раскрылся глаз Квазимодо.

Бичевание окончилось. Два помощника палача обмыли сочившиеся кровью плечи осужденного, смазали их какой-то мазью, от которой раны тотчас же затянулись, и накинули ему на спину нечто вроде желтого передника, напоминавшего нарамник. Пьера Тортерю стряхивал белые ремни плети, и окрасившая и пропитавшая их кровь капала на мостовую.

Но это было еще не все. Квазимодо надлежало выстоять у позорного столба тот час, который столь справедливо был добавлен Флорианом Барбедьеном к приговору мессира Робера д'Эстутвиля, – к вящей славе старинного афоризма Иоанна Куменского, связывающего физиологию с психологией: surdus absurdus.[93]

Итак, песочные часы перевернули, и горбуна оставили привязанным к доске, дабы полностью удовлетворить правосудие.

Простонародье, особенно времен средневековья, является в обществе тем же, чем ребенок в семье. До тех пор, пока оно пребывает в состоянии первобытного неведения, морального и умственного несовершеннолетия, о нем, как о ребенке, можно сказать:

В сем возрасте не знают состраданье.

Мы уже упоминали о том, что Квазимодо был предметом общей ненависти, и не без основания. Во всей этой толпе не было человека, который бы не считал себя вправе пожаловаться на зловредного горбуна Собора Парижской Богоматери. Появление Квазимодо у позорного столба было встречено всеобщим ликованием. Жестокая пытка, которой он подвергся, и его жалкое состояние после пытки не только не смягчили толпу, но, наоборот, усилили ее ненависть, вооружив ее жалом насмешки.

Когда было выполнено «общественное требование возмездия», как и сейчас еще выражаются обладатели судейских колпаков, наступила очередь для сведения с Квазимодо множества личных счетов. Здесь, как и в большой зале Дворца, сильнее всех шумели женщины. Почти все они имели на него зуб: одни – за его злобные выходки, другие – за его уродство. Последние бесновались пуще первых.

– Антихристова харя! – кричала одна.

– Чертов наездник на помеле! – кричала другая.

– Ну и рожа! Его наверное выбрали бы папой шутов, если бы сегодняшний день превратился во вчерашний! – рычала третья.

– Это что! – сокрушалась старуха. – Такую рожу он корчит у позорного столба, а вот если бы взглянуть, какая у него будет на виселице!

– Когда же большой колокол хватит тебя по башке и вгонит на сто футов в землю, проклятый звонарь?

– И этакий дьявол звонит к вечерне!

– Ах ты, глухарь! Горбун кривоглазый! Чудовище!

– Эта образина заставит выкинуть младенца лучше, чем все средства и снадобья.

А оба школяра – Жеан Мельник и Робен Пуспен – распевали во всю глотку старинную народную песню:

Висельнику – веревка!

Уроду – костер!

Оскорбления, брань, насмешки и камни так и сыпались на него со всех сторон.

Квазимодо был глух, но зорок, а народная ярость выражалась на лицах не менее ярко, чем в словах. К тому же удар камнем великолепно дополнял значение каждой издевки.

Некоторое время он крепился. Но мало-помалу терпение, закалившееся под плетью палача, стало сдавать и отступило перед этими комариными укусами. Так астурийский бык, равнодушный к атакам пикадора, приходит в ярость от своры собак и от бандерилий.

Он медленно, угрожающим взглядом обвел толпу. Но, крепко связанный по рукам и ногам, он не мог одним лишь взглядом отогнать этих мух, впившихся в его рану. И он заметался. От его бешеных рывков затрещало на брусьях старое колесо позорного столба. Но все это повело к тому, что насмешки и издевательства толпы только усилились.

Несчастный, подобно дикому зверю, посаженному на цепь и бессильному перегрызть ошейник, внезапно успокоился. Только яростный вздох по временам вздымал его грудь. Лицо его не выражало ни стыда, ни смущения. Он был слишком чужд человеческому обществу и слишком близок к первобытному состоянию, чтобы понимать, что такое стыд. Да и можно ли при таком уродстве чувствовать позор своего положения? Но постепенно гнев, ненависть, отчаяние стали медленно заволакивать его безобразное лицо тучей, все более и более мрачной, все более насыщенной электричеством, которое тысячью молний вспыхивало в глазу этого циклопа.

Туча на миг прояснилась при появлении священника, пробиравшегося сквозь толпу верхом на муле. Как только несчастный осужденный еще издали заметил мула и священника, лицо его смягчилось, ярость, искажавшая его черты, уступила место странной улыбке, исполненной нежности, умиления и неизъяснимой любви. По мере приближения священника эта улыбка становилась все ярче, все отчетливее, все лучезарнее. Несчастный словно приветствовал своего спасителя. Но в ту минуту, когда мул настолько приблизился к позорному столбу, что всадник мог узнать осужденного, священник опустил глаза, круто повернул назад и с такой силой пришпорил мула, словно спешил избавиться от оскорбительных для него просьб, не испытывая ни малейшего желания, чтобы его узнал и приветствовал горемыка, стоявший у позорного столба.

Это был архидьякон Клод Фролло.

Мрачная туча снова надвинулась на лицо Квазимодо. Порой сквозь нее еще пробивалась улыбка, но полная горечи, уныния и бесконечной скорби.

Время шло. Уже почти полтора часа стоял он тут, израненный, истерзанный, осмеянный, забросанный камнями.

Вдруг он снова заметался, да так неистово, что сооружение, на котором он стоял, дрогнуло; нарушив свое упорное молчание, он хриплым и яростным голосом, похожим скорее на собачий лай, чем на голос человека, закричал, покрывая шум и гиканье:

– Пить!

Этот вопль отчаяния не только не возбудил сострадания, но вызвал прилив веселости среди обступившего лестницу доброго парижского простонародья, отличавшегося в ту пору не меньшей жестокостью и грубостью, чем страшное племя бродяг, с которым мы уже познакомили читателя и которое, в сущности говоря, представляло собой самые низы этого простонародья. Если кто из толпы и поднимал голос, то лишь для того, чтобы поглумиться над

его жаждой. Верно и то, что Квазимодо был сейчас скорее смешон и отвратителен, чем жалок: по его пылающему лицу струился пот, взор блуждал, на губах выступила пена бешенства и муки, язык наполовину высунулся изо рта. Следует добавить, что если бы даже и нашлась какая-нибудь добрая душа, какойнибудь сердобольный горожанин или горожанка, пожелавшие принести воды несчастному, страдающему существу, то в представлении окружающих гнусные ступени этого столба были настолько связаны с бесчестием и позором, что одного этого предрассудка было достаточно, чтобы оттолкнуть доброго самаритянина.

Подождав несколько минут. Квазимодо обвел толпу взором отчаяния и повторил еще громче:

– Пить!

И снова поднялся хохот.

– На вот, пососи-ка! – крикнул Робен Пуспен, бросая ему в лицо намоченную в луже тряпку. – Получай, мерзкий глухарь! Я у тебя в долгу!

Какая-то женщина швырнула ему камнем в голову:

– Это отучит тебя будить нас по ночам твоим проклятым звоном!

– Ну что, сынок, – рычал паралитик, пытаясь достать его своим костылем, – будешь теперь наводить на нас порчу с башен Собора Богоматери?

– Вот тебе чашка для питья! – крикнул какой-то человек, запуская ему в грудь разбитой кружкой – Стоило тебе пройти мимо моей жены, когда она была брюхата, и она родила ребенка о двух головах!

– А моя кошка – котенка о шести лапках! – проверещала какая-то старуха, бросая в него черепком.

– Пить! – в третий раз, задыхаясь, повторил Квазимодо.

И тут он увидел, что весь этот сброд расступился.

От толпы отделилась девушка в причудливом наряде. Ее сопровождала белая козочка с позолоченными рожками. В руках у девушки был бубен.

Глаз Квазимодо засверкал. То была та самая цыганка, которую он прошлой ночью пытался похитить: за этот проступок, как он теперь смутно догадывался, он и нес наказание; это, впрочем, нисколько не соответствовало действительности, ибо он терпел кару лишь за то, что имел несчастье, будучи глухим, попасть к глухому судье. Он не сомневался, что девушка явилась сюда, чтобы отомстить ему и, как и все, нанести удар.

И правда: он увидел, что она быстро поднимается по лестнице. Гнев и досада душили его. Ему хотелось сокрушите позорный столб, и если бы молния, которую метнул его взгляд, обладала смертоносной силой, то прежде чем цыганка достигла площадки, она была бы испепелена.

Она молча приблизилась к осужденному, тщетно извивавшемуся в своих путах, чтобы ускользнуть от нее, и, отстегнув от своего пояса флягу, осторожно поднесла ее к пересохшим губам несчастного.

И тогда этот сухой, воспаленный глаз увлажнился, и крупная слеза медленно покатилась по искаженному отчаянием безобразному лицу. Быть может, то была первая слеза, которую этот горемыка пролил в своей жизни.

Казалось, он забыл, что хочет пить. От нетерпения цыганка сделала свою обычную гримаску и, улыбаясь, прижала флягу к торчащим зубам Квазимодо.

Он пил большими глотками. Его мучила жажда.

Напившись, несчастный вытянул почерневшие губы, как бы желая поцеловать прекрасную руку, оказавшую ему такую милость. Но девушка была настороже. Она, видимо,

не забыла еще о грубом нападении на нее минувшей ночью и испуганно отдернула руку, словно ребенок, боящийся, что его укусит животное.

Квазимодо устремил на нее взгляд, полный упрека и невыразимой грусти.

Кого бы не тронуло зрелище красоты, свежести, невинности, очарования и хрупкости, пришедшей в порыве милосердия на помощь воплощению несчастья, уродства и злобы! У позорного столба это зрелище было величественным.

Даже толпа была им захвачена и принялась рукоплескать. «Слава! Слава!» – кричала она.

В эту минуту затворница из оконца своей норы увидела на площадке позорного столба цыганку и крикнула ей свое зловещее:

– Будь ты проклята, цыганское отродье! Проклята! Проклята!

V. Конец рассказа о лепешке

Эсмеральда побледнела и, пошатываясь, спустилась вниз. Голос затворницы продолжал ее преследовать:

– Слезай, слезай, египетская воровка! Все равно взойдешь!

– Вретишница опять чудит, – говорили в толпе, но ничего больше не добавляли. Такие женщины внушали страх, и это делало их неприкосновенными. В те времена остерегались нападать на тех, кто денно и нощно молился.

Настало время освободить Квазимодо. Его увели, и толпа тотчас же разошлась.

У большого моста Майетта, возвращавшаяся домой со своими двумя спутницами, внезапно остановилась:

– Кстати, Эсташ, куда ты девал лепешку?

– Матушка! – ответил ребенок. – Пока вы разговаривали с этой дамой, что сидит в норе, прибежала большая собака и откусила кусок моей лепешки, тогда и я откусил.

– Как! – воскликнула мать. – Ты съел всю лепешку?

– Матушка, это не я, это собака. Я не позволял, но она меня не послушалась. Ну, тогда я тоже стал есть, вот и все.

– Ужасный ребенок! – ворча и улыбаясь сказала мать. – Знаете, Ударда, он один объедает все вишневое дерево на нашем дворе в Шарлеранже. Недаром его дед говорит, что быть ему капитаном. Попробуй еще хоть раз, Эсташ… Смотри ты у меня, увалень!

Книга седьмая

I. О том, как опасно доверять свою тайну козе

Прошло несколько недель.

Было начало марта. Солнце, которое Дюборта, этот классический родоначальник перифразы, еще не успел наименовать «великим князем свечей», тем не менее сияло уже ярко и весело. Стоял один из тех весенних, мягких, чудесных дней, которым весь Париж, высыпав на площади и бульвары, радуется, точно празднику. В эти прозрачные, теплые, безоблачные дни бывает час, когда хорошо пойти полюбоваться порталом Собора Богоматери. Это то время, когда солнце, уже склонившееся к закату, стоит почти напротив фасада собора. Его лучи, становясь все прямее, медленно покидают мостовую Соборной площади и взбираются по отвесной стене фасада, выхватывая из мрака множество его рельефных украшений, между тем как громадная центральная розетка пылает, словно глаз циклопа, отражающий пламя кузнечного горна.

Был именно этот час.

Напротив высокого собора, обагренного закатом, на каменном балконе, устроенном над порталом богатого готического дома, стоявшего на углу площади и Папертной улицы, жеманничая и дурачась, болтали и смеялись красивые девушки. Длинные покрывала, спускавшиеся до самых пят с верхушки их остроконечного головного убора, унизанного

жемчугом, тонкие вышитые шемизетки, прикрывавшие плечи, оставляя обнаженной, согласно тогдашней очаровательной моде, верхнюю часть их прелестной девственной груди, пышность нижних юбок, еще более дорогих, чем верхняя одежда (пленительная изысканность!), газ, шелк, бархатная отделка, а в особенности белизна ручек, свидетельствовавшая о праздности и лени, – все это ясно указывало на то, что девушки – знатные и богатые наследницы. И в самом деле: это были Флер-де-Лис де Гонделорье и ее подруги: Диана де Кристейль, Амлотта де Монмишель, Коломба де Гайльфонтен и маленькая Шаншеврие, – девушки благородного происхождения, и собрались они в этот час у вдовы г-жи де Гонделорье. В апреле в Париж должны были прибыть монсеньор де Боже с супругой и выбрать здесь фрейлин для невесты дофина, Маргариты, чтобы встретить ее в Пикардии, куда ее доставят фландрцы. Все дворяне на тридцать лье в окружности добивались этой чести для своих дочерей; многие из них уже привезли или отправили своих дочерей в Париж. Девицы были поручены родителями разумному покровительству почтенной Алоизы де Гонделорье, вдовы бывшего начальника королевских стрелков, уединенно жившей со своей единственной дочерью в особняке на площади Собора Богоматери.

Дверь балкона, на котором сидели девушки, вела в богатый покой, обитый желтой фламандской кожей с тисненым золотым узором. Параллельно пересекавшие потолок балки веселили глаз причудливыми лепными украшениями, раскрашенными и позолоченными. На резных ларях отливала всеми цветами радуги роскошная эмаль; фаянсовая кабанья голова увенчивала великолепный поставец, высота которого свидетельствовала о том, что хозяйка была женой или вдовой поместного дворянина, имевшего свое знамя. В глубине покоя, близ камина, сверху донизу покрытого гербами и эмблемами, в роскошном, обитом алым бархатом кресле сидела г-жа де Гонделорье, пятидесятилетняя женщина, о возрасте которой можно было догадаться и по лицу и по одежде.

Возле нее стоял молодой человек, довольно представительный, но фатоватый и самодовольный, – один из тех красавцев мужчин, которыми восхищаются женщины, между тем как люди серьезные и физиономисты, глядя на них, пожимают плечами. Этот молодой дворянин был одет в блестящий мундир начальника королевских стрелков, настолько походивший на костюм Юпитера, уже описанный нами в первой части этого рассказа, что мы можем не утомлять читателя вторичным его описанием.

Благородные девицы сидели кто в комнате, кто на балконе, одни – на обитых утрехтским бархатом четырехугольных с золотыми углами подушках, другие – на дубовых скамьях, украшенных резными цветами и фигурами. У каждой на коленях лежал край вышивания по канве, над которым они все вместе работали и большая часть которого спускалась на циновку, покрывавшую пол.

Они переговаривались полушепотом, с придушенным смешком, как обычно разговаривают девушки, когда среди них находится молодой человек. Однако молодой человек, одного присутствия которого было достаточно, чтобы пробудить в них чувство женского самолюбия, казалось, очень мало об этом заботился и, в то время как прелестные девушки наперебой старались обратить на себя его внимание, был занят главным образом тем, что полировал замшевой перчаткой пряжку своей портупеи.

По временам хозяйка тихонько заговаривала с ним, и он охотно, но с какой-то неловкой и принужденной любезностью отвечал ей. По улыбкам, по незаметным условным знакам, по быстрым взглядам г-жи Алоизы, которые она, тихо разговаривая с капитаном, бросала в сторону своей дочери Флер-де-Лис, нетрудно было догадаться, что речь шла о состоявшейся помолвке или о предстоящем в скором времени бракосочетании молодого человека с Флер-де-Лис. А по холодности и смущению офицера было ясно, что ни о какой любви, с его стороны во всяком случае, тут не могло быть и речи. Все черты его лица выражали чувство неловкости и скуки, которое в наше время гарнизонные подпоручики прекрасно выразили бы так: «Собачья служба!»

Но достопочтенная дама, гордившаяся своею дочерью, со свойственным матери ослеплением не замечала равнодушия офицера и всеми силами старалась обратить его внимание на то, с каким изумительным совершенством Флер-де-Лис втыкает иглу или распутывает моток ниток.

– Ну взгляните же на нее! Она нагибается! – притягивая его к себе за рукав, шептала ему на ухо г-жа Алоиза.

– Да, в самом деле, – отвечал молодой человек и снова бесстрастно и рассеянно умолкал.

Минуту спустя ему снова приходилось наклоняться, и г-жа Алоиза шептала ему:

– Вы видели когда-нибудь личико оживленнее и приветливее, чем у вашей нареченной? А этот нежный цвет лица и белокурые волосы! А ее руки! Разве это не само совершенство? А шейка! Разве своей восхитительной гибкостью она не напоминает вам лебедя? Как я порой вам завидую! Как вы должны быть счастливы, что родились мужчиной, повеса вы этакий! Ведь, правда, красота моей Флер-де-Лис достойна обожания и вы влюблены в нее без памяти?

– Конечно, – отвечал он, думая о другом.

– Ну поговорите же с ней! – сказала г-жа Алоиза, легонько толкая его в плечо. – Скажите ей что-нибудь. Вы стали что-то очень застенчивы.

Мы можем уверить нашего читателя, что застенчивость отнюдь не была ни добродетелью, ни пороком капитана. Он, однако, попытался исполнить то, что от него требовали.

– Что изображает рисунок вышивки, над которой вы работаете? – подойдя к Флер-де-Лис, спросил он.

– Я уже три раза объясняла вам, что это грот Нептуна, – с легкой досадой ответила Флер-де-Лис.

Очевидно, Флер-де-Лис понимала гораздо лучше матери, что означает рассеянность и холодность капитана.

Он почувствовал необходимость как-нибудь продолжить разговор.

– А для кого предназначается вся эта нептунология?

– Для аббатства Сент-Антуан-де-Шан, – не глядя на него, ответила Флер-де-Лис.

Капитан приподнял уголок вышивки.

– А кто этот здоровенный латник, который изо всех сил дует в трубу?

– Это Тритон, – ответила она.

В отрывистых ответах Флер-де-Лис слышалась досада. Молодой человек понял, что надо шепнуть ей чтонибудь на ухо: какую-нибудь любезность, какой-нибудь вздор – все равно. Он наклонился к ней и сказал:

– Почему ваша матушка все еще носит украшенную гербами робу, как носили наши бабки при Карле Седьмом? Скажите ей, что теперь это уже не в моде и что крюк и лавр[94], вышитые в виде герба на ее платье, придают ей вид ходячего каминного украшения. Теперь не принято восседать на своих гербах, клянусь вам!

Флер-де-Лис подняла на него свои прекрасные глаза, полные укоризны.

– И это все, в чем вы мне можете поклясться? – тихо спросила она.

А в это время достопочтенная г-жа Алоиза, восхищенная тем, что они наклонились друг к другу и о чемто шепчутся, проговорила, играя застежками своего часослова:

– Какая трогательная картина любви!

Смутившись еще больше, капитан снова обратил внимание на вышивку.

– Чудесная работа! – воскликнул он.

Коломба де Гайльфонтен, красавица-блондинка с нежной кожей, затянутая в голубой дамасский шелк, обратившись к Флер-де-Лис, робко вмешалась в разговор, надеясь, что ей ответит красавец-капитан.

– Дорогая Гонделорье! Вы видели вышивки в особняке на Рош-Гийон?

– Это тот самый особняк, за оградой которого находится садик кастелянши Лувра? – спросила, смеясь, Диана де Кристейль; у нее были прелестные зубы, и она смеялась при всяком удобном случае.

– И где стоит большая старинная башня, оставшаяся от древней ограды Парижа? – добавила Амлотта де Монмишель, хорошенькая кудрявая цветущая брюнетка, имевшая привычку вздыхать так же беспричинно, как беспричинно смеялась ее подруга.

– Милая Коломба! Вы, по-видимому, говорите об особняке де Беквиля, жившего при Карле Шестом? Да, правда, там были великолепные гобелены, заметила г-жа Алоиза.

– Карл Шестой! Карл Шестой! – проворчал себе под нос молодой капитан, покручивая усы. – Боже мой, какую старину помнит эта почтенная дама!

Госпожа Гонделорье продолжала:

– Да, да, прекрасные гобелены. И такой искусной работы, что они считаются редкостью!

В эту минуту Беранжера де Шаншеврие, тоненькая семилетняя девочка, глядевшая на площадь сквозь резные трилистники балконной решетки, воскликнула, обращаясь к Флер-де-Лис:

– Посмотрите, дорогая крестная, какая хорошенькая плясунья танцует на площади и бьет в бубен, вон там, среди этих грубых горожан!

Действительно, слышна была громкая дробь бубна.

– Какая-нибудь цыганка из Богемии, – небрежно ответила Флер-де-Лис, обернувшись к площади.

– Давайте посмотрим! Давайте посмотрим! – воскликнули ее резвые подруги, и все устремились к решетке балкона; Флер-де-Лис, задумавшись над холодностью своего жениха, медленно последовала за ними, а тот, избавленный благодаря этому случаю от затруднительного для него разговора, с довольным видом снятого с караула солдата опять занял свое место в глубине комнаты. А между тем стоять на часах возле Флерде-Лис было приятной, отрадной обязанностью; еще недавно он так и думал; но мало-помалу капитан пресытился этим, близость предстоящего бракосочетания день ото дня все более охлаждала его пыл. К тому же у него был непостоянный характер и – надо ли об этом говорить? – пошловатый вкус. Несмотря на свое весьма знатное происхождение, он приобрел на военной службе немало солдафонских замашек. Ему нравились кабачки и все, что с ними связано. Он чувствовал себя непринужденно лишь там, где слышалась ругань, отпускались казарменные любезности, где красавицы были доступны и успех достигался легко.

Родители дали ему кое-какое образование и обучили хорошим манерам, но он слишком рано покинул отчий дом, слишком рано попал на гарнизонную службу, и его дворянский лоск с каждым днем стирался от грубого прикосновения нагрудного ремня. Считаясь с общественным мнением, он посещал Флер-де-Лис, но чувствовал себя с нею вдвойне неловко: во-первых, потому, что он растратил свой любовный пыл во всевозможных притонах, почти ничего не оставив на долю невесты; вовторых, потому, что постоянно опасался, как бы его рот, привыкший извергать ругательства, не закусил удила и не стал отпускать крепкие словца среди всех этих затянутых, благовоспитанных и чопорных красавиц. Можно себе представить, каково было бы впечатление!

Впрочем, все это сочеталось у него с большими притязаниями на изящество и на изысканность костюма и манер. Пусть читатель сам разберется во всем этом, как ему угодно, я же только историк.

Итак, некоторое время он стоял, не то о чем-то размышляя, не то вовсе ни о чем не размышляя, и молчал, опершись о резной наличник камина, как вдруг Флерде-Лис, обернувшись к нему, спросила (бедная девушка была холодна с ним вопреки собственному сердцу).

– Помнится, вы нам рассказывали о цыганочке, которую вы, делая ночной обход, вырвали из рук бродяг два месяца тому назад?

– Кажется, рассказывал, – отвечал капитан.

– Уж не она ли это пляшет там, на площади? Пойдите-ка сюда и посмотрите, прекрасный Феб.

В этом кротком приглашении подойти к ней, равно как и в том, что она назвала его по имени, сквозило тайное желание примирения. Капитан Феб де Шатопер (а ведь это именно его с начала этой главы видит перед собой читатель) медленно направился к балкону.

– Поглядите на малютку, что пляшет там, в кругу, – обратилась к нему Флер-де-Лис, нежно тронув его за плечо. – Не ваша ли это цыганочка?

Феб взглянул и ответил:

– Да, я узнаю ее по козочке.

– Ах! В самом деле, какая прелестная козочка! – восторженно всплеснув руками, воскликнула Амлотта.

– А что, ее рожки и правда золотые? – спросила Беранжера.

Не вставая с кресла, г-жа Алоиза спросила:

– Не из тех ли она цыганок, что в прошлом году пришли в Париж через Жибарские ворота?

– Матушка, – кротко заметила ей Флер-де-Лис, – ныне эти ворота называются Адскими воротами.

Девица Гонделорье хорошо знала, как коробили капитана устаревшие выражения ее матери. И действительно, он уже начал посмеиваться, повторяя сквозь зубы: «Жибарские ворота, Жибарские ворота! Скоро опять дело дойдет до короля Карла Шестого!»

– Крестная! – воскликнула Беранжера, живые глазки которой вдруг остановились на верхушке башни Собора Парижской Богоматери. – Что это за черный человек там, наверху?

Девушки подняли глаза. Там действительно стоял какой-то человек, облокотившись на верхнюю балюстраду северной башни, выходившей на Гревскую площадь. Это был священник. Можно было ясно различить его одеяние и его голову, которую он подпирал обеими руками. Он стоял застывший, словно статуя. Его пристальный взгляд был прикован к площади.

В своей неподвижности он напоминал коршуна, который приметил воробьиное гнездо и всматривается в него.

– Это архидьякон Жозасский, – сказала Флерде-Лис.

– У вас очень острое зрение, если вы отсюда узнали его! – заметила Гайльфонтен.

– Как он глядит на маленькую плясунью! – сказала Диана де Кристейль.

– Горе цыганке! – произнесла Флер-де-Лис – Он терпеть не может это племя.

– Очень жаль, если это так, – заметила Амлотта де Монмишель, – она чудесно пляшет.

– Прекрасный Феб, – сказала Флер-де-Лис, – вам эта цыганочка знакома. Сделайте ей знак, чтобы она пришла сюда. Это нас позабавит.

– О да! – воскликнули все девушки, захлопав в ладоши.

– Но это безумие, – возразил Феб. – Она, по всей вероятности, забыла меня, а я даже не знаю, как ее зовут. Впрочем, раз вам это угодно, сударыни, я все-таки попытаюсь.

Перегнувшись через перила, он крикнул:

– Эй, малютка!

Плясунья как раз в эту минуту опустила бубен. Она обернулась в ту сторону, откуда послышался оклик, ее сверкающий взор остановился на Фебе, и она замерла на месте.

– Эй, малютка! – повторил капитан и поманил ее рукой.

Цыганка еще раз взглянула на него, затем так зарделась, словно в лицо ей пахнуло огнем, и, взяв бубен под мышку, медленной поступью, неуверенно, с помутившимся взглядом птички, поддавшейся чарам змеи, направилась сквозь толпу изумленных зрителей к двери дома, откуда ее звал Феб.

Мгновение спустя ковровая портьера приподнялась, и на пороге появилась цыганка, раскрасневшаяся, смущенная, запыхавшаяся, потупив свои большие глаза, не осмеливаясь ступить ни шагу дальше.

Беранжера захлопала в ладоши.

Цыганка продолжала неподвижно стоять на пороге.

Ее появление оказало на молодых девушек странное действие. Ими владело смутное и бессознательное желание пленить красивого офицера; мишенью их кокетства был его блестящий мундир; с тех пор как он здесь появился, между ними началось тайное, глухое, едва сознаваемое ими соперничество, которое тем не менее ежеминутно проявлялось в их жестах и речах. Все они были одинаково красивы и потому сражались равным оружием; каждая из них могла надеяться на победу. Цыганка сразу нарушила это равновесие. Девушка отличалась такой поразительной красотой, что в ту минуту, когда она показалась на пороге, комнату словно озарило сияние. В тесной гостиной, в темной раме панелей и обоев она была несравненно прекраснее и блистательнее, чем на площади. Она была словно факел, внесенный из света во мрак. Знатные девицы были ослеплены. Каждая из них почувствовала себя уязвленной, и потому они без всякого предварительного сговора между собой (да простится нам это выражение!) тотчас переменили тактику. Они отлично понимали друг друга. Инстинкт объединяет женщин гораздо быстрее, нежели разум – мужчин. Перед ними появился противник; это почувствовали все и сразу сплотились. Капли вина достаточно, чтобы окрасить целый стакан воды; чтобы испортить настроение целому собранию хорошеньких женщин, достаточно появления более красивой, в особенности, если в их обществе всего лишь один мужчина.

Прием, оказанный цыганке, был удивительно холоден. Оглядев ее сверху донизу, они посмотрели друг на друга, и этим все было сказано! Все было понятно без слов. Между тем девушка ждала, что с ней заговорят, и была до того смущена, что не смела поднять глаз.

Капитан первый нарушил молчание.

– Клянусь честью, – проговорил он своим самоуверенным и пошловатым тоном, – очаровательное создание! Что вы скажете, прелестная Флер?

Это замечание, которое более деликатный поклонник сделал бы вполголоса, не могло способствовать тому, чтобы рассеять женскую ревность, насторожившуюся при появлении цыганки.

Флер-де-Лис, с гримаской притворного пренебрежения, ответила капитану:

– Недурна!

Остальные перешептывались.

Наконец г-жа Алоиза, не менее встревоженная, чем другие, если не за себя, то за свою дочь, сказала:

– Подойди поближе, малютка.

– Подойди поближе, малютка! – с комической важностью повторила Беранжера, едва доходившая цыганке до пояса.

Цыганка приблизилась к знатной даме.

– Прелестное дитя! – сделав несколько шагов ей навстречу, напыщенно произнес капитан. – Не знаю, удостоюсь ли я великого счастья быть узнанным вами…

Девушка улыбнулась ему и подняла на него взгляд, полный глубокой нежности.

– О да! – ответила она.

– У нее хорошая память, – заметила Флер-деЛис.

– А как вы быстро убежали в тот вечер! – продолжал Феб. – Разве я вас напугал?

– О нет! – ответила цыганка.

В том, как было произнесено это «о нет!» вслед за «о да! «, был какой-то особенный оттенок, который задел Флер-де-Лис.

– Вы вместо себя, моя прелесть, оставили угрюмого чудака, горбатого и кривого, кажется звонаря архиепископа, – продолжал капитан, язык которого тотчас же развязался в разговоре с уличной девчонкой. – Мне сказали, что он побочный сын какого-то архидьякона, а по природе своей – сам дьявол. У него потешное имя: его зовут не то «Великая пятница», не то «Вербное воскресенье», не то «Масленица», право, не помню. Одним словом, название большого праздника! И он имел смелость вас похитить, словно вы созданы для звонарей! Это уж слишком! Черт возьми, что от вас было нужно этому нетопырю? Вы не знаете?

– Не знаю, – ответила она.

– Какова дерзость! Какой-то звонарь похищает девушку, точно виконт! Деревенский браконьер в погоне за дворянской дичью! Это неслыханно! Впрочем, он за это дорого поплатился. Пьера Тортерю – самый крутой из конюхов, чистящих скребницей шкуру мошенников, и я могу вам сообщить, если только это вам доставит удовольствие, что он очень ловко обработал спину вашего звонаря.

– Бедняга! – произнесла цыганка, в памяти которой эти слова воскресили сцену у позорного столба. Капитан громко расхохотался.

– Черт подери! Тут сожаление так же уместно, как перо в заду у свиньи. Пусть я буду брюхат, как папа, если…

Но тут он спохватился:

– Простите, сударыни, я, кажется, сморозил какую-то глупость?

– Фи, сударь! – сказала Гайльфонтен.

– Он говорит языком этой особы! – заметила вполголоса Флер-де-Лис, досада которой росла с каждой минутой. Эта досада отнюдь не уменьшилась, когда она заметила, что капитан, в восторге от цыганки, а еще больше от самого себя, повернулся на каблуках и с грубой простодушной солдатской любезностью повторил:

– Клянусь душой, прехорошенькая девчонка!

– Но в довольно диком наряде, – обнажая в улыбке свои прелестные зубы, сказала Диана де Кристейль.

Это замечание было лучом света для остальных. Оно обнаружило слабое место цыганки. Бессильные уязвить ее красоту, они набросились на ее одежду.

– Что это тебе вздумалось, моя милая, – сказала Амлотта де Монмишель, – шататься по улицам без шемизетки и косынки?

– А юбчонка такая короткая – просто ужас! – добавила Гайльфонтен.

– За ваш золоченый пояс, милочка, – довольно кисло проговорила Флер-де-Лис, – вас может забрать городская стража.

– Малютка, малютка, – присовокупила с жестокой усмешкой Кристейль, если бы ты пристойным образом прикрыла плечи рукавами, они не загорели бы так на солнце.

Красавицы-девушки, с их ядовитыми и злыми язычками, извивающиеся, скользящие, суетящиеся вокруг уличной плясуньи, представляли собою зрелище, достойное более тонкого

зрителя, чем Феб. Эти грациозные создания были бесчеловечны. Со злорадством они разбирали ее убогий и причудливый наряд из блесток и мишуры. Смешкам, издевкам, унижениям не было конца. Язвительные насмешки, выражения высокомерного доброжелательства и злобные взгляды… Этих девушек можно было принять за римских патрицианок, для забавы втыкающих в грудь красивой невольницы золотые булавки. Они напоминали изящных борзых на охоте; раздув ноздри, сверкая глазами, кружатся они вокруг бедной лесной лани, разорвать которую им запрещает строгий взгляд господина.

Да и что собой представляла жалкая уличная плясунья рядом с этими знатными девушками? Они не считались с ее присутствием и вслух говорили о ней, как о чем-то неопрятном, ничтожном, хотя и довольно красивом.

Цыганка не была не чувствительна к этим булавочным уколам. По временам румянец стыда окрашивал ее щеки и молния гнева вспыхивала в очах; слово презрения, казалось, готово было сорваться с ее уст, и на лице ее появлялась пренебрежительная гримаска, уже знакомая читателю. Но она молчала. Она стояла неподвижно и смотрела на Феба покорным, печальным взглядом. В этом взгляде таились счастье и нежность. Можно было подумать, что она сдерживала себя, боясь быть изгнанной отсюда.

А Феб посмеивался и вступался за цыганку, побуждаемый жалостью и нахальством.

– Не обращайте на них внимания, малютка! – повторял он, позвякивая своими золотыми шпорами. – Ваш наряд, конечно, немного странен и дик, но для такой хорошенькой девушки это ничего не значит!

– Боже! – воскликнула белокурая Гайльфонтен, с горькой улыбкой выпрямляя свою лебединую шею. – Я вижу, что королевские стрелки довольно легко воспламеняются от прекрасных цыганских глаз!

– А почему бы и нет? – проговорил Феб.

При этом столь небрежном ответе, брошенном наудачу, как бросают подвернувшийся камешек, даже не глядя, куда он упадет, Коломба расхохоталась, за ней Диана, Амлотта и Флер-де-Лис, но у последней при этом выступили слезы.

Цыганка, опустившая глаза при словах Коломбы де Гайльфонтен, вновь устремила на Феба взор, сиявший гордостью и счастьем. В это мгновение она была поистине прекрасна.

Почтенная дама, наблюдавшая эту сцену, чувствовала себя оскорбленной и ничего не понимала.

– Пресвятая дева! – воскликнула она. – Что это путается у меня под ногами? Ах, мерзкое животное!

То была козочка, прибежавшая сюда в поисках своей хозяйки; бросившись к ней, она по дороге запуталась рожками в том ворохе материи, в который сбивались одежды благородной дамы, когда она садилась.

Это отвлекло внимание присутствующих. Цыганка молча высвободила козу.

– А! Вот и маленькая козочка с золотыми копытцами! – прыгая от восторга, воскликнула Беранжера.

Цыганка опустилась на колени и прижалась щекой к ласкавшейся к ней козочке. Она словно просила прощения за то, что покинула ее.

В это время Диана нагнулась к уху Коломбы:

– Боже мой, как же я не подумала об этом раньше? Ведь это цыганка с козой. Говорят, она колдунья, а ее коза умеет разделывать всевозможные чудеса!

– Пусть коза и нас позабавит каким-нибудь чудом, – сказала Коломба.

Диана и Коломба с живостью обратились к цыганке:

– Малютка! Заставь свою козу сотворить какоенибудь чудо.

– Я не понимаю вас, – ответила плясунья.

– Ну, какое-нибудь волшебство, колдовство, одним словом – чудо!

– Не понимаю.

И она опять принялась ласкать хорошенькое животное, повторяя: «Джали! Джали!»

В это мгновенье Флер-де-Лис заметила расшитый кожаный мешочек, висевший на шее козочки.

– Что это такое? – спросила она у цыганки.

Цыганка подняла на нее свои большие глаза и серьезно ответила:

– Это моя тайна.

«Хотела бы я знать, что у тебя за тайна», – подумала Флер-де-Лис.

Между тем почтенная дама, встав с недовольным видом со своего места, сказала:

– Ну, цыганка, если ни ты, ни твоя коза не можете ничего проплясать, то что же вам здесь нужно?

Цыганка, не отвечая, медленно направилась к двери. Но чем ближе она подвигалась к выходу, тем медленнее становился ее шаг. Казалось, ее удерживал какой-то невидимый магнит. Внезапно, обратив свои влажные от слез глаза к Фебу, она остановилась.

– Клянусь богом, – воскликнул капитан, – так уходить не полагается! Вернитесь и пропляшите нам что-нибудь. А кстати, душенька, как вас звать?

– Эсмеральда, – ответила плясунья, не отводя от него взора.

Услышав это странное имя, девушки громко захохотали.

– Какое ужасное имя для девушки! – воскликнула Диана.

– Вы видите теперь, что это колдунья! – сказала Амлотта.

– Ну, милая моя, – торжественно произнесла г-жа Алоиза, – такое имя нельзя выудить из купели, в которой крестят младенцев.

Между тем Беранжера, неприметно для других, успела с помощью марципана заманить козочку в угол комнаты. Через минуту они уже подружились. Любопытная девочка сняла мешочек, висевший на шее у козочки, развязала его и высыпала на циновку содержимое. Это была азбука, каждая буква которой была написана отдельно на маленькой дощечке из букового дерева. Как только эти игрушки рассыпались по циновке, ребенок, к своему изумлению, увидел, что коза принялась за одно из своих «чудес»: она стала отодвигать золоченым копытцем определенные буквы и, потихоньку подталкивая, располагать их в известном порядке. Получилось слово, по-видимому, хорошо знакомое ей, – так быстро и без заминки она его составила. Восторженно всплеснув руками, Беранжера воскликнула:

– Крестная! Посмотрите, что сделала козочка!

Флер-де-Лис подбежала и вздрогнула. Разложенные на полу буквы составляли слово:

ФЕБ

– Это написала коза? – прерывающимся от волнения голосом спросила она.

– Да, крестная, – ответила Беранжера.

Сомнений быть не могло: ребенок не умел писать.

«Так вот ее тайна! – подумала Флер-де-Лис.

На возглас ребенка прибежали мать, девушки, цыганка и офицер.

Цыганка увидела, какую оплошность сделала ее козочка. Она вспыхнула, затем побледнела; словно уличенная в преступлении, вся дрожа, стояла она перед капитаном, а тот глядел на нее с удивленной и самодовольной улыбкой.

– Феб! – шептали пораженные девушки. – Но ведь это имя капитана!

– У вас отличная память! – сказала Флер-де-Лис окаменевшей цыганке. Потом, разразившись рыданиями, она горестно пролепетала, закрыв лицо прекрасными руками: «О, это колдунья!» А в глубине ее сердца какой-то еще более горестный голос прошептал: «Это соперница».

Флер-де-Лис упала без чувств.

– Дочь моя! Дочь моя! – вскричала испуганная мать. – Убирайся вон, чертова цыганка!

Эсмеральда мигом подобрала злополучные буквы, сделала знак Джали и убежала, между тем как Флерде-Лис выносили в другую дверь.

Капитан Феб, оставшись в одиночестве, колебался с минуту, куда ему направиться, а затем последовал за цыганкой.

II. Священник и философ – не одно и то же

Священник, которого девушки заметили на верхушке северной башни и который так внимательно следил, перегнувшись через перила, за пляской цыганки, был действительно архидьякон Клод Фролло.

Наши читатели не забыли таинственной кельи, устроенной для себя архидьяконом в этой башне. (Между прочим, я в этом не уверен, но, возможно, это та самая келья, внутрь которой можно заглянуть еще и теперь сквозь четырехугольное слуховое оконце, проделанное на высоте человеческого роста, с восточной стороны площадки, откуда устремляются ввысь башни собора. Ныне это голая, пустая, обветшалая каморка, плохо отштукатуренные стены которой там и сям «украшены» отвратительными пожелтевшими гравюрами, изображающими фасады разных соборов. Надо полагать, что эту дыру населяют летучие мыши и пауки, а следовательно, там ведется двойная истребительная война против мух.)

Ежедневно за час до заката архидьякон поднимался по башенной лестнице и запирался в келье, порой проводя в ней целые ночи. В этот день, когда он, дойдя до низенькой двери своего убежища, вкладывал в замочную скважину замысловатый ключ, который он неизменно носил при себе в кошеле, висевшем у него на поясе, до его слуха долетели звуки бубна и кастаньет. Звуки эти неслись с Соборной площади. В келье, как мы уже упоминали, было только одно окошечко, выходившее на купол собора. Клод Фролло поспешно выдернул ключ и минуту спустя стоял уже на верхушке башни в той мрачной и сосредоточенной позе, в которой его и заметили девицы.

Он стоял там, серьезный, неподвижный, поглощенный одним-единственным зрелищем, одной-единственной мыслью. Весь Париж расстилался у его ног, с множеством шпилей своих стрельчатых зданий, с окружавшим его кольцом мягко очерченных холмов на горизонте, с рекой, змеившейся под мостами, с толпой, переливавшейся по улицам, с облаком своих дымков, с неровной цепью кровель, теснившей Собор Богоматери своими частыми звеньями. Но во всем этом городе архидьякон видел лишь один уголок его мостовой – Соборную площадь; среди всей этой толпы лишь одно существо – цыганку.

Трудно было бы определить, что выражал этот взгляд и чем порожден горевший в нем пламень. То был взгляд неподвижный и в то же время полный смятения и тревоги. Судя по оцепенению всего тела, по которому лишь изредка, словно по дереву, сотрясаемому ветром, пробегал невольный трепет, по окостенелости локтей, более неподвижных, чем мрамор перил, служивший им опорой, по застывшей улыбке, искажавшей лицо, всякий сказал бы, что в Клоде Фролло в эту минуту жили только глаза.

Цыганка плясала. Она вертела бубен на кончике пальца и, танцуя провансальскую сарабанду, подбрасывала его в воздух; проворная, легкая, радостная, она не чувствовала тяжести страшного взгляда, падавшего на нее сверху.

Вокруг нее кишела толпа; время от времени какойто мужчина, наряженный в желто-красную куртку, расширял около нее круг, а затем снова усаживался на стул в нескольких шагах от плясуньи, прижимая головку козочки к своим коленям. По-видимому, этот мужчина был спутником цыганки. Клод Фролло не мог ясно разглядеть черты его лица.

Как только архидьякон заметил незнакомца, его внимание, казалось, раздвоилось между ним и плясуньей, и с каждой минутой он становился мрачнее. Внезапно он выпрямился, и по его телу пробежала дрожь.

– Что это за человек? – пробормотал он сквозь зубы. – Я всегда видел ее одну!

Скрывшись под извилистыми сводами винтовой лестницы, он спустился вниз. Толкнув приотворенную дверь звонницы, он заметил нечто, поразившее его: он увидел Квазимодо, который через щель одного из шиферных навесов, напоминающих громадные жалюзи, наклонившись, тоже смотрел на площадь. Он настолько ушел в созерцание, что даже не заметил, как мимо прошел его приемный отец. Обычно угрюмый взгляд звонаря приобрел какое-то странное выражение. То был восхищенный и нежный взгляд.

– Странно! – пробормотал Клод. – Неужели он так смотрит на цыганку?

Он продолжал спускаться. Через несколько минут озабоченный архидьякон вышел на площадь через дверь у подножия башни.

– А куда же делась цыганка? – спросил он, смешавшись с толпой зрителей, привлеченных звуками бубна.

– Не знаю, – ответил ему ближайший из них, – куда-то исчезла. Наверно, пошла плясать фанданго вон в тот дом напротив, откуда ее кликнули.

Вместо цыганки на том самом ковре, арабески которого еще за минуту перед тем исчезали под капризным узором ее пляски, архидьякон увидел человека, одетого в красное и желтое; он тоже хотел заработать несколько серебряных монет и с этой целью прохаживался по кругу, упершись руками в бока, запрокинув голову, с багровым лицом, вытянутой шеей и держа в зубах стул. К этому стулу он привязал взятую напрокат у соседки кошку, громко выражавшую испуг и неудовольствие.

– Владычица! – воскликнул архидьякон, когда фигляр, на лбу которого выступили крупные капли пота, проносил мимо него пирамиду из кошки и стула. – Чем занимается здесь Пьер Гренгуар?

Строгий голос архидьякона привел в такое замешательство бедного малого, что он со всем своим сооружением потерял равновесие, и стул с кошкой обрушился на головы кричавших истошными голосами зрителей.

Весьма вероятно, что Пьеру Гренгуару (это был он) пришлось бы дорого поплатиться и за кошку и за ушибы и царапины, которые из-за него получили зрители, если бы он не поторопился, воспользовавшись суматохой, скрыться в церкви, куда Клод Фролло знаком пригласил его следовать за собой.

Внутри собора было пусто и сумрачно. Боковые приделы погрузились во тьму, лампады мерцали, как звезды, – так глубок был мрак, окутывавший своды. Лишь большая розетка фасада, разноцветные стекла которой купались в лучах заката, искрилась в темноте, словно груда алмазов, отбрасывая свой ослепительный спектр на другой конец нефа.

Пройдя немного вперед, отец Клод прислонился к одной из колонн и пристально посмотрел на Гренгуара. Но это не был взгляд, которого боялся Гренгуар, пристыженный тем, что такая важная и ученая особа застала его в наряде фигляра. Во взоре священника не

чувствовалось ни насмешки, ни иронии: он был серьезен, спокоен и проницателен. Архидьякон первый нарушил молчание:

– Послушайте, мэтр Пьер, вы многое должны мне объяснить. Прежде всего, почему вас не было видно почти два месяца, а теперь вы появляетесь на перекрестках и в премилом костюме, – нечего сказать! – наполовину желтом, наполовину красном, словно кодебекское яблоко?

– Ваше высокопреподобие! – жалобным голосом заговорил Гренгуар, – это действительно необычный наряд, и я чувствую себя в нем ничуть не лучше кошки, которой надели бы на голову тыкву. Я сознаю, что с моей стороны очень скверно подвергать сержантов городской стражи риску обработать палками плечи философа-пифагорийца, скрывающегося под этой курткой. Но что поделаешь, досточтимый учитель? Виноват в этом мой старый камзол, подло покинувший меня в самом начале зимы под тем предлогом, что он разлезается и что ему необходимо отправиться на покой в корзину тряпичника. Что делать? Цивилизация еще не достигла той степени развития, когда можно было бы расхаживать нагишом, как желал старик Диоген. Прибавьте к этому, что дует очень холодный ветер и что январь – неподходящий месяц для успешного продвижения человечества на эту новую ступень цивилизации. Тут подвернулась мне вот эта куртка. Я взял ее и незамедлительно сбросил мой старый черный кафтан, который для герметика, каковым я являюсь, был далеко не герметически закрыт. И вот я, наподобие блаженного Генесия, облачен в одежду жонглера. Что поделаешь? Это временное затмение моей звезды. Приходилось же Аполлону пасти свиней у царя Адмета!

– Недурное у вас ремесло! – заметил архидьякон.

– Я совершенно согласен с вами, учитель, что гораздо почтеннее философствовать, писать стихи, раздувать пламя в горне или доставать его с неба, нежели подымать на щит кошек. Поэтому-то, когда вы меня окликнули, я почувствовал себя глупее, чем осел перед вертелом. Но что делать! Ведь надо как-то перебиваться, а самые прекрасные александрийские стихи не заменят зубам куска сыра бри. Недавно я сочинил в честь Маргариты Фландрской известную вам эпиталаму, но город мне за нее не уплатил под тем предлогом, что она недостаточно совершенна. Как будто можно было за четыре экю сочинить трагедию Софокла! Я обречен был на голодную смерть. К счастью, у меня оказалась очень крепкая челюсть, и я сказал ей: «Показывай твою силу и прокорми себя сама эквилибристическими упражнениями. Ale te ipsam[95]». Шайка оборванцев, ставших моими добрыми приятелями, научила меня множеству атлетических штук, и ныне я каждый вечер отдаю моим зубам тот хлеб, который они в поте лица моего зарабатывают днем. Оно, конечно, – concede, – я согласен, что это очень жалкое применение моих умственных способностей и что человек не создан для того, чтобы всю жизнь бить в бубен и запускать зубы в стулья. Но, достоуважаемый учитель, нельзя просто существовать – нужно поддерживать свое существование.

Отец Клод слушал молча. Внезапно его глубоко запавшие глаза приняли выражение такой проницательности и прозорливости, что Гренгуару показалось, будто этот взгляд всколыхнул его душу до дна.

– Все это очень хорошо, мэтр Пьер, но почему вы очутились в обществе цыганской плясуньи?

– Черт возьми! – ответил Гренгуар. – Да потому, что она моя жена, а я ее муж.

Сумрачный взгляд священника загорелся.

– И ты на это решился, несчастный? – вскричал он, с яростью хватая Гренгуара за руку. – Неужели бог настолько отступился от тебя, что ты мог коснуться этой девушки?

– Если только это вас беспокоит, ваше высокопреподобие, – весь дрожа, ответил Гренгуар, – то, клянусь спасением своей души, я никогда не прикасался к ней.

– Так что же ты болтаешь о муже и жене?

Гренгуар поспешил вкратце рассказать все, о чем уже знает читатель: о своем приключении во Дворе чудес и о своем венчанье с разбитой кружкой. Но цыганка каждый вечер, как и в первый раз, ловко обманывает его надежды на брачную ночь.

– Это досадно, – заключил он, – но причина этого в том, что я имел несчастье жениться на девственнице.

– Что вы этим хотите сказать? – спросил архидьякон, постепенно успокаиваясь во время рассказа Гренгуара.

– Это очень трудно вам объяснить, – ответил поэт, – это своего рода суеверие. Моя жена, – как это объяснил мне один старый плут, которого у нас величают герцогом египетским, – подкидыш или найденыш, что, впрочем, одно и то же. Она носит на шее талисман, который, как уверяют, поможет ей когда-нибудь отыскать своих родителей, но который утратит свою силу, как только девушка утратит целомудрие. Отсюда следует, что мы оба остаемся в высшей степени целомудренными.

– Значит, мэтр Пьер, – спросил Клод, лицо которого прояснялось, – вы полагаете, что к этой твари еще не прикасался ни один мужчина?

– Что может мужчина поделать против суеверия, отец Клод? Она это вбила себе в голову. Полагаю, что монашеская добродетель, так свирепо себя охраняющая, – большая редкость среди цыганских девчонок, которых вообще легко приручить. Но у нее есть три покровителя: египетский герцог, взявший ее под свою защиту в надежде, вероятно, продать ее какому-нибудь проклятому аббату; затем все ее племя, которое чтит ее, точно Богородицу, и, наконец, крошечный кинжал, который плутовка носит всегда при себе, несмотря на запрещение прево, и который тотчас же появляется у нее в руках, как только обнимешь ее за талию Это настоящая оса, уверяю вас!

Архидьякон засыпал Гренгуара вопросами.

По мнению Гренгуара, Эсмеральда была безобидное и очаровательное существо. Она – красавица, когда не строит свою гримаску. Наивная и страстная девушка, не знающая жизни и всем увлекающаяся, она не имеет понятия о различии между мужчиной и женщиной – вот она какая! Дитя природы, она любит пляску, шум, жизнь под открытым небом; это женщинапчела с невидимыми крыльями на ногах, живущая в каком-то постоянном вихре. Своим характером она обязана бродячему образу жизни. Гренгуару удалось узнать, что, еще будучи ребенком, она исходила Испанию и Каталонию вплоть до Сицилии; он предполагал даже, что цыганский табор, в котором она жила, водил ее в Алжирское царство, лежавшее в Ахайе, Ахайя же граничит с одной стороны с маленькой Албанией и Грецией, а с другой – с Сицилийским морем, этим путем в Константинополь. Цыгане, по словам Гренгуара, были вассалами алжирского царя как главы всего племени белых мавров. Но достоверно было лишь то, что во Францию Эсмеральда пришла в очень юном возрасте через Венгрию. Из всех этих стран девушка вынесла обрывки странных наречий, иноземные песни и понятия, которые превращают ее речь в нечто пестрое, как и ее полупарижский, полуафриканский наряд. Жители кварталов, которые она посещает, любят ее за жизнерадостность, за приветливость, за живость, за пляски и песни. Она считает, что во всем городе ее ненавидят два человека, о которых она нередко говорит с содроганием: вретишница Роландовой башни, противная затворница, которая неизвестно почему таит злобу на всех цыганок и проклинает бедную плясунью всякий раз, когда та проходит мимо ее оконца, и какойто священник, который при встрече с ней пугает ее своим взглядом и словами. Последняя подробность взволновала архидьякона, но Гренгуар не обратил на это внимания, настолько двухмесячный промежуток времени успел изгладить из памяти беззаботного поэта странные подробности того вечера, когда он впервые встретил цыганку, и то обстоятельство, что при этом присутствовал архидьякон Впрочем, маленькая плясунья ничего не боится: она ведь не занимается гаданьем, и потому ей нечего опасаться обвинений в колдовстве, за что так часто судят цыганок. Гренгуар не был ей мужем, но он заменял ей

брата. В конце концов философ весьма терпеливо сносил эту форму платонического супружества. Как-никак, у него был кров и кусок хлеба. Каждое утро он, чаще всего вместе с цыганкой, покидал воровской квартал и помогал ей делать на перекрестках ежедневный сбор экю и мелких серебряных монет; каждый вечер он возвращался с нею под общий кров, не препятствовал ей запирать на задвижку дверь своей каморки и засыпал сном праведника Если вдуматься, – утверждал он, – то это очень приятная жизнь, располагающая к мечтательности. К тому же, по совести говоря, философ не был твердо убежден в том, что безумно влюблен в цыганку. Он почти так же любил и ее козочку. Это очаровательное животное, кроткое, умное, понятливое, – словом, ученая козочка. В средние века такие ученые животные, восхищавшие зрителей и нередко доводившие своих учителей до костра, были весьма заурядным явлением. Но чудеса козочки с золотыми копытцами являлись самой невинной хитростью. Гренгуар объяснил их архидьякону, и тот с интересом выслушал все подробности. В большинстве случаев достаточно было то так, то эдак повертеть бубном перед козочкой, чтобы заставить ее проделать желаемый фокус. Обучила ее всему цыганка, обладавшая в этом тонком деле столь необыкновенным талантом, что ей достаточно было двух месяцев, чтобы научить козочку из отдельных букв складывать слово «Феб».

– «Феб»? – спросил священник. – Почему же «Феб»?

– Не знаю, – ответил Гренгуар. – Быть может, она считает, что это слово обладает каким-то магическим, тайным свойством. Она часто вполголоса повторяет его, когда ей кажется, что она одна.

– Вы уверены в том, что это слово, а не имя? – спросил Клод, проницательным взором глядя на Гренгуара.

– Чье имя? – спросил поэт.

– Кто знает? – ответил священник.

– Вот что я думаю, ваше высокопреподобие! Цыгане отчасти огнепоклонники и боготворят солнце Отсюда и взялось слово «Феб».

– Мне это не кажется столь ясным, как вам, мэтр Пьер.

– В сущности, меня это мало трогает. Пусть бормочет себе на здоровье «Феб», сколько ей заблагорассудится. Верно только то, что Джали любит меня уже почти так же, как и ее.

– Кто это Джали?

– Козочка.

Архидьякон подпер подбородок рукой и на мгновение задумался. Внезапно он круто повернулся к Гренгуару.

– И ты мне клянешься, что не прикасался к ней?

– К кому? – спросил Гренгуар. – К козочке?

– Нет, к этой женщине.

– К моей жене? Клянусь вам, нет!

– А ты часто бываешь с ней наедине?

– Каждый вечер не меньше часа.

Отец Клод нахмурил брови.

– О! О! Solus cum sola поп cogitabuntur or are «Pater nosier».[96]

– Клянусь душой, что я мог бы прочесть при ней и Pater noster, и Ave Maria, и Credo in Deum Patrem omnipotentem, и она обратила бы на меня столько же внимания, сколько курица на церковь.

– Поклянись мне утробой твоей матери, что ты пальцем не дотронулся до этой твари, – упирая на каждое слово, проговорил архидьякон.

– Я готов поклясться и головой моего отца, поскольку между той и другой существует известное соотношение. Но, уважаемый учитель, разрешите и мне, в свою очередь, задать вам один вопрос.

– Спрашивай.

– Какое вам до всего этого дело?

Бледное лицо архидьякона вспыхнуло, как щеки молодой девушки. Некоторое время он молчал, а затем, явно смущенный, ответил:

– Послушайте, мэтр Пьер Гренгуар. Вы, насколько мне известно, еще не погубили свою душу. Я принимаю в вас участие и желаю вам добра. Так вот, малейшее сближение с этой чертовой цыганкой бросит вас во власть сатаны. Вы же знаете, что именно плоть всегда губит душу. Горе вам, если вы приблизитесь к этой женщине! Вот и все.

– Я однажды было попробовал, – почесывая у себя за ухом, проговорил Гренгуар, – это было в первый день, да накололся на осиное жало.

– И у вас хватило на это бесстыдства, мэтр Пьер?

Лицо священника омрачилось.

– В другой раз, – улыбаясь, продолжал поэт, – я, прежде чем лечь спать, приложился к замочной скважине и ясно увидел в одной сорочке прелестнейшую из всех женщин, под чьими обнаженными ножками когда-либо скрипела кровать.

– Убирайся к черту! – бросив на него страшный взгляд, крикнул священник и, толкнув изумленного Гренгуара в плечо, большими шагами проследовал дальше и скрылся под самой темной из аркад собора.

III. Колокола

Со дня казни у позорного столба люди, жившие близ Собора Парижской Богоматери, заметили, что звонарский пыл Квазимодо значительно охладел. В былое время колокольный звон раздавался по всякому поводу: протяжный благовест – к заутрене и к повечерью, гул большого колокола – к поздней обедне, а в часы венчанья и крестин – полнозвучные гаммы, пробегавшие по малым колоколам и переплетавшиеся в воздухе, словно узор из пленительных звуков. Древний храм, трепещущий и гулкий, был наполнен неизбывным весельем колоколов. В нем постоянно ощущалось присутствие шумного своевольного духа, певшего всеми этими медными устами. Ныне дух словно исчез. Собор казался мрачным и охотно хранящим безмолвие. В праздничные дни и в дни похорон обычно слышался сухой, будничный, простой звон, как полагалось по церковному уставу, но не более. Из двойного гула, который исходит от церкви и рождается органом внутри и колоколами извне, остался лишь голос органа. Казалось, звонницы лишились своих музыкантов А между тем Квазимодо все еще обитал там. Что же с ним произошло? Быть может, в сердце его гнездились стыд и отчаяние, пережитые им у позорного столба; или все еще отдавались в его душе удары плети палача; или боль наказания заглушила в нем все, вплоть до его страсти к колоколам? А может статься, «Мария» обрела в его сердце соперницу, и большой колокол с его четырнадцатью сестрами был забыт ради чего-то более прекрасного?

Случилось, что в год от Рождества Христова 1482 день Благовещения, 25 марта, пришелся во вторник. И воздух был так чист тогда и прозрачен, что в сердце Квазимодо ожила былая любовь к колоколам. Он поднялся на северную башню, пока причетник раскрывал внизу настежь церковные двери, представлявшие собой в то время громадные створы из крепкого дерева, обтянутые кожей, прибитой по краям железными позолоченными гвоздями, и обрамленные скульптурными украшениями «весьма искусной работы».

Войдя в верхнюю часть звонницы, он смотрел некоторое время на висевшие там шесть колоколов и грустно покачивал головой, словно сокрушаясь о том, что в его сердце между ним и его любимцами встало чтото чуждое. Но когда он раскачал их, когда он почувствовал, как

заколыхалась под его рукой вся эта гроздь колоколов, когда он увидел, – ибо слышать он не мог, – как по этой звучащей лестнице, словно птичка, перепархивающая с ветки на ветку, вверх и вниз пробежала трепетная октава, когда демон музыки, этот дьявол, потряхивающий искристой связкой стретто, трелей и арпеджио, завладел несчастным глухим, тогда он вновь обрел счастье; он забыл все, и облегченье, испытываемое его сердцем, отразилось на его просветлевшем лице.

Он ходил взад и вперед, хлопал в ладоши, перебегал от одной веревки к другой, голосом и жестом подбадривая своих шестерых певцов, – так дирижер оркестра воодушевляет искусных музыкантов.

– Ну, Габриэль, вперед! – говорил он. – Нынче праздник, затопи площадь звуками. Не ленись, Тибо! Ты отстаешь. Да ну же! Ты заржавел, бездельник, что ли? Так! Хорошо! Живей, живей, чтоб не видно было языка! Оглуши их всех, чтобы они стали, как я! Так, Тибо, молодчина! Гильом! Гильом! Ведь ты самый большой, а Паскье самый маленький, и все же он тебя обгоняет. Бьюсь об заклад, что те, кто может слышать, слышат его лучше, чем тебя! Хорошо, хорошо, Габриэль! Громче, еще громче! Эй, Воробьи! Что вы там оба делаете на вышке? Вас совсем не слышно. Это еще что за медные клювы? Они как будто зевают, вместо того чтобы петь! Извольте работать! Ведь нынче Благовещение. В такой отличный солнечный день и благовест должен звучать отлично! Бедняга Гильом, ты совсем запыхался, толстяк!

Он был поглощен колоколами, а они, все шестеро, подстрекаемые его окриками, подпрыгивали вперегонки, встряхивая своими блестящими крупами, точно шумная запряжка испанских мулов, то и дело подгоняемая уколами заостренной палки погонщика.

Внезапно, взглянув в просвет между широкими шиферными щитками, перекрывавшими проемы в отвесной стене колокольни, он увидел остановившуюся на площади девушку в причудливом наряде, расстилавшую ковер, на который вспрыгнула козочка. Вокруг них уже собрались зрители. Это зрелище круто изменило направление его мыслей и, подобно дуновению ветра, охлаждающему растопленную смолу, остудило его музыкальный пыл. Он выпустил из рук веревки, повернулся спиной к колоколам и присел на корточки, позади шиферного навеса, устремив на плясунью тот нежный, мечтательный и кроткий взор, который уже однажды поразил архидьякона. Забытые колокола сразу смолкли, к великому разочарованию любителей церковного звона, внимательно слушавших его с моста Менял и разошедшихся с тем чувством недоумения, которое испытывает собака, когда ей, показав кость, дают камень.

IV. 'Anagkh

Однажды, в погожее утро того же марта месяца, кажется в субботу 29 числа, в день св. Евстафия, наш молодой друг, школяр Жеан Фролло Мельник, одеваясь, заметил, что карман его штанов, где лежал кошелек, не издает больше металлического звука.

– Бедный кошелек! – воскликнул он, вытаскивая его на свет божий. Как! Ни одного су? Здорово же тебя выпотрошили кости, пиво и Венера! Ты совсем пустой, сморщенный, дряблый! Точно грудь ведьмы! Я спрашиваю вас, государи мои, Цицерон и Сенека, произведения которых в покоробленных переплетах валяются вон там, на полу, я спрашиваю вас, какая мне польза, если я лучше любого начальника монетного двора или еврея с моста Менял знаю, что золотое экю с короной весит тридцать пять унции по двадцать шесть су и восемь парижских денье каждая, что экю с полумесяцем весит тридцать шесть унций по двадцать шесть су и шесть турских денье каждая, – какая мне от этого польза, если у меня нет даже презренного лиара, чтобы поставить на двойную шестерку в кости? О консул Цицерон, вот бедствие, из которою не выпутаешься пространными рассуждениями и всякими quemadmodum и nerut etn vero![97]

Он продолжал одеваться. В то время как он уныло зашнуровывал башмаки, его осенила мысль, но он отогнал ее; однако она вернулась, и он надел жилет наизнанку – явный признак

сильнейшей внутренней борьбы. Наконец, с сердцем швырнув свою шапочку оземь, он воскликнул:

– Тем хуже! Будь что будет! Пойду к брату! Нарвусь на проповедь, зато раздобуду хоть одно экю.

Набросив на себя кафтан с подбитыми мехом широкими рукавами, он подобрал с пола шапочку и в совершенном отчаянии выбежал из дому.

Он спустился по улице Подъемного моста к Сите. Когда он проходил по улице Охотничьего рожка, восхитительный запах мяса, которое жарилось на непрестанно повертывавшихся вертелах, защекотал его обоняние. Он любовно взглянул на гигантскую съестную лавку, при виде которой у францисканского монаха Калатажирона однажды вырвалось патетическое восклицание Veramente, questo rotisserie sono cosa stupenda![98] Но Жеану нечем было заплатить за завтрак, и он, тяжело вздохнув, вошел под портик Пти-Шатле, громадный шестигранник массивных башен, охранявших вход в Сите.

Он даже не приостановился, чтобы, по обычаю, швырнуть камнем в статую презренного Перине-Леклерка, сдавшего при Карле VI Париж англичанам, преступление, за которое его статуя с лицом, избитым камнями и испачканным грязью, несла наказание целых три столетия, стоя на перекрестке улиц Подъемного моста и Бюси, словно у вечного позорного столба.

Перейдя Малый мост и быстро миновав Новую СентЖеневьевскую улицу, Жеан де Молендино очутился перед Собором Парижской Богоматери. Тут им вновь овладела нерешительность, и некоторое время он прогуливался вокруг статуи «господина Легри», повторяя с тоской:

– Проповедь – вне сомнения, а вот экю – сомнительно!

Он окликнул выходившего из собора причетника:

– Где архидьякон Жозасский?

– Кажется, в своей башенной келье, – ответил причетник. – Я вам не советую его беспокоить, если только, конечно, вы не посол от кого-нибудь вроде папы или короля.

Жеан захлопал в ладоши:

– Черт возьми! Прекрасный случай взглянуть на эту пресловутую колдовскую нору!

Это соображение придало ему решимости: он смело направился к маленькой темной двери и стал взбираться по винтовой лестнице св. Жиля, ведущей в верхние ярусы башни.

«Клянусь пресвятой девой, – размышлял он по дороге, – прелюбопытная вещь, должно быть, эта каморка, которую мой уважаемый братец скрывает, точно свой срам. Говорят, он разводит там адскую стряпню и варит на большом огне философский камень. Фу, дьявол! Мне этот философский камень так же нужен, как булыжник. Я предпочел бы увидеть на его очаге небольшую яичницу на сале, чем самый большой философский камень!»

Добравшись до галереи с колоннами, он перевел дух, ругая бесконечную лестницу и призывая на нее миллионы чертей; затем, войдя в узкую дверку северной башни, ныне закрытую для публики, он опять стал подниматься. Через несколько минут, миновав колокольную клеть, он увидел небольшую площадку, устроенную в боковом углублении, а под сводом – низенькую стрельчатую дверку. Свет, падавший из бойницы, пробитой против нее в круглой стене лестничной клетки, позволял разглядеть огромный замок и массивные железные скрепы. Те, кто в настоящее время поинтересуются взглянуть на эту дверь, узнают ее по надписи, выцарапанной белыми буквами на черной стене: Я обожаю Карали 1823. Подписано Эжен. «Подписано» значится в самом тексте.

– Уф! – вздохнул школяр. – Должно быть, здесь!

Ключ торчал в замке. Жеан стоял возле самой двери. Тихонько приоткрыв ее, он просунул в проем голову.

Читателю, конечно, приходилось видеть великолепные произведения Рембрандта, этого Шекспира живописи. Среди ею чудесных гравюр особо примечателен офорт, изображающий, как полагают, доктора Фауста. На этот офорт нельзя смотреть без глубокого волнения. Перед вами мрачная келья. Посреди нее стол, загроможденный странными предметами: это черепа, глобусы, реторты, циркули, пергаменты, покрытые иероглифами. Ученый сидит перед столом, облаченный в широкую мантию; меховая шапка надвинута на самые брови. Видна лишь верхняя половина туловища. Он привстал со своего огромного кресла, сжатые кулаки его опираются на стол. Он с любопытством и ужасом всматривается в светящийся широкий круг, составленный из каких-то магических букв и горящий на задней стене комнаты, как солнечный спектр в камереобскуре. Это кабалистическое солнце словно дрожит и освещает сумрачную келью таинственным сиянием. Это и жутко и прекрасно!

Нечто похожее на келью доктора Фауста представилось глазам Жеана, когда он осторожно просунул голову в полуотворенную дверь. Это было такое же мрачное, слабо освещенное помещение. И здесь тоже стояло большое кресло и большой стол, те же циркули и реторты, скелеты животных, свисавшие с потолка, валявшийся на полу глобус, на манускриптах, испещренных буквами и геометрическими фигурами, – человеческие и лошадиные черепа вперемежку с бокалами, в которых мерцали пластинки золота, груды огромных раскрытых фолиантов, наваленных один на другой без всякой жалости к ломким углам их пергаментных страниц, – словом, весь мусор науки; и на всем этом хаосе пыль и паутина. Но здесь не было ни круга светящихся букв, ни ученого, который восторженно созерцает огненное видение, подобно орлу, взирающему на солнце.

Однако же келья была обитаема. В кресле, склонившись над столом, сидел человек. Жеан, к которому человек что сидел спиной, мог видеть лишь его плечи и затылок, но ему нетрудно было узнать эту лысую голову, на которой сама природа выбрила вечную тонзуру, как бы желая этим внешним признаком отметить неизбежность его духовного призвания.

Итак, Жеан узнал брата. Но дверь распахнулась так тихо, что Клод не догадался о присутствии Жеана. Любопытный школяр воспользовался этим, чтобы не спеша оглядеть комнату. Большой очаг, которого он в первую минуту не заметил, находился влево от кресла под слуховым окном. Дневной свет, проникавший в это отверстие, пронизывал круглую паутину, которая изящно вычерчивала свою тончайшую розетку на стрельчатом верхе слухового оконца; в середине ее неподвижно застыл архитектор-паук, точно ступица этого кружевного колеса. На очаге в беспорядке были навалены всевозможные сосуды, глиняные пузырьки, стеклянные двугорлые реторты, колбы с углем. Жеан со вздохом отметил, что сковородки там не было.

«Вот так кухонная посуда, нечего сказать!» – подумал он.

Впрочем, в очаге не было огня; казалось, что его давно уже здесь не разводили. В углу, среди прочей утвари алхимика, валялась забытая и покрытая пылью стеклянная маска, которая, по всей вероятности, должна была предохранять лицо архидьякона, когда он изготовлял какое-нибудь взрывчатое вещество. Рядом лежал не менее запыленный поддувальный мех, на верхней доске которого медными буквами была выведена надпись:

SPIRA, SPERA.[99]

На стенах, по обычаю герметиков, также были начертаны многочисленные надписи: одни – написаны чернилами, другие – выцарапанные металлическим острием. Буквы готические, еврейские, греческие, римские, романские перемешивались между собой, надписи покрывали одна другую, более поздние наслаивались на более ранние, и все это переплеталось, словно ветви кустарника, словно пики во время схватки. Это было столкновение всех философий, всех чаяний, скопление всей человеческой мудрости. То тут, то там выделялась какая-нибудь из

этих надписей, блистая, словно знамя среди леса копий. Чаще всего это были краткие латинские или греческие изречения, которые так хорошо умели составлять в средние века: Unde? Inde? Homo homim monstrum – Astra, castra, nomen, numen – Meya piaslov, uteya xaxov – Sapere aude – Flat ubi vult и пр.[100] Встречалось и, по-видимому, лишенное смысла слово 'Ayayoyia[101], которое, быть может, таило в себе горький намек на монастырский устав; или какое-нибудь простое правило духовной жизни, изложенное гекзаметром: Caelestem dominum, terrestrem dicito damnum.[102]Местами попадалась какая-то тарабарщина на древнееврейском языке, в котором Жеан, не особенно сильный и в греческом, ничего не понимал; и все это, где только можно, перемежалось звездами, фигурами людей и животных, пересекающимися треугольниками, что придавало этой измазанной стене сходство с листом бумаги, по которому обезьяна водила пером, пропитанным чернилами.

Общий вид каморки производил впечатление заброшенности и запустения, а скверное состояние приборов заставляло предполагать, что хозяин ее уже давно отвлечен от своих трудов иными заботами.

А между тем хозяина, склонившегося над большой рукописью, украшенной странными рисунками, казалось, терзала какая-то неотступная мысль. Так по крайней мере заключил Жеан, услышав, как его брат в раздумье, с паузами, словно мечтатель, грезящий наяву, восклицал:

– Да, Ману говорит это, и Зороастр учит тому же: солнце рождается от огня, луна – от солнца. Огонь – душа вселенной. Его первичные атомы, непрерывно струясь бесконечными потоками, изливаются на весь мир. В тех местах, где эти потоки скрещиваются на небе, они производят свет; в точках своего пересечения на земле они производят золото. – Свет и золото одно и то же. Золото – огонь в твердом состоянии. – Разница между видимым и осязаемым, между жидким и твердым состоянием одной и той же субстанции такая же, как между водяными парами и льдом. Не более того. – Это отнюдь не фантазия – это общий закон природы. – Но как применить к науке этот таинственный закон? Ведь свет, заливающий мою руку, – золото! Это те же самые атомы, лишь разреженные по определенному закону; их надо только уплотнить на основании другого закона! – Но как это сделать? Одни придумали закопать солнечный луч в землю. Аверроэс – да, это был Аверроэс! – зарыл один из этих лучей под первым столбом с левой стороны в святилище Корана, в большой Колдовской мечети, но вскрыть этот тайник, чтобы увидеть, удался ли опыт, можно только через восемь тысяч лет.

«Черт возьми! – сказал себе Жеан. – Долгонько придется ему ждать своего экю!»

– … Другие полагают, – продолжал задумчиво архидьякон, – что лучше взять луч Сириуса. Но добыть этот луч в чистом виде очень трудно, так как по пути с ним сливаются лучи других звезд. Фламель утверждает, что проще всего брать земной огонь. – Фламель! Какое пророческое имя! Flamma![103] – Да, огонь! Вот и все. – В угле заключается алмаз, в огне – золото. – Но как извлечь его оттуда? – Мажистри утверждает, что существуют женские имена, обладающие столь нежными и таинственными чарами, что достаточно во время опыта произнести их, чтобы он удался. – Прочтем, что говорит об этом Ману: «Где женщины в почете, там боги довольны; где женщин презирают, там бесполезно взывать к божеству. – Уста женщины всегда непорочны; это струящаяся вода, это солнечный луч. – Женское имя должно быть приятным, сладостным, неземным; оно должно оканчиваться на долгие гласные и походить на слова благословения». – Да, мудрец прав, в самом деле: Мария, София, Эсмер… Проклятие! Опять! Опять эта мысль!

Архидьякон захлопнул книгу.

Он провел рукой по лбу, словно отгоняя навязчивый образ. Затем взял со стола гвоздь и молоточек, рукоятка которого была причудливо разрисована кабалистическими знаками.

– С некоторых пор, – горько усмехаясь, сказал он, – все мои опыты заканчиваются неудачей. Одна мысль владеет мною и словно клеймит мой мозг огненной печатью. Я даже не

могу разгадать тайну Кассиодора, светильник которого горел без фитиля и без масла. А между тем это сущий пустяк!

«Как для кого!» – пробурчал про себя Жеан.

– …Достаточно, – продолжал священник, – какойнибудь одной несчастной мысли, чтобы сделать человека бессильным и безумным! О, как бы посмеялась надо мной Клод Пернель, которой не удалось ни на минуту отвлечь Никола Фламеля от его великого дела! Вот я держу в руке магический молот Зехиэля! Всякий раз, когда этот страшный раввин ударял в глубине своей кельи этим молотком по этому гвоздю, тот из его недругов, кого он обрекал на смерть, – будь он хоть за две тысячи лье, – уходил на целый локоть в землю. Даже сам король Франции за то, что однажды опрометчиво постучал в дверь этого волшебника, погрузился по колено в парижскую мостовую. – Это произошло меньше чем три столетия тому назад. – И что же! Этот молоток и гвоздь принадлежат теперь мне, но в моих руках эти орудия не более опасны, чем «живчик» в руках кузнеца. – А ведь все дело лишь в том, чтобы найти магическое слово, которое произносил Зехиэль, когда ударял по гвоздю.

«Пустяки!» – подумал Жеан.

– Попытаемся! – воскликнул архидьякон. – В случае удачи я увижу, как из головки гвоздя сверкнет голубая искра. – Эмен-хетан! Эмен-хетан! Нет, не то! – Сижеани! Сижеани! – Пусть этот гвоздь разверзнет могилу всякому, кто носит имя Феб!.. – Проклятие! Опять! Вечно одна и та же мысль!

Он гневно отшвырнул молоток. Затем, низко склонившись над столом, поглубже уселся в кресло и, заслоненный его громадной спинкой, скрылся из глаз Жеана. В течение нескольких минут Жеану был виден лишь его кулак, судорожно сжатый на какой-то книге. Внезапно Клод встал, схватил циркуль и молча вырезал на стене большими буквами греческое слово:

'АМАГКН

– Он сошел с ума, – пробормотал Жеан, – гораздо проще написать Fatum[104], ведь не все же обязаны знать по-гречески!

Архидьякон опять сел в кресло и уронил голову на сложенные руки, подобно больному, чувствующему в ней тяжесть и жар.

Школяр с изумлением наблюдал за братом. Открывая свое сердце навстречу всем ветрам, следуя лишь одному закону – влечениям природы, дозволяя страстям своим изливаться по руслам своих наклонностей, Жеан, у которого источник сильных чувств пребывал неизменно сухим, так щедро каждое утро открывались для него все новые и новые стоки, не понимал, не мог себе представить, с какой яростью бродит и кипит море человеческих страстей, когда ему некуда излиться, как оно переполняется, как вздувается, как рвется из берегов, как размывает сердце, как разражается внутренними рыданиями в безмолвных судорожных усилиях, пока, наконец, не прорвет свою плотину и не разворотит свое ложе. Суровая ледяная оболочка Клода Фролло, его холодная личина высокой недосягаемой добродетели вводили Жеана в заблуждение. Жизнерадостный школяр не подозревал, что в глубине покрытой снегом Этны таится кипящая, яростная лава.

Нам неизвестно, догадался ли он тут же об этом, однако при всем его легкомыслии он понял, что подсмотрел то, чего ему не следовало видеть, что увидел душу своего старшего брата в одном из самых сокровенных ее проявлений и что Клод не должен об этом знать. Заметив, что архидьякон снова застыл, Жеан бесшумно отступил и зашаркал перед дверью ногами, как человек, который только что пришел и предупреждает о своем приходе.

– Войдите! – послышался изнутри кельи голос архидьякона. – Я поджидаю вас! Я нарочно оставил ключ в замке. Войдите же, мэтр Жак!

Школяр смело переступил порог. Архидьякону подобный визит в этом месте был нежелателен, и он вздрогнул.

– Как, это ты, Жеан?

– Да, меня зовут тоже на «Ж», – отвечал румяный, дерзкий и веселый школяр.

Лицо Клода приняло свое обычное суровое выражение.

– Зачем ты сюда явился?

– Братец, – ответил школяр, с невинным видом вертя в руках шапочку и стараясь придать своему лицу приличное, жалобное и скромное выражение, я пришел просить у вас…

– Чего?

– Наставлений, в которых я очень нуждаюсь. – Жеан не осмелился прибавить вслух: «и немного денег, в которых я нуждаюсь еще больше!» Последняя часть фразы не была им оглашена.

– Сударь! – холодно сказал архидьякон. – Я очень недоволен вами.

– Увы! – вздохнул школяр.

Клод, полуобернувшись вместе со своим креслом, пристально взглянул на Жеана.

– Я очень рад тебя видеть.

Вступление не предвещало ничего хорошего. Жеан приготовился к жестокой головомойке.

– Жеан! Мне ежедневно приходится выслушивать жалобы на тебя. Что это было за побоище, когда ты отколотил палкой молодого виконта Альбера де Рамоншана?

– Эка важность! – ответил Жеан. – Скверный мальчишка забавлялся тем, что забрызгивал грязью школяров, пуская свою лошадь вскачь по лужам!

– А кто такой Майе Фаржель, на котором ты изорвал одежду? – продолжал архидьякон. – В жалобе сказано: Tunicam dechiraverunt.[105]

– Ничего подобного! Просто дрянной плащ одного из школяров Монтегю. Только и всего!

– В жалобе сказано tunicam, а не cappettam[106]. Ты понимаешь по-латыни?

Жеан молчал.

– Да, – продолжал священник, покачивая головой, – вот как теперь изучают науки и литературу! Полатыни еле-еле разумеют, сирийского языка не знают, а к греческому относятся с таким пренебрежением, что даже самых ученых людей, пропускающих при чтении греческое слово, не считают невеждами и говорят: Graecum est, non legitur.[107]

Школяр устремил на него решительный взгляд.

– Брат! Тебе угодно, чтобы я на чистейшем французском языке прочел вот это греческое слово, написанное на стене?

– Какое слово?

– 'Anagkh.

Легкая краска, подобная клубу дыма, возвещающему о сотрясении в недрах вулкана, выступила на желтых скулах архидьякона. Но школяр этого не заметил.

– Хорошо, Жеан, – пробормотал старший брат. – Что же означает это слово?

– Рок.

Обычная бледность покрыла лицо Клода, а школяр беззаботно продолжал:

– Слово, написанное пониже той же рукой, Avayxeia означает «скверна». Теперь вы видите, что я разбираюсь в греческом.

Архидьякон хранил молчание. Этот урок греческого языка заставил его задуматься.

Юный Жеан, отличавшийся лукавством балованного ребенка, счел момент подходящим, чтобы выступить со своей просьбой. Он начал самым умильным голосом:

– Добрый братец! Неужели ты так сильно гневаешься на меня и оказываешь мне неласковый прием из-за нескольких жалких пощечин и затрещин, которые я надавал в честной схватке каким-то мальчишкам и карапузам, quibusdam marmosetis? Видишь, Клод, латынь я тоже знаю.

Но все это вкрадчивое лицемерие не произвело на старшего брата обычного действия. Цербер не поймался на медовый пряник. Ни одна морщина не разгладилась на лбу Клода.

– К чему ты клонишь? – сухо спросил он.

– Хорошо, – храбро сказал Жеан. – Вот к чему. Мне нужны деньги.

При этом нахальном признании лицо архидьякона приняло наставнически-отеческое выражение.

– Вам известно, господин Жеан, что ленное владение Тиршап приносит нам, включая арендную плату и доход с двадцати одного дома, всего лишь тридцать девять ливров, одиннадцать су и шесть парижских денье. Это, правда, в полтора раза больше, чем было при братьях Пакле, но все же это немного.

– Мне нужны деньги, – твердо повторил Жеан.

– Вам известно решение духовного суда о том, что все наши дома, как вассальное владение, зависят от епархии и что откупиться от нее мы можем не иначе, как уплатив епископу две серебряные позолоченные марки по шесть парижских ливров каждая. Этих денег я еще не накопил. Это тоже вам известно.

– Мне известно только то, что мне нужны деньги, – в третий раз повторил Жеан.

– А для чего?

Этот вопрос зажег луч надежды в глазах юноши. К нему вернулись его кошачьи ужимки.

– Послушай, дорогой Клод, – сказал он, – я не обратился бы к тебе, если бы у меня были дурные намерения. Я не собираюсь щеголять на твои деньги в кабачках и прогуливаться по парижским улицам, наряженный в золотую парчу, в сопровождении моего лакея, sit teo laquasio[108]. Нет, братец, я прошу денег на доброе дело.

– На какое же это доброе дело? – слегка озадаченный, спросил Клод.

– Два моих друга хотят купить приданое для ребенка одной бедной вдовы из общины Одри. Это акт милосердия. Требуется всего три флорина, и мне хотелось бы внести свою долю.

– Как зовут твоих друзей?

– Пьер Мясник и Батист Птицеед.

– Гм! – пробормотал архидьякон. – Эти имена так же подходят к доброму делу, как пушка к алтарю.

Жеан очень неудачно выбрал имена друзей, но спохватился слишком поздно.

– А к тому же, – продолжал проницательный Клод, – что это за приданое, которое должно стоить три флорина? Да еще для ребенка благочестивой вдовы? С каких же это пор вдовы из этой общины стали обзаводиться грудными младенцами?

Жеан вторично попытался пробить лед.

– Так и быть, мне нужны деньги, чтобы пойти сегодня вечером к Изабо-ла-Тьери в Валь-д'Амур!

– Презренный развратник! – воскликнул священник.

– 'Avayveia, – прервал Жеан.

Это слово, заимствованное, быть может не без лукавства, со стены кельи, произвело на священника странное впечатление: он закусил губу и только покраснел от гнева.

– Уходи, – сказал он наконец Жеану, – я жду одного человека.

Школяр сделал последнюю попытку:

– Братец! Дай мне хоть мелочь, мне не на что пообедать.

– А на чем ты остановился в декреталиях Грациана?

– Я потерял свои тетради.

– Кого из латинских писателей ты изучаешь?

– У меня украли мой экземпляр Горация.

– Что вы прошли из Аристотеля?

– А вспомни, братец, кто из отцов церкви утверждает, что еретические заблуждения всех времен находили убежище в дебрях аристотелевской метафизики? Плевать мне на Аристотеля! Я не желаю, чтобы его метафизика поколебала мою веру.

– Молодой человек! – сказал архидьякон. – Во время последнего въезда короля в город у одного из придворных, Филиппа де Комина, на попоне лошади был вышит его девиз: Qui поп laborat, non manducet. Поразмыслите над этим.

Опустив глаза и приложив палец к уху, школяр с сердитым видом помолчал с минуту. Внезапно, с проворством трясогузки, он повернулся к Клоду:

– Итак, любезный брат, вы отказываете мне даже в одном жалком су, на которое я могу купить кусок хлеба у булочника?

– Qui non laborat, non manducet.[109]

При этом ответе неумолимого архидьякона Жеан закрыл лицо руками, словно рыдающая женщина, и голосом, исполненным отчаяния, воскликнул: otototototoi!

– Что это значит, сударь? – изумленный выходкой брата, спросил Клод.

– Извольте, я вам скажу! – отвечал школяр, подняв на него дерзкие глаза, которые он только что натер докрасна кулаками, чтобы они казались заплаканными. – Это по-гречески! Это анапест Эсхила, отлично выражающий отчаяние.

И тут он разразился таким задорным и таким раскатистым хохотом, что заставил улыбнуться архидьякона. Клод почувствовал свою вину: зачем он так баловал этого ребенка?

– Добрый братец! – снова заговорил Жеан, ободренный этой улыбкой. Взгляните на мои дырявые башмаки! Ботинок, у которого подошва просит каши, ярче свидетельствует о трагическом положении героя, нежели греческие котурны.

К архидьякону быстро вернулась его суровость.

– Я пришлю тебе новые башмаки, но денег не дам, – сказал он.

– Ну хоть одну жалкую монетку! – умолял Жеан. – Я вызубрю наизусть Грациана, я буду веровать в бога, стану истинным Пифагором по части учености и добродетели. Но, умоляю, хоть одну монетку! Неужели вы хотите, чтобы разверстая передо мной пасть голода, черней, зловонней и глубже, чем преисподняя, чем монашеский нос, пожрала меня?

Клод, нахмурившись, покачал головой:

– Qui поп laborat…

Жеан не дал ему договорить.

– Ах так! – крикнул он. – Тогда к черту все! Да здравствует веселье! Я засяду в кабаке, буду драться, бить посуду, шляться к девкам!

Он швырнул свою шапочку о стену и прищелкнул пальцами, словно кастаньетами.

Архидьякон сумрачно взглянул на него:

– Жеан! У вас нет души.

– В таком случае у меня, если верить Эпикуру, отсутствует нечто, состоящее из чего-то, чему нет имени!

– Жеан! Вам следует серьезно подумать о том, как исправиться.

– Вздор! – воскликнул школяр, переводя взгляд с брата на реторты. Здесь все пустое – и мысли и бутылки!

– Жеан! Ты катишься по наклонной плоскости. Знаешь ли ты, куда ты идешь?

– В кабак, – ответил Жеан.

– Кабак ведет к позорному столбу.

– Это такой же фонарный столб, как и всякий другой, и, может быть, именно с его помощью Диоген и нашел бы человека, которого искал.

– Позорный столб приводит к виселице.

– Виселица – коромысло весов, к одному концу которого подвешен человек, а к другому – вселенная! Даже лестно быть таким человеком.

– Виселица ведет в ад.

– Это всего-навсего жаркий огонь.

– Жеан, Жеан! Тебя ждет печальный конец.

– Зато начало было хорошее!

В это время на лестнице послышались шаги.

– Тише! – проговорил архидьякон, приложив палец к губам. – Вот и мэтр Жак. Послушай, Жеан, – добавил он тихим голосом. – Бойся когда-нибудь проронить хоть одно слово о том, что ты здесь увидишь и услышишь. Спрячься под очаг – и ни звука!

Школяр скользнул под очаг; там его внезапно осенила блестящая мысль.

– Кстати, братец Клод, за молчание – флорин:

– Тише! Обещаю.

– Дай сейчас.

– На! – в сердцах сказал архидьякон и швырнул кошелек.

Жеан забился под очаг.

Дверь распахнулась.

V. Два человека в черном

В келью вошел человек в черной мантии, с хмурым лицом. Прежде всего поразило нашего приятеля Жеана (который, как это ясно для каждого, примостился таким образом, чтобы ему все было видно и слышно) мрачное одеяние и мрачное обличье новоприбывшего. А между тем весь его облик отличался какой-то особенной вкрадчивостью, вкрадчивостью кошки или судьи приторной вкрадчивостью. Он был совершенно седой, в морщинах, лет шестидесяти; он щурил глаза, у него были белые брови, отвисшая нижняя губа и большие руки. Решив, что это, по-видимому, всего лишь врач или судья и что раз у этого человека нос далеко ото рта, значит, он глуп, Жеан забился в угол, досадуя, что придется долго просидеть в такой неудобной позе и в таком неприятном обществе.

Архидьякон даже не привстал навстречу незнакомцу. Он сделал ему знак присесть на стоявшую около двери скамейку и, помолчав немного, словно додумывая какую-то мысль, слегка покровительственным тоном сказал:

– Здравствуйте, мэтр Жак!

– Мое почтение, мэтр! – ответил человек в черном.

В тоне, которым было произнесено это «мэтр Жак» одним из них и «мэтр» – другим, приметна была та разница, какая слышна, когда произносят слова «сударь» и «господин», domne и domine. Не оставалось сомнении, это была встреча ученого с учеником.

– Ну как? – спросил архидьякон после некоторого молчания, которое мэтр Жак боялся нарушить. – Вы надеетесь на успех?

– Увы, мэтр! – печально улыбаясь, ответил гость. – Я все еще продолжаю раздувать огонь. Пепла – хоть отбавляй, но золота – ни крупинки!

Клод сделал нетерпеливое движение.

– Я не об этом вас спрашиваю, мэтр Жак Шармолю, а о процессе вашего колдуна. По вашим словам, это Марк Сенен казначей Высшей счетной палаты. Сознается он в колдовстве? Привела ли к чему-нибудь пытка?

– Увы, нет! – ответил мэтр Жак, все так же грустно улыбаясь. – Мы лишены этого утешения. Этот человек – кремень. Его нужно сварить живьем на Свином рынке, прежде чем он что-нибудь скажет, и, однако, мы ничем не пренебрегаем, чтобы добиться правды. У него уже вывихнуты все суставы. Мы пускаем в ход всевозможные средства, как говорит старый забавник Плавт:

Aduorsum, slimulos, laminas – crucesque, compedesque,

Nervos, catenas, carceres, numellas, pedicas, boias.[110]

Ничего не помогает. Это ужасный человек. Я понапрасну бьюсь над ним.

– Ничего нового не нашли в его доме?

– Как же, нашли! – ответил мэтр Жак, роясь в своем кошеле. – Вот этот пергамент. Тут есть слова, которых мы не понимаем. А между тем господин прокурор уголовного суда Филипп Лелье немного знает древнееврейский язык, которому он научился во время процесса евреев с улицы Кантерсен в Брюсселе.

Продолжая говорить, мэтр Жак развертывал свиток.

– Дайте-ка, – проговорил архидьякон и, взглянув на пергамент, воскликнул: – Чистейшее чернокнижие, мэтр Жак! «Эмен-хетан»! Это крик оборотней, прилетающих на шабаш. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso[111] это заклинание, ввергающее дьявола с шабаша обратно в ад. Нах, рах, max[112] относится к врачеванию: это заговор против укуса бешеной собаки. Мэтр Жак! Вы – королевский прокурор церковного суда! Эта рукопись чудовищна!

– Мы вновь подвергнем пытке этого человека. Вот что еще мы нашли у Марка Сенена, – сказал мэтр Жак, роясь в своей сумке.

Это оказался сосуд, сходный с теми, которые загромождали очаг отца Клода.

– А, это алхимический тигель! – заметил архидьякон.

– Сознаюсь, – робко и принужденно улыбаясь, сказал мэтр Жак, – я испробовал его на очаге, но получилось не лучше, чем с моим.

Архидьякон принялся рассматривать сосуд.

– Что это он нацарапал на своем тигле? Och! Och! – слово, отгоняющее блох? Этот Марк Сенен – невежда! Ясно, что в этом тигле вам никогда не добыть золота! Он годится лишь на то, чтобы ставить его летом в вашей спальне.

– Если уж мы заговорили об ошибках, – сказал королевский прокурор, то вот что. Прежде чем подняться к вам, я рассматривал внизу портал; вполне ли вы уверены, ваше высокопреподобие, в том, что со стороны Отель-Дье изображено начало работ по физике и что среди семи нагих фигур, находящихся у ног божьей матери, фигура с крылышками на… пятках изображает Меркурия?

– Да, – ответил священник, – так пишет Августин Нифо, итальянский ученый, которому покровительствовал обучивший его бородатый демон. Впрочем, сейчас мы спустимся вниз, и я вам все это разъясню на месте.

– Благодарю вас, мэтр, – кланяясь до земли, ответил Шармолю. – Кстати, я чуть было не запамятовал! Когда вам будет угодно, чтобы я распорядился арестовать маленькую колдунью?

– Какую колдунью?

– Да хорошо вам известную цыганку, которая, несмотря на запрещение духовного суда, приходит всякий день плясать на Соборную площадь! У нее есть еще какая-то одержимая дьяволом коза с бесовскими рожками, которая читает, пишет, знает математику не хуже Пикатрикса. Из-за нее одной следовало бы перевешать все цыганское племя. Обвинение составлено. Суд не затянется, не сомневайтесь! А хорошенькое создание эта плясунья, ей-богу! Какие великолепные черные глаза, точно два египетских карбункула! Так когда же мы начнем?

Архидьякон был страшно бледен.

– Я вам тогда скажу, – еле слышно пробормотал он. Затем с усилием прибавил: – Пока займитесь Марком Сененом.

– Будьте спокойны, – улыбаясь, ответил Шармолю. – Вернувшись домой, я снова заставлю привязать его к кожаной скамье. Но только это дьявол, а не человек. Он доводит до изнеможения даже самого Пьера Тортерю, у которого ручищи посильнее моих. Как говорит этот добряк Плавт:

Nudus vinctus, centum pondo. es quando pendes per pedes.[113] Допросим его на дыбе, это лучшее, что у нас есть! Он попробует и этого.

Отец Клод был погружен в мрачное раздумье. Он обернулся к Шармолю:

– Мэтр Пьера… то есть мэтр Жак! Займитесь Марком Сененом.

– Да, да, отец Клод. Несчастный человек! Ему придется страдать, как Муммолю. Но что за дикая мысль отправиться на шабаш! Ему, казначею Высшей счетной палаты, следовало бы знать закон Карла Великого: Stryga vel masca![114] Что же касается малютки Смеральды, как они ее называют, то я буду ожидать ваших распоряжений. Ах да! Когда мы будем проходить под порталом, объясните мне, пожалуйста, что означает садовник на фреске у самого входа в церковь. Это, должно быть, сеятель? Мэтр! Над чем вы задумались?

Отец Клод, поглощенный своими мыслями, не слушал его. Шармолю проследил за направлением его взгляда и увидел, что глаза священника были устремлены на паутину, затягивающую слуховое окно. В этот момент легкомысленная муха, стремясь к мартовскому солнцу, ринулась сквозь эту сеть к стеклу и увязла в ней. Почувствовав сотрясение паутины, громадный паук, сидевший в самом ее центре, подскочил к мухе, перегнул ее пополам своими передними лапками, в то время как его отвратительный хоботок ощупывал ее головку.

– Бедная мушка! – сказал королевский прокурор церковного суда и потянулся, чтобы спасти муху. Архидьякон, как бы внезапно пробужденный, судорожным движением удержал его руку.

– Мэтр Жак! – воскликнул он. – Не идите наперекор судьбе!

Прокурор испуганно обернулся. Ему почудилось, будто сверкающий взгляд архидьякона был прикован к маленьким существам – мухе и пауку, между которыми разыгрывалась отвратительная сцена.

– О да! – продолжал священник голосом, который, казалось, исходил из самых недр его существа. – Вот символ всего! Она летает, она ликует, она только что родилась; она жаждет весны, вольного воздуха, свободы! О да! Но стоит ей столкнуться с роковой розеткой, и оттуда вылезает паук, отвратительный паук! Бедная плясунья! Бедная обреченная мушка! Не мешайте, мэтр Жак, это судьба! Увы, Клод, и ты паук! Но в то же время ты и муха! Клод! Ты летел навстречу науке, свету, солнцу, ты стремился только к простору, к яркому свету вечной истины; но, бросившись к сверкающему оконцу, выходящему в иной, мир, в мир света, разума и науки, ты, слепая мушка, безумный ученый, ты не заметил тонкой паутины, протянутой роком между светом и тобой, ты бросился в нее стремглав, несчастный глупец! И вот ныне, с проломленной головой и оторванными крыльями, ты бьешься в железных лапах судьбы! Мэтр Жак! Мэтр Жак! Не мешайте пауку!

– Уверяю вас, что я не трону его, – ответил прокурор, глядя на него с недоумением. – Но, ради бога, отпустите мою руку, мэтр! У вас не рука, а тиски.

Но архидьякон не слушал его.

– О, безумец! – продолжал он, неотрывно глядя на оконце. – Если бы тебе даже и удалось прорвать эту опасную паутину своими мушиными крылышками, то неужели же ты воображаешь, что выберешься к свету! Увы! Как преодолеть тебе потом это стекло, эту прозрачную преграду, эту хрустальную стену, несокрушимую, как адамант, отделяющую философов от истины? О тщета науки! Сколько мудрецов, стремясь к ней издалека, разбиваются о нее насмерть! Сколько научных систем сталкиваются и жужжат у этого вечного стекла!

Он умолк. Казалось, эти рассуждения незаметно отвлекли его мысли от себя самого, обратив их к науке, и это подействовало на него успокоительно. Жак Шармолю окончательно вернул его к действительности.

– Итак, мэтр, – спросил он, – когда же вы придете помочь мне добыть золото? Мне не терпится достигнуть успеха.

Горько усмехнувшись, архидьякон покачал головой.

– Мэтр Жак! Прочтите Михаила Пселла Dialog us de energia et operatione daemonum[115]. То, чем мы занимаемся, не так-то уж невинно.

– Тес, мэтр, я догадываюсь! – сказал Шармолю. – Но что делать! Приходится немного заниматься и герметикой, когда ты всего лишь королевский прокурор церковного суда и получаешь жалованья тридцать турских экю в год. Однако давайте говорить тише.

В эту минуту из-под очага послышался звук, какой издают жующие челюсти; настороженный слух Шармолю был поражен.

– Что это? – спросил он.

Это школяр, изнывая от скуки и усталости в своем тайничке, вдруг обнаружил черствую корочку хлеба с огрызком заплесневелого сыра и, не стесняясь, занялся ими, найдя себе в этом и пищу и утешение. Так как он был очень голоден, то с аппетитом, грызя сухарь, он громко причмокивал, чем и вызвал тревогу прокурора.

– Это, должно быть, мой кот лакомится мышью, – поспешил ответить архидьякон.

Это объяснение удовлетворило Шармолю.

– Правда, мэтр, – ответил он, почтительно улыбаясь, – у всех великих философов были свои домашние животные. Вы помните, что говорил Сервиус: Nullus enim locus sine genio est.[116]

Однако Клод, опасаясь какой-нибудь новой выходки Жеана, напомнил своему почтенному ученику, что им еще предстоит вместе исследовать несколько изображений на портале, и они вышли из кельи, к великой радости школяра, который начал уже серьезно опасаться, как бы на его коленях не остался навеки отпечаток его подбородка.

VI. Последствия, к которым могут привести семь прозвучавших на вольном воздухе проклятий

– Te Deum laudamus![117] – воскликнул Жеан, вылезая из своей дыры. Наконец-то оба филина убрались! Ох! Ох! Гаке! Пакс! Макс! Блохи! Бешеные собаки! Дьявол! Я сыт по горло этой болтовней! В голове трезвон, точно на колокольне. Да еще этот затхлый сыр в придачу! Поскорее вниз! Мошну старшего братца захватим с собой и обратим все эти монетки в бутылки!

Он с нежностью и восхищением заглянул в драгоценный кошелек, оправил на себе одежду, обтер башмаки, смахнул пыль со своих серых от золы рукавов, засвистал какую-то песенку, подпрыгнул, повернувшись на одной ноге, обследовал, нет ли еще чего-нибудь в келье, чем можно было бы поживиться, подобрал несколько валявшихся на очаге стеклянных амулетов, годных на то, чтобы подарить их вместо украшений Изабо-ла-Тьери, и, наконец, толкнув дверь, которую брат его оставил незапертой – последняя его поблажка – и которую

Жеан тоже оставил открытой – последняя его проказа, – он, подпрыгивая, словно птичка, спустился по винтовой лестнице.

В потемках он толкнул кого-то, тот ворча посторонился: школяр решил, что налетел на Квазимодо, и эта мысль показалась ему столь забавной, что до самого конца лестницы он бежал, держась за бока от смеха. Выскочив на площадь, он все еще продолжал хохотать.

Очутившись на площади, он топнул ногой.

– О добрая и почтенная парижская мостовая! – воскликнул он. – Проклятые ступеньки! На них запыхались бы даже ангелы, восходившие по лестнице Иакова! Чего ради я полез в этот каменный бурав, который дырявит небо? Чтобы отведать заплесневелого сыра да полюбоваться из слухового окна колокольнями Парижа?

Пройдя несколько шагов, он заметил обоих филинов, то есть Клода и мэтра Жака Шармолю, созерцавших какое-то изваяние портала. Он на цыпочках приблизился к ним и услышал, как архидьякон тихо говорил Шармолю:

– Этот Иов на камне цвета ляпис-лазури с золотыми краями был вырезан по приказанию епископа Гильома Парижского. Иов знаменует собою философский камень. Чтобы стать совершенным, он должен тоже подвергнуться испытанию и мукам. Sub conservatione formae specificae salva anima[118], говорит Раймон Люллий.

– Ну, меня это не касается, – пробормотал Жеан, – кошелек-то ведь у меня.

В эту минуту он услышал, как чей-то громкий и звучный голос позади него разразился ужасающими проклятиями.

– Чертово семя! К чертовой матери! Черт побери! Провалиться ко всем чертям! Пуп Вельзевула! Клянусь папой! Гром и молния!

– Клянусь душой, – воскликнул Жеан, – так ругаться может только мой друг, капитан Феб!

Имя Феб долетело до слуха архидьякона в ту самую минуту, когда он объяснял королевскому прокурору значение дракона, опустившего свой хвост в чан, из которого выходит в облаке дыма голова короля. Клод вздрогнул, прервал, к великому изумлению Шармолю, свои объяснения, обернулся и увидел своего брата Жеана, подходившего к высокому офицеру, стоявшему у дверей дома Гонделорье.

В самом деле, это был капитан Феб де Шатопер. Он стоял, прислонившись к углу дома своей невесты, и отчаянно ругался.

– Ну и мастер же вы ругаться, капитан Феб! – сказал Жеан, касаясь его руки.

– Поди к черту! – ответил капитан.

– Сам поди туда же! – возразил школяр. – Скажите, однако, любезный капитан, что это вас прорвало таким красноречием?

– Простите, дружище Жеан, – ответил Феб, пожимая ему руку. – Ведь вы знаете, что если лошадь пустилась вскачь, то сразу не остановится. А я ведь ругался галопом. Я только что удрал от этих жеманниц. Каждый раз, когда я выхожу от них, у меня полон рот проклятий. Мне необходимо их изрыгнуть, иначе я задохнусь! Разрази меня гром!

– Не хотите ли выпить? – спросил школяр.

Это предложение успокоило капитана.

– Я не прочь, но у меня ни гроша.

– А у меня есть!

– Ба! Неужели?

Жеан величественным и вместе с тем простодушным жестом раскрыл перед капитаном кошелек. Тем временем архидьякон, покинув остолбеневшего Шармолю, приблизился к ним и остановился в нескольких шагах, наблюдая за ними. Молодые люди не обратили на это никакого внимания, настолько они были поглощены созерцанием кошелька.

– Жеан! – воскликнул Феб. – Кошелек в вашем кармане – это все равно, что луна в ведре с водою. Ее видно, но ее там нет. Только отражение! Черт возьми! Держу пари, что там камешки!

Жеан ответил холодно:

– Вот они, камешки, которыми я набиваю свой карман.

Не прибавив больше ни слова, он с видом римлянина, спасающего отечество, высыпал содержимое кошелька на ближайшую тумбу.

– Господи! – пробормотал Феб. – Щитки, большие беляки, малые беляки, два турских грошика, парижские денье, лиарды, настоящие, с орлом! Невероятно!

Жеан продолжал держаться невозмутимо и с достоинством. Несколько лиардов покатилось в грязь; капитан бросился было их поднимать, но Жеан удержал его:

– Фи, капитан Феб де Шатопер!

Феб сосчитал деньги и, с торжественным видом повернувшись к Жеану, произнес:

– А знаете ли вы, Жеан, что здесь двадцать три парижских су? Кого это вы ограбили нынче ночью на улице Перерезанных глоток?

Жеан откинул назад кудрявую белокурую голову и, высокомерно прищурив глаза, ответил:

– На то у нас имеется брат – полоумный архидьякон.

– Черт возьми! – воскликнул Феб. – Какой достойный человек!

– Идем выпьем, – предложил Жеан.

– Куда же мы пойдем? – спросил Феб. – В «Яблоко Евы»?

– Не стоит, капитан, пойдем лучше в кабачок «Старая наука».

– Вино лучше в кабачке «Яблоко Евы». А кроме того, там возле двери вьется на солнце виноградная лоза. Это меня развлекает, когда я пью.

– Ладно, пусть будет Ева с яблоком! – согласился школяр и, взяв под руку капитана, сказал: – Кстати, дражайший капитан, вы только что упомянули об улице Перерезанных глоток. Так не говорят. Мы уже не варвары. Надо говорить: улица Перерезанного горла.

Приятели направились к «Яблоку Евы». Излишне упоминать о том, что предварительно они подобрали упавшие в грязь деньги и что вслед за ними пошел и архидьякон.

Он следовал за ними, мрачный и растерянный. Был ли этот Феб тем самым Фебом, чье проклятое имя после встречи с Гренгуаром вплеталось во все его мысли, – этого он не знал, но все же это был какой-то Феб, и этого магического имени достаточно было, чтобы архидьякон, крадучись, словно волк, шел следом за беззаботными друзьями, с напряженным вниманием прислушиваясь к их болтовне и следя за каждым их движением. Впрочем, ничего не было легче, как подслушать их беседу: они говорили во весь голос, не очень смущаясь тем, что приобщали прохожих к своим тайнам. Они болтали о дуэлях, девках, попойках, сумасбродствах.

На углу одной из улиц с перекрестка донесся звук бубна. Клод услышал, как офицер сказал школяру:

– Гром и молния! Поспешим!

– Почему?

– Боюсь, как бы меня не заметила цыганка.

– Какая цыганка?

– Да та – малютка с козочкой.

– Эсмеральда?

– Она самая. Я все позабываю ее чертово имя Поспешим, а то она меня узнает. Мне не хочется, чтоб девчонка заговорила со мной на улице.

– А разве вы с ней знакомы, Феб?

Тут архидьякон увидел, как Феб ухмыльнулся и, наклонившись к уху школяра, что-то прошептал ему Затем он разразился хохотом и с победоносным видом тряхнул головой.

– Неужели? – спросил Жеан.

– Клянусь душой! – отвечал Феб.

– Нынче вечером?

– Да, нынче вечером.

– И вы уверены, что она придет?

– Да вы с ума сошли, Жеан! Разве можно в этом сомневаться!

– Ну и счастливчик же вы, капитан Феб!

Архидьякон слышал весь этот разговор Зубы у него застучали, по всему телу пробежала дрожь На секунду он остановился, прислонившись, словно пьяный, к тумбе, а потом опять пошел следом за веселыми гуляками.

Но когда он нагнал их, они уже во все горло распевали старинную песенку.

В деревушке Каро всех ребят

Обманули как глупых телят.

VII. Монах-привидение

Знаменитый кабачок «Яблоко Евы» находился в Университетском квартале на углу улицы Круглого щита и улицы Жезлоносца. Он занимал в первом этаже дома довольно обширную и низкую залу, свод которой опирался посредине на толстый, выкрашенный в желтую краску деревянный столб Повсюду столы, на стенах начищенные оловянные кувшины, множество гуляк, уличных женщин, окно на улицу, виноградная лоза у двери, а над дверью ярко размалеванный железный лист с изображением женщины и яблока, проржавевший от дождя и повертывавшийся на железном стержне при каждом порыве ветра Это подобие флюгера, обращенного к мостовой, служило вывеской.

Вечерело Перекресток был окутан мраком Издали казалось, что кабачок, озаренный множеством свечей, пылает, точно кузница во тьме Сквозь разбитые стекла доносился звон стаканов, шум кутежа, божба, перебранка В запотелом от жары большом окне мелькали фигуры, время от времени из залы долетали громовые раскаты смеха Прохожие, спешившие по своим делам, старались проскользнуть мимо шумного окна, не заглядывая в него. Лишь изредка какой-нибудь мальчишка в лохмотьях, поднявшись на цыпочки и уцепившись за подоконник, бросал в залу старинный насмешливый стишок, которым в те времена дразнили пьяниц:

Того, кто пьян, того, кто пьян, – того в бурьян!

Все же какой-то человек прохаживался взад и вперед мимо шумной таверны, не спуская с нее глаз и отходя от нее не дальше, чем часовой от своей будки. На нем был плащ, поднятый воротник которого скрывал нижнюю часть его лица. Он только что купил этот плащ у старьевщика по соседству с «Яблоком Евы», вероятно для того, чтобы защитить себя от свежести мартовских вечеров, а быть может – чтобы скрыть свою одежду. Время от времени он останавливался перед тусклым окном со свинцовым решетчатым переплетом, прислушивался, всматривался, топал ногой.

Наконец дверь кабачка распахнулась. Казалось, он только этого и ждал. Вышли двое гуляк. Сноп света, вырвавшийся из двери, на мгновение озарил их веселые лица. Человек в плаще перешел на другую сторону улицы и, укрывшись в глубокой дверной арке, продолжал свои наблюдения.

– Гром и молния! – воскликнул один из бражников. – Сейчас пробьет семь часов! А ведь мне пора на свидание.

– Уверяю вас, – пробормотал заплетающимся языком его собутыльник, – я не живу на улице Сквернословия. Indignus qui inter mala verba habitat.[119] Жилье мое на улице Жеан-Мягкий-Хлеб, in vico Johannis-Pain-Mollet. Вы более рогаты, чем единорог, если утверждаете противное! Всем известно: кто однажды оседлал медведя, тот ничего не боится! А вы, я вижу, охотник полакомиться, не хуже святого Жака Странноприимца.

– Жеан, друг мой, вы пьяны, – заметил второй.

Но тот, пошатываясь, продолжал:

– Говорите, что хотите, Феб, но давно доказано, что у Платона был профиль охотничьей собаки.

Читатель, наверное, уже узнал наших достойных приятелей, капитана и школяра. По-видимому, человек, стороживший их, хоронясь в тени, также узнал их, ибо он медленным шагом пошел за ними, повторяя все зигзаги, которые школяр заставлял описывать капитана, более закаленного в попойках и потому твердо державшегося на ногах. Внимательно прислушиваясь к их разговору, человек в плаще не пропустил ни слова из их интересной беседы.

– Клянусь Вакхом! Старайтесь идти прямо, господин бакалавр. Ведь вам известно, что я должен вас покинуть. Уже семь часов. У меня свидание с женщиной.

– Отстаньте вы от меня! Я вижу звезды и огненные копья. А вы очень похожи на замок Дампмартен, который лопается от смеха.

– Клянусь бородавками моей бабушки! Нельзя же плести такую чушь! Кстати, Жеан, у вас еще остались деньги?

– Господин ректор, здесь нет никакой ошибки: parva boucheria означает «маленькая мясная лавка».

– Жеан, друг мой Жеан! Вы же знаете, что я назначил свидание малютке за мостом святого Михаила, знаете, что я могу ее отвести только к шлюхе Фалурдель, живущей на мосту. А ведь ей надо платить за комнату. Старая карга с белыми усами не поверит мне в долг. Жеан, умоляю вас, неужели мы пропили все поповские деньги? Неужели у вас не осталось ни одного су?

– Сознание, что мы с пользой для себя провели время, – это лакомая приправа к столу.

– Вот ненасытная утроба! Бросьте вы наконец ваши бредни! Скажите мне, чертова кукла: остались у вас деньги? Давайте их сюда, или, ей-богу, я обыщу вас, будь вы покрыты проказой, как Иов, или паршой, как Цезарь!

– Сударь! Улица Галиаш одним концом упирается в Стекольную улицу, а другим – в Ткацкую.

– Ну да, голубчик Жеан, мой бедный товарищ, улица Галиаш, это верно, совершенно верно! Но, во имя неба, придите же в себя! Мне нужно всего-навсего одно парижское су к семи часам вечера.

– Заткните глотку и слушайте припев:

Если коты будут в брюхе крысином,

Станет в Аррасе король властелином,

Если безбурное море нежданно

Будет заковано льдом в день Иванов,

Люди узрят, как по гладкому льду,

Бросив свой город, аррасцы пойдут.

– Ах ты, чертов школяр, чтоб тебе повеситься на кишках твоей матери! – воскликнул Феб и грубо толкнул пьяного школяра, и тот, скользнув вдоль стены, шлепнулся на мостовую

Филиппа-Августа. Движимый остатком чувства братского сострадания, никогда не покидающего пьяниц, Феб ногой подкатил Жеана к одной из тех «подушек бедняков», которые провидение всегда держит наготове возле всех тумб Парижа и которые богачи презрительно клеймят названием «мусорной кучи». Капитан положил голову Жеана на груду капустных кочерыжек, и школяр тотчас же захрапел великолепным басом. Однако досада еще не угасла в сердце капитана.

– Ну и пусть тебя подберет чертова тележка! – сказал он бедному, крепко спавшему школяру и удалился.

Не отстававший от него человек в плаще приостановился перед храпевшим школяром словно в нерешительности, но затем, тяжело вздохнув, последовал за капитаном.

По их примеру и мы, читатель, предоставим Жеану мирно спать под благосклонным покровом звездного неба и, если вы ничего не имеете против, отправимся вслед за капитаном и человеком в плаще.

Выйдя на улицу Сент-Андре-Дезар, капитан Феб заметил, что кто-то его выслеживает. Внезапно обернувшись, он увидел тень, кравшуюся вдоль стен. Он приостановился, приостановилась и тень, он двинулся вперед, двинулась и тень. Но это его не очень встревожило. «Не беда! – подумал он. – Ведь у меня все равно нет ни одного су!»

Он остановился перед фасадом Отенского коллежа. Именно в этом коллеже он получил начатки того, что сам называл образованием. По укоренившейся школьной привычке он не мог пройти мимо этого здания без того, чтобы не заставить статую кардинала Пьера Бертрана, стоявшую справа у входа, претерпеть тот род оскорблений, на которые так горько жалуется Приап в одной из сатир Горация: Olim truncus eram ficulnus[120]. Благодаря стараниям капитана надпись Eduenisis episcopus[121] почти смылась. Итак, он, по обыкновению, остановился. Улица была пустынна. Глядя по сторонам и небрежно завязывая свои тесемки, капитан вдруг заметил, что тень стала медленно к нему приближаться, – так медленно, что он успел разглядеть на ней плащ и шляпу. Подойдя ближе, тень замерла; она казалась более неподвижной, чем изваяние кардинала Бертрана. Ее глаза, устремленные на Феба, горели тем неопределенным светом, который по ночам излучают кошачьи зрачки.

Капитан не был трусом, и его не очень испугал бы грабитель с клинком в руке. Но эта ходячая статуя, этот окаменелый человек леденил ему кровь. Ему смутно припомнились ходившие в то время россказни о каком-то привидении-монахе, бродившем ночами по улицам Парижа. Некоторое время он простоял в оцепенении; наконец, силясь усмехнуться, проговорил:

– Сударь! Если вы вор, как мне кажется, то вы представляетесь мне цаплей, нацелившейся на ореховую скорлупу. Я, мой милый, сын разорившихся родителей. Обратитесь лучше по соседству. В часовне этого коледжа среди церковной утвари хранится кусок дерева от животворящего креста.

Из-под плаща высунулась рука призрака и сжала руку Феба с неодолимой силой орлиных когтей. Тень заговорила:

– Вы капитан Феб де Шатопер?

– О черт! – воскликнул Феб. – Вам известно мое имя?

– Мне известно не только ваше имя, – ответил замогильным голосом человек в плаще, – я знаю, что нынче вечером у вас назначено свидание.

– Да, – подтвердил удивленный Феб.

– В семь часов.

– Да, через четверть часа.

– У Фалурдель.

– Совершенно верно.

– У потаскухи с моста Сен-Мишель.

– У Михаила Архангела, как говорится в молитвах.

– Нечестивец! – пробурчал призрак. – Свидание с женщиной?

– Confiteor.[122]

– Ее зовут…

– Смеральдой, – развязно ответил Феб. Мало-помалу к нему возвращалась его всегдашняя беспечность.

При этом имени призрак яростно стиснул руку Феба.

– Капитан Феб де Шатопер, ты лжешь!

Тот, кто в эту минуту увидел бы вспыхнувшее лицо капитана, его стремительный прыжок назад, освободивший его из тисков, в которые он попался, тот надменный вид, с каким он схватился за эфес своей шпаги, кто увидел бы противостоявшую этой ярости мертвенную неподвижность человека в плаще, тот содрогнулся бы от ужаса. Это напоминало поединок Дон Жуана со статуей командора.

– Клянусь Христом и сатаной! – крикнул капитан. – Такие слова не часто приходится слышать Шатоперам! Ты не осмелишься их повторить!

– Ты лжешь! – спокойно повторила тень.

Капитан заскрежетал зубами. Монах-привидение, суеверный страх перед ним – все было забыто в этот миг! Он видел лишь человека, слышал лишь оскорбление.

– Ах вот как! Отлично! – задыхаясь от бешенства, пробормотал он. Выхватив шпагу из ножен, он, заикаясь, ибо гнев, подобно страху, бросает человека в дрожь, крикнул: – Здесь! Немедля! Живей! Ну! На шпагах! На шпагах! Кровь на мостовую!

Но призрак стоял неподвижно. Когда он увидел, что противник стал в позицию и готов сделать выпад, он сказал:

– Капитан Феб! – Голос его дрогнул от душевной боли. – Вы забываете о вашем свидании.

Гнев людей, подобных Фебу, напоминает молочный суп: одной капли холодной воды достаточно, чтобы прекратить его кипение. Эти простые слова заставили капитана опустить сверкавшую в его руке шпагу.

– Капитан! – продолжал незнакомец. – Завтра, послезавтра, через месяц, через десять лет – я всегда готов перерезать вам горло; но сегодня идите на свидание!

– В самом деле, – сказал Феб, словно пытаясь убедить себя, – приятно встретить в час свидания и женщину и шпагу, они стоят друг друга. Но почему я должен упустить одно из этих удовольствий, когда могу получить оба?

Он вложил шпагу в ножны.

– Спешите же на свидание! – повторил незнакомец.

– Сударь! – ответил, слегка смутившись, Феб. – Благодарю вас за любезность. Это верно, ведь мы и завтра успеем с вами наделать прорех и петель в костюме прародителя Адама. Я вам глубоко признателен за то, что вы дозволили мне провести приятно еще несколько часов моей жизни. Правда, я надеялся успеть уложить вас в канаву и попасть вовремя к прелестнице, тем более, что заставить женщину немножко подождать – это признак хорошего тона. Но вы произвели на меня впечатление смельчака, и потому правильнее будет отложить наше дело до завтра. Итак, я отправляюсь на свидание. Как вам известно, оно назначено на семь часов. – Феб почесал за ухом. – А, черт! Я совсем забыл! Ведь у меня нет денег, чтобы расплатиться за нищенский чердак, а старая сводня потребует вперед. Она мне не поверит в долг.

– Уплатите вот этим.

Феб почувствовал, как холодная рука незнакомца сунула ему в руку крупную монету. Он не мог удержаться от того, чтобы не взять деньги и не пожать руку, которая их дала.

– Ей-богу, вы славный малый! – воскликнул он.

– Только с одним условием, – проговорил человек. – Докажите мне, что я ошибался и что вы сказали правду. Спрячьте меня в каком-нибудь укромном уголке, откуда я мог бы увидеть, действительно ли это та самая женщина, чье имя вы назвали.

– Пожалуйста! – воскликнул Феб. – Мне это совершенно безразлично! Я займу каморку святой Марты. Из соседней собачьей конуры вы будете отлично все видеть.

– Идемте же, – проговорил призрак.

– К вашим услугам, – ответил капитан. – Может быть, вы сам дьявол, но на сегодняшний вечер мы друзья. Завтра я уплачу все: и долг моего кошелька и долг моей шпаги.

Они быстро зашагали вперед. Через несколько минут шум реки возвестил им о том, что они вступили на мост Сен-Мишель, застроенный в те времена домами.

– Я провожу вас, – сказал Феб своему спутнику, – а потом уже пойду за моей красоткой, которая должна ждать меня возле Пти-Шатле.

Спутник промолчал. За все время, что они шли бок о бок, он не вымолвил ни слова. Феб остановился перед низенькой дверью и громко постучал. Сквозь дверные щели мелькнул свет.

– Кто там? – крикнул шамкающий голос.

– Клянусь телом господним! Головой господней! Чревом господним! – заорал капитан.

Дверь сразу распахнулась, и перед глазами обоих мужчин предстали старая женщина и старая лампа – обе одинаково дрожащие. Это была одетая в лохмотья сгорбленная старушонка с маленькими глазками и трясущейся головой, обмотанной какой-то тряпицей; ее руки, лицо и шея были изборождены морщинами; губы ввалились, рот окаймляли пучки седых волос, придававшие ее лицу сходство с кошачьей мордой.

Внутренность конуры была не лучше старухи. Беленные мелом стены, закопченные потолочные балки, развалившийся очаг, во всех углах паутина; посреди комнаты – скопище расшатанных столов и хромых скамей; грязный ребенок, копошившийся в золе очага; в глубине – лестница, или, точнее, деревянная лесенка, приставленная к люку в потолке.

Войдя в этот вертеп, таинственный спутник Феба прикрыл лицо плащом до самых глаз. Между тем капитан, сквернословя, словно сарацин, «заставил экю поиграть на солнышке», как говорит наш несравненный Ренье.

– Комнату святой Марты! – приказал он.

Старуха, величая его монсеньером, схватила экю и запрятала в ящик стола. Это была та самая монета, которую дал Фебу человек в черном плаще. Когда старуха отвернулась, всклокоченный и оборванный мальчишка, копавшийся в золе, ловко подобрался к ящику, вытащил из него экю, а на его место положил сухой лист, оторванный им от веника.

Старуха жестом пригласила обоих кавалеров, как она их называла, последовать за нею и первая стала взбираться по лесенке. Поднявшись на верхний этаж, она поставила лампу на сундук. Феб уверенно, как завсегдатай этого дома, толкнул дверку, ведущую в темный чулан.

– Войдите, любезнейший, – сказал он своему спутнику.

Человек в плаще молча повиновался. Дверка захлопнулась за ним; он услышал, как Феб запер ее на задвижку и начал спускаться со старухой по лестнице. Стало совсем темно.

VIII. Как удобно, когда окна выходят на реку

Клод Фролло (мы предполагаем, что читатель, более догадливый, чем Феб, давно уже узнал в этом привидении архидьякона), итак, Клод Фролло несколько мгновений ощупью пробирался по темной каморке, где его запер капитан. То был один из закоулков, которые оставляют иногда архитекторы в месте соединения крыши с капитальной стеной. В вертикальном разрезе эта собачья конура, как ее удачно окрестил Феб, представляла собой треугольник. В ней не было окон и даже слухового оконца, а скат крыши мешал выпрямиться

во весь рост. Клод присел на корточки среди пыли и мусора, хрустевшего у него под ногами. Голова ей – горела. Пошарив вокруг себя руками, он наткнулся на осколок стекла, валявшийся на земле, и приложил его ко лбу; холодок, исходивший от стекла, несколько освежил его.

Что происходило в эту минуту в темной душе архидьякона? То ведомо было богу да ему самому.

В каком роковом порядке располагались в его воображении Эсмеральда, Феб, Жак Шармолю, его любимый брат, брошенный им среди уличной грязи, его архидьяконская сутана, быть может, и его доброе имя, которым он пренебрег, идя к какой-то Фалурдель, и вообще все картины и события этого дня? Этого я сказать не могу. Но не сомневаюсь, что все эти образы сложились в его мозгу в некое чудовищное сочетание.

Он прождал четверть часа; ему казалось, что он состарился на сто лет. Вдруг он услышал, как заскрипели ступеньки деревянной лесенки; кто-то поднимался наверх. Дверца люка приоткрылась; оттуда проник свет. В источенной червями двери его боковуши была довольно широкая щель; он приник к ней лицом. Таким образом ему было видно все, что происходило в соседней комнате. Старуха с кошачьей мордой вошла первой, держа в руках фонарь; за ней следовал, покручивая усы, Феб, и наконец появилась прелестная, изящная фигурка Эсмеральды. Словно ослепительное видение, возникла она перед глазами священника. Клод затрепетал, глаза его заволокло туманом, кровь закипела, все вокруг него загудело и закружилось. Он больше ничего не видел и не слышал.

Когда он пришел в себя, Феб и Эсмеральда были уже одни; они сидели рядом на деревянном сундуке возле лампы, выхватывавшей из мрака их юные лица и убогую постель в глубине чердака.

Около постели находилось окно, в разбитые стекла которого, как сквозь прорванную дождем паутину, виднелся клочок неба и вдали луна, покоившаяся на мягком ложе пушистых облаков.

Девушка сидела зардевшаяся, смущенная, трепещущая. Ее длинные опущенные ресницы бросали тень на пылающие щеки. Офицер, на которого она не осмеливалась взглянуть, так и сиял. Машинально, очаровательно-неловким движением она чертила по сундуку кончиком пальца беспорядочные линии и глядела на свой пальчик. Ног ее не было видно, к ним приникла маленькая козочка.

Капитан выглядел щеголем. Ворот и рукава его рубашки были богато отделаны кружевом, видневшимся из-под мундира, что считалось в то время верхом изящества.

Клод с трудом мог разобрать, о чем они говорили, так сильно стучало у него в висках.

(Болтовня влюбленных – вещь довольно банальная. Это – вечное «я люблю вас». Для равнодушного слушателя она звучит бедной, совершенно бесцветной музыкальной фразой, если только не украшена какиминибудь фиоритурами. Но Клод был отнюдь не равнодушным слушателем.)

– О, не презирайте меня, монсеньер Феб! – не поднимая глаз, говорила девушка. – Я чувствую, что поступаю очень дурно.

– Презирать вас, прелестное дитя! – отвечал капитан со снисходительной и учтивой галантностью. – Вас презирать? Черт возьми, но за что же?

– За то, что я пришла сюда.

– На этот счет, моя красавица, я держусь другого мнения. Мне нужно не презирать вас, а ненавидеть.

Девушка испуганно взглянула на него.

– Ненавидеть? Что же я сделала?

– Вы слишком долго заставили себя упрашивать.

– Ах, это потому, что я боялась нарушить обет! – ответила она. – Мне теперь не найти моих родителей, талисман потеряет свою силу. Но что мне до того? Зачем мне теперь мать и отец?

И она подняла на капитана свои большие черные глаза, увлажненные радостью и нежностью.

– Черт меня побери, я ничего не понимаю! – воскликнул капитан.

Некоторое время Эсмеральда молчала, потом слеза скатилась с ее ресниц, с уст ее слетел вздох, и она промолвила:

– О монсеньер, я люблю вас!

Девушку овевало благоухание такой невинности, обаяние такого целомудрия, что Феб чувствовал себя неловко в ее присутствии. Эти слова придали ему отваги.

– Вы любите меня! – восторженно воскликнул он и обнял цыганку за талию. Он только этого и ждал.

Священник нащупал концом пальца острие кинжала, спрятанного у него на груди.

– Феб! – продолжала цыганка, мягким движением отводя от себя цепкие руки капитана. – Вы добры, вы великодушны, вы прекрасны. Вы меня спасли, – меня, бедную, безвестную цыганку. Уже давно мечтаю я об офицере, который спас бы мне жизнь. Это о вас мечтала я, еще не зная вас, мой Феб. У героя моей мечты такой же красивый мундир, такой же благородный вид и такая же шпага. Ваше имя – Феб. Это чудное имя. Я люблю ваше имя, я люблю вашу шпагу. Выньте ее из ножен, Феб, я хочу на нее посмотреть.

– Дитя! – воскликнул капитан и, улыбаясь, обнажил шпагу.

Цыганка взглянула на рукоятку, на лезвие, с очаровательным любопытством исследовала вензель, вырезанный на эфесе, и поцеловала шпагу, сказав ей:

– Ты шпага храбреца. Я люблю твоего хозяина.

Феб воспользовался случаем, чтобы запечатлеть поцелуй на ее прелестной шейке, что заставило девушку, пунцовую, словно вишня, быстро выпрямиться. Священник во мраке заскрежетал зубами.

– Феб! – сказала она. – Не мешайте мне, я хочу с вами поговорить. Пройдитесь немного, чтобы я могла вас увидеть во весь рост и услышать звон ваших шпор. Какой вы красивый!

Капитан в угоду ей поднялся и, самодовольно улыбаясь, пожурил ее:

– Ну можно ли быть таким ребенком? А кстати, прелесть моя, вы меня видели когда-нибудь в парадном мундире?

– К сожалению, нет! – отвечала она.

– Вот это действительно красиво!

Феб опять сел около нее, но гораздо ближе, чем прежде.

– Послушайте, дорогая моя…

Цыганка ребячливым жестом, исполненным шаловливости, грации и веселья, несколько раз слегка ударила его по губам своей прелестной ручкой.

– Нет, нет, я не буду вас слушать. Вы меня любите? Я хочу, чтобы вы мне сказали, любите ли вы меня.

– Люблю ли я тебя, ангел моей жизни! – воскликнул капитан, преклонив колено. – Мое тело, кровь моя, моя душа – все твое, все для тебя. Я люблю тебя и никогда, кроме тебя, никого не любил.

Капитану столько раз доводилось повторять эту фразу при подобных же обстоятельствах, что он выпалил ее единым духом, не позабыв ни одного слова. Услышав это страстное признание, цыганка подняла к грязному потолку, заменявшему небо, взор, полный райского блаженства.

– Ах! – прошептала она. – Как хорошо было бы сейчас умереть!

Феб же нашел, что лучше сорвать у нее еще один поцелуй, чем подверг новой пытке несчастного архидьякона.

– Умереть! – воскликнул влюбленный капитан. – Что вы говорите, прекрасный мой ангел! Теперь-то и надо жить, клянусь Юпитером! Умереть в самом начале такого блаженства! Клянусь рогами сатаны, все это ерунда! Дело не в этом! Послушайте, моя дорогая Симиляр… Эсменарда… Простите, но у вас такое басурманское имя, что я никак не могу с ним сладить. Оно, как густой кустарник, в котором я каждый раз застреваю.

– Боже мой! – проговорила бедная девушка. – А я-то считала его красивым, ведь оно такое необычное! Но если оно вам не нравится, зовите меня просто Готон.[123]

– Э, не будем огорчаться из-за таких пустяков, милочка! К нему нужно привыкнуть, вот и все. Я выучу его наизусть, и все пойдет хорошо. Так послушайте же, дорогая Симиляр, я вас люблю безумно. Просто удивительно, как я вас люблю. Я знаю одну особу, которая лопнет от ярости из-за этого…

Ревнивая девушка прервала его:

– Кто она такая?

– А что нам до нее за дело? – отвечал Феб. – Вы меня любите?

– О!.. – произнесла она.

– Ну и прекрасно! Это главное! Вы увидите, как я люблю вас. Пусть этот долговязый дьявол Нептун подденет меня на свои вилы, если я не сделаю вас счастливейшей женщиной. У нас будет где-нибудь хорошенькая квартирка. Я заставлю моих стрелков гарцевать под вашими окнами. Они все конные и за пояс заткнут стрелков капитана Миньона. Среди них есть копейщики, лучники и пищальники. Я поведу вас ria большой смотр близ Рюлли. Это великолепное зрелище. Восемьдесят тысяч человек в строю; тридцать тысяч белых лат, панцирей и кольчуг; стяги шестидесяти семи цехов, знамена парламента, счетной палаты, казначейства, монетного двора; словом, вся чертова свита! Я покажу вам львов королевского дворца – это хищные звери. Все женщины любят такие зрелища.

Девушка, упиваясь звуками его голоса, мечтала, не вникая в смысл его слов.

– О! Как вы будете счастливы! – продолжал капитан, незаметно расстегивая пояс цыганки.

– Что вы делаете? – воскликнула она. Этот переход к «предосудительным действиям» развеял ее грезы.

– Ничего, – ответил Феб. – Я говорю только, что, когда вы будете со мной, вам придется расстаться с этим нелепым уличным нарядом.

– Когда я буду с тобой, мой Феб! – с нежностью прошептала девушка.

Потом она опять задумалась и умолкла.

Капитан, ободренный ее кротостью, обнял ее стан, – она не противилась; тогда он принялся потихоньку расшнуровывать ее корсаж и привел в такой беспорядок ее шейную косынку, что взору задыхавшегося архидьякона предстало выступившее из кисеи дивное плечико цыганки, округлое и смуглое, словно луна, поднимающаяся из тумана на горизонте.

Девушка не мешала Фебу. Казалось, она ничего не замечала. Взор предприимчивого капитана сверкал.

Вдруг она обернулась к нему.

– Феб! – сказала она с выражением бесконечной любви. – Научи меня своей вере.

– Моей вере! – воскликнул, разразившись хохотом, капитан. – Чтобы я научил тебя моей вере! Гром и молния! Да на что тебе понадобилась моя вера?

– Чтобы мы могли обвенчаться, – сказала она.

На лице капитана изобразилась смесь изумления, пренебрежения, беспечности и сладострастия.

– Вот как? – проговорил он. – А разве мы собираемся венчаться?

Цыганка побледнела и грустно склонила головку.

– Прелесть моя! – нежно продолжал Феб. – Все это глупости! Велика важность венчание! Разве люди больше любят друг друга, если их посыплют латынью в поповской лавочке?

Продолжая говорить с ней самым сладким голосом, он совсем близко придвинулся к цыганке, его ласковые руки вновь обвили ее тонкий, гибкий стан. Взор его разгорался с каждой минутой, и все говорило о том, что для Феба наступило мгновение, когда даже сам Юпитер совершает немало глупостей, и добряку Гомеру приходится звать себе на помощь облако.

Отец Клод видел все. Дверка была сколочена из неплотно сбитых гнилых бочоночных дощечек, и его взгляд, подобный взгляду хищной птицы, проникал в широкие щели. Смуглый широкоплечий священник, обреченный доселе на суровое монастырское воздержание, трепетал и кипел перед этой ночной сценой любви и наслаждения. Зрелище прелестной юной полураздетой девушки, отданной во власть пылкого молодого мужчины, вливало расплавленный свинец в жилы священника. Он испытывал неведомые прежде чувства. Его взор со сладострастной ревностью впивался во все, что обнажала каждая отколотая булавка. Тот, кто в эту минуту увидел бы лицо несчастного, приникшее к источенным червями доскам, подумал бы, что перед ним тигр, смотрящий сквозь прутья клетки на шакала, который терзает газель. Его зрачки горели в дверных щелях, как свечи.

Внезапно, быстрым движением, Феб сдернул шейную косынку цыганки. Бедная девушка сидела все еще задумавшись, с побледневшим личиком, но тут она вдруг словно пробудилась от сна. Быстро отодвинулась она от предприимчивого капитана и, взглянув на свои обнаженные плечи и грудь, смущенная, раскрасневшаяся, онемевшая от стыда, скрестила на груди прекрасные руки, чтобы прикрыть наготу. Если бы не горевший на ее щеках румянец, то в эту минуту ее можно было бы принять за безмолвную, неподвижную статую Целомудрия. Глаза ее были опущены.

Между тем, сдернув косынку, капитан открыл таинственный амулет, спрятанный у нее на груди.

– Что это такое? – спросил он, воспользовавшись предлогом, чтобы вновь приблизиться к прелестному созданию, которое он вспугнул.

– Не троньте! – воскликнула она. – Это мой хранитель. Он поможет мне найти моих родных, если только я буду этого достойна. Оставьте меня, господин капитан! Моя мать! Моя бедная матушка! Моя мать! Где ты? Помоги мне! Сжальтесь, господин Феб! Отдайте косынку!

Феб отступил и холодно ответил:

– Сударыня! Теперь я отлично вижу, что вы меня не любите!

– Я не люблю тебя! – воскликнула бедняжка и, прильнув к капитану, заставила его сесть рядом с собой. – Я не люблю тебя, мой Феб! Что ты говоришь? Жестокий! Ты хочешь разорвать мне сердце! Хорошо! Возьми меня, возьми все! Делай со мной, что хочешь! Я твоя. Что мне талисман! Что мне мать! Ты мне мать, потому что я люблю тебя! Мой Феб, мой возлюбленный Феб, видишь, вот я! Это я, погляди на меня! Я та малютка, которую ты не пожелаешь оттолкнуть от себя, которая сама, сама ищет тебя. Моя душа, моя жизнь, мое тело, я сама – все принадлежит тебе. Хорошо, не надо венчаться, если тебе этого не хочется. Да и что я такое? Жалкая уличная девчонка, а ты, мой Феб, ты – дворянин. Не смешно ли, на самом деле? Плясунья венчается с офицером! Я с ума сошла! Нет, Феб, нет, я буду твоей любовницей, твоей игрушкой, твоей забавой, всем, чем ты пожелаешь! Ведь я для того и создана. Пусть я буду опозорена, запятнана, унижена, что мне до этого? Зато любима! Я буду самой гордой, самой счастливой из женщин. А когда я постарею или подурнею, когда я уже не буду для вас

приятной забавой, о монсеньер, тогда вы разрешите мне прислуживать вам. Пусть другие будут вышивать вам шарфы, а я, ваша раба, буду их беречь. Вы позволите мне полировать вам шпоры, чистить щеткой вашу куртку, смахивать пыль с ваших сапог. Не правда ли, мой Феб, вы не откажете мне в такой милости? А теперь возьми меня! Вот я, Феб, я вся принадлежу тебе, только люби меня! Нам, цыганкам, нужно немного – вольный воздух да любовь.

Обвив руками шею капитана, она глядела на него снизу вверх, умоляющая, очаровательно улыбаясь сквозь слезы; ее нежная грудь терлась о грубую суконную куртку с жесткой вышивкой. Ее полуобнаженное прелестное тело изгибалось на коленях капитана. Опьяненный, он прильнул пылающими губами к ее прекрасным смуглым плечам. Девушка запрокинула голову, блуждая взором по потолку, и трепетала, замирая под этими поцелуями.

Вдруг над головой Феба она увидела другую голову, бледное, зеленоватое, искаженное лицо с адской мукой во взоре, а близ этого лица – руку, занесшую кинжал. То было лицо и рука священника. Он выломал дверь и стоял подле них. Феб не мог его видеть. Девушка окаменела, заледенела, онемела перед этим ужасным видением, как голубка, приподнявшая головку в тот миг, когда своими круглыми глазами в гнездо к ней заглянул коршун.

Она не могла даже вскрикнуть. Она видела лишь, как кинжал опустился над Фебом и снова взвился, дымясь.

– Проклятие! – крикнул капитан и упал.

Она потеряла сознание.

В тот миг, когда веки ее смыкались, когда всякое чувство угасало в ней, она смутно ощутила на своих устах огненное прикосновение, поцелуй, более жгучий, чем каленое железо палача.

Когда она очнулась, ее окружали солдаты ночного дозора; капитана, залитого кровью, куда-то уносили, священник исчез, выходившее на реку окно в глубине комнаты было открыто настежь, около него подняли плащ, принадлежавший, как предполагали, офицеру. Она слышала, как вокруг нее говорили:

– Колдунья заколола кинжалом капитана.

Книга восьмая

I. Экю, превратившееся в сухой лист

Гренгуар и весь Двор чудес были в страшной тревоге. Уже больше месяца никто не знал, что случилось с Эсмеральдой и куда девалась ее козочка. Исчезновение Эсмеральды очень огорчало герцога, египетского и его друзей-бродяг; исчезновение козочки удваивало скорбь Гренгуара. Однажды вечером цыганка пропала, и с тех пор она как в воду канула. Все поиски были напрасны. Несколько задир-эпилептиков поддразнивали Гренгуара, уверяя, что встретили ее в тот вечер близ моста Сен-Мишель вместе с каким-то офицером; но этот муж, обвенчанный по цыганскому обряду, был последователем скептической философии, и к тому же он лучше, чем кто бы то ни было, знал, насколько целомудренна была его жена. По собственному опыту он мог судить о той неодолимой стыдливости, которая являлась следствием сочетания свойств амулета и добродетели цыганки, и с математической точностью рассчитал степень сопротивления этого возведенного в квадрат целомудрия. Итак, в этом отношении он был спокоен.

Следовательно, объяснить себе исчезновение Эсмеральды он не мог. От этого он очень страдал. Он даже похудел бы, если бы только это было возможно. Он все забросил, вплоть до своих литературных занятий, даже свое обширное сочинение De figuris regularibus et ir regularibus[124], которое он собирался напечатать на первые же заработанные деньги. (Он просто бредил книгопечатанием с тех пор, как увидел книгу Гуго де Сен-Виктора Didascalon[125], напечатанную знаменитым шрифтом Винделена Спирского.)

Однажды, когда он в унынии проходил мимо башни, где находилась судебная палата по уголовным делам, он заметил группу людей, толпившихся у одного из входов во Дворец правосудия.

– Что там случилось? – спросил он у выходившего оттуда молодого человека.

– Не знаю, сударь, – ответил молодой человек. – Болтают, будто судят какую-то женщину, убившую военного. Кажется, здесь не обошлось без колдовства; епископ и духовный суд вмешались в это дело, и мой брат, архидьякон Жозасский, не выходит оттуда. Я хотел было потолковать с ним, но никак не мог к нему пробраться, такая там толпа. Это очень досадно, потому что мне нужны деньги.

– Увы, сударь, – отвечал Гренгуар, – я охотно одолжил бы вам денег, но если карманы моих штанов и прорваны, то отнюдь не от тяжести монет.

Он не осмелился сказать молодому человеку, что знаком с его братом архидьяконом, к которому после встречи в соборе он так и не заглядывал; эта небрежность смущала его.

Школяр пошел своим путем, а Гренгуар последовал за толпой, поднимавшейся по лестнице в залу суда. Он был того мнения, что ничто так хорошо не разгоняет печали, как зрелище уголовного судопроизводства, – настолько потешна глупость, обычно проявляемая судьями. Толпа, к которой присоединился Гренгуар, несмотря на сутолоку, продвигалась вперед, соблюдая тишину. После долгого и нудного пути по длинному сумрачному коридору, извивавшемуся по дворцу, словно пищеварительный канал этого старинного здания, он добрался наконец до низенькой двери, ведущей в залу, которую он благодаря своему высокому росту мог рассмотреть поверх голов волновавшейся толпы.

В обширной зале стоял полумрак, отчего она казалась еще обширнее. Вечерело; высокие стрельчатые окна пропускали слабый луч света, который гас прежде чем достигал свода, представлявшего собой громадную решетку из резных балок, покрытых тысячью украшений, которые, казалось, шевелились во тьме. Кое-где на столах уже были зажжены свечи, озарявшие низко склоненные над бумагами головы протоколистов. Переднюю часть залы заполняла толпа; направо и налево за столами сидели судейские чины, а в глубине, на возвышении, с неподвижными и зловещими лицами; множество судей, последние ряды которых терялись во мраке. Стены были усеяны бесчисленными изображениями королевских лилий. Над головами судей можно было различить большое распятие, а всюду в зале – копья и алебарды, на остриях которых пламя свечей зажигало огненные точки.

– Сударь! – спросил у одного из своих соседей Гренгуар. – Кто эти господа, расположившиеся там, словно прелаты на церковном соборе?

– Направо – советники судебной палаты, – ответил тот, – а налево советники следственной камеры; низшие чины – в черном, высшие – в красном.

– А кто это сидит выше всех, вон тот красный толстяк, что обливается потом?

– Это сам председатель.

– А те бараны позади него? – продолжал спрашивать Гренгуар, который, как мы уже упоминали, недолюбливал судейское сословие. Быть может, это объяснялось той злобой, какую он питал к Дворцу правосудия со времени постигшей его неудачи на драматическом поприще.

– А это все докладчики королевской палаты.

– А впереди него, вот этот кабан?

– Это протоколист королевского суда.

– А направо, этот крокодил?

– Филипп Лелье – чрезвычайный королевский прокурор.

– А налево, вон тот черный жирный кот?

– Жак Шармолю, королевский прокурор духовного суда, и члены этого суда.

– Еще один вопрос, сударь, – сказал Гренгуар. – Что же делают здесь все эти почтенные господа?

– Судят.

– Судят? Но кого же? Я не вижу подсудимого.

– Сударь, это женщина. Вы не можете ее видеть. Она сидит к нам спиной, и толпа заслоняет ее. Глядите, она вот там, где стража с бердышами.

– Кто же эта женщина? Вы не знаете, как ее зовут?

– Нет, сударь. Я сам только что пришел. Думаю, что дело идет о колдовстве, потому что здесь присутствуют члены духовного суда.

– Итак, – сказал наш философ, – мы сейчас увидим, как все эти судейские мантии будут пожирать человечье мясо. Что ж, это зрелище не хуже всякого другого!

– А вы не находите, сударь, – спросил сосед, – что у Жака Шармолю весьма кроткий вид?

– Гм! Я не доверяю кротости, у которой вдавленные ноздри и тонкие губы, – ответил Гренгуар.

Окружающие заставили собеседников умолкнуть. Давалось важное свидетельское показание.

– Государи мои! – повествовала, стоя посреди залы, старуха, на которой было накручено столько тряпья, что вся она казалась ходячим ворохом лохмотьев – Государи мои! Все, что я расскажу, так же верно, как верно то, что я зовусь Фалурдель, что сорок лет я живу в доме на мосту Сен-Мишель, против Тасен-Кайяра, красильщика, дом которого стоит против течения реки, и что я аккуратно плачу пошлины, подати и налоги. Теперь я жалкая старуха, а когда-то была красавицейдевкой, государи мои! Так вот, давненько уж мне люди говорили: «Фалурдель, не крути допоздна прялку по вечерам, дьявол любит расчесывать своими рогами кудель у старух. Известно, что монах-привидение, который в прошлом году показался возле Тампля, бродит нынче по Сите. Берегись, Фалурдель, как бы он не постучался в твою дверь». И вот как-то вечером я пряду, вдруг кто-то стучит в мою дверь. «Кто там?» – спрашиваю. Ругаются. Я отпираю. Входят два человека. Один черный такой, а с ним красавец-офицер. У черного только и видать, что глаза, – горят как уголья, а все остальное закрыто плащом да шляпой. Они и говорят мне: «Комнату святой Марты». А это моя верхняя комната, государи мои, самая чистая из всех. Суют мне экю. Я прячу экю в ящик, а сама думаю: «На эту монетку завтра куплю себе требухи на Глориетской бойне» Подымаемся наверх. Когда мы пришли в верхнюю комнату, я отвернулась, смотрю – черный человек исчез. Я удивилась. А красивый офицер, видать, знатный барин, сошел со мною вниз и вышел. Не успела я напрясть четверть мотка, как он идет назад с хорошенькой девушкой, прямо куколкой, которая была бы краше солнышка, будь она понарядней. С нею козел, большущий козел, не то белый, не то черный, этого я не упомню. Он-то и навел на меня сомнение. Ну, девушка – это не мое дело, а вот козел! Не люблю я козлов за их бороду да за рога Ни дать ни взять – мужчина. И кроме того, от них так и разит шабашем. Однако я помалкиваю. Я ведь получила свое экю. Правильно я говорю, господин судья? Проводила я офицера с девушкой наверх и оставила их наедине, то есть с козлом. А сама спустилась вниз и опять села прясть. Надо вам сказать, что дом у меня двухэтажный, задней стороной он выходит к реке, как и все дома на мосту, и окна в первом и во втором этаже выходят на реку Вот, значит, я пряду. Не знаю, почему, но в мыслях у меня все монах-привидение, – должно быть, козел мне напомнил про него, да и красавица была не по-людски одета. Вдруг слышу – наверху крик, что-то грохнулось о пол, распахнулось окно. Я подбежала к своему окну в нижнем этаже и вижу – пролетает мимо меня что-то темное и бултых в воду. Вроде как привидение в рясе священника. Ночь была лунная. Я очень хорошо его разглядела. Оно поплыло в сторону Сите Вся дрожа от страха, я кликнула ночную охрану. Господа дозорные вошли ко мне, и так как они были выпивши, то, не разобрав, в чем дело,

прежде всего поколотили меня. Я объяснила им, что случилось. Мы поднялись наверх – и что же мы увидели? Бедная моя комната вся залита кровью, капитан с кинжалом в горле лежит, растянувшись на полу, девушка прикинулась мертвой, а козел мечется от страха. «Здорово, – сказала я себе, хватит мне теперь мыться на добрых две недели! Придется скоблить пол, вот напасть!» Офицера унесли, – бедный молодой человек! И девушку тоже, почти совсем раздетую. Но это еще не все. Худшее еще впереди На другой день я хотела взять экю, чтобы купить требухи, и что же? Вместо него я нашла сухой лист.

Старуха умолкла. Ропот ужаса пробежал по толпе.

– Привидение, козел – все это попахивает колдовством, – заметил один из соседей Гренгуара.

– А сухой лист! – подхватил другой.

– Несомненно, – добавил третий, – колдунья стакнулась с монахом-привидением, чтобы грабить военных.

Даже Гренгуар склонен был признать всю эту страшную историю правдоподобной.

– Женщина по имени Фалурдель! – с величественным видом – спросил председатель. – Имеете вы еще что-нибудь сообщить правосудию?

– Нет, государь мой, – ответила старуха, – разве только то, что в протоколе мой дом назвали покосившейся вонючей лачугой, а это обидно. Все дома на мосту не бог весть как приглядны, потому что они битком набиты бедным людом, однако в них проживают мясники, а это люди зажиточные, и жены у них красавицы и чистюли.

Судебный чин, напоминавший Гренгуару крокодила, встал со своего места.

– Довольно! – сказал он. – Прошу господ судей не упускать из виду, что на обвиняемой найден был кинжал. Женщина, именуемая Фалурдель! Вы принесли с собой сухой лист, в который превратилось экю, данное вам дьяволом?

– Да, государь мой, – ответила она, – я отыскала его. Вот он.

Судебный пристав передал сухой лист крокодилу, – тот, зловеще покачав головой, передал его председателю, а тот – королевскому прокурору церковного суда. Таким образом лист обошел всю залу.

– Это березовый лист, – сказал Жак Шармолю. – Вот новое доказательство колдовства.

Один из советников попросил слова.

– Свидетельница! Два человека поднялись к вам вместе: человек в черном, который на ваших глазах сначала исчез, а потом в одежде священника переплывал реку, и офицер. Который же из них дал вам экю?

Старуха призадумалась на мгновение и ответила:

– Офицер.

Толпа загудела.

«Вот как? – подумал Гренгуар. – Это заставляет меня усомниться во всей истории».

Но тут опять вмешался чрезвычайный королевский прокурор Филипп Лелье.

– Напоминаю господам судьям: в показании, снятом с него у одра болезни, тяжело раненный офицер заявил, что, когда к нему подошел человек в черном, у него сразу мелькнула мысль, не тот ли это самый монах-привидение; что призрак настоятельно уговаривал его вступить в сношения с обвиняемой и на его, капитана, слова об отсутствии у него денег, сунул ему экю, которым вышеупомянутый офицер и расплатился с Фалурдель. Следовательно, это экю – адская монета.

Такой убедительный довод рассеял сомнения Гренгуара и остальных скептиков.

– Господа! У вас в руках все документы, – добавил, занимая свое место, чрезвычайный королевский прокурор, – вы можете обсудить показания Феба де Шатопер.

При этом имени подсудимая встала. Голова ее показалась над Толпой. Гренгуар, к своему великому ужасу, узнал Эсмеральду.

Она была очень бледна, ее волосы, когда-то так красиво заплетенные в косы и отливавшие блеском цехинов, рассыпались по плечам, губы посинели, ввалившиеся глаза внушали страх.

– Феб! – растерянно промолвила она. – Где он? Государи мои! Прежде чем убить меня, прошу вас, сжальтесь надо мной: скажите мне, жив ли он?

– Замолчи, женщина, – проговорил председатель. – Это к делу не относится.

– Смилуйтесь! Ответьте мне, жив ли он? – снова заговорила она, молитвенно складывая свои прекрасные исхудалые руки; слышно было, как цепи, звеня, скользнули по ее платью.

– Ну хорошо, – сухо ответил королевский прокурор. – Он при смерти. Ты довольна?

Несчастная упала на низенькую скамью, молча, без слез, бледная, как статуя.

Председатель нагнулся к сидевшему у его ног человеку в шитой золотом шапке, в черной мантии, с цепью на шее и жезлом в руке.

– Пристав! Введите вторую обвиняемую.

Все взоры обратились к дверце; дверца распахнулась и пропустила, вызвав сильнейшее сердцебиение у Гренгуара, хорошенькую козочку с вызолоченными рожками и копытцами. Изящное животное на мгновение задержалось на пороге, вытянув шею, словно, стоя на краю скалы, оно озирало расстилавшийся перед ним необозримый горизонт. Вдруг козочка заметила цыганку и, в два прыжка перескочив через стол и голову протоколиста, очутилась у ее колен; – тут она грациозно свернулась у ног своей госпожи, будто выпрашивая внимание и ласку; но подсудимая оставалась неподвижной, даже бедная Джали не удостоилась ее взгляда.

– Вот те на! – сказала старуха Фалурдель. – Да ведь это то самое мерзкое животное! Я их узнала – и ту и другую!

Тут взял слово Жак Шармолю.

– Если господам судьям угодно, то мы приступим к допросу козы.

Это и была вторая обвиняемая.

В те времена судебное дело о колдовстве, возбужденное против животных, не было редкостью. В судебных отчетах 1466 года среди других подробностей встречается любопытный перечень издержек по делу Жиле-Сулара и его свиньи, «казненных за их злодеяния» в Корбейле. Туда входят и расходы по рытью ямы, куда закопали свинью, и пятьсот вязанок хвороста, взятых в Морсанском порту, три пинты вина и хлеб – последняя трапеза осужденного, которую братски с ним разделил палач, – даже стоимость прокорма свиньи и присмотр за ней в течение одиннадцати дней: восемь парижских денье в сутки. Иногда правосудие заходило еще дальше. Так, по капитуляриям Карла Великого и Людовика Благочестивого, устанавливались тягчайшие наказания для огненных призраков, дерзнувших появиться в воздухе.

Прокурор духовного суда воскликнул:

– Если демон, который вселился в эту козу и не поддавался доселе никаким заклинаниям, собирается и впредь упорствовать в своих зловредных действиях и пугать ими суд, то мы предупреждаем его, что будем вынуждены требовать для него виселицы или костра!

Гренгуар облился холодным потом. Шармолю, взяв со стола бубен цыганки и особым движением приблизив его к козе, спросил:

– Который час?

Посмотрев на него своими умными глазами, козочка приподняла золоченое копытце и стукнула им семь раз. Было действительно семь часов. Трепет ужаса пробежал по толпе.

Гренгуар не выдержал.

– Она губит себя! – громко воскликнул он. – Неужели вы не видите, что она сама не понимает, что делает?

– Тише вы там, мужичье! – резко крикнул пристав.

Жак Шармолю при помощи того же бубна заставил козочку проделать множество других странных вещей – указать число, месяц и прочее, чему читатель был уже свидетелем. И вследствие оптического обмана, присущего судебным разбирательствам, те самые зрители, которые, быть может, не раз рукоплескали на перекрестках невинным хитростям Джали, были теперь потрясены ими здесь, под сводами Дворца правосудия. Несомненно, коза была сам дьявол.

Дело обернулось еще хуже, когда королевский прокурор высыпал на пол из висевшего у Джали на шее кожаного мешочка дощечки с буквами. Коза тут же своей ножкой составила разбросанные буквы в роковое имя «Феб». Колдовство, жертвой которого пал капитан, казалось неопровержимо доказанным, и цыганка, эта восхитительная плясунья, столько раз пленявшая прохожих своей грацией, преобразилась в ужасающего вампира.

Но сама она не подавала ни малейшего признака жизни. Ни изящные движения Джали, ни угрозы судей, ни глухие проклятия слушателей – ничто не доходило до нее.

Чтобы привести ее в себя, сержанту пришлось грубо встряхнуть ее, а председателю торжественно возвысить голос:

– Девушка! Вы принадлежите к цыганскому племени, посвятившему себя чародейству. В сообществе с заколдованной козой, прикосновенной к сему судебному делу, вы в ночь на двадцать девятое число прошлого марта месяца, при содействии адских» сил, с помощью чар и тайных способов убили, заколов кинжалом, капитана королевских стрелков Феба де Шатопера. Продолжаете ли вы это отрицать?

– О ужас! – воскликнула девушка, закрывая лицо руками. – Мой Феб! О! Это ад!

– Продолжаете вы это отрицать? – холодно переспросил председатель.

– Да, отрицаю! – твердо сказала она и, сверкая глазами, встала.

Председатель поставил вопрос ребром.

– В таком случае, как вы объясните факты, свидетельствующие против вас?

Она ответила прерывающимся голосом:

– Я уже сказала. Я не знаю. Это священник. Священник, которого я не знаю. Тот адский священник, который преследует меня!

– Правильно, – подтвердил судья, – монах-привидение.

– О господин! Сжальтесь! Я бедная девушка…

– Цыганка, – добавил судья.

Тут елейным голосом заговорил Жак Шармолю:

– Ввиду прискорбного запирательства подсудимой я предлагаю применить пытку.

– Предложение принято, – ответил председатель.

Несчастная содрогнулась. Однако по приказанию стражей, вооруженных бердышами, она встала и довольно твердой поступью, предшествуемая Жаком Шармолю и членами духовного суда, направилась между двумя рядами алебардщиков к дверце. Дверца внезапно распахнулась и столь же быстро за ней захлопнулась, что произвело на опечаленного Гренгуара впечатление отвратительной пасти, поглотившей цыганку.

Когда она исчезла, в зале послышалось жалобное блеяние. То плакала козочка.

Заседание было приостановлено. Один из советников заметил, что господа судьи устали, а ждать окончания пытки слишком долго, но председатель возразил, что судья должен уметь жертвовать собой во имя долга.

– Строптивая, мерзкая девка! – проворчал какойто старый судья. – Заставляет себя пытать, когда мы еще не поужинали.

II. Продолжение главы об экю, превратившемся в сухой лист

Поднявшись и снова спустившись по нескольким лестницам, выходившим в какие-то коридоры, до того темные, что даже среди бела дня в них горели лампы, Эсмеральда, окруженная мрачным конвоем, попала наконец в какую-то комнату зловещего вида, куда ее втолкнула стража. Эта круглая комната помещалась в нижнем этаже одной из тех массивных башен, которые еще и в наши дни пробиваются сквозь пласт современных построек нового Парижа, прикрывающих собой старый город. В этом склепе не было ни окон, ни какого-либо иного отверстия, кроме входа – низкой, кованой, громадной железной двери. Света, впрочем, в нем казалось достаточно: в толще стены была выложена печь; в ней горел яркий огонь, наполняя склеп багровыми отсветами, в которых словно таял язычок свечи, стоявшей в углу. Железная решетка, закрывавшая печь, была поднята. Над устьем пламеневшего в темной стене отверстия виднелись только нижние концы ее прутьев, словно ряд черных, острых и редко расставленных зубов, что придавало горну сходство с пастью сказочного дракона, извергающего пламя. При свете этого огня пленница увидела вокруг себя ужасные орудия, употребление которых было ей непонятно. Посредине комнаты, почти на полу, находился кожаный тюфяк, а над ним ремень с пряжкой, прикрепленной к медному кольцу, которое держал в зубах изваянный в центре свода курносый урод. Тиски, клещи, широкие треугольные ножи, брошенные как попало, загромождали внутренность горна и накалялись там на пылавших углях. Куда ни падал кровавый отблеск печи, всюду он освещал груды жутких предметов, заполнявших склеп.

Эта преисподняя называлась просто «пыточной комнатой».

На тюфяке в небрежной позе сидел Пьера Тортерю – присяжный палач. Его помощники, два карлика с квадратными лицами, в кожаных фартуках и в холщовых штанах, поворачивали раскалившееся на углях железо.

Бедная девушка напрасно крепилась. Когда она попала в эту комнату, ее охватил ужас.

Стража дворцового судьи встала по одну сторону, священники духовного суда – по другую. Писец, чернильница и стол находились в углу.

Жак Шармолю со слащавой улыбкой приблизился к цыганке.

– Милое дитя мое! – сказал он. – Итак, вы все еще продолжаете отпираться?

– Да, – упавшим голосом ответила она.

– В таком случае, – продолжал Шармолю, – мы вынуждены, как это ни прискорбно, допрашивать вас более настойчиво, чем сами того желали бы. Будьте любезны, потрудитесь сесть вот на это ложе. Мэтр Пьера! Уступите мадемуазель место и затворите дверь.

Пьера неохотно поднялся.

– Если я закрою дверь, то огонь погаснет, – пробурчал он.

– Хорошо, друг мой, оставьте ее открытой, – согласился Шармолю.

Эсмеральда продолжала стоять. Кожаная постель, на которой корчилось столько страдальцев, пугала ее. Страх леденил кровь. Она стояла, испуганная, оцепеневшая. По знаку Шармолю, оба помощника палача схватили ее и усадили на тюфяк. Они не причинили ей ни малейшей боли; но лишь только они притронулись к ней, лишь только она почувствовала прикосновение кожаной постели, вся кровь прилила ей к сердцу. Она блуждающим взором обвела комнату. Ей почудилось, что, вдруг задвигавшись, к ней со всех сторон устремились все эти безобразные орудия пытки. Среди всевозможных инструментов, до сей поры ею виденных, они были тем же, чем являются летучие мыши, тысяченожки и пауки среди насекомых и птиц. Ей казалось, что они сейчас начнут ползать по ней, кусать и щипать ее тело.

– Где врач? – спросил Шармолю.

– Здесь, – отозвался человек в черной одежде, которого Эсмеральда до сих пор не замечала.

Она вздрогнула.

– Мадемуазель! – снова зазвучал вкрадчивый голос прокурора духовного суда. – В третий раз спрашиваю: продолжаете ли вы отрицать поступки, в которых вас обвиняют?

На этот раз у нее хватило сил лишь кивнуть головой. Голос изменил ей.

– Вы упорствуете! – сказал Жак Шармолю. – В таком случае, к крайнему моему сожалению, я должен исполнить мой служебный долг.

– Господин королевский прокурор! – вдруг резко сказал Пьера. – С чего мы начнем?

Шармолю с минуту колебался, словно поэт, который приискивает рифму для своего стиха.

– С испанского сапога, – выговорил он наконец.

Злосчастная девушка почувствовала себя покинутой и богом и людьми; голова ее упала на грудь, как нечто безжизненное, лишенное силы.

Палач и лекарь подошли к ней одновременно. В то же время оба помощника палача принялись рыться в своем отвратительном арсенале.

При лязге этих страшных орудий бедная девушка вздрогнула, словно мертвая лягушка, которой коснулся гальванический ток.

– О мой Феб! – прошептала она так тихо, что ее никто не услышал. Затем снова стала неподвижной и безмолвной, как мраморная статуя.

Это зрелище тронуло бы любое сердце, но не сердце судьи. Казалось, сам Сатана допрашивает несчастную грешную душу под багровым оконцем ада. Это кроткое, чистое, хрупкое создание и было тем бедным телом, в которое готовился вцепиться весь ужасный муравейник пил, колес и козел, – тем существом, которым готовились овладеть грубые лапы палачей и тисков. Жалкое просяное зернышко, отдаваемое правосудием на размол чудовищным жерновам пытки!

Между тем мозолистые руки помощников Пьера Тортерю грубо обнажили ее прелестную ножку, которая так часто очаровывала прохожих на перекрестках Парижа своей ловкостью и красотой.

– Жаль, жаль! – проворчал палач, рассматривая ее изящные и мягкие линии.

Если бы здесь присутствовал архидьякон, он, несомненно, вспомнил бы о символе: о мухе и пауке.

Вскоре несчастная сквозь туман, застилавший ей глаза, увидела, как приблизился к ней «испанский сапог» и как ее ножка, вложенная между двух окованных железом брусков, исчезла в страшном приборе. Ужас придал ей сил.

– Снимите это! – запальчиво вскричала она и, выпрямившись, тряхнув растрепанными волосами, добавила: – Пощадите!

Она рванулась, чтобы броситься к ногам прокурора, но ее ножка была ущемлена тяжелым, взятым в железо дубовым обрубком, и она припала к этой колодке, бессильная, как пчела, к крылу которой привязан свинец.

По знаку Шармолю, ее снова положили на постель, и две грубые руки подвязали ее к ремню, свисавшему со свода.

– В последний раз: сознаетесь ли вы в своих преступных деяниях? спросил со своим невозмутимым добродушием Шармолю.

– Я невиновна.

– В таком случае, мадемуазель, как объясните вы обстоятельства, уличающие вас?

– Увы, монсеньер, я не знаю!

– Итак, вы отрицаете?

– Все отрицаю!

– Приступайте! – крикнул Шармолю.

Пьера повернул рукоятку, и испанский сапог сжался, и несчастная испустила ужасный вопль, передать который не в силах человеческий язык.

– Довольно, – сказал Шармолю, обращаясь к Пьера. – Сознаетесь? спросил он цыганку.

– Во всем сознаюсь! – воскликнула несчастная девушка. – Сознаюсь! Только пощадите!

Она не рассчитала своих сил, идя на пытку. Бедная малютка! Ее жизнь до сей поры была такой беззаботной, такой приятной, такой сладостной! Первая же боль сломила ее.

– Человеколюбие побуждает меня предупредить вас, что ваше признание равносильно для вас смерти, – сказал королевский прокурор.

– Надеюсь! – ответила она и упала на кожаную постель полумертвая, перегнувшись, безвольно повиснув на ремне, который охватывал ее грудь.

– Ну, моя прелесть, приободритесь немножко, – сказал мэтр Пьера, приподнимая ее. – Вы, ни дать ни взять, золотая овечка с ордена, который носит на шее герцог Бургундский.

Жак Шармолю возвысил голос:

– Протоколист, записывайте! Девушка-цыганка! Вы сознаетесь, что являлись соучастницей в дьявольских трапезах, шабашах и колдовстве купно со злыми духами, уродами и вампирами? Отвечайте!

– Да, – так тихо прошептала она, что ответ ее слился с ее дыханием.

– Вы сознаетесь в том, что видели овна, которого Вельзевул заставляет появляться среди облаков, дабы собрать шабаш, и видеть которого могут одни только ведьмы?

– Да.

– Вы признаетесь, что поклонялись головам Бофомета, этим богомерзким идолам храмовников?

– Да.

– Что постоянно общались с дьяволом, который под видом ручной козы привлечен ныне к делу?

– Да.

– Наконец, сознаетесь ли вы, что с помощью дьявола и оборотня, именуемого в просторечии «монахпривидение», в ночь на двадцать девятое прошлого марта месяца вы предательски умертвили капитана по имени Феб де Шатопер?

Померкший взгляд ее огромных глаз остановился на судье, и, не дрогнув, не запнувшись, она машинально ответила:

– Да.

Очевидно, все в ней было уже надломлено.

– Запишите, протоколист, – сказал Шармолю и, обращаясь к заплечным мастерам, произнес: – Отвяжите подсудимую и проводите назад в залу судебных заседаний.

Когда подсудимую «разули», прокурор духовного суда осмотрел ее ногу, еще онемелую от боли.

– Ничего! – сказал он. – Тут большой беды нет. Вы закричали вовремя. Вы могли бы еще плясать, красавица!

Затем он обратился к своим коллегам из духовного суда:

– Наконец-то правосудию все стало ясно! Это утешительно, господа! Мадемуазель должна отдать нам справедливость: мы отнеслись к ней со всей доступной нам мягкостью.

III. Окончание главы об экю, превратившемся в сухой лист

Когда она, прихрамывая, вернулась в зал суда, ее встретил шепот всеобщего удовольствия. Слушатели выражали им чувство удовлетворения, которое человек испытывает в театре при окончании последнего антракта, видя, что занавес взвился и начинается развязка пьесы. В судьях заговорила надежда на скорый ужин. Маленькая козочка тоже радостно заблеяла. Она рванулась навстречу хозяйке, но ее привязали к скамье.

Уже совсем стемнело. Свечей не подбавили; те, которые были зажжены, так тускло озаряли зал, что нельзя было различить его стены. Сумрак окутал предметы словно туманом. Кое-где из тьмы выступали бесстрастные лица судей. В конце длинной залы можно было разглядеть выделявшееся на темном фоне белое пятно. Это была подсудимая. Она с трудом дотащилась до своей скамьи.

Шармолю, шествовавший с внушительным видом, дойдя до своего места, сел, но тут же встал и, сдерживая самодовольное чувство, вызванное достигнутым успехом, заявил.

– Обвиняемая созналась во всем.

– Цыганка! – спросил председатель. – Вы сознались во всех своих преступлениях: в колдовстве, проституции и убийстве Феба де Шатопера?

Сердце у нее сжалось. Слышно было, как она всхлипывала в темноте.

– Во всем, что вам угодно, только убейте меня поскорее! – ответила она едва слышно.

– Господин королевский прокурор церковного суда! – сказал председатель. – Суд готов выслушать ваше заключение.

Шармолю вытащил устрашающей толщины тетрадь и принялся, неистово жестикулируя и с преувеличенной выразительностью, присущей судебному сословию, читать по ней латинскую речь, где все доказательства виновности подсудимой основывались на цицероновских перифразах, подкрепленных цитатами из комедий его любимого писателя Плавта. Мы сожалеем, что не можем предложить читателям это замечательное произведение. Оратор говорил с жаром. Не успел он дочитать вступление, как пот уже выступил у него на лбу, а глаза готовы были выскочить из орбит.

Внезапно, посреди какого-то периода, он остановился, и его взор, обычно довольно добродушный и даже глуповатый, стал метать молнии.

– Господа! – воскликнул он (на сей раз по-французски, так как этого в тетради не было). – Сатане было мало вмешаться в эту историю – он присутствует здесь и глумится над величием суда. Глядите!

Он указал рукой на козочку, которая, увидев, как жестикулирует Шармолю, нашла вполне уместным подражать ему Усевшись и тряся бородкой, она принялась добросовестно воспроизводить передними ножками патетическую пантомиму королевского прокурора церковного суда, что было, как читатель припомнит, одним из наиболее привлекательных ее талантов Это происшествие, это последнее «доказательство» произвело сильное впечатление. Козочке связали ножки, и королевский прокурор снова стал изливать потоки своего красноречия.

Это продолжалось очень долго, но зато заключение речи было превосходно Вот ее последняя фраза; присовокупите к ней охрипший голос и жестикуляцию запыхавшегося Шармолю.

Idea, Domni coram strygu demonstrata crimi ne patente, intenlione crimims existenie in nomitiL sanctae ecclesiae Nostrae Dominae Parisiensis quae esl in saisina habendi ommmodam altam et balsam justi liam in ilia hac intemerala Civilatis insuia, tenore prue seniiurn declaramus nos requirere, primo aliquandam pecuniariam indemmtatem, secundo, amendationcm honorabilem ante portalium maximum Nostrae Do minae, ecclesiae cathedralis, tertio sententiam in virtute cujus ista stryga cum sua capella, seu in trivio vulgariter dicto la Greve, seu in insula exeunte in fluulo Sequanae, juxta pointam jardini regalis, executatae sinf.[126]

Закончив, он надел свою шапочку и сел.

– Eheu! Bassa latinitas![127] – вздохнул удрученный Гренгуар.

Возле осужденной поднялся другой человек в черной мантии То был ее защитник Проголодавшиеся судьи начали роптать.

– Защитник, будьте кратки! – сказал председатель.

– Господин председатель! – ответил тот – Так как моя подзащитная созналась в своем преступлении, то мне остается сказать господам судьям одно Текст салического закона гласит «В случае, если оборотень пожрал человека и уличен в этом, то должен заплатить штраф в восемь тысяч денье, что равно двумстам золотых су» Не будет ли угодно судебной палате приговорить мою подзащитную к штрафу?

– Устаревший текст, – заметил чрезвычайный королевский прокурор.

– Nego[128], – возразил адвокат.

– Голосовать! – предложил один из советников. – Преступление доказано, а час уже поздний.

Суд приступил к голосованию, не выходя из зала заседания. Судьи подавали голос путем «снятия шапочки», – они торопились. В сумраке залы видно было, как одна за другой обнажались их головы в ответ на мрачный вопрос, который шепотом задавал им председатель. Несчастная осужденная, казалось, следила за ними, но ее помутившийся взор уже ничего не видел.

Затем протоколист принялся что-то строчить, после чего он передал председателю длинный пергаментный свиток.

И тут несчастная услышала, как зашевелилась толпа, как залязгали, сталкиваясь, копья и как чей-то ледяной голос произнес:

– Девушка-цыганка! В тот день, который угодно будет назначить нашему всемилостивейшему королю, вы будете доставлены на телеге, в рубахе, босая, с веревкой на шее, к главному порталу Собора Парижской Богоматери и тут всенародно принесете покаяние, держа в руке двухфунтовую восковую свечу; оттуда вас доставят на Гревскую площадь, где вы будете повешены и удушены на городской виселице; а также ваша коза; кроме того, вы уплатите духовному суду три лиондора в уплату за совершенные вами преступления, в которых вы сознались: за колдовство, магию, распутство и убийство сэра Феба де Шатопера. Да примет господь вашу душу!

– О, это сон! – прошептала она и почувствовала, что ее уносят чьи-то грубые руки.

IV. Lasciate ogni speranza[129]

В средние века каждое законченное здание занимало почти столько же места под землей, сколько над землей. В каждом дворце, каждой крепости, каждой церкви, если только они не возводились на сваях, подобно Собору Парижской Богоматери, были подземелья. В соборах существовал как бы еще другой, скрытый собор, низкий, сумрачный, таинственный, темный и немой, расположенный под верхним нефом, день и ночь залитым светом и оглашавшимся звуками органа и звоном колоколов. Иногда эти подземелья служили усыпальницей. В дворцах, в крепостях это были тюрьмы или могильные склепы, а иногда и то и другое вместе. Эти огромные сооружения, закон образования и «произрастания» которых мы уже объяснили раньше, имели не только фундамент, но, так сказать, корни, которые уходили в землю, ответвляясь в виде комнат, галерей, лестниц, как и в верхнем сооружении. Таким образом, соборы, дворцы, крепости по пояс уходили в землю. Подвалы здания представляли собой второе здание, куда спускались, вместо того чтобы подниматься; подземные этажи этих подвалов соприкасались с громадой наземных этажей так же, как соприкасаются отраженные в озере прибрежные леса и горы с подножием настоящих лесов и гор.

В крепости Сент-Антуан, в парижском Дворце правосудия, в Лувре эти подземелья служили темницами. Этажи этих темниц, внедряясь в почву, становились все теснее и мрачнее. Они являлись как бы зонами нарастающего ужаса. Данте не мог бы найти ничего более подходящего для своего ада. Обычно эти воронки, темницы оканчивались каменными мешками, куда Данте поместил Сатану и куда общество помещало приговоренных к смерти. Если какое-либо несчастное существо попадало туда, то должно было сказать прости свету, воздуху, жизни, ogni speranza. Выход был лишь на виселицу или на костер. Нередко люди гнили там заживо. Человеческое правосудие называло это «забвением». Между собой и людьми осужденный чувствовал нависающую над его головой громаду камня и темниц, и вся тюрьма, вся эта массивная крепость превращалась для него в огромный, сложного устройства замок, запиравший его от мира живых.

Вот в такую-то яму, в один из каменных мешков, вырытых по приказанию Людовика Святого в подземной тюрьме Турнель, опасаясь, видимо, побега, ввергли Эсмеральду, приговоренную к виселице. Весь огромный Дворец правосудия давил на нее своей тяжестью. Бедная мушка, бессильная сдвинуть с места даже самый маленький из его камней!

Судьба и общество были одинаково несправедливы к ней: не было надобности в таком избытке несчастий и мук, чтобы сломить столь хрупкое создание.

И вот она здесь, затерянная в кромешной тьме, погребенная, зарытая, замурованная. Всякий, кому довелось бы увидеть ее в этом состоянии и кто ранее знал ее смеющейся и пляшущей на солнце, содрогнулся бы. Она была холодна, как ночь, холодна, как смерть; ветерок не играл более ее волосами, человеческий голос не достигал ее слуха, дневной свет не отражался в ее глазах. Придавленная цепями, сидела она, скрючившись, перед кружкой с водой и куском хлеба, на охапке соломы, в луже воды, натекавшей с сырых стен камеры; неподвижная, почти бездыханная, она уже не страдала. Феб, солнце, полдень, вольный воздух, улицы Парижа, пляска и рукоплескания, сладостный любовный лепет, а вслед за этим – священник, сводница, кинжал, кровь, пытка, виселица! Все это иногда возникало еще в ее памяти то как радостное золотое видение, то как безобразный кошмар; но это было лишь ужасным, смутным видением борьбы во мраке, либо отдаленной музыкой, звеневшей там, наверху, на земле, и не слышной на той глубине, где была погребена несчастная.

С тех пор как она находилась здесь, она не бодрствовала, но и не спала – Брошенная в темницу, сломленная горем, она не могла более отличить явь от сна, грезу от действительности, день от ночи. Все смешивалось, дробилось, колебалось и расплывалось в ее мыслях. Она не чувствовала, не понимала, не думала, порою лишь грезила. Никогда еще живое существо не стояло так близко к небытию.

Так, оцепенев, заледенев, окаменев, она почти не слышала, как раза два-три где-то над головой с шумом открывался люк, не пропуская при этом ни малейшего света; через этот люк чья-то рука бросала ей корку черного хлеба. А между тем эти регулярные посещения тюремщика были единственно оставшейся у нее связью с людьми.

Лишь одно еще заставляло ее бессознательно напрягать слух. Над ее головой сквозь заплесневевшие камни свода просачивалась влага, и через равные промежутки срывалась капля воды. Узница тупо прислушивалась к звуку, который производили эти капли, падая в лужу подле нее.

Эти падавшие в лужу капли были здесь единственным признаком жизни, единственным маятником, отмечавшим время, единственным звуком, долетавшим до нее из всех земных шумов.

Время от времени в этой клоаке мглы и грязи она ощущала, как что-то холодное, то там, то тут, пробегало у нее по руке или ноге; тогда она вздрагивала.

Сколько времени пробыла она в узилище? Она не знала. Она помнила лишь произнесенный где-то над кем-то смертный приговор, помнила, что ее потом унесли и что она

проснулась во мраке и безмолвии, закоченевшая от холода. Она поползла было на руках, но железное кольцо впилось ей в щиколотку, и забряцали цепи. Вокруг нее были стены, под ней – залитая водой каменная плита и охапка соломы. Ни фонаря, ни отдушины. Тогда она села на солому. И только время от времени, чтобы переменить положение, она переходила на нижнюю ступеньку каменной лестницы, спускавшейся в склеп.

Она попробовала считать мрачные минуты, которые ей отмеривали капли, но вскоре это жалкое усилие больного мозга оборвалось само собой, и она погрузилась в полное оцепенение.

И вот однажды, то ли днем, то ли ночью (полдень и полночь были одинаково черны в этой гробнице) она услышала над головой более сильный шум, чем обычно производил тюремщик, когда приносил ей хлеб и воду. Она подняла голову и увидела красноватый свет, проникавший сквозь щели дверцы или крышки люка, который был проделан в своде каменного мешка.

В ту же минуту тяжелый засов загремел, крышка люка, заскрипев на ржавых петлях, откинулась, и она увидела фонарь, руку и ноги двух человек. Свод, в который была вделана дверца, нависал слишком низко, чтобы можно было разглядеть их головы. Свет причинил ей такую острую боль, что она закрыла глаза.

Когда она их открыла, дверь была заперта, фонарь стоял на ступеньках лестницы, а перед ней оказался только один человек. Черная монашеская ряса ниспадала до самых пят, такого же цвета капюшон спускался на лицо. Нельзя было разглядеть ни лица, ни рук. Это был длинный черный саван, под которым чувствовалось что-то живое. Несколько мгновений она пристально смотрела на это подобие призрака. Оба молчали. Их можно было принять за две столкнувшиеся друг с другом статуи. В этом склепе казались живыми только фитиль в фонаре, потрескивавший от сырости, да капли воды, которые, падая со свода, прерывали это неравномерное потрескивание однообразным тонким звоном и заставляли дрожать луч фонаря концентрическими кругами, разбегавшимися по маслянистой поверхности лужи.

Наконец узница прервала молчание:

– Кто вы?

– Священник.

Это слово, интонация, звук голоса заставили ее вздрогнуть.

Священник продолжал медленно и глухо:

– Вы готовы?

– К чему?

– К смерти.

– Скоро ли это будет? – спросила она.

– Завтра.

Она уже радостно подняла голову, но тут голова ее тяжело упала на грудь.

– О, как долго ждать! – пробормотала она. – Что им стоило сделать это сегодня?

– Значит, вам очень плохо? – помолчав, спросил священник.

– Мне так холодно! – молвила она.

Она обхватила руками ступни своих ног, – привычное движение бедняков, страдающих от холода, его мы заметили и у затворницы Роландовой башни, зубы у нее стучали.

Священник из-под своего капюшона, казалось, разглядывал склеп.

– Без света! Без огня! В воде! Это ужасно!

– Да, – ответила она с тем изумленным видом, который придало ей несчастье. – День сияет для всех. Отчего же мне дана только ночь?

– Знаете ли вы, – после нового молчания спросил священник, – почему вы здесь находитесь?

– Кажется, знала, – ответила она, проводя исхудавшим пальчиком по лбу, словно стараясь помочь своей памяти, – но теперь забыла.

Вдруг она расплакалась, как дитя.

– Мне так хочется уйти отсюда! Мне холодно, мне страшно. Какие-то звери ползают по моему телу.

– Хорошо, следуйте за мной.

Священник взял ее за руку. Несчастная продрогла до костей, и все же рука священника показалась ей холодной.

– О! – прошептала она. – Это ледяная рука смерти. Кто вы?

Священник откинул капюшон. Перед нею было зловещее лицо, которое так давно преследовало ее, голова демона, которая возникла над головой ее обожаемого Феба у старухи Фалурдель, глаза, которые она видела в последний раз горящими около кинжала.

Появление этого человека, всегда столь роковое для нее, толкавшее ее от несчастья к несчастью вплоть до пытки, вывело ее из оцепенения. Ей показалось, что плотная завеса, нависшая над ее памятью, разорвалась. Все подробности ее заключения, от ночной сцены у Фалурдель и до приговора, вынесенного в Турнельской башне, сразу всплыли в ее памяти – не спутанные и смутные, как до сей поры, а четкие, яркие, резкие, трепещущие, ужасные. Эти воспоминания, почти изглаженные, почти стертые безмерным страданием, ожили близ этой мрачной фигуры подобно тому, как близ огня отчетливо выступают на белой бумаге невидимые слова, начертанные симпатическими чернилами. Ей показалось, что вскрылись все ее сердечные раны и вновь засочились кровью.

– А! – воскликнула она, вздрогнув и закрыв руками глаза. – Это тот священник!

Сразу онемев, она бессильно уронила руки, низко опустила голову и, вся дрожа, уставила глаза в пол.

Священник глядел на нее глазами коршуна, который долго чертил в небе плавные круги над бедным притаившимся в хлебах жаворонком и, постепенно суживая огромную спираль своего полета, внезапно, как молния, ринувшись на свою добычу, держит ее теперь, задыхающуюся, в своих когтях.

Она чуть слышно прошептала:

– Добивайте! Наносите последний удар! – и с ужасом втянула голову в плечи, словно овечка под обухом мясника.

– Я вам внушаю ужас? – спросил он наконец.

Она не ответила.

– Разве я внушаю вам ужас? – повторил он.

Губы ее искривились, словно она силилась улыбнуться.

– Да, – сказала она, – палач всегда издевается над осужденным. Сколько месяцев он травит меня, грозит мне, пугает меня! О боже! Как счастлива была я без него! Это он вверг меня в эту пропасть! О небо, это он убил… Это он убил его, моего Феба! – Рыдая, она подняла глаза на священника. – О презренный! Кто вы? Что я вам сделала? Вы ненавидите меня? За что же?

– Я люблю тебя! – крикнул священник.

Слезы у нее внезапно высохли. Она бессмысленно глядела на него. Он упал к ее ногам, пожирая ее пламенным взором.

– Слышишь? Я люблю тебя! – повторил он.

– О, что это за любовь! – содрогаясь, промолвила несчастная.

– Любовь отверженного, – сказал он.

Оба некоторое время молчали, придавленные тяжестью своих переживаний: он – обезумев, она – отупев.

– Слушай, – вымолвил наконец священник, и необычайный покой снизошел на него. – Ты все узнаешь. Я скажу тебе то, в чем до сих пор едва осмеливался признаваться самому себе, украдкой вопрошая свою совесть в те безмолвные ночные часы, когда мрак так глубок, что, кажется, сам бог уже не может видеть нас. Слушай! До встречи с тобой я был счастлив, девушка!..

– И я! – прошептала она еле слышно.

– Не прерывай меня! Да, я был счастлив, по крайней мере я мнил себя счастливым. Я был невинен, душа моя была полна хрустальной чистоты. Надменнее, лучезарнее, чем у всех, сияло чело мое! Священнослужители учились у меня целомудрию, ученые – науке. Да, наука была для меня всем. Она была мне сестрой, и ни в ком другом я не нуждался. Лишь с годами иные мысли овладели мной. Не раз, когда мимо меня проходила женщина, моя плоть возмущалась. Эта власть пола, власть крови, которую я, безумный юноша, считал в себе навек подавленной, не раз судорожным усилием натягивала цепь железных обетов, приковавших меня, несчастного, к холодным плитам алтаря. Но пост, молитва, занятия, умерщвление плоти сделали мою душу владычицей тела. Я избегал женщин. К тому же стоило мне раскрыть книгу, как весь угар моих помыслов рассеивался перед величием науки. Текли минуты, и я чувствовал, как куда-то вдаль отступает земное и плотское, и я вновь обретал мир, чистоту и покой перед безмятежным сиянием вечной истины. Пока дьявол искушал меня смутными видениями, проходившими перед моими глазами то в храме, то на улице, то в лугах, они лишь мельком возникали в моих сновидениях, и я легко побеждал их. Увы, если ныне я сражен, то в этом повинен бог, который, сотворив человека и дьявола, не одарил их равной силой. Слушай. Однажды…

Тут священник остановился, и узница услышала хриплые, тяжкие вздохи, вырывавшиеся из его груди.

Он продолжал:

– …однажды я стоял облокотившись на подоконник в моей келье… Какую же это книгу читал я тогда? О, все это словно вихрь в моей голове! Я читал. Окна моей кельи выходили на площадь. Вдруг слышу звуки бубна. Досадуя, что меня потревожили в моей задумчивости, я взглянул на площадь. То, что я увидел, видели и другие, не только я, а между тем зрелище это было создано не для глаз человека. Там, в середине площади, – был полдень, солнце стояло высоко, – плясала девушка. Создание столь дивной красоты, что бог предпочел бы ее пресвятой деве и избрал бы матерью своей, он бы пожелал быть рожденным ею, если бы она жила, когда он воплотился в человека! У нее были черные блестящие глаза, в темных ее волосах, когда их пронизывало солнце, загорались золотые нити. В стремительной пляске нельзя было различить ее ножек, – они мелькали, как спицы быстро вертящегося колеса. Вокруг головы, в черных ее косах сверкали на солнце металлические бляхи, словно звездной короной осенявшие ее лоб. Ее синее платье, усеянное блестками, искрилось, словно пронизанная мириадами золотых точек летняя ночь. Ее гибкие смуглые руки сплетались и вновь расплетались вокруг ее стана, словно два шарфа. Линии ее тела были дивно прекрасны! О блистающий образ, чье сияние не меркло даже в свете солнечных лучей! Девушка, то была ты! Изумленный, опьяненный, очарованный, я дал себе волю глядеть на тебя. Я до тех пор глядел на тебя, пока внезапно не дрогнул от ужаса: я почувствовал себя во власти чар!

У священника прервалось дыхание, и он на мгновение умолк. Затем продолжал:

– Уже наполовину околдованный, я пытался найти опору, чтобы удержаться в своем падении. Я припомнил ковы, которые Сатана уже когда-то строил мне. Создание, представшее очам моим, было так сверхчеловечески прекрасно, что могло быть послано лишь небом или адом. Она не была обыкновенной девушкой, созданной из персти земной и скудно освещенной

изнутри мерцающим лучом женской души. То был ангел! Но ангел мрака, сотканный из пламени, а не из света. В ту минуту, как я это подумал, я увидел близ тебя козу, – это бесовское животное, усмехаясь, глядело на меня. При свете полуденного солнца ее рожки казались огненными. Тогда я понял, что это дьявольская западня, и уже не сомневался, что ты послана адом и послана на мою погибель. Так я думал.

Тут священник взглянул в лицо узницы и холодно добавил:

– Так я думаю и теперь. А между тем чары малопомалу начинали оказывать на меня действие, твоя пляска кружила мне голову; я ощущал, как таинственная порча проникала в меня. Все, что должно было бодрствовать, засыпало в душе моей, и, подобно людям, замерзающим в снегах, я находил наслаждение в том, чтобы поддаваться этой дреме. Внезапно ты запела. Что мне оставалось делать, несчастному! Твое пение было еще пленительней твоей пляски. Я хотел бежать. Невозможно. Я был пригвожден, я врос в землю. Мне казалось, что мрамор плит доходит мне до колен. Пришлось остаться до конца. Ноги мои оледенели, голова пылала. Наконец, быть может сжалившись надо мной, ты перестала петь, ты исчезла. Отсвет лучезарного видения постепенно погасал в глазах моих, и слух мой более не улавливал отзвука волшебной музыки. Тогда, еще более недвижный и беспомощный, нежели статуя, сброшенная с пьедестала, я склонился на край подоконника. Вечерний благовест пробудил меня. Я поднялся, я бежал, но – увы! что-то было низвергнуто во мне, чего нельзя уже было поднять; что-то снизошло на меня, от чего нельзя было спастись бегством.

Он снова приостановился, потом продолжал:

– Да, начиная с этого дня во мне возник человек, которого я в себе не знал. Я пытался прибегнуть ко всем моим обычным средствам: монастырю, алтарю, работе, книгам. Безумие! О, сколь пустозвонив наука, когда ты, в отчаянии, преисполненный страстей, ищешь у нее прибежища! Знаешь ли ты, девушка, что вставало отныне между книгами и мной? Ты, твоя тень, образ светозарного видения, возникшего однажды передо мной в пространстве. Но образ этот стал уже иным, – темным, зловещим, мрачным, как черный круг, который неотступно стоит перед глазами того неосторожного, кто пристально взглянул на солнце.

Не в силах избавиться от него, преследуемый напевом твоей песни, постоянно видя на моем молитвеннике твои пляшущие ножки, постоянно ощущая ночью во сне, как твое тело касается моего, я хотел снова увидеть тебя, дотронуться до тебя, знать, кто ты, убедиться, соответствуешь ли ты идеальному образу, который запечатлелся во мне, а быть может, и затем, чтобы суровой действительностью разбить мою грезу. Как бы то ни было, я надеялся, что новое впечатление развеет первое, а это первое стало для меня невыносимо. Я искал тебя. Я вновь тебя увидел. О горе! Увидев тебя однажды, я хотел тебя видеть тысячу раз, я хотел тебя видеть всегда. И можно ли удержаться на этом адском склоне? – я перестал принадлежать себе. Другой конец нити, которую дьявол привязал к моим крыльям, он прикрепил к твоей ножке. Я стал скитаться и бродить по улицам, как и ты. Я поджидал тебя в подъездах, я подстерегал тебя на углах улиц, я выслеживал тебя с высоты моей башни. Каждый вечер я возвращался еще более завороженный, еще более отчаявшийся, еще более околдованный, еще более обезумевший!

Я знал, кем ты была, – египтянка, цыганка, гитана, зингара, – можно ли было сомневаться в колдовстве? Слушай. Я надеялся, что судебный процесс избавит меня от порчи. Когда-то ведьма околдовала Бруно Аста; он приказал сжечь ее и исцелился. Я знал это. Я хотел испробовать это средство. Я запретил тебе появляться на Соборной площади, надеясь, что забуду тебя, если ты больше не придешь туда. Но ты не послушалась. Ты вернулась. Затем мне пришла мысль похитить тебя. Однажды ночью я попытался это сделать. Нас было двое. Мы уже схватили тебя, как вдруг появился этот презренный офицер. Он освободил тебя и этим положил начало твоему несчастью, моему и своему. Наконец, не зная, что делать и как поступить, я донес на тебя в духовный суд.

Я думал, что исцелюсь, подобно Бруно Асту. Я смутно надеялся и на то, что приговор отдаст тебя в мои руки, что в темнице я настигну тебя, что я буду обладать тобой, что там тебе не удастся ускользнуть от меня, что ты уже достаточно времени владела мною, а теперь я овладею тобой. Когда творишь зло, твори его до конца. Безумие останавливаться на полпути! В чрезмерности греха таится исступленное счастье. Священник и колдунья могут слиться в наслажденье на охапке соломы и в темнице!

И вот я донес на тебя. Именно тогда-то я и пугал тебя при встречах. Заговор, который я умышлял против тебя, гроза, которую я собрал над твоей головой, давала о себе знать угрозами и вспышками. Однако я все еще медлил. Мой план был ужасен, и это заставляло меня отступать.

Быть может, я отказался бы от него, быть может, моя чудовищная мысль погибла бы в моем мозгу, не дав плода. Мне казалось, что только от меня зависело продлить или прервать это судебное дело. Но каждая дурная мысль настойчиво требует своего воплощения. И в том, в чем я мыслил себя всемогущим, рок оказался сильнее меня. Увы! Этот рок овладел тобою и бросил тебя под ужасные колеса машины, которую я коварно изготовил! Слушай. Я подхожу к концу.

Однажды – в такой же солнечный день – мимо меня проходит человек, он произносит твое имя и смеется, и в глазах его горит вожделение. Проклятие! Я последовал за ним. Что было дальше, ты знаешь.

Он умолк.

Молодая девушка могла лишь вымолвить:

– О мой Феб!

– Не произноси этого имени! – воскликнул священник, сжав ей руку. – О несчастные! Это имя сгубило нас всех! Или, вернее, мы все погубили друг друга вследствие необъяснимой игры рока! Ты страдаешь, не правда ли! Тебе холодно, мгла слепит тебя, тебя окружают стены темницы? Но, может быть, в глубине твоей души еще теплится свет, пусть даже то будет твоя ребяческая любовь к этому легкомысленному человеку, который забавлялся твоим сердцем! А я – я ношу тюрьму в себе. Зима, лед, отчаянье внутри меня! Ночь в душе моей!

Знаешь ли ты все, что я выстрадал? Я был на суде Я сидел на скамье с духовными судьями. Да, под одним из этих монашеских капюшонов извивался грет ник. Когда тебя привели, я был там; когда тебя допрашивали, я был там. О волчье логово! То было мое преступление, уготованная для меня виселица; я видел, как ее очертания медленно возникали над твоей головой. При появлении каждого свидетеля, при каждой улике, при защите я был там; я мог бы сосчитать каждый шаг на твоем скорбном пути; я был там, когда этот дикий зверь… О, я не предвидел пытки! Слушай. Я последовал за тобой в застенок. Я видел, как тебя раздели, как тебя, полуобнаженную, хватали гнусные руки палача. Я видел твою ножку, – я б отдал царство, чтобы запечатлеть на ней поцелуй и умереть, – я видел, как эту ножку, которая, даже наступив на мою голову и раздавив ее, дала бы мне неизъяснимое наслаждение, зажали ужасные тиски «испанского сапога», превращающего ткани живого существа в кровавое месиво. О несчастный! В то время как я смотрел на это, я бороздил себе грудь кинжалом, спрятанным под сутаной! При первом твоем вопле я всадил его себе в тело; при втором он пронзил бы мне сердце! Гляди! Кажется, раны еще кровоточат.

Он распахнул сутану. Действительно, его грудь была вся истерзана, словно когтями тигра, а на боку зияла большая, плохо затянувшаяся рана.

Узница отпрянула в ужасе.

– О девушка, сжалься надо мной! – продолжал священник. – Ты мнишь себя несчастной! Увы! Ты не знаешь, что такое несчастье! О! Любить женщину! Быть священником! Быть ненавистным! Любить ее со всем неистовством, чувствовать, что за тень ее улыбки ты отдал бы свою кровь, свою душу, свое доброе имя, свое спасение, бессмертие, вечность, жизнь

земную и загробную; сожалеть, что ты не король, не гений, не император, не архангел, не бог, чтобы повергнуть к ее стопам величайшего из рабов; денно и нощно лелеять ее в своих грезах, в своих мыслях – и видеть, что она влюблена в солдатский мундир! И не иметь ничего взамен, кроме скверной священнической рясы, которая вызывает в ней лишь страх и отвращение! Изнемогая от ревности и ярости, быть свидетелем того, как она расточает дрянному, тупоголовому хвастуну сокровища своей любви и красоты. Видеть, как это тело, формы которого жгут, эта грудь, такая прекрасная, эта кожа трепещут и розовеют под поцелуями другого! О небо! Любить ее ножку, ее ручку, ее плечи; терзаясь ночи напролет на каменном полу кельи, мучительно грезить о ее голубых жилках, о ее смуглой коже – и видеть, что все ласки, которыми ты мечтал одарить ее, свелись к пытке, что тебе удалось лишь уложить ее на кожаную постель! О, это поистине клещи, раскаленные на адском пламени! Как счастлив тот, кого распиливают надвое или четвертуют! Знаешь ли ты муку, которую испытывает человек долгими ночами, когда кипит кровь, когда сердце разрывается, голова раскалывается, зубы впиваются в руки, когда эти яростные палачи, словно на огненной решетке, без устали пытают его любовной грезой, ревностью, отчаянием! Девушка, сжалься! Дай мне передохнуть! Немного пепла на этот пылающий уголь! Утри, заклинаю тебя, пот, который крупными каплями струится с моего лба! Дитя, терзай меня одной рукой, но ласкай другой! Сжалься, девушка! Сжалься надо мной!

Священник катался по каменному, залитому водою полу и бился головой об углы каменных ступеней. Девушка слушала его, смотрела на него.

Когда он умолк, опустошенный и задыхающийся, она проговорила вполголоса:

– О мой Феб!

Священник пополз к ней на коленях.

– Умоляю тебя, – закричал он, – если в тебе есть сердце, не отталкивай меня! О, я люблю тебя! Горе мне! Когда ты произносишь это имя, несчастная, ты словно дробишь своими зубами мою душу. Сжалься! Если ты исчадие ада, я последую за тобой. Я все для этого совершил. Тот ад, в котором будешь ты, – мой рай! Твой лик прекрасней божьего лика! О, скажи, ты не хочешь меня? В тот день, когда женщина отвергнет такую любовь, как моя, горы должны содрогнуться. О, если бы ты пожелала! Как бы мы были счастливы! Бежим, – я заставлю тебя бежать, – мы уедем куда-нибудь, мы отыщем на земле место, где солнце ярче, деревья зеленее и небо синее. Мы будем любить друг друга, мы сольем наши души и будем пылать вечной жаждой друг друга, которую вместе и неустанно будем утолять из кубка неиссякаемой любви!

Она прервала его ужасным, резким смехом:

– Поглядите же, отец мой, у вас кровь под ногтями!

Священник некоторое время стоял, словно окаменевший, устремив пристальный взгляд на свои руки.

– Ну, хорошо, пусть так! – со странной кротостью ответил он. – Оскорбляй меня, насмехайся надо мной, обвиняй меня, но идем, идем, спешим! Это будет завтра, говорю тебе. Гревская виселица, ты знаешь? Она всегда наготове. Это ужасно! Видеть, как тебя повезут в этой повозке! О, сжалься! Только теперь я чувствую, как сильно люблю тебя. О, пойдем со мной! Ты еще успеешь меня полюбить после того, как я спасу тебя. Можешь ненавидеть меня, сколько пожелаешь! Но бежим! Завтра! Завтра! Виселица! Твоя казнь! О, спаси себя! Пощади меня!

Он схватил ее за руку, он был вне себя, он хотел увести ее силой.

Она остановила на нем неподвижный взор:

– Что сталось с моим Фебом?

– А! – произнес священник, отпуская ее руку. – Вы безжалостны!

– Что сталось с Фебом? – холодно повторила она.

– Он умер! – крикнул священник.

– Умер? – так же безжизненно и холодно сказала она. – Так зачем же вы говорите мне о жизни?

Священник не слушал ее.

– О да! – бормотал он, как бы обращаясь к самому себе. – Он наверное умер. Клинок вошел глубоко. Мне кажется, что острие коснулось его сердца. О, я сам жил на острие этого кинжала!

Бросившись на него, молодая девушка, как разъяренная тигрица, оттолкнула его с нечеловеческой силой на ступени лестницы.

– Уходи, чудовище! Уходи, убийца! Дай мне умереть! Пусть наша кровь навеки заклеймит твой лоб! Принадлежать тебе, поп? Никогда! Никогда! Ничто не соединит нас, даже ад! Уйди, проклятый! Никогда!

Священник споткнулся о ступеньку. Он молча высвободил ноги, запутавшиеся в складках одежды, взял фонарь и медленно стал подниматься по лестнице к двери. Он открыл эту дверь и вышел.

Вдруг девушка увидела, как его голова вновь появилась в отверстии люка. Лицо его было ужасно; хриплым от ярости и отчаяния голосом он крикнул:

– Говорят тебе, он умер!

Она упала ничком на землю, и ничего больше не было слышно в темнице, кроме вздохов капель воды, зыбивших лужу во мраке.

V. Мать

Не думаю, чтобы во всей вселенной было что-нибудь отраднее чувств, которые пробуждаются в сердце матери при виде крошечного башмачка ее ребенка. Особенно, если это праздничный башмачок, воскресный, крестильный: башмачок, расшитый почти до самой подошвы, башмачок младенца, еще не ставшего на ножки. Этот башмачок так мал, так мил, он так явно непригоден для ходьбы, что матери кажется, будто она видит свое дитя. Она улыбается ему, она целует его, она разговаривает с ним. Она спрашивает себя, может ли ножка быть такой маленькой: и если даже нет с ней ребенка, то ей достаточно взглянуть на хорошенький башмачок, чтобы перед ней уже возник образ нежного и хрупкого создания. Ей чудится, что она его видит, живого, смеющегося, его нежные ручки, круглую головку, ясные глазки с голубоватыми белками, его невинные уста. Если на дворе зима, то вот он, здесь, ползает по ковру, деловито карабкается на скамейку, и мать трепещет от страха, как бы он не приблизился к огню. Если же лето, то он ковыляет по двору, по саду, рвет траву, растущую между булыжниками, простодушно, безбоязненно глядит на больших собак, на больших лошадей, забавляется ракушками, цветами и заставляет ворчать садовника, который находит на куртинах песок, на дорожках землю. Все, как и он, улыбается, все играет, все сверкает вокруг него, – даже ветерок и солнечный луч бегают взапуски, путаясь в ее кудряшках. Все это возникает перед матерью при взгляде на башмачок, и, как воск на огне, тает ее сердце.

Но когда дитя утрачено, эти радостные, очаровательные, нежные образы, которые обступают крошечный башмачок, превращаются в источник ужасных страданий. Хорошенький расшитый башмачок становится орудием пытки, которое непрестанно терзает материнское сердце. В этом сердце звучит все та же струна, струна самая затаенная, самая чувствительная; но вместо ангела, ласково прикасающегося к ней, ее дергает демон.

Однажды утром, когда майское солнце вставало на темно-синем небе, на таком фоне Гарофало любил писать свои многочисленные «Снятие со креста», – затворница Роландовой башни услышала доносившийся с Гревской площади шум колес, топот копыт, лязг железа. Это ее не очень удивило, и, закрыв уши волосами, чтобы заглушить шум, она снова, стоя на коленях, отдалась созерцанию неодушевленного предмета, которому поклонялась вот уж

пятнадцать лет. Этот башмачок, как мы уже говорили, был для нее вселенной. В нем была заточена ее мысль, и освободить ее от этого заключения могла одна лишь смерть. Сколько горьких упреков, трогательных жалоб, молитв и рыданий об этой очаровательной безделке розового шелка воссылала она к небесам, об этом знала только мрачная келья Роландовой башни. Никогда еще подобное отчаяние не изливалось на такую прелестную и такую изящную вещицу.

В это утро, казалось, скорбь ее была еще надрывнее, чем всегда, и ее громкое монотонное причитание, долетавшее из склепа, щемило сердце.

– О дочь моя! – стонала она. – Мое бедное дорогое дитя! Никогда больше я не увижу тебя! Все кончено! А мне сдается, будто это произошло вчера. Боже мой, боже мой! Уж лучше бы ты не дарил ее мне, если хотел отнять так скоро! Разве тебе не ведомо, что ребенок врастает в нашу плоть, и мать, потерявшая дитя, перестает верить в бога? О несчастная, зачем я вышла из дому в этот день? Господи, господи! Если ты лишил меня дочери, то ты, наверное, никогда не видел меня вместе с нею, когда я отогревала ее, веселенькую, у моего очага; когда она, улыбаясь мне, сосала мою грудь; когда я заставляла ее перебирать ножонками по мне до самых моих губ! О, если бы ты взглянул на нас тогда, господи, ты бы сжалился надо мной, над моим счастьем, ты не лишил бы меня единственной любви, которая еще жила в моем сердце! Неужели я была такой презренной тварью, господи, что ты не пожелал даже взглянуть на меня, прежде, чем осудить? О горе, горе! Вот башмачок, а ножка где? Где все ее тельце? Где дитя? Дочь моя! Дочь моя! Что они сделали с тобой? Господи, верни ее мне! За те пятнадцать лет, что я провела в моленьях перед тобой, о господи, мои колени покрылись струпьями! Разве этого мало? Верни ее мне хоть на день, хоть на час, хоть на одну минуту, на одну минуту, господи! А потом ввергни меня на веки вечные в преисподнюю! О, если бы я знала, где влачится край твоей ризы, я ухватилась бы за него обеими руками и умолила бы вернуть мое дитя! Вот ее хорошенький крохотный башмачок! Разве тебе его не жаль, господи? Как ты мог обречь бедную мать на пятнадцатилетнюю муку? Пресвятая дева, милостивая заступница! Верни мне моего младенца Иисуса, у меня его отняли, у меня его украли, его пожрали на поляне, поросшей вереском, выпили его кровь, обглодали его косточки! Сжалься надо мной, пресвятая дева! Моя дочь! Я хочу видеть мою дочь! Что мне до того, что она в раю? Мне не нужны ваши ангелы, мне нужно мое дитя! Я – львица, мне нужен мой львенок! Я буду кататься по земле, я разобью камни моей головой, я загублю свою душу, я прокляну тебя, господи, если ты не отдашь мне мое дитя! Ты же видишь, что мои руки все искусаны! Разве милосердный бог может быть безжалостным? О, не давайте мне ничего, кроме соли и черного хлеба, лишь бы со мной была моя дочь, лишь бы она, как солнце, согревала меня! Увы, господи владыка мой, я всего лишь презренная грешница, но моя дочь делала меня благочестивой. Из любви к ней я была исполнена веры; в ее улыбке я видела тебя, словно предо мной разверзалось небо. О, если бы мне хоть раз, еще один только раз обуть ее маленькую розовую ножку в этот башмачок – и я умру, милосердная дева, благословляя твое имя! Пятнадцать лет! Она была бы теперь взрослой! Несчастное дитя! Как? Неужели я никогда больше не увижу ее, даже на небесах? Ведь мне туда не попасть. О, какая мука! Думать – вот ее башмачок, и это все, что осталось!

Несчастная бросилась на башмачок, этот источник ее утехи и ее отчаяния в продолжение стольких лет, и грудь ее потрясли страшные рыдания, как и в день утраты. Ибо для матери, потерявшей ребенка, день этот длится вечно. Такая скорбь не стареет. Пусть траурное одеяние ветшает и белеет, но сердце остается облаченным в траур.

В эту минуту послышались радостные и звонкие голоса детей, проходивших мимо ее кельи. Всякий раз, когда она видела или слышала детей, бедная мать убегала в самый темный угол своего склепа и, казалось, хотела зарыться в камни, лишь бы не слышать их. Но на этот раз она резким движением встала и начала прислушиваться. Один мальчик сказал:

– Это потому, что сегодня будут вешать цыганку.

Тем внезапным скачком, который мы наблюдаем у паука, когда он бросается на запутавшуюся в его паутине муху, она бросилась к оконцу, выходившему, как известно, на Гревскую площадь. Действительно, к виселице, всегда стоявшей на площади, была приставлена лестница, и палач налаживал цепи, заржавевшие от дождя. Вокруг стояли зеваки.

Смеющиеся дети отбежали уже далеко. Вретишница искала глазами прохожего, чтобы расспросить его. Наконец она заметила около своей берлоги священника. Он делал вид, будто читает требник, но в действительности был не столько занят «зарешеченным Священным писанием», сколько виселицей, на которую бросал по временам мрачный и дикий взгляд. Затворница узнала в нем архидьякона Жозасского, святого человека.

– Отец мой! – обратилась она к нему. – Кого это собираются вешать?

Священник взглянул на нее и промолчал. Она повторила вопрос. Тогда он ответил:

– Не знаю.

– Тут пробегали дети и говорили, что цыганку, – продолжала затворница.

– Возможно, – ответил священник.

Тогда Пакетта Шантфлери разразилась злобным хохотом.

– Сестра моя! – сказал архидьякон. – Вы, должно быть, ненавидите цыганок?

– Еще как ненавижу! – воскликнула затворница. – Это оборотни, воровки детей! Они растерзали мою малютку, мою дочь, мое дитя, мое единственное дитя! У меня нет больше сердца, они сожрали его!

Она была страшна. Священник холодно глядел на нее.

– Есть между ними одна, которую я особенно ненавижу, которую я прокляла, – продолжала она. – Она молодая, ей столько же лет, сколько было бы теперь моей дочери, если бы ее мать не пожрала мое дитя. Всякий раз, когда эта молодая ехидна проходит мимо моей кельи, вся кровь у меня закипает!

– Ну так радуйтесь, сестра моя, – сказал священник, бесстрастный, как надгробная статуя, – именно еето вы и увидите на виселице.

Голова его склонилась на грудь, и он медленной поступью удалился.

Затворница радостно всплеснула руками.

– Я ей это предсказывала! Спасибо, священник! – крикнула она и принялась большими шагами расхаживать перед решеткой оконца, всклокоченная, сверкая глазами, натыкаясь плечом на стены, с хищным видом голодной волчицы, которая мечется по клетке, чуя, что близок час кормежки.

VI. Три мужских сердца, созданных различно

Феб не умер. Такие люди живучи. Когда чрезвычайный королевский прокурор Филипп Лелье заявил бедной Эсмеральде: «Он при последнем издыхании», то это сказано было либо по ошибке, либо в шутку. Когда архидьякон подтвердил узнице: «Он умер», то в сущности он ничего не знал, но думал так, рассчитывал на это, не сомневался в этом и очень на это уповал. Ему было бы слишком тяжело сообщить любимой женщине добрые вести о своем сопернике. Каждый на его месте поступил бы так же.

Рана Феба хотя и была опасной, но не настолько, как надеялся архидьякон. Почтенный лекарь, к которому ночной дозор, не мешкая, отнес Феба, опасался восемь дней за его жизнь и даже высказал ему это по-латыни. Однако молодость взяла свое; как это нередко бывает, вопреки всем прогнозам и диагнозам, природа вздумала потешиться, и больной выздоровел, наставив нос врачу. Филипп Лелье и следователь духовного суда допрашивали его как раз тогда, когда он лежал на одре болезни у лекаря, и порядком ему наскучили. Поэтому в одно прекрасное утро, почувствовав себя уже несколько окрепшим, он оставил аптекарю в уплату за лекарства свои золотые шпоры и сбежал. Впрочем, это обстоятельство не внесло ни

малейшего беспорядка в ход следствия. В то время правосудие очень мало заботилось о ясности и четкости уголовного судопроизводства Лишь бы обвиняемый был повешен – это все, что требовалось суду. Кроме того, судьи имели достаточно улик против Эсмеральды. Они полагали, что Феб умер, и этого им было довольно.

Что же касается Феба, то он убежал недалеко. Он просто-напросто отправился в свой отряд, стоявший в Ке-ан-Бри, в Иль-де-Франс, на расстоянии нескольких почтовых станций от Парижа.

В конце концов его нисколько не привлекала мысль предстать перед судом. Он смутно чувствовал, что будет смешон. В сущности он и сам не знал, что думать обо всем этом деле. Он был не больше чем солдат, – неверующий, но суеверный. Поэтому, когда он пытался разобраться в своем приключении, его смущало все – и коза, и странные обстоятельства его встречи с Эсмеральдой, еще более странный способ, каким она дала угадать ему свою любовь, и то, что она цыганка, и, наконец, монах-привидение. Во всем этом он усматривал больше колдовства, чем любви. Возможно, цыганка была действительно ведьмой или даже самим дьяволом. А может быть, все это просто комедия или, говоря языком того времени, пренеприятная мистерия, в которой он сыграл незавидную роль, роль побитого и осмеянного героя. Капитан был посрамлен, он ощущал тот род стыда, для которого наш Лафонтен нашел такое превосходное сравнение.

Пристыженный, как лис, наседкой взятый в плен.

Он надеялся все же, что эта история не получит широкой огласки, что его имя, раз он отсутствует, будет там только упомянуто и во всяком случае не выйдет за пределы залы Турнель. В этом он не ошибался. В то время не существовало еще Судебных ведомостей, а так как не проходило недели, чтобы не сварили фальшивомонетчика, не повесили ведьму или не сожгли еретика на каком-нибудь из бесчисленных «лобных мест» Парижа, то народ до такой степени привык встречать на всех перекрестках дряхлую феодальную Фемиду с обнаженными руками и засученными рукавами, делавшую свое дело у виселиц, плах и позорных столбов, что почти не обращал на это внимания. Высший свет не интересовался именами осужденных, которых вели по улице, а простонародье смаковало эту грубую пищу. Казнь была обыденным явлением уличной жизни, таким же, как жаровня пирожника или бойня живодера. Палач был тот же мясник, только более искусный.

Итак, Феб довольно скоро перестал думать о чаровнице Эсмеральде, или Симиляр, как он ее называл, об ударе кинжалом, нанесенном ему не то цыганкой, не то монахом-привидением (его не интересовало, кем именно), и об исходе процесса. Как только сердце его стало свободным, образ Флер-де-Лис вновь там поселился Сердце капитана Феба, как и физика того времени, не терпело пустоты.

К тому же пребывание в Ке-ан-Бри было прескучным. Эта деревушка, населенная кузнецами и коровницами с потрескавшимися руками, представляла собой всего лишь длинный ряд лачуг и хижин, тянувшихся на пол-лье по обе стороны дороги, – одним словом, настоящий «хвост»[130] провинции Бри.

Флер-де-Лис, его предпоследняя страсть, была прелестная девушка с богатым приданым. Итак, в одно великолепное утро, совершенно оправившись от болезни и полагая не без оснований, что за истекшие два месяца дело цыганки уже окончено и забыто, влюбленный кавалер, гарцуя, подскакал к дверям дома Гонделорье.

Он не обратил внимания на довольно густую толпу, собравшуюся на площади перед Собором Богоматери Был май месяц, и Феб решил, что это, вероятно, какая-нибудь процессия. Троицын день или другой праздник, он привязал лошадь к кольцу подъезда и весело взбежал наверх, к своей красавице-невесте.

Он застал ее одну с матерью.

У Флер-де-Лис все время камнем на сердце лежало воспоминание о сцене с колдуньей, с ее козой и ее проклятой азбукой; беспокоило ее и длительное отсутствие Феба. Но когда она увидела своего капитана, его лицо показалось ей таким красивым, его куртка такой нарядной и новой, его портупея такой блестящей и таким страстным его взгляд, что она покраснела от удовольствия. Благородная девица и сама казалась прелестнее чем когда-либо Ее чудесные белокурые волосы были восхитительно заплетены в косы, платье было небесноголубого цвета, который так к лицу блондинкам, – этому ухищрению кокетства ее научила Коломба, – а глаза подернуты поволокой неги, которая еще больше красит женщин.

Феб, уже давно не видевший красавиц, кроме разве доступных красоток Ке-ан-Бри, был опьянен Флер-деЛис, и это придало такую любезность и галантность манерам капитана, что мир был тотчас же заключен. Даже у самой г-жи Гонделорье, по-прежнему материнским взглядом взиравшей на них из глубины своего кресла, не достало духу бранить его. Что касается Флер-де-Лис, то ее упреки заглушало нежное воркование.

Девушка сидела у окна, по-прежнему вышивая грот Нептуна Капитан облокотился о спинку ее стула, и она вполголоса ласково журила его:

– Что же с вами приключилось за эти два долгих месяца, злодей?

– Клянусь вам, – отвечал несколько смущенный Феб, – вы так хороши, что можете вскружить голову даже архиепископу.

Она не могла сдержать улыбку.

– Хорошо, хорошо, оставьте в покое мою красоту и отвечайте на вопрос.

– Извольте, дорогая! Я был вызван в гарнизон.

– Куда это, позвольте вас спросить? И отчего вы не зашли проститься?

– В Ке-ан-Бри.

Феб был в восторге, что первый вопрос давал ему возможность увильнуть от второго.

– Но ведь это очень близко! Как же вы ни разу не навестили меня?

Феб окончательно запутался.

– Дело в том… служба… Кроме того, моя прелесть, я был болен.

– Болен? – повторила она в испуге.

– Да… ранен.

– Ранен?

Девушка была потрясена.

– О, не беспокойтесь! – небрежно сказал Феб. – Пустяки. Ссора, удар шпаги. Что вам до этого!

– Что мне до этого? – воскликнула Флер-де-Лис, поднимая на него свои прекрасные глаза, полные слез. – Вы не думаете о том, что говорите. Что это за удар шпаги? Я хочу знать все.

– Но, дорогая, видите ли… Я повздорил с Маэ Феди, лейтенантом из Сен-Жермен-ан-Ле, и мы чутьчуть подпороли друг другу кожу. Вот и все.

Враль-капитан отлично знал, что дело чести всегда возвышает мужчину в глазах женщины. И действительно, Флер-де-Лис смотрела на него, трепеща от страха, счастья и восхищения. Однако она еще не совсем успокоилась.

– Лишь бы вы были совсем здоровы, мой Феб! – проговорила она. – Я не знаю вашего Маэ Феди, но он гадкий человек. А из-за чего вы поссорились?

Феб, воображение которого не отличалось особой изобретательностью, не знал, как отделаться от своего подвига.

– Право, не знаю!.. Пустяк… лошадь… Неосторожное слово!.. Дорогая! – желая переменить разговор, воскликнул он. – Что это за шум на площади?

Он подошел к окну.

– Боже, сколько народу! Взгляните, моя прелесть!

– Не знаю, – ответила Флер-де-Лис. – Кажется, какая-то колдунья должна сегодня утром публично каяться перед собором, после чего ее повесят.

Капитан настолько был уверен в окончании истории с Эсмеральдой, что слова Флер-де-Лис нисколько его не встревожили. Однако он все же задал ей два-три вопроса:

– А как зовут колдунью?

Не знаю, – ответила Флер-де-Лис.

– А в чем ее обвиняют?

– Тоже не знаю.

Она снова пожала своими белыми плечами.

– Господи Иисусе! – воскликнула г-жа Алоиза. – Теперь развелось столько колдунов, что, я полагаю, их сжигают, даже не зная их имени. С таким же успехом можно добиться имени каждого облака на небе. Но можете не беспокоиться, преблагой господь ведет им счет. – Почтенная дама встала и подошла к окну. – Боже мой! – воскликнула она в испуге. – Вы правы, Феб, действительно, какая масса народу! Господи, даже на крыши взобрались! Знаете, Феб, это напоминает мне молодость, приезд короля Карла Седьмого, – тогда собралось столько же народу. Не помню, в каком году это было. Когда я вам рассказываю об этом, то вам, не правда ли, кажется, что все это глубокая старина, а передо мной воскресает моя юность. О, в те времена народ был красивее, чем теперь! Люди стояли даже на зубцах башни Сент-Антуанских ворот. А позади короля на его же коне сидела королева, и за их величествами следовали все придворные дамы, также сидя за спинами придворных кавалеров. Я помню, как много смеялись, что рядом с Аманьоном де Гарландом, человеком очень низкого роста, ехал сир Матфелон, рыцарь-исполин, перебивший тьму англичан. Это было дивное зрелище! Торжественное шествие всех дворян Франции с их пламеневшими стягами! У одних были значки на пике, у других – знамена. Всех-то я и не упомню Сир де Калан-со значком; Жан де Шатоморан – со знаменем; сир де Куси – со знаменем, да таким красивым, какого не было ни у кого, кроме герцога Бурбонского. Как грустно думать, что все это было и ничего от этого не осталось!

Влюбленные не слушали почтенную вдову. Феб снова облокотился на спинку стула нареченной – очаровательное место, откуда взгляд повесы проникал во все отверстия корсажа Флер-де-Лис. Ее косынка так кстати распахивалась, предлагая взору зрелище столь пленительное и давая такой простор воображению, что Феб, ослепленный блеском шелковистой кожи, говорил себе: «Можно ли любить кого-нибудь, кроме блондинок?»

Оба молчали. По временам девушка, бросая на Феба восхищенный и нежный взор, поднимала голову, и волосы их, освещенные весенним солнцем, соприкасались.

– Феб! – шепотом сказала Флер-де-Лис, – мы через три месяца обвенчаемся. Поклянитесь мне, что вы никого не любите, кроме меня.

– Клянусь вам, мой ангел! – ответил Феб; страстность его взгляда усиливала убедительность его слов. Может быть, в эту минуту он и сам верил тому, что говорил.

Между тем добрая мать, восхищенная полным согласием влюбленных, вышла из комнаты по каким-то мелким хозяйственным делам. Ее уход так окрылил предприимчивого капитана, что его стали обуревать довольно странные мысли. Флер-де-Лис любила его, он был с нею помолвлен, они были вдвоем; его былая склонность к ней снова пробудилась, если и не во всей свежести, то со всею страстностью; неужели же это такое преступление – отведать хлеба со своего поля до того, как он созреет? Я не уверен в том, что именно эти мысли проносились у него в голове, но достоверно то, что Флер-де-Лис вдруг испугалась выражения его лица. Она оглянулась и тут только заметила, что матери в комнате нет.

– Боже, как мне жарко! – охваченная тревогой, сказала она и покраснела.

– В самом деле, – согласился Феб, – скоро полдень, солнце печет. Но можно опустить шторы.

– Нет! Нет! – воскликнула бедняжка. – Напротив, мне хочется подышать чистым воздухом!

Подобно лани, чувствующей приближение своры гончих, она встала, подбежала к стеклянной двери, толкнула ее и выбежала на балкон.

Феб, раздосадованный, последовал за ней.

Площадь перед Собором Богоматери, на которую, как известно, выходил балкон, представляла в эту минуту зловещее и необычайное зрелище, уже по-иному испугавшее робкую Флер-де-Лис.

Огромная толпа переполняла площадь, заливая все прилегающие улицы. Невысокая ограда паперти, в половину человеческого роста, не могла бы сдержать напор толпы, если бы перед ней не стояли сомкнутым двойным рядом сержанты городской стражи и стрелки с пищалями в руках. Благодаря этому частоколу пик и аркебуз паперть оставалась свободной. Вход туда охранялся множеством вооруженных алебардщиков в епископской ливрее. Широкие двери собора были закрыты, что представляло контраст с бесчисленными, выходившими на площадь окнами, распахнутыми настежь, вплоть до слуховых, где виднелись головы, напоминавшие груды пушечных ядер в артиллерийском парке.

Поверхность этого моря людей была серого, грязноватого, землистого цвета. Ожидаемое зрелище относилось, по-видимому, к разряду тех, которые обычно привлекают к себе лишь подонки простонародья. Над этой кучей женских чепцов и до отвращения грязных волос стоял отвратительный шум. Здесь было больше смеха, чем криков, больше женщин, нежели мужчин.

Время от времени чей-нибудь пронзительный и возбужденный голос прорезал общий шум.

– Эй, Майэ Балиф! Разве ее здесь и повесят?

– Дура! Здесь она будет каяться в одной рубахе! Милосердный господь начихает ей латынью в рожу! Это всегда проделывают тут как раз в полдень. А хочешь полюбоваться виселицей, так ступай на Гревскую площадь.

– Пойду потом.

– Скажите, тетушка Букамбри, правда ли, что она отказалась от духовника?

– Кажется, правда, тетушка Бешень.

– Ишь ты, язычница!

– Таков уж обычай, сударь Дворцовый судья обязан сдать преступника, если он мирянин, для совершения казни парижскому прево, если же он духовного звания – председателю духовного суда.

– Благодарю вас, сударь.

– Боже! – воскликнула Флер-де-Лис – Несчастное создание!

Ее взгляд, скользнувший по толпе, был исполнен печали. Капитан, не обращая внимания на скопище простого народа, был занят невестой и ласково теребил сзади пояс ее платья Она с умоляющей улыбкой обернулась к нему.

– Прошу вас, Феб, не трогайте меня! Если войдет матушка, она заметит вашу руку.

В эту минуту на часах Собора Богоматери медлен но пробило двенадцать Ропот удовлетворения пробежал в толпе Едва затих последний удар, все головы задвигались, как волны от порыва ветра, на площади, в окнах, на крышах завопили – «Вот она!»

Флер-де-Лис закрыла лицо руками, чтобы ничего не видеть.

– Прелесть моя! Хотите, вернемся в комнату? – спросил Феб.

– Нет, – ответила она, и глаза ее, закрывшиеся от страха, вновь раскрылись из любопытства.

Телега, запряженная сильной, нормандской породы лошадью и окруженная всадниками в лиловых ливреях с белыми крестами на груди, въехала на площадь». Со стороны улицы Сен-Пьер-о-Беф. Стража ночного дозора расчищала ей путь в толпе мощными ударами палок. Рядом с телегой ехали верхом члены суда и полицейские, которых нетрудно было узнать по черному одеянию и неловкой посадке. Во главе их был Жак Шармолю.

В роковой повозке сидела девушка со связанными за спиной руками, одна, без священника Она была в рубашке ее длинные черные волосы (по обычаю того времени их «резали лишь у подножия эшафота) рассыпались по ее полуобнаженным плечам и груди.

Сквозь волнистые пряди, черные и блестящие, точно вороново крыло, виднелась толстая серая шершавая веревка, натиравшая нежные ключицы и обвивавшаяся вокруг прелестной шейки несчастной девушки, словно червь вокруг цветка Из-под веревки блестела ладанка, украшенная зелеными бусинками, которую ей оставили, вероятно, потому, что обреченному на смерть уже не отказывали ни в чем. Зрители, смотревшие из окон, могли разглядеть в тележке ее обнаженные ноги, которые она старалась поджать под себя, словно еще движимая чувством женской стыдливости. Возле нее лежала связанная козочка. Девушка зубами поддерживала падавшую с плеч рубашку. Казалось, она страдала еще и от того, что полунагая была выставлена напоказ толпе. Целомудрие рождено не для подобных ощущений.

– Иисусе! – воскликнула Флер-де-Лис. – Посмотрите, ведь это та противная цыганка с козой!

Она обернулась к Фебу. Его глаза были прикованы к телеге Он был очень бледен.

– Какая цыганка с козой? – заикаясь, спросил он.

– Как? – спросила Флер-де-Лис. – Разве вы не помните?..

Феб прервал ее:

– Не знаю, о чем вы говорите.

Он хотел было вернуться в комнату. Но Флер-деЛис, которой вновь зашевелилось чувство ревности, с такой силой пробужденное в ней не так давно этой же самой цыганкой, бросила на него проницательный и недоверчивый взгляд. Она припомнила, что в связи с процессом колдуньи упоминали о каком-то капитане.

– Что с вами? – спросила она Феба. – Можно подумать, что вид этой женщины смутил вас.

Феб пытался отшутиться:

– Меня? Нисколько! С какой стати!

– Тогда останьтесь, – повелительно сказала она – Посмотрим до конца.

Незадачливый капитан вынужден был остаться. Его, впрочем, немного успокаивало то, что несчастная не отрывала взора от дна телеги. Это, несомненно, была Эсмеральда Даже на этой крайней ступени позора и несчастья она все еще была прекрасна Ее большие черные глаза казались еще больше на ее осунувшемся лице; ее мертвенно-бледный профиль был чист и светел Слабая, хрупкая, исхудавшая, она походила на прежнюю Эсмеральду так же, как Мадонна Мазаччо походит на Мадонну Рафаэля.

Впрочем, все в ней, если можно так выразиться, утратило равновесие, все притупилось, кроме стыдливости, – так она была разбита отчаянием, так крепко сковало ее оцепенение. Тело ее подскакивало от каждого толчка повозки, как безжизненный, сломанный предмет. Взор ее был безумен и мрачен. В глазах стояли неподвижные, словно застывшие слезы.

Зловещая процессия проследовала сквозь толпу среди радостных криков и проявлений живого любопытства. Однако же мы, в качестве правдивого историка, должны сказать, что, при виде этой прекрасной и убитой горем девушки, многие, даже черствые люди были охвачены жалостью.

Повозка въехала на площадь.

Перед центральным порталом она остановилась. Конвой выстроился по обе стороны. Толпа притихла, и среди этой торжественной и напряженной тишины обе створки главных дверей как бы сами собой повернулись на своих завизжавших, словно флейты, петлях. И тут взорам толпы открылась во всю свою глубину внутренность мрачного храма, обтянутого траурными полотнищами, еле освещенного несколькими восковыми свечами, которые мерцали в главном алтаре. Будто огромный зев пещеры внезапно разверзся среди залитой солнцем площади. В глубине, в сумраке алтаря высился громадный серебряный крест, выделявшийся на фоне черного сукна, ниспадавшего от свода до пола Церковь была пуста. Только на отдельных скамьях клиросов кое-где виднелись головы священников. Когда врата распахнулись, в церкви грянуло торжественное, громкое, монотонное пение, словно порывами ветра обрушивая на голову осужденной слова зловещих псалмов.

– …Non timebo milUa populi circumdantis me. Exsurge, Domine; salvum me fac, Deus![131]

..Salvum me fac, Deus, quomam mtraverunt aquae usquc ad anirnan meam.[132]

…Injixus sum in Umo profundi, el non est substantla.[133]

Одновременно другой голос, отдельно от хора, со ступеней главного алтаря начал печальную песнь дароприношения:

Qui cerburn meum audit, ei credit ei qui misit me, habet vitam aelernam et in judiciurn поп venit, sed transit sua morte in vitam.[134]

Это долетающее издали пение сонма старцев, еле видных во мраке, было панихидой над дивным созданием, полным молодости, жизни, обласканным теплотой весеннего воздуха и солнечным светом.

Народ благоговейно внимал.

Несчастная девушка, охваченная страхом, словно затерялась взором и мыслью в темных глубинах храма. Ее бескровные губы шевелились, как бы шепча молитву, и когда помощник палача приблизился к ней, чтобы помочь ей сойти с телеги, то он услышал, как она тихо повторяла слово «Феб».

Ей развязали руки, заставили спуститься с повозки и пройти босиком по булыжникам мостовой до нижней ступени портала. Освобожденная козочка бежала вслед с радостным блеянием. Веревка, обвивавшая шею Эсмеральды, ползла за ней, словно змея.

И тут пение в храме стихло. Большой золотой крест и вереница свечей заколыхались во мраке. Послышался стук алебард пестро одетой церковной стражи, и несколько мгновений спустя на глазах осужденной и всей толпы развернулась длинная процессия священников в нарамниках и дьяконов в стихарях, торжественно, с пением псалмов направлявшаяся прямо к ней. Но взор ее был прикован лишь к тому, кто шел во главе процессии, непосредственно за человеком, несшим крест.

– Это он, – вся дрожа, проговорила она еле слышно, – опять этот священник!

В самом деле, это был архидьякон. По левую руку его следовал помощник соборного регента, по правую – регент, вооруженный своей палочкой. Архидьякон приближался к ней с откинутой головой, с неподвижным взглядом широко открытых глаз и пел громким голосом:

– De venire inferi clamavi, et exaudisti vocem meam, et projecisti me in profundum in corde marts, et flumen circumdedit me.[135]

В тот миг, когда он в сияющий полдень появился под высоким стрельчатым порталом, в серебряной парчовой ризе с черным крестом, он был так бледен, что у многих в толпе мелькнула мысль, не поднялся ли с надгробного камня один из коленопреклоненных мраморных епископов, чтобы встретить у порога могилы ту, которая шла умирать.

Столь же бледная и столь же похожая на статую, Эсмеральда почти не заметила, как в руки ей дали тяжелую горящую свечу желтого воска; она не внимала визгливому голосу писца, читавшего роковую формулу публичного покаяния; когда ей велели произнести «аминь», она

произнесла «аминь». И только увидев священника, который, сделав знак страже отойти, направился к ней, она почувствовала прилив сил.

Вся кровь в ней закипела. В этой оцепеневшей, застывшей душе вспыхнула последняя искра возмущения.

Архидьякон медленно приблизился. Даже у этого предела она видела, что его взгляд, скользивший по ее обнаженному телу, горит сладострастьем, ревностью и желанием. Затем он громко проговорил:

– Девица! Молила ли ты бога простить тебе твои заблуждения и прегрешения?

А, наклонившись к ее уху (зрители думали, что он принимает ее исповедь), он прошептал:

– Хочешь быть моею? Я могу еще спасти тебя!

Она пристально взглянула на него.

– Прочь, сатана, или я изобличу тебя!

Он улыбнулся страшной улыбкой.

– Тебе не поверят. Ты только присоединишь к своему преступлению еще и позор. Скорей отвечай! Хочешь быть моею?

– Что ты сделал с моим Фебом?

– Он умер, – ответил священник.

В эту минуту архидьякон поднял голову и увидел на другом конце площади, на балконе дома Гонделорье, капитана, стоявшего рядом с Флер-де-Лис. Он пошатнулся, провел рукой по глазам, взглянул еще раз и пробормотал проклятие. Черты его лица мучительно исказились.

– Так умри же! – сказал он сквозь зубы. – Никто не будет обладать тобой!

Простерши над цыганкой руку, он возгласил строгим голосом, прозвучавшим, как погребальный звон:

– I nunc, anima anceps, et sit tibi Deus misericors![136]

То была страшная формула, которою обычно заканчивались эти мрачные церемонии. То был условный знак священника палачу.

Народ упал на колени.

– Kyrie eleison![137] – запели священники под сводами портала.

– Kyrie eleison! – повторила толпа приглушенным рокотом, пробежавшим над ней, как зыбь всколыхнувшегося моря.

– Amen![138] – сказал архидьякон.

Повернувшись спиной к осужденной, он снова опустил голову и, скрестив руки, присоединился к процессии священников. Мгновение спустя и он сам, и крест, и свечи, и ризы скрылись под сумрачными арками собора. Его звучный голос, постепенно замирая вместе с хором, пел скорбный стих:

– …Omnes gurgites tui et fluctus tui super me transierunt.[139]

Стук алебард церковной стражи, постепенно затихая в глубине храма, напоминал удары башенных часов, возвещавших смертный час осужденной.

Врата Собора Богоматери оставались распахнутыми, позволяя толпе видеть пустой, унылый, траурный, темный и безгласный храм.

Осужденная стояла на месте, ожидая, что с ней будет. Один из стражей-жезлоносцев обратил на нее внимание Жака Шармолю, который во время описанной сцены углубился в изучение барельефа главного портала, изображавшего, по мнению одних, жертвоприношение Авраама, а по толкованию других – алхимический процесс, где ангел символизирует солнце, вязанка хвороста – огонь, а Авраам – мастера.

Нелегко было оторвать его от этого занятия. Наконец он обернулся, и по данному им знаку два человека в желтой одежде – помощники палача подошли к цыганке, чтобы опять связать ей руки.

Быть может, перед тем, как подняться на роковую телегу и отправиться в свой последний путь, девушку охватило раздирающее душу сожаление о жизни. Сухим, воспаленным взором окинула она небо, солнце, серебристые облака, разорванные неправильными четырехугольниками и треугольниками синего неба, затем взглянула вниз, вокруг себя, на землю, на толпу, взглянула на дома… И вдруг, в то время как человек в желтом скручивал ей локти за спиной, она испустила потрясающий вопль, вопль счастья. На балконе, там, на углу площади, она увидела его, своего друга, своего властелина, Феба, видение другой ее жизни!

Судья солгал! Священник солгал! Это точно он, она не могла сомневаться. Он стоял, прекрасный, живой, в ослепительном мундире, с пером на шляпе, со шпагой на боку!

– Феб! – крикнула она. – Мой Феб!

В порыве любви и восторга она хотела протянуть к нему дрожащие от волнения руки, но они были уже связаны.

И тогда она увидела, как капитан нахмурил брови, как прекрасная девушка, опиравшаяся на его руку, взглянула на него презрительно и гневно, как затем Феб произнес несколько слов, которые она не могла расслышать, и, как оба они исчезли за стеклянной дверью балкона, закрывшейся за ними.

– Феб! – вне себя крикнула она. – Неужели ты этому поверил?

Чудовищная мысль пришла ей на ум. Она вспомнила, что приговорена к смерти за убийство Феба де Шатопера.

До сей поры она все выносила. Но этот последний удар был слишком жесток. Она без чувств упала на мостовую.

– Живее отнесите ее в телегу, пора кончать! – сказал Шармолю.

Никто до сих пор не приметил на галерее среди королевских статуй, изваянных прямо над стрельчатой аркой портала, странного зрителя, который до этого мгновения пристально наблюдал за всем происходившим; он был так неподвижен, так далеко вытянул шею, он был так безобразен, что если бы не его лиловокрасное одеяние, то его можно было бы принять за одно из каменных чудовищ, через пасти которых вот уже шестьсот лет извергают воду длинные водосточные трубы собора. Зритель этот не пропустил ни одной подробности из всего, что происходило перед порталом Собора Богоматери. И в первую же минуту, никем не замеченный, он туго привязал к одной из колонок галереи толстую узловатую веревку, а другой конец свесил на паперть. После этого он принялся спокойно глядеть на площадь, посвистывая по временам, когда мимо пролетал дрозд.

Внезапно, в тот самый миг, когда помощники палача собирались исполнить равнодушно отданный приказ Шармолю, этот человек перескочил через балюстраду галереи, ногами, коленями, руками обхватил узловатую веревку и, словно дождевая капля, скользящая по стеклу, скатился по фасаду собора; с быстротой падающей с кровли кошки он подбежал к двум помощникам палача, поверг их наземь ударом своих огромных кулаков, одной рукой схватил цыганку, как ребенок куклу, и, высоко взнеся ее над своей головой, бросился в храм, крича громовым голосом:

– Убежище!

Все это было проделано с такой быстротой, что, произойди это ночью, одной вспышки молнии было бы достаточно, чтобы все увидеть.

– Убежище! Убежище! – повторила толпа, и рукоплескания десяти тысяч рук заставили вспыхнуть счастьем и гордостью единственный глаз Квазимодо.

Эта неожиданность заставила осужденную прийти в себя. Она разомкнула веки, взглянула на Квазимодо и тотчас же вновь их смежила, словно испугавшись своего спасителя.

Шармолю, палачи, стража – все остолбенели. Действительно, в стенах Собора Богоматери приговоренная была неприкосновенна. Собор был надежным приютом. У его порога кончалось всякое человеческое правосудие.

Квазимодо остановился под сводом главного портала. Его широкие ступни, казалось, так же прочно вросли в каменные плиты пола, как тяжелые романские столбы. Его огромная косматая голова уходила в плечи, точно голова льва, под длинной гривой которого тоже не видно шеи. Он держал трепещущую девушку, повисшую на его грубых руках, словно белая ткань, держал так бережно, точно боялся разбить ее или измять. Казалось, он чувствовал, что это было нечто хрупкое, изысканное, драгоценное, созданное не для его рук. Минутами он не осмеливался коснуться ее даже дыханием. И вдруг прижимал ее к своей угловатой груди, как свою собственность, как свое сокровище. Так мать прижимает к груди своего ребенка. Взор этого циклопа, обращенный на девушку, то обволакивал ее нежностью, скорбью и жалостью, то вдруг поднимался, полный огня. И тогда женщины смеялись и плакали, толпа неистовствовала от восторга, ибо в эти мгновения Квазимодо воистину был прекрасен. Он был прекрасен, этот сирота, подкидыш, это отребье; он чувствовал себя величественным и сильным, он глядел в лицо обществу, которое изгнало его, но в дела которого он так властно вмешался; глядел в лицо человеческому правосудию, у которого вырвал добычу, всем этим тиграм, которым оставалось ляскать зубами, приставам, судьям и палачам, всему королевскому могуществу, которое он, ничтожный, сломил с помощью всемогущего Бога.

Это покровительство, оказанное существом столь уродливым, как Квазимодо, существу столь несчастному, как присужденная к смерти, вызвало в толпе чувство умиления. То были отверженцы природы и общества; стоя на одной ступени, они помогали друг другу.

Несколько мгновений спустя торжествующий Квазимодо вместе со своей ношей внезапно исчез в соборе. Толпа, всегда любящая отвагу, отыскивала его глазами под сумрачными сводами церкви, сожалея о том, что предмет ее восхищения так быстро скрылся. Но он снова показался в конце галереи французских королей. Как безумный, промчался он по галерее, высоко поднимая на руках свою добычу и крича: «Убежище!» Толпа вновь разразилась рукоплесканиями. Миновав галерею, он опять исчез в глубине храма. Минуту спустя он показался на верхней площадке, все так же стремительно мчась с цыганкой на руках и крича: «Убежище! «. Толпа рукоплескала. Наконец в третий раз он появился на верхушке башни большого колокола и оттуда с гордостью показал всему Парижу ту, которую спас. Громовым голосом, который люди слышали редко и которого сам он никогда не слыхал, он трижды прокричал так исступленно, что звук его казалось, достиг облаков:

– Убежище! Убежище! Убежище!

– Слава! Слава! – отозвалась толпа, и этот могучий возглас, докатившись до другого берега реки, поразил народ, собравшийся на Гревской площади, и затворницу, не отводившую глаз от виселицы.

Книга девятая

I. Бред

Клода Фролло уже не было в соборе, когда его приемный сын так решительно рассек тот роковой узел, которым Клод стянул цыганку и в который попался сам. Войдя в ризницу, он сорвал с себя облачение, швырнул его на руки изумленному причетнику, выбежал через потайную дверь монастыря, приказал лодочнику правого берега Сены перевезти себя на другую сторону и углубился в холмистые улицы Университетского квартала, сам не зная, куда идет, и встречая на каждом шагу мужчин и женщин, весело спешивших к мосту Сен-Мишель в надежде «поспеть еще вовремя», чтобы увидеть, как будут вешать колдунью. Бледный, растерянный, потрясенный, слепой и дикий, подобно ночной птице, вспугнутой и

преследуемой среди бела дня оравой ребят, он не понимал более, где он, что с ним, грезит он или видит все наяву. Он то шел, то бежал наугад, не выбирая направления, сворачивая то в одну, то в другую улицу, подстегиваемый лишь одной мыслью о Гревской площади, об ужасной Гревской площади, которую он все время смутно ощущал позади себя.

Так пробежал он вдоль холма св. Женевьевы и вышел наконец из города через Сен-Викторские ворота. Он продолжал бежать до тех пор, пока, оглянувшись, мог еще видеть башни ограды Университета и разбросанные дома предместья; но когда наконец небольшое возвышение скрыло от него этот ненавистный Париж, когда он мог считать себя за сто лье от него, затерянным среди полей, в пустыне, он остановился; ему показалось, что здесь он может дышать свободно.

И тогда им овладели страшные мысли. Он прозрел свою душу и содрогнулся. Он вспомнил о несчастной девушке, погубившей его и им погубленной. В смятении он оглянулся на тот двойной извилистый путь, которым рок предопределил пройти их судьбам до того перекрестка, где он безжалостно столкнул их и разбил друг о друга. Он думал о безумии вечных обетов, о тщете целомудрия, науки, веры, добродетели, о ненужности бога. Он с упоением предался этим дурным мыслям и, все глубже погружаясь в них, чувствовал, что грудь его разрывает сатанинский хохот.

Исследуя свою душу, он понял, какое обширное место в ней было уготовано природой страстям, и усмехнулся с еще большей горечью. Он разворошил всю таившуюся в глубинах его сердца ненависть, всю злобу и беспристрастным оком врача, который изучает больного, убедился в том, что эта ненависть и эта злоба были не чем иным, как искаженной любовью, что любовь, этот родник всех человеческих добродетелей, в душе священника оборачивается чем-то чудовищным и что человек, созданный так, как он, став священником, становится демоном. Он разразился жутким смехом и вдруг побледнел: он вгляделся в самую мрачную сторону своей роковой страсти, этой разъедающей, ядовитой, полной ненависти, неукротимой страсти, приведшей цыганку к виселице, его – к аду; она осуждена, он проклят.

И он опять засмеялся, когда вспомнил, что Феб жив, что, наперекор всему, капитан жив, доволен и весел, что на нем мундир нарядней, чем когда-либо, и что у него новая возлюбленная, которой он показывал, как будут вешать прежнюю. Он посмеялся над собой еще громче, когда подумал, что из всех живущих на земле людей, которым он желал смерти, не избежала ее лишь цыганка – единственное существо, не вызывавшее в нем ненависти.

От капитана его мысль перенеслась к толпе, и тут его охватила мучительная ревность. Он подумал о том, что вся эта толпа видела обожаемую им женщину в одной сорочке, почти обнаженную. Он ломал себе руки при мысли, что эта женщина, чье тело, приоткрывшись перед ним в полумраке, могло бы дать ему райское блаженство, сегодня, в сияющий полдень, одетая, как для ночи сладострастия, была доступна взорам всей толпы. Он плакал от ярости над всеми этими тайнами поруганной, оскверненной, оголенной, навек опозоренной любви. Он плакал от ярости, представляя себе, сколько нечистых взглядов скользнуло под этот распахнутый ворот; эта прекрасная девушка, эта девственная лилия, эта чаша ненависти и восторгов, которую он лишь трепеща осмелился бы пригубить, была превращена в общественный котел, из которого все отребье Парижа – воры, нищие, бродяги – пришло черпать сообща бесстыдное, нечистое и извращенное наслаждение.

И когда он пытался вообразить себе счастье, которое он мог найти на земле, если бы девушка не была цыганкой, а он священником, если бы она любила его, а Феб не существовал на свете; когда он думал о том, что и для него могла начаться жизнь, полная любви и безмятежности, что в этот самый миг на земле есть счастливые пары, забывшиеся в нескончаемых беседах под сенью апельсиновых дерев, на берегу ручья, осиянные заходящим солнцем или звездной ночью, что и он с ней, если бы того пожелал господь, могли быть такой же благословенной парой, – сердце его исходило нежностью и отчаянием.

Она! Везде она! Эта неотвязная мысль возвращалась непрестанно, терзала его, жалила его мозг и раздирала его душу. Он ни о чем не сожалел, ни в чем не раскаивался; все, что он сделал, он готов был сделать вновь; он предпочитал видеть ее в руках палача, нежели в объятиях капитана, но он страдал, – он страдал так невыносимо, что по временам вырывал у себя клочья волос, чтобы посмотреть, не поседел ли он.

Было мгновение, когда ему представилось, что, быть может, в эту самую минуту отвратительная цепь, которую он утром видел, сейчас железным узлом стянулась на ее нежной милой шейке. Эта мысль заставила его облиться холодным потом.

И была другая минута, когда, смеясь над собой язвительным смехом, он вспомнил Эсмеральду такой, какой видел ее в первый день: живой, беспечной, веселой, нарядной, пляшущей, окрыленной, гармоничной, и Эсмеральду последнего дня – в рубище, с веревкой на шее, медленной поступью босыми ногами всходящую по крутым ступеням виселицы. Он так явственно представил себе этот двойной образ, что у него вырвался ужасающий вопль.

В то время как этот смерч отчаяния ниспровергал, ломал, рвал, гнул и выкорчевывал все в его душе, он взглянул на окружавшую его природу. У ног его куры, вороша мелкий кустарник, что-то клевали; блестящие жуки выползали на солнце, над его головой по синему небу скользили хлопья серебристых облаков, на горизонте шпиль аббатства Сен-Виктор шиферным своим обелиском перерезал округлую линию косогора, а мельник с холма Копо, посвистывая, глядел, как вертятся трудолюбивые крылья его мельницы Вся эта жизнь, деятельная, налаженная, спокойная, воплощенная во множество форм, причиняла ему боль Он опять бросился бежать.

Так бежал он через поля до самого вечера. Это бегство от природы, от жизни, от самого себя, от человека, от бога, от всего длилось целый день. Иногда он бросался ничком на землю и ногтями вырывал молодые колосья. Иногда как вкопанный останавливался посреди улицы в какой-нибудь пустынной деревушке, и так тяжки были его мысли, что он хватался руками за голову, как бы пытаясь оторвать ее и размозжить о камни мостовой.

Когда солнце склонилось к закату, он снова заглянул в свою душу, и ему показалось, что он почти сошел с ума Буря, бушевавшая в нем с тех пор, как он потерял и надежду и волю спасти цыганку, не оставила в его сознании ни одной здоровой мысли, ни одного уцелевшего понятия. Казалось, весь его разум был повержен во прах и лежал в обломках. Лишь два образа отчетливо стояли в его сознании – Эсмеральда и виселица Все остальное было покрыто тьмой Сближаясь, эти два образа являли ужасающее сочетание, и чем больше он сосредоточивал на них остаток своего внимания и мысли, тем больше в какой-то фантастической прогрессии они возрастали один – в своем изяществе, в прелести, в красоте и лучезарности, другой в своей чудовищности И под конец Эсмеральда казалась ему звездой, а виселица – громадной костлявой рукой.

Замечательно то, что ни разу в продолжение всей этой муки мысль о смерти по-настоящему не пришла ему в голову Так создан был этот несчастный Он цеплялся за жизнь Быть может, за ней он действительно видел ад.

Между тем день угасал То живое существо, которое еще прозябало в нем, смутно помышляло о возвращении домой Ему казалось, будто он далеко от Парижа, но, оглядевшись, он заметил, что всего только обошел кругом ограду Университетской стороны Направо от него вставали на горизонте шпиц Сен-Сюльпис и три высокие стрелы Сен-Жермен-де-Пре. Он направился в эту сторону. Когда у зубчатого вала, окружавшего Сен-Жермен, он услышал оклик стражи аббатства, то свернул на тропу, пролегавшую между мельницей аббатства и городской больницей для прокаженных, и через несколько минут оказался на окраине Пре-о-Клер Этот луг славился происходившими на нем день и ночь бесчинствами; это была «страшная гидра» несчастных сен-жерменских монахов, quod monachis Sancti-Germam pratensis hydra fuit, clericis nova semper dissidiorum capita suscitantibus[140]. Архидьякон боялся встретиться с кем-

нибудь; вид человеческого лица его страшил; он стороной обошел Университет и предместье Сен-Жермен, ему хотелось попасть в город как можно позднее. Он направился вдоль Пре-о-Клер, свернул на глухую тропинку, отделявшую Пре-о-Клер от Дье-Неф, и наконец вышел к реке. Там Клод нашел лодочника, – тот за несколько парижских денье довез его вверх по Сене до конца Сите и высадил на пустынной косе, которая тянулась за королевскими садами параллельно островку Коровий перевоз, где читатель однажды видел мечтающего Гренгуара.

Убаюкивающее покачивание лодки и плеск воды привели несчастного Клода в состояние оцепенения Когда лодочник удалился, он, с бессмысленным видом стоя на берегу, глядел перед собой, воспринимая все словно сквозь волны, увеличивавшие размеры и превращающие все, что его окружало, в какую-то фантасмагорию. Нередко утомление, вызванное великой скорбью, оказывает подобное действие на рассудок.

Солнце скрылось за высокой Нельской башней. Спустились сумерки. Побледнело небо, потеряла краски река; между этими двумя белесоватыми пятнами левый берег Сены, к которому был прикован его взор, выдавался темной массой и, все сужаясь в перспективе, черной стрелой вонзался в туман далекого горизонта Глаз различал лишь темные силуэты множества домов, четко выступавшие в сумерках на светлом фоне неба и воды. Там и сям вспыхивали окна, словно искры в груде тлеющих углей. Этот гигантский черный обелиск, одиноко тянущийся между белыми плоскостями неба и реки, очень широкий в этом месте, произвел на отца Клода странное впечатление, схожее с тем, которое испытывал бы человек, лежащий навзничь у подножия Страсбургского собора и глядящий, как вздымается над его головой огромный шпиль, вонзаясь в мглу сумерек. Только здесь Клод стоял, а обелиск лежал; но так как воды реки, отражая небеса, углубляли бездну под ним, огромный мыс, казалось, столь же дерзко устремлялся в пустоту, как и стрела собора; впечатление было тождественно. Оно было тем более странным и глубоким, что мыс действительно походил на шпиль Страсбургского собора, но шпиль вышиною в два лье, – это было нечто неслыханное, огромное, неизмеримое; это было сооружение, на которое еще никогда не взирало человеческое око; это была Вавилонская башня. Дымовые трубы домов, зубцы оград, резные коньки кровель, стрела Августинцев, Нельская башня – все эти выступы и зазубрины на колоссальном профиле обелиска усиливали иллюзию, представляясь глазам деталями пышной и причудливой скульптуры.

Клод, поддавшись этому обману чувств, вообразил, что видит воочию колокольню ада. Мириады огней, рассеянных на всех этажах чудовищной башни, казались ему множеством отверстий огромной внутренней печи; голоса и шум, вырывавшиеся оттуда, – воплями и хриплыми стонами. Ему стало страшно, он заткнул уши, чтобы ничего не слышать, повернулся, чтобы ничего не видеть, и большими шагами устремился прочь от ужасающего видения.

Но видение было в нем самом.

Когда он очутился на улицах города, прохожие, толкавшиеся у освещенных лавочных витрин, казались ему непрерывно кружившимся около него хороводом призраков. Странный грохот стоял у него в ушах. Необычайные образы смущали его разум. Он не видел ни домов, ни мостовой, ни повозок, ни мужчин, ни женщин, перед ним был лишь хаос сливавшихся неопределенных предметов. На углу Бочарной улицы находилась бакалейная лавка, над входной дверью которой был навес, со всех сторон украшенный, по обычаю незапамятных времен, жестяными обручиками, с которых и свисали деревянные свечи, раскачиваемые ветром и стучавшие, как кастаньеты. Ему показалось, что это в темноте стучат друг о друга скелеты повешенных на Монфоконе.

– О, это ночной ветер бросает их друг на друга! – пробормотал он. Стук их цепей сливается со стуком костей! Быть может, она уже среди них!

Полный смятения, он сам не знал, куда шел. Пройдя несколько шагов, он очутился у моста Сен-Мишель. В нижнем этаже одного из домов светилось окно. Он приблизился к нему и сквозь

треснувшие стекла увидел отвратительную комнату, пробудившую в нем смутное воспоминание. В комнате, скудно освещенной тусклой лампой, сидел белокурый здоровый и веселый юноша и, громко смеясь, целовал девушку в нескромном наряде. А подле лампы сидела за прялкой старуха, певшая дрожащим голосом. Когда юноша переставал смеяться, обрывки песни долетали до слуха священника. Это были какие-то непонятные и страшные слова:

Грев, лай, Грев, урчи!

Прялка, пряди! Кудель, сучись!

Ты, прялка, кудель для петли предназначь!

Свистит в ожиданье веревки палач.

Грев, лай, Грев, урчи!

Хороша веревка из крепкой пеньки!

Засевай не зерном – коноплей, мужики,

От Исси до Ванвра свои поля,

Поделом чтобы вору мука была.

Хороша веревка из крепкой пеньки!

Грев, лай. Грев, урчи!

Чтобы видеть, как девка ногами сучит

И как будет потом в петле оползать,

Станут окна домов, как живые глаза.

Грев, лай. Грев, урчи!

А молодой человек хохотал и ласкал девицу. Старуха была Фалурдель, девица – уличная девка, юноша – его брат Жеан.

Архидьякон продолжал смотреть в окно. Не все ли равно, на что смотреть!

Жеан подошел к другому окну, в глубине комнаты, распахнул его, взглянул на набережную, где вдали сверкали огни, и сказал, закрывая окно:

– Клянусь душой, вот уже и ночь! Горожане зажигают свечи, а господь бог – звезды.

Затем Жеан вернулся к потаскухе и, разбив стоявшую на столе бутылку, воскликнул:

– Пуста! Ах ты, черт! А денег у меня больше нет! Изабо, милашка, я только тогда успокоюсь, когда Юпитер превратит твои белые груди в две черные бутылки, из которых я день и ночь буду сосать бонское вино.

Эта остроумная шутка рассмешила девку. Жеан вышел.

Клод едва успел броситься ничком на землю, чтобы брат не столкнулся с ним, не поглядел ему в лицо, не узнал его. По счастью, на улице было темно, а школяр был пьян. Однако он заметил лежавшего в уличной грязи архидьякона.

– Ого! – воскликнул он. – Вот у кого сегодня был веселый денек!

Он толкнул ногою боявшегося дохнуть Клода.

– Мертвецки пьян! – продолжал Жеан. – Ну и наклюкался! Настоящая пиявка, отвалившаяся от винной бочки. Ба, да он лысый! – сказал он наклоняясь. – Совсем старик! Fortunate senex![141]

Затем Клод услышал, как он, удаляясь, рассуждал:

– А все же благоразумие – прекрасная вещь. Счастлив мой брат архидьякон, обладающий добродетелью и деньгами.

Архидьякон поднялся и во весь дух побежал к Собору Богоматери, громадные башни которого выступали во мраке над кровлями домов.

Когда он, запыхавшись, достиг Соборной площади, то вдруг отступил, не смея поднять глаза на зловещее здание.

– О, неужели все это могло произойти здесь нынче утром! – тихо проговорил он.

Наконец он осмелился взглянуть на храм. Фасад собора был темен. За ним мерцало ночное звездное небо. Серп луны, поднявшейся высоко над горизонтом, остановился в этот миг над верхушкой правой башни и казался лучезарной птицей, присевшей на край балюстрады, прорезанной черным рисунком трилистника.

Монастырские ворота были уже на запоре, но архидьякон всегда носил при себе ключ от башни, где помещалась его лаборатория. Он воспользовался им, чтобы проникнуть в храм.

В храме царили пещерный мрак и тишина. По большим теням, падавшим отовсюду широкими полосами, он понял, что траурные сукна утренней церемонии еще не были сняты. В сумрачной глубине церкви мерцал большой серебряный крест, усыпанный блистающими точками, словно млечный путь в ночи этой гробницы. Высокие окна хоров поднимали над черными драпировками свои стрельчатые верхушки, стекла которых, пронизанные лунным сиянием, были расцвечены теперь неверными красками ночи: лиловатой, белой, голубой, – эти оттенки можно найти только на лике усопшего. Увидев вокруг хоров эти озаренные мертвенным светом островерхие арки окон, архидьякон принял их за митры погубивших свою душу епископов. Он зажмурил глаза, а когда открыл их, ему показалось, будто он окружен кольцом бледных, глядевших на него лиц.

Он бросился бежать по церкви. Но ему почудилось, что храм заколебался, зашевелился, задвигался, ожил, что каждая толстая колонна превратилась в» громадную лапу, которая топала по полу своей каменной ступней, что весь гигантский собор превратился в сказочного слона, который пыхтя переступал своими колоннаминогами, с двумя башнями вместо хобота и с огромной черной драпировкой вместо попоны.

Его бред, его безумие достигли того предела, когда внешний мир превращается в видимый, осязаемый и страшный Апокалипсис.

На одну минуту он почувствовал облегчение. Углубившись в боковой придел, он заметил за чащей столбов красноватый свет. Он устремился к нему, как к звезде. Это была тусклая лампада, днем и ночью освещавшая молитвенник Собора Богоматери за проволочной сеткой. Он жадно припал к священной книге, надеясь найти в ней утешение или поддержку. Молитвенник был раскрыт на книге Иова, и, скользнув по странице напряженным взглядом, он увидел слова:

«И некий дух пронесся пред лицом моим, и я почувствовал его легкое дуновение, и волосы мои встали дыбом».

Прочитав этот мрачный стих, он ощутил то, что ощущает слепец, уколовшийся о поднятую им с земли палку. Колени у него подкосились, и он рухнул на плиты пола, думая о той, которая скончалась сегодня. Он чувствовал, как через его мозг проходит, переполняя его, какойто отвратительный дым; ему казалось, будто голова его превратилась в одну из дымовых труб преисподней.

По-видимому, он долго пролежал в таком состоянии, ни о чем не думая, сраженный и безвольный, во власти дьявола. Наконец силы вернулись к нему, и он решил искать убежища в башне, у своего верного Квазимодо. Он встал, и так как ему было страшно, то он взял лампаду, горевшую перед молитвенником. Это было кощунство, но для него уже не имела значения такая безделица.

Медленно взбирался он по башенной лестнице, охваченный ужасом, который сообщался, вероятно, и редким прохожим на Соборной площади, видевшим таинственный огонек, поднимавшийся в столь поздний час от бойницы к бойнице до самого верха колокольни.

Внезапно в лицо ему повеяло прохладой, он оказался у двери верхней галереи. Воздух был свеж; по небу неслись облака, широкие, белые валы которых, громоздясь друг на друга и обламывая угловатые края, напоминали ледоход. Лунный серп среди облаков казался небесным кораблем, потерпевшим крушение и затертым воздушными льдами.

Некоторое время он всматривался в просветы между колонками, которые образовывали ограду, соединявшую обе башни, сквозь дымку тумана и испарений, в безмолвную толпу дальних парижских кровель, острых, неисчислимых, скученных, маленьких, словно волны спокойного моря в летнюю ночь.

Луна бросала бледный свет, придававший небу и земле пепельный отлив.

В эту минуту башенные часы подали свой высокий надтреснутый голос. Пробило полночь. Священнику вспомнился полдень. Вновь било двенадцать.

– О, она теперь, должно быть, уже похолодела! – прошептал он.

Вдруг порыв ветра задул лампаду, и почти в то же мгновение он увидел у противоположного угла башни тень, белое пятно, некий образ, женщину. Он вздрогнул. Рядом с женщиной стояла козочка, блеяние которой сливалось с последним ударом часов.

Он нашел в себе силы взглянуть на нее. То была она.

Она была бледна и сурова. Ее волосы так же, как и поутру, спадали на плечи. Но ни веревки на шее, ни связанных рук. Она была свободна, она была мертва.

Она была в белой одежде, белое покрывало спускалось с ее головы.

Медленной поступью подвигалась она к нему, глядя на небо. Колдунья-коза следовала за нею. Бежать он не мог; он чувствовал, что превратился в камень, что собственная тяжесть непреодолима. Каждый раз, когда она делала шаг вперед, он делал шаг назад, не более. Так отступил он под темный лестничный свод. Он леденел при мысли, что, может быть, и она направится туда же; если бы это случилось, он умер бы от ужаса.

Она действительно приблизилась к двери, ведущей на лестницу, постояла несколько мгновений, пристально вглядываясь в темноту, но не различая в ней священника, и прошла мимо. Она показалась ему выше ростом, чем была при жизни; сквозь ее одежду просвечивала луна; он слышал ее дыхание.

Когда она удалилась, он так же медленно, как и призрак, стал спускаться по лестнице, чувствуя себя тоже призраком; его взгляд блуждал, волосы стояли дыбом. Все еще держа в руке потухшую лампаду и спускаясь по спирали лестницы, он явственно слышал над своим ухом голос, который со смехом повторял: «… И некий дух пронесся пред лицом моим, и я почувствовал его легкое дуновение, и волосы мои встали дыбом».

II. Горбатый, кривой, хромой

Каждый город средневековья, каждый город Франции вплоть до царствования Людовика XII имел свои убежища. Эти убежища среди потопа карательных мер и варварских судебных установлении, наводнявших города, были своего рода островками за пределами досягаемости человеческого правосудия. Всякий причаливший к ним преступник был спасен. В ином предместье было столько же убежищ, сколько и виселиц. Это было злоупотребление безнаказанностью рядом со злоупотреблением казнями – два вида зла, стремившихся обезвредить друг друга. Королевские дворцы, княжеские особняки, а главным образом храмы имели право убежища. Чтобы населить город, его целиком превращали на время в место убежища. Так Людовик XI в 1467 году объявил убежищем Париж.

Вступив в него, преступник был священен, пока не покидал города. Но один шаг за пределы святилища – и он снова падал в пучину. Колесо, виселица, дыба неусыпной стражей окружали место убежища и подстерегали свои жертвы, подобно акулам, снующим вокруг корабля. Бывали примеры, что приговоренные доживали до седых волос в монастыре, на лестнице дворца, в службах аббатства, под порталом храма; убежище было той же тюрьмой.

Случалось, что по особому постановлению судебной палаты неприкосновенность убежища нарушалась, и преступника отдавали в руки палача; но это бывало редко. Судьи боялись епископов, и когда оба эти сословия задевали друг друга, то судейской мантии нелегко было справиться с епископской сутаной. Все же иногда, как в деле убийц парижского палача Малыша Жана или в деле Эмери Руссо, убийцы Жана Валере, правосудие действовало через голову церкви и приводило в исполнение свой приговор. Но без постановления судебной палаты горе тому, кто посягнул бы с оружием в руках на право убежища! Всем известно, какой смертью погибли маршал Франции Робер Клермонский и маршал Шампаньи Жеан де Шалон; между тем дело шло всего лишь о Перрене Марке, слуге менялы, презренном убийце. Но маршалы взломали врата церкви Сен-Мери. Вот в этом-то и заключалась неслыханность их проступка.

Убежища были окружены таким уважением, что, как гласит предание, оно иногда распространялось даже и на животных. Эмуан рассказывает, что, когда загнанный Дагобером олень укрылся близ гробницы св. Дени, свора гончих остановилась, как вкопанная, заливаясь лаем.

В церкви обычно имелась келья, предназначенная для ищущих убежища. В 1407 году Никола Фламель выстроил для них на сводах церкви Сен-Жак-де-лаБушри комнату, стоившую ему четыре ливра шесть солей и шестнадцать парижских денье.

В Соборе Богоматери такая келья была устроена над одним из боковых приделов, под наружными упорными арками, напротив монастыря, там, где теперь жена башенного привратника развела садик, который так же походит на висячие сады Вавилона, как латук на пальму, а сторожиха на Семирамиду.

Сюда-то, в эту келью, и принес Квазимодо Эсмеральду после своего бешеного триумфального бега через башни и галереи. Пока длился этот бег, девушка была почти в забытьи; то приходя в себя, то снова теряя сознание, она чувствовала лишь, что поднимается в воздух, парит в нем, летит, что какая-то сила несет ее над землей. Время от времени она слышала оглушительный смех и громовой голос Квазимодо; приоткрывая глаза, она далеко внизу смутно различала Париж, пестревший тысячами шиферных и черепичных кровель, словно сине-красной мозаикой, а над головой – страшное, ликующее лицо Квазимодо. Веки ее снова смыкались; она думала, что все кончено, что во время обморока ее казнили и что безобразный дух, управлявший ее судьбой, завладел ею и куда-то ее уносит. Она не осмеливалась взглянуть на него и не сопротивлялась.

Но когда всклокоченный и задыхающийся звонарь принес ее в келью, служившую убежищем, когда она почувствовала, как он огромными своими лапами осторожно развязывает веревку, изранившую ей руки, она ощутила сотрясение, подобное тому, которое внезапно среди ночи пробуждает путешественника, причалившего к берегу. Так пробудились и ее воспоминания и начали всплывать перед ней одно за другим. Она поняла, что находится в Соборе Богоматери; она вспомнила, что была вырвана из рук палача, что ее Феб жив, что Феб разлюбил ее. Когда эти две мысли, из которых одна омрачала другую, одновременно представились несчастной, она повернулась к стоявшему перед ней страшному Квазимодо и сказала:

– Зачем вы спасли меня?

Он напряженно смотрел на нее, как бы пытаясь угадать смысл ее слов. Она повторила вопрос. Тогда он с глубокой печалью взглянул на нее и исчез.

Она была удивлена.

Мгновение спустя он вернулся и положил к ее ногам сверток. Это была одежда, оставленная для нее на пороге церкви сердобольными женщинами. Тут она взглянула на себя, увидела свою наготу и покраснела. Жизнь вступила в свои права.

По-видимому, Квазимодо почувствовал, что ей стыдно. Он закрыл своей широкой ладонью глаза и снова удалился, но уже медленными шагами.

Она поспешила одеться. Это было белое платье и белое покрывало одежда послушниц Отель-Дье.

Едва она успела одеться, как Квазимодо вернулся. В одной руке он нес корзину, а в другой тюфяк. В корзине была бутылка, хлеб и кое-какая снедь. Он поставил корзину на землю и сказал:

– Кушайте.

Затем разостлал тюфяк на каменном полу и сказал:

– Спите.

То был его обед и его постель.

Цыганка, желая поблагодарить его, взглянула на него, но не могла вымолвить ни слова. Бедняга был действительно ужасен. Вздрогнув от страха, она опустила голову.

Тогда он заговорил:

– Я вас пугаю? Я очень уродлив, не правда ли? Но вы не глядите на меня. Только слушайте. Днем оставайтесь здесь; ночью можете гулять по всему храму. Но ни днем, ни ночью не покидайте собора. Вы погибнете. Вас убьют, а я умру!

Тронутая его словами, она подняла голову, чтобы ответить ему. Но он исчез. Она осталась одна, размышляя о странных речах этого чудовищного существа, пораженная звуком его голоса, такого грубого и вместе с тем такого нежного.

Потом она осмотрела келью. Это была комната около шести квадратных футов со слуховым оконцем и дверью, выходившей на отлогий скат кровли, выложенной плоскими плитками. Водосточные трубы, наподобие звериных морд, наклонялись над нею со всех сторон и вытягивали шеи, чтобы заглянуть в оконце. За краем крыши виднелись верхушки тысячи труб, из которых поднимался дым всех очагов. Грустное зрелище для бедной цыганки, найденыша, смертницы, жалкого создания, лишенного отчизны, семьи, крова!

В эту минуту, когда она особенно остро почувствовала свое одиночество, чья-то мохнатая и бородатая голова прижалась к ее рукам и коленям. Она вздрогнула, – все ее теперь пугало. Но это была бедная ее козочка, проворная Джали, убежавшая за нею, когда Квазимодо разогнал стражу Шармолю, и уже целый час ластившаяся к ней, тщетно добиваясь внимания хозяйки. Цыганка осыпала ее поцелуями.

– О Джали! – говорила она. – Как я могла забыть о тебе! А ты все еще меня помнишь! О, ты умеешь быть благодарной!

Словно какая-то невидимая рука приподняла тяжесть, давившую ей на сердце, и долго сдерживаемые слезы заструились из ее глаз. Она чувствовала, как вместе со слезами уходит и жгучая горечь ее скорби.

Когда стемнело, ночь показалась ей такой прекрасной, сияние луны таким кротким, что она вышла на верхнюю галерею, опоясывавшую собор. Внизу под нею безмятежно покоилась земля, и мир осенил душу Эсмеральды.

III. Глухой

Проснувшись на следующее утро, она почувствовала, что выспалась. Это удивило ее. Она давно уже отвыкла от сна. Веселый луч восходившего солнца глянул в окошечко и ударил ей прямо в лицо. Одновременно с солнцем в окошке показалось нечто испугавшее ее: то было лицо злосчастного Квазимодо. Невольно она снова закрыла глаза. Напрасно! Ей казалось, что даже сквозь свои розовые веки она видит уродливую маску, одноглазую и клыкастую. Она услышала грубый голос, ласково говоривший ей:

– Не пугайтесь, я вам друг. Я пришел взглянуть, как вы спите. Ведь вам не будет неприятно, если я приду посмотреть, как вы спите? Что вам до того, буду ли я около вас, когда глаза ваши закрыты? Теперь я уйду. Вот я уже за стеной. Вы можете открыть глаза.

Еще жалобнее, нежели слова, было выражение, с каким он произнес их. Тронутая ими, цыганка раскрыла глаза. В оконце никого не было. Она подошла к нему и увидела бедного горбуна, скорчившегося в покорной и жалкой позе у выступа стены. С трудом преодолевая отвращение, которое он ей внушал, она тихо проговорила:

– Подойдите.

По движению ее губ Квазимодо вообразил, что она гонит его; он поднялся и, хромая, медленно пошел с опущенной головой, не смея поднять на девушку полный отчаяния взгляд.

– Подойдите же! – крикнула она.

Но он удалялся. Тогда она выбежала из кельи, догнала его и схватила за руку. Почувствовав ее прикосновение, Квазимодо задрожал. Он умоляюще взглянул на нее своим единственным глазом и, видя, что она удерживает его, просиял от радости и нежности. Она попыталась заставить его войти в келью, но он заупрямился и остановился у порога.

– Нет, нет, – проговорил он, – филину не места в гнезде жаворонка.

Тогда она с присущей ей грацией села на своем ложе, а козочка уснула у нее в ногах. Оба некоторое время хранили неподвижность и молчание: он любовался ее красотой, она дивилась его безобразию. Она открывала в Квазимодо все новые и новые уродства. От его кривых колен ее взгляд перебегал к горбатой спине, от горбатой спины к единственному глазу. Она не могла понять, как может существовать такое уродливое создание. Но на всем этом уродстве лежал отпечаток такой грусти и нежности, что она мало-помалу начала привыкать к нему.

Горбун первый нарушил молчание:

– Вы приказали мне вернуться?

– Да, – сказала она, утвердительно кивнув головой.

Он понял ее кивок.

– Увы! – продолжал он нерешительно. – Ведь я… глухой.

– Бедный! – воскликнула она с выражением доброты и сострадания.

Он печально улыбнулся.

– Вы не находите, что мне только этого и недоставало? Да, я глухой. Вот какой я. Это ужасно, не правда ли? А вы, вы так прекрасны!

В голосе бедняги звучало такое глубокое сознание своего несчастья, что она не нашла в себе силы ответить ему. Да к тому же он и не услышал бы ее. Он продолжал:

– Я никогда так не чувствовал своего уродства, как теперь. Когда я сравниваю себя с вами, мне так жаль себя, несчастного урода! Я кажусь вам зверем, скажите? А вы, вы – солнечный луч, вы – капля росы, вы песня птички. Я же – нечто ужасное: ни человек, ни зверь; я грубее, безобразнее, презреннее, чем булыжник.

Он засмеялся, и ничто на свете не могло сравниться с этим разрывающим сердце смехом.

– Я глухой, но вы можете разговаривать со мной жестами, знаками. Мой господин всегда так разговаривает со мной. Да и потом я скоро научусь угадывать ваше желание по движению ваших губ, по вашему взгляду.

– Скажите, – улыбаясь, спросила она, – почему вы спасли меня?

Он внимательно глядел на нее, пока она говорила.

– Я понял, – ответил он. – Вы спрашиваете, зачем я вас спас? Вы позабыли того несчастного, который однажды ночью пытался похитить вас, того несчастного, к которому вы назавтра пришли на помощь, когда он стоял у гнусного позорного столба. За эту каплю воды, за эту каплю жалости я могу заплатить лишь всей своей жизнью. Вы позабыли этого беднягу, но он помнит вас!

Она слушала его, тронутая до глубины души. Слеза блеснула в глазу звонаря, но не скатилась. Очевидно, он считал делом чести сдержать ее.

– Слушайте, – продолжал он, справившись со своим волнением, – у собора высокие башни; человек, упавший с одной из них, умрет раньше, чем коснется мостовой. Когда вам будет угодно, чтобы я спрыгнул вниз, вам не надо будет произнести даже слова, достаточно одного взгляда.

Он встал. Как ни страдала сама цыганка, все же это причудливое существо пробуждало в ней сострадание. Она знаком приказала ему остаться.

– Нет, нет, – ответил он, – мне нельзя здесь долго оставаться. Мне не по себе, когда вы на меня смотрите. Вы только из жалости не закрываете глаз. Я уйду в такое место, откуда мне будет вас видно, а вы не будете видеть меня. Так будет лучше.

Он вынул из кармана металлический свисток.

– Возьмите, – сказал он. – Когда я вам понадоблюсь, когда вы захотите, чтобы я пришел, когда вам не будет слишком противно глядеть на меня, свистните в него. Этот звук я услышу.

Он положил свисток на пол и скрылся.

IV. Глина и хрусталь

Дни шли за днями.

Спокойствие постепенно возвращалось к Эсмеральде. Избыток страдания, как и избыток счастья, вызывает бурные, но скоротечные чувства. Человеческое сердце не в силах долго выдерживать их чрезмерную остроту. Цыганка столько выстрадала, что теперь от всего пережитого в ее душе осталось изумление.

Вместе с безопасностью к ней возвратилась и надежда Она была вне общества, вне жизни, но смутно чувствовала, что возврат туда еще не исключен, как для покойницы, у которой есть ключ от ее склепа.

Она чувствовала, как постепенно уходят странные, так долго обступавшие ее образы. Омерзительные призраки Пьера Тортерю, Жака Шармолю стирались в ее памяти, – стиралось все, даже образ священника.

Ведь Феб был жив, она была в этом уверена, она его видела.

Жизнь Феба – это было все. После ряда роковых потрясений, все в ней сокрушивших, в душе ее уцелело лишь одно чувство – ее любовь к капитану. Любовь подобна дереву: она растет сама собой, глубоко пуская в нас корни, и нередко продолжает зеленеть даже в опустошенном сердце.

И вот что необъяснимо: слепая страсть – самая упорная. Она особенно сильна, когда она безрассудна.

Правда, Эсмеральда с горечью вспоминала о капитане. Правда, ее приводило в ужас, что даже он вдался в обман, что он поверил такой невероятной вещи, что и он приписал удар кинжалом той, которая отдала бы за него тысячу жизней. Но все же не следовало судить его слишком строго. Ведь она созналась в своем «преступлении»! Ведь она не устояла перед пыткой! Вся вина лежала на ней. Пусть бы она лучше дала вырвать себе ногти, чем вымучить такое признание. Только бы ей один раз увидеть Феба, хоть на минутку! Достаточно будет слова, взгляда, чтобы разуверить его, чтобы вернуть его. В этом она не сомневалась. Она старалась заглушить в себе воспоминание о многих необъяснимых странностях, о случайном присутствии Феба в тот день, когда она приносила публичное покаяние, о девушке, с которой он стоял рядом, – конечно, это была его сестра Такое толкование было опрометчиво, но она им довольствовалась, ей необходимо было верить, что Феб продолжает любить ее, и только ее. Разве он не поклялся ей в этом? Что могло быть убедительней для простодушного, доверчивого создания? Да и все улики в этом деле были скорее против нее, чем против него! Итак, она ждала. Она надеялась.

Да и самый собор, этот обширный собор, который, укрывая ее со всех сторон, хранил и оберегал ее жизнь, был могучим успокоительным средством Величавые линии его

архитектуры, религиозный характер всех окружавших молодую девушку предметов, благочестивые и светлые мысли, как бы источавшиеся всеми порами этого камня, помимо ее воли действовали на нее благотворно. Раздававшиеся в храме звуки дышали благодатью и своею торжественностью убаюкивали ее больную душу. Монотонные возгласы священнослужителей, ответы молящихся священнику, то еле слышные, то громовые, гармоничная вибрация стекол, раскаты органа, звучавшего, как тысяча труб, три колокольни, жужжавшие, как переполненные огромными пчелами ульи, – весь этот оркестр, над которым непрерывно проносилась взлетавшая от толпы к колокольне и от колокольни нисходившая к толпе необъятная гамма звуков, усыплял ее память, ее воображение, ее скорбь. Особенно сильно действовали на нее колокола. Словно некий могучий магнетизм широкими волнами изливался на нее из этих огромных воронок.

И с каждой утренней зарей она становилась все спокойнее, дышала все свободнее, казалась менее бледной. По мере того как зарубцовывались ее душевные раны, лицо ее вновь расцветало прелестью и красотой, но более строгой, более спокойной, чем раньше. К ней возвращались и прежние особенности ее характера, даже коечто от ее прежней веселости: ее прелестная гримаска, ее любовь к козочке, ее потребность петь, ее стыдливость. По утрам она старалась одеваться в каком-нибудь укромном уголке своей келейки из опасения, чтобы ее не увидел в оконце кто-либо из обитателей соседних чердаков.

В те минуты, когда она не мечтала о Фебе, она иногда думала о Квазимодо. Он был единственным звеном, единственной оставшейся у нее связью, единственным средством общения с людьми, со всем живым. Бедняжка! Она еще более чем Квазимодо была отчуждена от мира. Она не понимала странного друга, которого подарила ей судьба. Часто она упрекала себя, что не испытывает к нему той благодарности, которая заставила бы ее взглянуть на него другими глазами, но она никак не могла привыкнуть к бедному звонарю. Он был слишком уродлив.

Она так и не подняла с пола свисток, который он ей дал. Это не помешало Квазимодо время от времени ее посещать. Она прилагала все усилия, чтобы не выказывать явно свое отвращение, когда он приносил ей корзинку со снедью или кружку воды, но он всякий раз замечал, чего ей это стоит, и печально удалялся.

Однажды он пришел в ту минуту, когда она ласкала Джали. Некоторое время он задумчиво глядел на эту очаровательную сцену. Наконец, покачав своей тяжелой нескладной головой, сказал:

– Все мое несчастье в том, что я еще слишком похож на человека. Мне бы хотелось быть животным, вот как эта козочка.

Она удивленно взглянула на него.

На этот взгляд он ответил:

– О, я-то знаю, почему! – И ушел.

В другой раз он появился на пороге ее комнаты (внутрь он не входил никогда) в ту минуту, когда Эсмеральда пела старинную испанскую балладу, слов которой она не понимала, но которая запечатлелась у нее в памяти, потому что цыганки убаюкивали ее этой песней, когда она была малюткой. При виде страшной фигуры, так неожиданно представшей перед нею во время пения, девушка остановилась, невольно сделав испуганное движение. Несчастный звонарь упал на колени у порога и умоляюще сложил свои огромные грубые руки.

– Умоляю вас, – жалобно проговорил он, – продолжайте, не гоните меня!

Боясь его огорчить, еще вся дрожа, она опять начала петь. Понемногу испуг ее прошел, и она вся отдалась грустной и протяжной мелодии. А он остался на коленях, со сложенными, как для молитвы, руками, внимательно вслушиваясь, еле дыша, не отрывая взгляда от блестящих глаз Эсмеральды. Казалось, он в них улавливал ее песню.

И еще раз он подошел к ней, смущенный и робкий.

– Послушайте, – с усилием проговорил он, – мне надо вам кое-что сказать.

Она сделала знак, что слушает его. Он вздохнул, полуоткрыл рот, приготовился говорить, но, взглянув на нее, отрицательно покачал головой и, закрыв лицо руками, медленно удалился, повергнув цыганку в крайнее изумление.

Между причудливыми фигурами, высеченными на стене собора, была одна, к которой он питал особенное расположение и с которой нередко обменивался ласковым взглядом. Однажды цыганка слышала, как он говорил ей: «О, почему я не каменный, как ты!»

Однажды утром Эсмеральда, приблизившись к краю кровли, глядела на площадь поверх остроконечной крыши Сен-Жан-ле-Рон. Квазимодо стоял позади нее. Он по собственному побуждению всегда становился так, чтобы по возможности избавить девушку от необходимости видеть его. Вдруг цыганка вздрогнула. Ее глаза затуманились восторгом и слезами, она опустилась на колени у самого края крыши и, с тоской простирая руки к площади, воскликнула:

– Феб! Феб! Приди! Приди! Одно слово, одно только слово, во имя неба! Феб! Феб!

Ее голос, ее лицо, ее умоляющий жест, весь ее облик выражали мучительную тревогу потерпевшего крушение человека, который взывает о помощи к плывущему вдали, на солнечном горизонте, лучезарному кораблю.

Квазимодо, наклонившись, взглянул на площадь и увидел, что предметом этой нежной и страстной мольбы был молодой человек, капитан, блестящий офицер в ослепительном мундире и доспехах; он гарцевал в глубине площади, приветствуя своей украшенной султаном шляпой красивую даму, улыбавшуюся ему с балкона. Офицер не слышал призыва несчастной, он был слишком далеко от нее.

Зато бедный глухой слышал. Тяжелый, вздох вырвался из его груди. Он отвернулся. Рыдания душили его; судорожно сжатые кулаки его вскинулись над головой, а когда он опустил руки, то в каждой горсти было по клоку рыжих волос.

Цыганка не обращала на него никакого внимания. Заскрежетав зубами, он прошептал:

– Проклятье! Так вот каким надо быть! Красивым снаружи!

А она, стоя на коленях, продолжала в неописуемом возбуждении:

– О, вот он соскочил с коня! Сейчас он войдет в дом! Феб! Он меня не слышит! Феб! О, какая злая женщина, она нарочно разговаривает с ним, чтобы он меня не слышал! Феб! Феб!

Глухой смотрел на нее. Эта пантомима была ему понятна. Глаз злосчастного звонаря налился слезами, но ни одна из них не скатилась. Он осторожно потянул Эсмеральду за рукав. Она обернулась. Его лицо уже было спокойно. Он сказал ей:

– Хотите, я схожу за ним?

Она радостно воскликнула:

– О, иди, иди! Спеши! Беги! Скорее! Капитана! Капитана! Приведи его ко мне! Я буду любить тебя!

Она обнимала его колени. Он горестно покачал головой.

– Я сейчас приведу его, – сказал он тихим голосом и стал быстро спускаться по лестнице, задыхаясь от рыданий.

Когда он прибежал на площадь, он увидел великолепного коня, привязанного к дверям дома Гонделорье. Капитан уже вошел в дом.

Он поднял глаза на крышу собора. Эсмеральда стояла на том же месте, в той же позе. Он печально кивнул ей, затем прислонился к одной из тумб у крыльца дома Гонделорье, решив дождаться выхода капитана.

В доме Гонделорье справляли одно из тех празднеств, которое предшествует свадьбе. Квазимодо видел, как туда прошло множество людей, но не заметил, чтобы кто-нибудь вышел оттуда. По временам он глядел в сторону собора. Цыганка стояла неподвижно, как и он. Конюх отвязал коня и увел в конюшню.

Так провели они весь день: Квазимодо – около тумбы, Эсмеральда – на крыше собора, Феб, по всей вероятности, – у ног Флер-де-Лис.

Наконец наступила ночь, безлунная, темная ночь. Тщетно Квазимодо пытался разглядеть Эсмеральду. Вскоре она уже казалась белеющим в сумерках пятном, но и оно исчезло, – Все стушевалось, все было окутано мраком.

Квазимодо видел, как зажглись окна по всему фасаду дома Гонделорье. Он видел, как одно за другим засветились окна и в других домах на площади; видел, как они погасли все до единого, ибо он весь вечер простоял на своем посту. Офицер все не выходил. Когда последний прохожий возвратился домой, когда окна всех других домов погасли. Квазимодо остался совсем один, в полном мраке. В те времена паперть Собора Богоматери еще не освещалась.

Давно уже пробило полночь, а окна дома Гонделорье все еще были освещены. Неподвижный и внимательный, Квазимодо видел толпу движущихся и танцующих теней, мелькавших на разноцветных оконных стеклах. Если бы он не был глухим, то, по мере того как утихал шум засыпающего Парижа, он все отчетливей слышал бы шум празднества, смех и музыку в доме Гонделорье.

Около часу пополуночи приглашенные стали разъезжаться. Квазимодо, скрытый ночною тьмой, видел их всех, когда они выходили из освещенного факелами подъезда. Но капитана среди них не было.

Грустные мысли проносились в голове Квазимодо. Иногда он, словно соскучившись, глядел ввысь. Громадные черные облака тяжелыми разорванными, дырявыми полотнищами, словно гамаки из траурного крепа, висели под звездным куполом ночи. Они казались паутиной, вытканной на небесном своде.

Вдруг он увидел, как осторожно распахнулась стеклянная дверь балкона, каменная балюстрада которого выдавалась над его головой. Хрупкая стеклянная дверь пропустила две фигуры и бесшумно закрылась. Это были мужчина и женщина. Квазимодо с трудом узнал в мужчине красавца-офицера, а в женщине – молодую даму, которая утром с этого самого балкона приветствовала капитана. На площади было совсем темно, а двойная красная портьера, сомкнувшаяся за ними, едва только дверь захлопнулась, не пропускала на балкон ни единого луча света.

Молодой человек и молодая девушка, насколько мог понять глухой, не слышавший их слов, были заняты приятным разговором. Девушка, по-видимому, позволила офицеру обвить рукой ее стан, – но мягко противилась поцелую.

Квазимодо снизу мог наблюдать эту сцену, тем более очаровательную, что она не предназначалась для посторонних глаз. Он с горечью наблюдал это счастье, эту красоту. Несмотря ни на что, голос природы жил в бедняге; его позвоночник, хотя и жестоко искривленный, был не менее чувствителен, чем у всякого другого. Он размышлял о той горькой участи, какую уготовило ему провидение; он думал о том, что женщина, любовь, страсть будут всегда представляться его глазам, а сам он обречен быть лишь свидетелем чужого счастья. Но что всего сильнее его терзало, что примешивало к боли еще и возмущение, это мысль о том, как страдала бы цыганка, увидев эту сцену. Правда, ночь была темная, и Эсмеральда, если она еще не ушла (а он в этом не сомневался), была слишком далеко, чтобы разглядеть на балконе влюбленных; он сам едва мог различить их. Это утешало его.

Между тем их беседа становилась все оживленней. Дама, казалось, умоляла офицера не требовать от нее большего. Квазимодо видел лишь молитвенно сложенные руки, улыбку сквозь слезы, поднятые к звездам глаза девушки и страстный, устремленный на нее взгляд офицера.

К счастью, ибо сопротивление молодой девушки ослабевало, балконная дверь внезапно распахнулась, и на пороге показалась пожилая дама. Красавица, видимо, была смущена, офицер раздосадован, и все трое вернулись в комнату.

Минуту спустя около крыльца зафыркал конь, и блестящий офицер, закутанный в плащ, проскакал мимо Квазимодо.

Звонарь дал ему повернуть за угол, затем с обезьяньим проворством побежал за ним, крича:

– Эй, капитан!

Капитан остановился.

– Что тебе от меня надо, бездельник? – спросил он, различив в темноте странную фигуру, которая бежала к нему, прихрамывая и раскачиваясь из стороны в сторону.

Квазимодо догнал офицера и смело взял под уздцы его коня.

– Следуйте за мной, капитан; тут неподалеку есть кто-то, кому нужно с вами поговорить.

– Клянусь Магометом, – проговорил Феб, – я где-то видел эту взъерошенную зловещую птицу! А ну, отпусти повод!

– Капитан, – продолжал глухой, – вы не желаете знать, кто вас хочет видеть?

– Говорят тебе, отпусти повод! – в нетерпении повторил капитан. – Ты чего повис на морде моего скакуна? Ты думаешь, это виселица?

Но Квазимодо, не собираясь отпускать повод, пытался повернуть коня. Не понимая, чем объяснить сопротивление капитана, он быстро проговорил:

– Идемте, капитан, вас ждет женщина. – И с усилием добавил: – Женщина, которая вас любит.

– Вот шут гороховый! – воскликнул капитан. – Он воображает, что я должен бегать ко всем женщинам, которые любят меня или говорят, что любят А вдруг эта женщина похожа на тебя, сова ты этакая! Скажи той, кто тебя послал, что я женюсь и чтобы она убиралась к черту!

– Послушайте! – воскликнул Квазимодо, уверенный, что он рассеет сомнение капитана, – идемте, господин! Ведь вас зовет цыганка, которую вы знаете!

Его слова действительно произвели сильное впечатление на Феба, но отнюдь не то, какого ожидал глухой. Вспомним, что наш галантный офицер удалился вместе с Флер-де-Лис за несколько минут до того, как Квазимодо вырвал приговоренную из рук Шармолю. С тех пор он, посещая дом Гонделорье, остерегался заговаривать об этой женщине, воспоминание о которой все же тяготило его; а Флер-де-Лис считала недипломатичным сообщать ему, что цыганка жива. И Феб был уверен, что несчастная «Симиляр» мертва и что со дня ее смерти уже прошел месяц, а может быть и два. Добавим, что капитан подумал в эту минуту о глубоком ночном мраке, о сверхъестественном уродстве и замогильном голосе необыкновенного посланца, о том, что уже далеко за полночь, что улица пустынна, как и в тот вечер, когда с ним заговорил монах-привидение. Да и конь его храпел, косясь на Квазимодо.

– Цыганка! – воскликнул он в испуге. – Значит, ты послан с того света?

И он схватился за эфес шпаги.

– Скорее, скорее! – говорил глухой, стараясь увлечь его коня. – Вот сюда!

Феб ударил его сапогом в грудь.

Глаз Квазимодо засверкал. Звонарь едва не бросился на капитана. Затем, сдержав себя, проговорил:

– Ваше счастье, что кто-то вас любит!

Он сделал ударение на «кто-то». Отпустив уздечку, он крикнул:

– Ступайте прочь!

Феб, ругаясь, пришпорил коня. Квазимодо глядел ему вслед, пока тот не пропал в ночном мраке.

– Отказаться от этого! О! – прошептал бедный глухой.

Он возвратился в собор, зажег лампу и поднялся на башню Как он и предполагал, цыганка стояла на том же месте.

Завидев его издали, она побежала ему навстречу.

– Один! – воскликнула она, горестно всплеснув руками.

– Я не мог его найти, – холодно сказал Квазимодо.

– Надо было ждать всю ночь! – запальчиво крикнула она.

В ее гневном движении Квазимодо прочел упрек.

– В другой раз я постараюсь не пропустить его, – проговорил он, понурив голову.

– Уйди! – сказала она.

Он ушел. Она была им недовольна. Но он предпочел покорно снести ее дурное обращение, лишь бы не огорчить ее. Всю скорбь он оставил на свою долю.

Больше цыганка с ним не виделась. Он перестал подходить к ее келье. Лишь изредка замечала она на вершине одной из башен печально глядевшего на нее звонаря. Но едва он ловил на себе ее взгляд, как тут же исчезал.

Надо заметить, что ее не очень огорчало это добровольное исчезновение бедного горбуна. В глубине души она даже была ему благодарна. А Квазимодо это чувствовал.

Она его больше не видела, но присутствие доброго гения замечала. Пока она спала, невидимая рука доставляла ей свежую пищу. Однажды утром она нашла на окне клетку с птицами. Над ее кельей находилось изваяние, которое пугало ее. Она не раз выражала свой страх перед ним в присутствии Квазимодо. Как-то утром (все это делалось по ночам) это изображение исчезло. Кто-то его разбил. Тот, кто вскарабкался к нему, рисковал жизнью.

Иногда по вечерам до нее доносился из-под навеса колокольни голос, напевавший, словно убаюкивая ее, странную печальную песню. То были стихи без рифм, какие только и мог сложить глухой.

Не гляди на лицо, девушка,
А заглядывай в сердце
Сердце прекрасного юноши часто бывает уродливо
Нет сердца, где любовь не живет
Девушка! Сосна не красива,
Не так хороша, как тополь
Но сосна и зимой зеленеет
Увы! Зачем тебе петь про это?
То, что уродливо, пусть погибает;
Красота к красоте лишь влечется,
И апрель не глядит на январь.
Красота совершенна,
Красота всемогуща,
Полной жизнью живет одна красота.
Ворон только днем летает,
Летают ночью лишь совы,
Лебедь летает и днем и ночью.

Однажды утром, проснувшись, она нашла у себя на окне два сосуда с цветами. Один из них представлял собой красивую хрустальную вазу, но с трещиной. Налитая в вазу вода вытекла, и цветы увяли. В другом, глиняном грубом горшке, полном воды, цветы были свежи и ярки.

Не знаю, умышленно ли, но только Эсмеральда взяла увядший букет и весь день носила его на груди.

В этот день голос на башне не пел.

Это ее не встревожило. Она ласкала Джали, следила за подъездом дома Гонделорье, тихонько разговаривала сама с собой о Фебе и крошила ласточкам хлеб.

Она перестала видеть и слышать Квазимодо. Казалось, бедняга звонарь исчез из собора. Но однажды ночью, когда она не спала и мечтала о красавце-капитане, она услышала чей-то вздох около своей кельи. Испугавшись, она встала и при свете луны увидела бесформенную массу, лежавшую поперек ее двери. То был Квазимодо, спавший на голом камне.

V. Ключ от Красных врат

Между тем молва о чудесном спасении цыганки дошла до архидьякона. Узнав об этом, он сам не мог понять свои чувства. Он примирился со смертью Эсмеральды. И был спокоен, ибо дошел до предельной глубины страдания. Человеческое сердце (так думал отец Клод) может вместить лишь определенную меру отчаяния. Когда губка насыщена, пусть море спокойно катит над ней свои волны – она не впитает больше ни капли.

Если Эсмеральда мертва – губка насыщена: в этом мире все было кончено для отца Клода. Но знать, что она жива, что жив Феб, это значило снова отдаться пыткам, потрясениям, сомнениям – жизни. А Клод устал от пыток.

Когда он услышал эту новость, он заперся в своей монастырской келье. Он не показывался ни на собраниях капитула, ни на богослужениях. Он запер свою дверь для всех, даже для епископа. В таком заточении провел он несколько недель. Предполагали, что он болен. И это была правда.

Но что же делал он взаперти? С какими мыслями боролся несчастный? Вступил ли он в последний бой со своей пагубной страстью? Строил ли последний, план смерти для нее и гибели для себя?

Жеан, его любимый брат, его балованное дитя, однажды пришел к дверям его кельи, стучал, заклинал, умолял, называл себя. Клод не впустил его.

Целые дни проводил он, прижавшись лицом к оконному стеклу. Из окна ему видна была келья Эсмеральды; он часто видел ее с козочкой, а иногда с Квазимодо. Он замечал знаки внимания, оказываемые ей жалким глухим, его повиновение, его нежность и покорность цыганке. Он вспомнил, – он обладал прекрасной памятью, а память – это палач ревнивцев, – как странно звонарь однажды вечером глядел на плясунью. Он вопрошал себя: что могло побудить Квазимодо спасти ее? Он был свидетелем коротких сцен между цыганкой и глухим, – издали их движения, истолкованные его страстью, казались ему исполненными нежности. Он не доверял изменчивому нраву женщин. И он смутно почувствовал, что в его сердце закралась ревность, на которую он никогда не считал себя способным, – ревность, заставлявшая его краснеть от стыда и унижения. «Пусть бы еще капитан, но он!..» Эта мысль потрясала его.

Ночи его были ужасны. С тех пор как он узнал, что цыганка жива, леденящие мысли о призраке и могиле, которые обступали его в первый день, исчезли, и его снова стала жечь плотская страсть. Он корчился на своем ложе, чувствуя так близко от себя юную смуглянку.

Еженощно его неистовое воображение рисовало ему Эсмеральду в позах, заставлявших кипеть его кровь. Он видел ее распростертой на коленях раненого капитана, с закрытыми глазами, с обнаженной прелестной грудью, залитой кровью Феба, в тот блаженный миг, когда он запечатлел на ее бледных губах поцелуй, пламя которого несчастная полумертвая девушка

все же ощутила. И вот снова она, полураздетая, в жестоких руках заплечных мастеров, которые обнажают и заключают в «испанский сапог» с железным винтом ее округлую ножку, ее гибкое белое колено. Он видел это словно выточенное из слоновой кости колено, выглядывавшее из страшного орудия Тортерю. Наконец вот она в рубахе, с веревкой на шее, с обнаженными плечами, босыми ногами, почти нагая, какою он видел ее в последний день. Эти сладострастные образы заставляли судорожно сжиматься его кулаки, и по спине у него пробегала дрожь.

В одну из ночей эти образы так жестоко распалили кровь девственника-священника, что он впился зубами в подушку, затем, вскочив с постели и накинув подрясник поверх сорочки, выбежал из кельи со светильником в руке, полураздетый, обезумевший, с горящим взором.

Он знал, где найти ключ от Красных врат, соединявших монастырь с собором, а ключ от башенной лестницы, как известно, всегда был при нем.

VI. Продолжение рассказа о ключе от Красных врат

В эту ночь Эсмеральда уснула в своей келье, забыв о прошлом, полная надежд и сладостных мыслей. Она спала, грезя, как всегда, о Фебе, как вдруг ли послышался шум. Сон ее был чуток и тревожен, как у птицы. Малейший шорох будил ее. Она открыла глаза. Ночь была темная-темная. Однако она увидела, что кто-то смотрит на нее в слуховое окошко. Лампада освещала это видение. Как только призрак заметил, что Эсмеральда смотрит на него, он задул светильник. Но девушка успела разглядеть его. Ее веки сомкнулись от ужаса.

– О! – упавшим голосом сказала она. – Священник!

Точно при вспышке молнии, вновь встало перед ней минувшее несчастье, и она, похолодев, упала на постель.

Минуту спустя, ощутив прикосновение к своему телу, она содрогнулась. Окончательно проснувшись, она не помня себя от ярости, приподнялась на постели.

Священник скользнул к ней в постель и сжал ее в объятиях.

Она хотела крикнуть, но не могла.

– Уйди прочь, чудовище! Уйди, убийца! – говорила она дрожащим, низким от гнева и ужаса голосом.

– Сжалься, сжалься! – шептал священник, целуя ее плечи.

Она обеими руками схватила его лысую голову за остатки волос и старалась отдалить от себя его поцелуи, словно то были ядовитые укусы.

– Сжалься! – повторял несчастный. – Если бы ты знала, что такое моя любовь к тебе! Это пламя, расплавленный свинец, тысяча ножей в сердце!

Он с нечеловеческой силой стиснул ее руки.

– Пусти меня! – вне себя крикнула она. – Я плюну тебе в лицо!

Он отпустил ее.

– Унижай меня, бей, будь жестока! Делай, что хочешь! Но сжалься! Люби меня!

Тогда она с детской злобой стала бить его. Она напрягала всю силу прекрасных своих рук, чтобы размозжить ему голову.

– Уйди, демон!

– Люби меня! Люби меня! Сжалься! – кричал несчастный, припадая к ней и отвечая ласками на удары.

Внезапно она почувствовала, что он перебарывает ее.

– Пора с этим покончить! – сказал он, скрипнув зубами.

Побежденная, дрожащая, разбитая, она лежала в его объятиях, в его власти. Она чувствовала, как по ее телу похотливо блуждают его руки. Она сделала последнее усилие и закричала:

– На помощь! Ко мне! Вампир! Вампир!

Никто не являлся. Только Джали проснулась и жалобно блеяла.

– Молчи! – задыхаясь, шептал священник.

Вдруг рука ее, отбиваясь от него и коснувшись пола, натолкнулась на что-то холодное, металлическое. То был свисток Квазимодо. С проблеском надежды схватила она его, поднесла к губам и из последних сил дунула. Свисток издал чистый, резкий, пронзительный звук.

– Что это? – спросил священник.

Почти в ту же минуту он почувствовал, как его приподняла могучая рука. В келье было темно, он не мог ясно разглядеть того, кто схватил его, – он слышал бешеный скрежет зубов и увидел тускло блеснувшее у него над головой широкое лезвие тесака.

Священнику показалось, что это был Квазимодо. По его предположению, это мог быть только он. Он припомнил, что, входя сюда, он споткнулся о какую-то массу, растянувшуюся поперек двери. Но так как новоприбывший не произносил ни слова, Клод не знал, что и думать. Он схватил руку, державшую тесак, и крикнул: «Квазимодо!» В это страшное мгновение он забыл, что Квазимодо глух.

В мгновение ока священник был повергнут наземь и почувствовал на своей груди тяжелое колено. По этому угловатому колену он узнал Квазимодо. Но как быть, что сделать, чтобы Квазимодо узнал его? Ночь превращала глухого в слепца.

Он погибал. Девушка, безжалостная, как разъяренная тигрица, не пыталась спасти его. Нож навис над его головой; то было опасное мгновение. Внезапно его противник заколебался.

– Кровь не должна брызнуть на нее, – пробормотал он глухо.

В самом деле это был голос Квазимодо.

И тут священник почувствовал, как сильная рука тащит его за ногу из кельи. Так вот где ему суждено умереть! К счастью для него, только что взошла луна.

Когда они очутились за порогом кельи, бледный луч месяца осветил лицо священника. Квазимодо взглянул на него, задрожал и, выпустив его, отшатнулся.

Цыганка, вышедшая на порог своей кельи, с изумлением увидела, что противники поменялись ролями. Теперь угрожал священник, а Квазимодо умолял.

Священник, выражавший жестами гнев и упрек, приказал ему удалиться.

Глухой поник головою, затем опустился на колени у порога кельи.

– Господин! – сказал он покорно и серьезно. – Потом вы можете делать, что вам угодно, но прежде убейте меня.

С этими словами он протянул священнику свой тесак. Обезумевший священник хотел было схватить его, но девушка оказалась проворнее. Она вырвала нож из рук Квазимодо и злобно рассмеялась.

– Подойди только! – сказала она священнику.

Она занесла нож. Священник стоял в нерешительности. Он не сомневался, что она ударит его.

– Ты не осмелишься, трус! – крикнула она. И, зная, что это пронзит тысячью раскаленных игл его сердце, безжалостно добавила:

– Я знаю, что Феб не умер!

Священник отшвырнул ногой Квазимодо и, дрожа от бешенства, скрылся под лестничным сводом.

Когда он ушел. Квазимодо поднял спасший цыганку свисток.

– Он чуть было не заржавел, – проговорил он, возвращая его цыганке, и удалился, оставив ее одну.

Девушка, потрясенная этой бурной сценой, в изнеможении упала на постель и зарыдала. Горизонт ее вновь заволокло зловещими тучами.

Священник ощупью вернулся в свою келью.

Свершилось. Клод ревновал к Квазимодо.

Он задумчиво повторил роковые слова: «Она не достанется никому».

Книга десятая

I. На улице Бернардинцев у Гренгуара одна за другой рождаются блестящие мысли

С той самой минуты, как Гренгуар понял, какой оборот приняло все дело, и убедился, что для главных действующих лиц этой драмы оно, несомненно, пахнет веревкой, виселицей и прочими неприятностями, он решил ни во что не вмешиваться. Бродяги же, среди которых он остался, рассудив, что в конечном счете это самое приятное общество в Париже, продолжали интересоваться судьбой цыганки. Поэт находил это вполне естественным со стороны людей, у которых, как и у нее, не было впереди ничего, кроме Шармолю либо Тортерю, и которые не уносились, подобно ему, в заоблачные выси на крыльях Пегаса. Из их разговоров он узнал, что его супруга, обвенчанная с ним по обряду разбитой кружки, нашла убежище в Соборе Парижской Богоматери, и был этому весьма рад. Но он даже и не помышлял о том, чтобы ее проведать. Порой он вспоминал о козочке, но этим все и ограничивалось. Днем он давал акробатические представления, чтобы прокормить себя, а по ночам корпел над запиской, направленной против епископа Парижского, ибо не забыл, как колеса епископских мельниц когда-то окатили его водой, и затаил на него обиду. Одновременно он составлял комментарий к великолепному произведению епископа Нойонского и Турнейского Бодри-ле-Руж. De сира petrarum[142] что вызвало у него сильнейшее влечение к архитектуре. Эта склонность вытеснила из его сердца страсть к герметике, естественным завершением которой и являлось зодчество, ибо между герметикой и зодчеством есть внутренняя связь. Гренгуар, ранее любивший идею, ныне любил внешнюю форму этой идеи.

Однажды он остановился около церкви Сен-Жермен-д'Оксеруа, у самого угла здания, которое называлось Епископской тюрьмой и стояло напротив другого, которое именовалось Королевской тюрьмой. В Епископской тюрьме была очаровательная часовня XIV столетия, заалтарная часть которой выходила на улицу. Гренгуар благоговейно рассматривал наружную скульптуру этой часовни. Он находился в состоянии того эгоистического, всепоглощающего высшего наслаждения, когда художник во всем мире видит только искусство и весь мир – в искусстве. Вдруг он почувствовал, как чья-то рука тяжело легла ему на плечо. Он обернулся. То был его бывший друг, его бывший учитель – то был архидьякон.

Он замер от изумления. Он уже давно не видел архидьякона, а отец Клод был одной из тех значительных и страстных натур, встреча с которыми всегда нарушает душевное равновесие философа-скептика.

Архидьякон несколько минут молчал, и Гренгуар мог не спеша разглядеть его. Он нашел отца Клода сильно изменившимся, бледным, как зимнее утро; глаза у отца Клода ввалились, он стал совсем седой. Первым нарушил молчание священник.

– Как ваше здоровье, мэтр Пьер? – спокойно, но холодно спросил он.

– Мое здоровье? – ответил Гренгуар. – Ни то, ни се, а впрочем, недурно! Я знаю меру всему. Помните, учитель? По словам Гиппократа, секрет вечного здоровья id est: cibi, potus, somni, uenus, omnia mode rat a sint..[143]

– Значит, вас ничто не тревожит, мэтр Пьер? – снова заговорил священник, пристально глядя на Гренгуара.

– Ей-богу, нет!

– А чем вы теперь занимаетесь?

– Как видите, учитель. Рассматриваю, как вытесаны эти каменные плиты и как вырезан барельеф.

Священник усмехнулся кривой, горькой усмешкой.

– И это вас забавляет?

– Это рай! – воскликнул Гренгуар и, наклонившись над изваяниями с восторженным видом человека, демонстрирующего живых феноменов, продолжал: – Разве вы не находите, что изображение на этом барельефе выполнено с необычайным мастерством, тщательностью и терпением? Взгляните на эту колонку. Где вы найдете листья капители, над которыми искуснее и любовнее поработал бы резец? Вот три выпуклых медальона Жана Майльвена. Это еще не лучшее произведение его великого гения. Тем не менее наивность, нежность лиц, изящество поз и драпировок и то необъяснимое очарование, каким проникнуты самые его недостатки, придают этим фигуркам, быть может, даже излишнюю живость и изысканность. Вы не находите, что это очень занимательно?

– Конечно! – ответил священник.

– А если бы вы побывали внутри часовни! – продолжал поэт со свойственным ему болтливым воодушевлением. – Всюду изваяния! Их так много, точно листьев на кочане капусты! А от хоров веет таким благочестием и своеобразием, – я никогда нигде ничего подобного не видел!..

Клод прервал его:

– Значит, вы счастливы?

Гренгуар ответил с жаром:

– Клянусь честью, да! Сначала я любил женщин, потом животных. Теперь я люблю камни. Они столь же забавны, как женщины и животные, но менее вероломны.

Священник приложил руку ко лбу. Это был его обычный жест.

– Разве?

– Ну как же! – сказал Гренгуар. – Они доставляют такое наслаждение!

Взяв священника за руку, чему тот не противился, он повел его в лестничную башенку Епископской тюрьмы.

– Вот вам лестница! Каждый раз, когда я вижу ее, я счастлив. Это одна из самых простых и редкостных лестниц Парижа. Все ее ступеньки скошены снизу. Ее красота и простота заключены именно в плитах этих ступенек, имеющих около фута в ширину, вплетенных, вбитых, вогнанных, вправленных, втесанных и как бы впившихся одна в другую могучей и в то же время не лишенной изящности хваткой.

– И вы ничего не желаете?

– Нет.

– И ни о чем не сожалеете?

– Ни сожалений, ни желаний. Я устроил свою жизнь.

– То, что устраивают люди, расстраивают обстоятельства, – заметил Клод.

– Я философ школы Пиррона и во всем стараюсь соблюдать равновесие, сказал Гренгуар.

– А как вы зарабатываете на жизнь?

– Время от времени я еще сочиняю эпопеи и трагедии, но всего прибыльнее мое ремесло, которое вам известно, учитель: я ношу в зубах пирамиды из стульев.

– Грубое ремесло для философа.

– В нем опять-таки все построено на равновесии, – сказал Гренгуар. Когда человеком владеет одна мысль, он находит ее во всем.

– Мне это знакомо, – молвил архидьякон.

Помолчав немного, он продолжал:

– Тем не менее у вас довольно жалкий вид.

– Жалкий – да, но не несчастный!

В эту минуту послышался звонкий цокот копыт. Собеседники увидели в конце улицы королевских стрелков с офицером во главе, проскакавших с поднятыми вверх пиками.

– Что вы так пристально глядите на этого офицера? – спросил Гренгуар архидьякона.

– Мне кажется, я его знаю.

– А как его зовут?

– По-моему, его зовут Феб де Шатопер, – ответил архидьякон.

– Феб! Редкое имя! Есть еще другой Феб, граф де Фуа. Я знавал одну девушку, которая клялась всегда именем Феба.

– Пойдемте, – сказал священник. – Мне надо вам кое-что сказать.

Со времени появления отряда в священнике, под его маской ледяного спокойствия, стало ощущаться волнение. Он двинулся вперед. Гренгуар последовал за ним по привычке повиноваться ему; впрочем, все, кто приходил в соприкосновение с этим властным человеком, подчинялись его воле. Они молча дошли до улицы Бернардинцев, довольно пустынной. Тут отец Клод остановился.

– Что вы хотели мне сказать, учитель? – спросил Гренгуар.

– Вы не находите, – раздумчиво заговорил архидьякон, – что одежда всадников, которых мы только что видели, гораздо красивее и вашей и моей?

Гренгуар отрицательно покачал головой.

– Ей-богу, я предпочитаю мой желто-красный кафтан этой чешуе из железа и стали! Нечего сказать, удовольствие – производить на ходу такой шум, словно скобяные ряды во время землетрясения!

– И вы, Гренгуар, никогда не завидовали этим красавчикам в доспехах?

– Завидовать! Но чему же, ваше высокопреподобие? Их силе, их вооружению, их дисциплине? Философия и независимость в рубище стоят большего. Я предпочитаю быть головкой мухи, чем хвостом льва!

– Странно! – все так же задумчиво промолвил священник. – А все же нарядный мундир – очень красивая вещь.

Гренгуар, видя, что архидьякон задумался, пошел полюбоваться порталом одного из соседних домов. Вернувшись, он всплеснул руками:

– Если бы вы не были так поглощены красивыми мундирами военных, ваше высокопреподобие, то я попросил бы вас пойти взглянуть на эту дверь, сказал он. – Я всегда утверждал, что лучше входной двери дома сэра Обри нет на всем свете.

– Пьер Гренгуар! Куда вы девали цыганочку-плясунью? – спросил архидьякон.

– Эсмеральду? Как вы круто меняете тему беседы!

– Кажется, она была вашей женой?

– Да, нас повенчали разбитой кружкой на четыре года. Кстати, – добавил Гренгуар, не без лукавства глядя на архидьякона, – вы все еще помните о ней?

– А вы о ней больше не думаете?

– Изредка. У меня так много дел!.. А какая хорошенькая была у нее козочка!

– Кажется, цыганка спасла вам жизнь?

– Да, черт возьми, это правда!

– Что же с ней сталось? Что вы с ней сделали?

– Право, не знаю. Кажется, ее повесили.

– Вы думаете?

– Уверен. Когда я увидел, что дело пахнет виселицей, я вышел из игры.

– И это все, что вы знаете?

– Постойте! Мне говорили, что она укрылась в Соборе Парижской Богоматери и что там она в безопасности. Я очень этому рад, но до сих пор не могу узнать, спаслась ли козочка. Вот все, что я знаю.

– Я сообщу вам больше! – воскликнул Клод, и его голос, до сей поры тихий, неторопливый, почти глухой, вдруг сделался громким. – Она действительно нашла убежище в Соборе Богоматери, но через три дня правосудие заберет ее оттуда, и она будет повешена на Гревской площади. Уже есть постановление судебной палаты.

– Досадно! – сказал Гренгуар.

В мгновение ока к священнику вернулось его холодное спокойствие.

– А какому дьяволу, – заговорил поэт, – вздумалось добиваться ее вторичного ареста? Разве нельзя было оставить в покое суд? Кому какой ущерб от того, что несчастная девушка приютилась под арками Собора Богоматери, рядом с гнездами ласточек?

– Есть на свете такие демоны, – ответил архидьякон.

– Дело скверное, – заметил Гренгуар.

Архидьякон, помолчав, спросил:

– Итак, она спасла вам жизнь?

– Да, у моих друзей-бродяг. Еще немножко, и меня бы повесили. Теперь они жалели бы об этом.

– Вы не желаете ей помочь?

– Я бы с удовольствием ей помог, отец Клод. А вдруг я впутаюсь в скверную историю?

– Что за важность!

– Как что за важность?! Хорошо вам так рассуждать, учитель, а у меня начаты два больших сочинения.

Священник ударил себя по лбу. Несмотря на его напускное спокойствие, время от времени резкий жест выдавал его внутреннее волнение.

– Как ее спасти?

Гренгуар ответил:

– Учитель! Я скажу вам: Lpadelt, что по-турецки означает: «Бог – наша надежда».

– Как ее спасти? – повторил задумчиво Клод.

Теперь Гренгуар хлопнул себя по лбу.

– Послушайте, учитель! Я одарен воображением. Я найду выход… Что, если попросить короля о помиловании?

– Людовика Одиннадцатого? О помиловании?

– А почему бы нет?

– Поди отними кость у тигра!

Гренгуар принялся измышлять новые способы.

– Хорошо, извольте! Угодно вам, я обращусь с заявлением к повитухам о том, что девушка беременна?

Это заставило вспыхнуть впалые глаза священника.

– Беременна! Негодяй! Разве тебе что-нибудь известно?

Вид его испугал Гренгуара. Он поспешил ответить:

– О нет, только не мне! Наш брак был настоящим foris-maritagium[144]. Я тут ни при чем. Но таким образом можно добиться отсрочки.

– Безумие! Позор! Замолчи!

– Вы зря горячитесь, – проворчал Гренгуар. – Добились бы отсрочки, вреда это никому не принесло бы, а повитухи, бедные женщины, заработали бы сорок парижских денье.

Священник не слушал его.

– А между тем необходимо, чтобы она вышла оттуда! – бормотал он. Постановление вступит в силу через три дня! Но не будь даже постановления… Квазимодо! У женщин такой извращенный вкус! – Он повысил голос: Мэтр Пьер! Я все хорошо обдумал, есть только одно средство спасения.

– Какое же? Я больше не вижу ни одного.

– Слушайте, мэтр Пьер! Вспомните, что вы обязаны ей жизнью. Я откровенно изложу вам мой план. Церковь день и ночь охраняют. Оттуда выпускают лишь тех, кого видели входящими. Вы придете. Я провожу вас к ней. Вы обменяетесь с ней платьем. Она наденет ваш плащ, а вы – ее юбку.

– До сих пор все идет гладко, – заметил философ. – А дальше?

– А дальше? Она выйдет, вы останетесь. Вас, может быть, повесят, но зато она будет спасена.

Гренгуар с озабоченным видом почесал у себя за ухом.

– Такая мысль мне никогда бы не пришла в голову!

Открытое и добродушное лицо поэта внезапно омрачилось, словно веселый итальянский пейзаж, когда неожиданно набежавший порыв сердитого ветра нагоняет облака на солнце.

– Итак, Гренгуар, что вы скажете об этом плане?

– Скажу, учитель, что меня повесят не «может быть», а вне всякого сомнения.

– Это нас не касается.

– Черт возьми! – сказал Гренгуар.

– Она спасла вам жизнь. Вы только уплатите долг.

– У меня много других долгов, которых я не плачу.

– Мэтр Пьер! Это необходимо.

Архидьякон говорил повелительно.

– Послушайте, отец Клод! – заговорил оторопевший поэт. – Вы настаиваете, но вы не правы. Я не вижу, почему я должен дать себя повесить вместо другого.

– Да что вас так привязывает к жизни?

– Многое!

– Что же именно, позвольте вас спросить?

– Что именно?.. Воздух, небо, утро, вечер, сияние луны, мои добрые приятели бродяги, веселые перебранки с девками, изучение дивных архитектурных памятников Парижа, три объемистых сочинения, которые я должен написать, – одно из них направлено против епископа и его мельниц. Да мало ли что! Анаксагор говорил, что живет на свете, чтоб любоваться солнцем. И потом, я имею счастье проводить время с утра и до вечера в обществе гениального человека, то есть с самим собой, а это очень приятно.

– Пустозвон! – пробурчал архидьякон. – Скажи, однако, кто тебе сохранил эту жизнь, которую ты находишь очень приятной? Кому ты обязан тем, что дышишь воздухом, что любуешься небом, что еще имеешь возможность тешить свой птичий ум всякими бреднями и дурачествами? Где бы ты был без Эсмеральды? И ты хочешь, чтобы она умерла! Она, благодаря которой ты жив! Ты хочешь смерти этого прелестного, кроткого, пленительного создания, без

которого померкнет дневной свет! Еще более божественного, чем сам господь бог! А ты, полумудрец-полубезумец, ты, черновой набросок чего-то, нечто вроде растения, воображающего, что оно движется и мыслит, ты будешь пользоваться жизнью, которую украл у нее, – жизнью, столь же бесполезной, как свеча, зажженная в полдень! Прояви немного жалости, Гренгуар! Будь в свою очередь великодушен. Она показала тебе пример.

Священник говорил с жаром. Гренгуар слушал сначала безучастно, потом растрогался, и наконец мертвенно-бледное лицо его исказилось гримасой, придавшей ему сходство с новорожденным, у которого схватил живот.

– Вы красноречивы! – проговорил он, отирая слезу. – Хорошо! Я подумаю. Ну и странная же мысль пришла вам в голову! Впрочем, – помолчав, продолжал он, – кто знает? Может быть, они меня и не повесят. Не всегда женится тот, кто обручился. Когда они меня найдут в этом убежище столь нелепо выряженным, в юбке и чепчике, быть может, они расхохочутся. А потом, если они меня даже и вздернут, ну так что же! Смерть от веревки такая же смерть, как и всякая другая, или, вернее, не похожая на всякую другую. Это смерть, достойная мудреца, который всю жизнь колебался; она – ни рыба ни мясо, подобно уму истинного скептика; это смерть, носящая на себе отпечаток пирронизма и нерешительности, занимающая середину между небом и землею и оставляющая вас висеть в воздухе. Это смерть философа, для которой я, может статься, был предназначен. Хорошо умереть так, как жил!

Священник перебил его:

– Итак, решено?

– Да и что такое смерть в конце концов? – с увлечением продолжал Гренгуар. – Неприятное мгновение, дорожная пошлина, переход из ничтожества в небытие. Некто спросил мегалополийца Керкидаса, желает ли он умереть. «Почему бы нет? – ответил тот. – За гробом я увижу великих людей: Пифагора – среди философов, Гекатея – среди историков, Гомера среди поэтов, Олимпия – среди музыкантов».

Архидьякон протянул ему руку.

– Итак, решено? Вы придете завтра.

Этот жест вернул Гренгуара к действительности.

– Э нет! – сказал он тоном человека, пробудившегося от сна. – Быть повешенным – это слишком нелепо! Не хочу!

– В таком случае прощайте! – уходя, архидьякон пробормотал сквозь зубы: «Я тебя разыщу!»

«Я не хочу, чтобы этот окаянный меня разыскал», – подумал Гренгуар и побежал вслед за Клодом.

– Послушайте, ваше высокопреподобие! Что за распри между старыми друзьями? Вы принимаете участие в этой девушке, то есть в моей жене хотел я сказать, – хорошо! Вы придумали хитроумный способ вывести ее невредимой из собора, но ваше средство чрезвычайно неприятно мне, Гренгуару. А что, если мне пришел в голову другой способ? Предупреждаю вас, что меня осенила блестящая мысль. Если я предложу вам отчаянный план, как вызволить ее из беды, не подвергая мою шею ни малейшей опасности знакомства с петлей, что вы на это скажете? Это вас удовлетворит? Так ли уж необходимо мне быть повешенным, чтобы вы остались довольны?

Священник с нетерпением рвал пуговицы своей сутаны.

– Болтун! Какой же у тебя план?

«Да, – продолжал Гренгуар, разговаривая сам с собой и приложив с глубокомысленным видом указательный палец к кончику своего носа, – именно так! Бродяги – молодцы. Цыганское племя ее любит. Они поднимутся по первому же слову. Нет ничего легче. Напасть врасплох. В суматохе ее легко будет похитить. Завтра же вечером… Они будут рады».

– Твой способ! Говори же! – встряхнув его, сказал священник.

Гренгуар величественно обернулся к нему:

– Да оставьте меня в покое! Неужели вы не видите, что я соображаю?

Он подумал еще несколько минут, а затем принялся аплодировать своей мысли, восклицая:

– Великолепно! Дело верное!

– Способ! – вне себя от ярости крикнул Клод.

Гренгуар сиял.

– Подойдите ближе, чтобы я мог вам сказать об этом на ухо. Это забавный контрудар, который всех нас выведет из затруднительного положения. Черт возьми! Согласитесь, я не дурак!

Вдруг он спохватился:

– Постойте! А козочка с нею?

– Да, черт тебя подери!

– А ее тоже повесили бы?

– Ну и что же?

– Да, они бы ее повесили. Месяц тому назад они повесили свинью. Палачу это на руку. Потом он съедает мясо. Повесить мою хорошенькую Джали! Бедный ягненочек!

– Проклятье! – воскликнул Клод. – Ты сам настоящий палач! Ну что ты изобрел, пройдоха? Щипцами, что ли, надо из тебя вытащить твой способ?

– Успокойтесь, учитель! Слушайте!

Гренгуар, наклонившись к уху архидьякона, принялся что-то шептать ему, беспокойным взглядом окидывая улицу, где, впрочем, не было ни души. Когда он кончил, Клод пожал ему руку и холодно проговорил:

– Хорошо. До завтра!

– До завтра! – проговорил Гренгуар.

Архидьякон направился в одну сторону, а он пошел в другую.

– Затея смелая, мэтр Пьер Гренгуар! – бормотал он. – Ну, ничего. Если мы люди маленькие, отсюда еще не следует, что мы боимся больших дел. Ведь притащил же Битон на своих плечах целого быка! А трясогузки, славки и каменки перелетают через океан.

II. Становясь бродягой

Вернувшись в монастырь, архидьякон нашел у двери своей кельи младшего брата, Жеана Мельника, – тот дожидался его и разгонял скуку ожидания, рисуя углем на стене профиль старшего брата с огромным носом.

Отец Клод мельком посмотрел на брата. Он был занят своими мыслями. Веселое лицо повесы, улыбки которого столько раз проясняли мрачную физиономию священника, ныне было бессильно рассеять туман, сгущавшийся с каждым днем в этой порочной, зловонной, загнившей душе.

– Братец! – робко заговорил Жеан. – Я пришел повидаться с вами.

Архидьякон даже не взглянул на него.

– Дальше что?

– Братец! – продолжал лицемер. – Вы так добры ко мне и даете такие благие советы, что я постоянно возвращаюсь к вам.

– Еще что?

– Братец! Вы были совершенно правы, когда говорили мне: «Жеан! Жеан! Cessat doctorum doctrina, discipulorum discipline![145] Жеан, будь благоразумен, Жеан, учись, Жеан, не отлучайся на ночь из коллежа без уважительных причин и без разрешения наставника. Не дерись с пикардийцами, noli, Joannes, verberare Picardos. Не залеживайся, подобно безграмотному ослу, quasi aslnus illiteratus на подстилке. Жеан, не противься наказанию, которое угодно будет наложить на тебя учителю. Жеан, посещай каждый вечер часовню и пой псалмы, стихи и молитвы Пречистой деве Марии!» Какие это были превосходные наставления!

– Ну и что же?

– Брат! Перед вами преступник, грешник, негодяй, развратник, чудовище! Дорогой брат! Жеан все ваши советы превратил в солому и навоз, он попрал их ногами. Я жестоко за это наказан, и господь бог совершенно прав. Пока у меня были деньги, я кутил, безумствовал, вел разгульную жизнь! О, сколь пленителен разврат с виду и сколь отвратительна и скучна его изнанка! Теперь у меня нет ни единого беляка; я продал свою простыню, сорочку и полотенце. Прощай, веселая жизнь! Чудесная свеча потухла, и у меня остался лишь сальный огарок, чадящий мне в нос. Девчонки меня высмеивают. Я пью одну воду. Меня терзают угрызения совести и кредиторы.

– Вывод? – спросил архидьякон.

– Дражайший брат! Я так хотел бы вернуться к праведной жизни! Я пришел к вам с сокрушенным сердцем. Я грешник. Я каюсь. Я бью себя в грудь кулаками. Как вы были правы, когда хотели, чтобы я получил степень лиценциата и сделался помощником наставника в коллеже Торши! Теперь я и сам чувствую, что в этом мое настоящее призвание. Но мои чернила высохли, купить чернила мне не на что; у меня нет перьев, купить их мне не на что; у меня нет бумаги, у меня нет книг, купить их мне не на что. Мне очень нужно немного денег, я обращаюсь к вам, братец, с сердцем, полным раскаяния.

– И это все?

– Да, – ответил школяр. – Немного денег!

– У меня их нет.

Тут школяр заговорил с серьезным и вместе решительном видом:

– В таком случае, братец, хоть мне это и очень прискорбно, но я должен вам сказать, что другие мне делают выгодные предложения. Вы не желаете дать мне денег? Нет? В таком случае я становлюсь бродягой.

Произнося это ужасное слово, он принял позу Аякса, ожидающего, что его поразит молния.

Архидьякон холодно ответил:

– Становись бродягой.

Жеан отвесил ему низкий поклон и» насвистывая, спустился с монастырской лестницы.

В ту минуту, когда он проходил по монастырскому двору под окном кельи брата, он услыхал, как это окно распахнулось; он поднял голову и увидел в окне строгое лицо архидьякона.

– Убирайся к дьяволу! – крикнул Клод. – Вот тебе деньги – больше ты от меня ничего не получишь!

Кошелек, который бросил Жеану священник, набил школяру на лбу большую шишку. Жеан подобрал его и удалился, раздосадованный и в то же время довольный, точно собака, которую забросали мозговыми костями.

III. Да здравствует веселье!

Читатель, быть может, не забыл, что часть Двора чудес была ограждена древней стеной, опоясывавшей город, большая часть башен которой уже тогда начала разрушаться. Одну из

этих башен бродяги приспособили для своих увеселений. В нижней зале помещался кабачок, а все прочее размещалось в верхних этажах. Башня представляла собой самый оживленный, а следовательно, и самый отвратительный уголок царства бродяг. То был чудовищный, денно и нощно гудевший улей. По ночам, когда большинство нищей братии спало, когда на грязных фасадах домов, выходивших на площадь, не оставалось ни одного освещенного окна, когда ни малейшего звука не доносилось из бесчисленных лачуг, из муравейников, кишевших ворами, девками, крадеными или незаконнорожденными детьми, веселую башню можно было узнать по неумолкавшему в ней шуму, по багровому свету, струившемуся из отдушин, из окон, из расщелин потрескавшихся стен, словом, из всех ее пор.

Итак, подвальный этаж башни служил кабаком. В него спускались, миновав низкую дверь, по крутой, словно александрийский стих, лестнице. Вывеску на двери заменяла чудовищная мазня, изображавшая новые монеты и зарезанных цыплят, с шутливой надписью: «Кабачок звонарей по усопшим».

Однажды вечером, когда со всех колоколен Парижа прозвучал сигнал тушения огней, ночная стража, если бы ей дана была возможность проникнуть в страшный Двор чудес, заметила бы, что в таверне бродяг шумнее, чем всегда, больше пьют и крепче сквернословят. Перед входной дверью, на площади, виднелись кучки людей, переговаривавшихся шепотом, как бывает, когда затевается какое-нибудь важное дело. Сидя на корточках, оборванцы точили о камни мостовой дрянные железные ножи.

Между тем в самой таверне вино и игра до такой степени отвлекали бродяг от мыслей, которые в этот вечер занимали все умы, что из их разговора трудно было понять, о чем собственно идет речь. Заметно было лишь, что все они казались веселее обычного и что у каждого из них между колен сверкало оружие – кривой нож, топор, тяжелый палаш или приклад от старинной пищали.

Круглая зала башни была просторна, но столы были так тесно сдвинуты, а гуляк за ними так много, что все находившиеся в этой таверне, мужчины, женщины, скамьи, пивные кружки – все, что пило, спало, играло, здоровые и калеки, казалось перемешанным как попало, в том порядке и с соблюдением той же симметрии, как и сваленные в кучу устричные раковины. На столах стояли зажженные сальные свечи, но главным источником света, игравшим в этом кабаке роль люстры в оперной зале, был очаг. Подвал пропитывала сырость, и в камине постоянно, даже летом, горел огонь. И сейчас в этом громадном, покрытом лепными украшениями камине с тяжелыми железными решетками и кухонной утварью пылало то сильное пламя, питаемое дровами вперемежку с торфом, которое в деревнях, вырываясь ночью из окон кузницы, бросает кроваво-красный отсвет на стены противоположных домов. Большая собака, важно восседавшая на куче золы, вращала перед горящими углями вертел с мясом.

Однако, несмотря на беспорядок, оглядевшись, можно было отличить в этой толпе три главные группы людей, теснившиеся вокруг трех уже известных читателю особ. Одна из этих особ, нелепо наряженная в пестрые восточные лохмотья, был Матиас Хунгади Спикали, герцог египетский и цыганский. Этот мошенник сидел на столе, поджав под себя ноги, и, подняв палец, громким голосом посвящал в тайны черной и белой магии окружавших его многочисленных слушателей, которые внимали ему с разинутыми от удивления ртами.

Другие сгрудились вокруг нашего старого приятеля, вооруженного до зубов славного короля Арго. Клопен Труйльфу с пресерьезным видом тихим голосом руководил опустошением огромной бочки с выбитым дном, откуда, словно яблоки и виноград из рога изобилия, сыпались топоры, шпаги, шлемы, кольчужные рубахи, отдельные части брони, наконечники пик и копий, простые и нарезные стрелы. Каждый брал, что хотел, – кто каску, кто шпагу, кто кинжал с крестообразной рукояткой. Даже дети вооружались, даже безногие, облекшись в броню и латы, ползали между ног пирующих, словно огромные блестящие жуки.

Наконец наиболее шумное, наиболее веселое и многочисленное скопище заполняло скамьи и столы, где ораторствовал и сквернословил чей-то пронзительный голос, который вырывался из-под тяжелого воинского снаряжения, громыхавшего всеми своими частями – от шлема до шпор. У человека, сплошь увешанного этими рыцарскими доспехами, виднелись только его нахальный покрасневший вздернутый нос, белокурый локон, розовые губы да дерзкие глаза. За поясом у него было заткнуто несколько ножей и кинжалов, на боку висела большая шпага, слева лежал заржавевший самострел, перед ним стояла объемистая кружка вина, а по правую руку сидела полная, небрежно одетая девица. Все вокруг хохотали, ругались и пили.

Прибавьте к этому еще двадцать более мелких групп, пробегавших с кувшинами на голове слуг и служанок, игроков, склонившихся над шарами, шашками, костями, рейками, над азартной игрой в кольца, ссоры в одном углу, поцелуи в другом, и вы составите себе некоторое понятие об общем характере этой картины, освещенной колеблющимся светом полыхавшего пламени, заставлявшего плясать на стенах кабака множество огромных причудливых теней.

Все кругом гудело, точно внутри колокола во время великого звона.

Противень под вертелом, куда стекал дождь шипящего сала, заполнял своим неумолчным треском паузы между диалогами, которые, скрещиваясь, доносились со всех концов залы.

Среди всего этого гвалта в глубине таверны, на скамье, вплотную к очагу, сидел, вытянув ноги и уставившись на горящие головни, философ, погруженный в размышления. То был Пьер Гренгуар.

– Ну, живее! Поворачивайтесь! Вооружайтесь! Через час выступаем! говорил Клопен Труйльфу арготинцам.

Одна из девиц напевала:

Доброй ночи, отец мой и мать!

Уж последние гаснут огни!

Двое картежников ссорились.

– Ты подлец! – побагровев, орал один из них, показывая другому кулак. – Я тебя так разукрашу трефами, что в королевской колоде карт ты сможешь заменить валета!

– Уф! Тут столько народу, сколько булыжников в мостовой! – ворчал какой-то нормандец, которого можно было узнать по его гнусавому произношению.

– Детки! – говорил фальцетом герцог египетский, обращаясь к своим слушателям. – Французские колдуньи летают на шабаш без помела, без мази, без козла, только при помощи нескольких волшебных слов. Итальянских ведьм у дверей всегда ждет козел. Но все они непременно вылетают через дымовую трубу.

Голос молодого повесы, вооруженного с головы до пят, покрывал весь этот галдеж.

– Слава! Слава! – орал он. – Сегодня я в первый раз выйду на поле брани! Бродяга! Я бродяга, клянусь Христовым пузом! Налейте мне вина! Друзья! Меня зовут Жеан Фролло Мельник, я дворянин. Я уверен, что если бы бог был молодцом, он сделался бы грабителем. Братья! Мы предпринимаем славную вылазку. Мы храбрецы. Осадить собор, выломать двери, похитить красотку, спасти ее от судей, спасти от попов, разнести монастырь, сжечь епископа в его доме, – все это мы сварганим быстрее, чем какой-нибудь бургомистр успеет проглотить ложку супа! Наше дело правое! Ограбим Собор Богоматери, и дело с концом! Повесим Квазимодо. Сударыни! Вы знаете Квазимодо? Вам не случалось видеть, как он, запыхавшись, летает верхом на большом колоколе в Троицын день? Рога сатаны! Это великолепно! Словно дьявол, оседлавший медную пасть! Друзья! Выслушайте меня! Нутром своим я бродяга, в душе я арготинец, от природы я вор. Я был очень богат, но я слопал свое богатство. Моя матушка прочила меня в офицеры, батюшка – в дьяконы, тетка – в судьи, бабушка – в королевские протонотариусы, двоюродная бабка – в казначеи военного ведомства. А я стал бродягой. Я

сказал об этом батюшке, – тот швырнул мне в лицо проклятия» я сказал об этом матушке, почтенной женщине, – она захныкала и распустила нюни, как вот это сырое полено на каминной решетке. Да здравствует веселье! Я схожу с ума! Кабатчица, милашка, дай-ка другого вина! У меня есть еще чем заплатить. Не надо больше сюренского, оно дерет горло, – с таким же успехом я могу прополоскать горло плетеной корзинкой!

Весь сброд, хохоча, рукоплескал ему; заметив, что шум вокруг него усилился, школяр воскликнул:

– Что за чудный гвалт! Populi debacchantis populosa debacchatio?[146] – И, закатив глаза от восторга, запел, как каноник, начинающий вечерню: – Quae cantica! Quae organa! Quae cantilenae! Quae melodiae hie sine fine decantantur! Sonant melliflua humnorum organa, suavissima angelorum melodia, cantica canticorum mira!..[147]

Вдруг он прервал пение:

– Чертова трактирщица! Дай-ка мне поужинать!

Наступила минута почти полного затишья, а потом раздался пронзительный голос герцога египетского, поучавшего окружающих его цыган:

– …Ласку зовут Адуиной, лисицу – Синей ножкой или Лесным бродягой, волка – Сероногим или Золотоногим, медведя – Стариком или Дедушкой. Колпачок гнома делает человека невидимкой и позволяет видеть невидимое. Всякую жабу, которую желают окрестить, наряжают в красный или черный бархат и привязывают ей одну погремушку на шею, а другую к ногам; кум держит ей голову, кума – зад. Только демон Сидрагазум может заставить девушек плясать нагими.

– Клянусь обедней! – прервал его Жеан. – Я желал бы быть демоном Сидрагазумом.

Между тем бродяги продолжали вооружаться, перешептываясь в другом углу кабака.

– Бедняжка Эсмеральда, – говорил один цыган. – Ведь она наша сестра! Надо ее вытащить оттуда.

– Разве она все еще в Соборе Богоматери? – спросил какой-то лжебанкрот.

– Да, черт возьми!

– Так что ж, друзья! – воскликнул лжебанкрот. – В поход на Собор Богоматери! Тем более что там, в часовне святого Фереоля и Ферюсьона, имеются две статуи, изображающие Иоанна Крестителя, а другая – святого Антония, обе из чистого золота, весом в семь золотых марок пятнадцать эстерлинов, а подножие у них из позолоченного серебра, весом в семнадцать марок и пять унций. Я знаю это доподлинно, я золотых дел мастер.

Тут Жеану принесли ужин, и, положив голову на грудь сидевшей с ним рядом девицы, он воскликнул:

– Клянусь святым Фультом Люкским, которого народ называет «Святой Спесивец», я вполне счастлив. Вон там, против меня, сидит болван с голым, как у эрцгерцога, лицом и глядит на меня. А вон, налево, – другой, у которого такие длинные зубы, что закрывают ему весь подбородок. А сам я, ни дать ни взять, маршал Жиэ при осаде Понтуаза, – мой правый фланг упирается в холм. Пуп Магомета! Приятель, ты похож на продавца мячей для лапты, а сел рядом со мной! Я дворянин, мой Друг. Торговля несовместима с дворянством. Убирайся отсюда, прочь! Эй! Эй, вы там! Не драться! Как, Батист Птицеед, у тебя такой великолепный нос, а ты подставляешь его под кулак этого олуха? Вот дуралей! Non cuiquam datum est habere nasum.[148] Ты божественна, Жакелина Грызи-Ухо, жаль только, что ты лысая. Эй! Меня зовут Жеан Фролло, и у меня брат архидьякон! Черт бы его побрал! Все, что я вам говорю, сущая правда. Став бродягой, я с легким сердцем отказался от той половины дома в раю, которую сулил мне брат. Dimidiam domum in paradiso Я цитирую подлинный текст. У меня ленное владение на улице Тиршап, и все женщины влюблены в меня. Это так же верно, как то, что святой Элуа был отличным золотых дел мастером и что в городе Париже пять цехов:

дубильщиков, сыромятников, кожевников, кошелечников и парильщиков кож, а святого Лаврентия сожгли на костре из яичной скорлупы. Клянусь вам, друзья!

Год не буду пить перцовки.

Если вам сейчас солгал! Милашка! Ночь нынче лунная, погляди-ка в отдушину, как ветер мнет облака! Точь-в-точь, как я твою косынку! Девки, утрите сопли ребятам и свечам! Христос и Магомет! Что это я ем. Юпитер? Эй, сводня! У твоих потаскух потому на голове нет волос, что все они в твоей яичнице. Старуха, я люблю лысую яичницу! Чтоб дьявол тебя сделал курносой! Нечего сказать, хороша вельзевулова харчевня, где шлюхи причесываются вилками!

Выпалив это, он разбил свою тарелку об пол и загорланил:

Клянуся божьей кровью

Законов, короля,

И очага, и крова

Нет больше у меня!

И с верою Христовой

Давно простился я!

Тем временем Клопен Труйльфу успел закончить раздачу оружия. Он подошел к Гренгуару, – тот, положив ноги на каминную решетку, о чем-то думал.

– Дружище Пьер! О чем это ты, черт возьми, задумался? – спросил король Алтынный.

Гренгуар, грустно улыбаясь, обернулся к нему.

– Я люблю огонь, дорогой повелитель. Но не по той низменной причине, что он согревает нам ноги или варит нам суп, а за его искры. Иногда я провожу целые часы, глядя на них. Многое мне открывается в этих звездочках, усеивающих черную глубину очага. Эти звезды – тоже целые миры.

– Гром и молния! Хоть бы я что-нибудь понял! – воскликнул бродяга. Ты не знаешь, который час?

– Не знаю, – ответил Гренгуар.

Клопен подошел к египетскому герцогу.

– Дружище Матиас! Мы выбрали неподходящее время. Говорят, будто Людовик Одиннадцатый в Париже.

– Лишняя причина вырвать из его когтей нашу сестру, – ответил старый цыган.

– Ты рассуждаешь, как подобает мужчине, Матиас, – сказал король Арго. – К тому же мы быстро с этим управимся. В соборе нам нечего опасаться сопротивления. Каноники – зайцы, кроме того, сила за нами! Судейские попадут впросак, когда завтра придут за ней! Клянусь папскими кишками, я не хочу, чтобы они повесили эту хорошенькую девушку!

Клопен вышел из кабака.

А Жеан орал хриплым голосом:

– Я пью, я ем, я пьян, я сам Юпитер! Эй, Пьер Душегуб! Если ты еще раз посмотришь на меня такими глазами, то я собью тебе щелчками пыль с носа!

Гренгуар, потревоженный в своих размышлениях, стал наблюдать окружавшую буйную и крикливую толпу, бормоча сквозь зубы: Luxuriosa res vinum et tumultuosa ebrietas.[149] Как хорошо, что я не пью! Прекрасно сказано у святого Бенедикта: Vinum apostatare facit etiam sapientes![150]

В это время вернулся Клопен и крикнул громовым голосом:

– Полночь!

Это слово произвело такое же действие, как сигнал садиться на коней, поданный полку во время привала: бродяги – мужчины, женщины, дети гурьбой повалили из таверны, грохоча оружием и старым железом.

Луну закрыло облако. Двор чудес погрузился в полный мрак. Нигде ни единого огонька. А между тем площадь далеко не была безлюдна. Там можно было разглядеть толпу мужчин и женщин, которые переговаривались тихими голосами. Слышно было, как они гудели, и видно было, как в темноте отсвечивало оружие Клопен взгромоздился на огромный камень.

– Стройся, Арго! – крикнул он. – Стройся, Египет! Стройся, Галилея!

В темноте началось движение. Несметная толпа вытягивалась в колонну. Спустя несколько минут король Алтынный вновь возвысил голос:

– Теперь молчать, пока будем идти по Парижу. Пароль. «Короткие клинки звенят!» Факелы зажигать лишь перед собором! Вперед!

Через десять минут всадники ночного дозора бежали в испуге перед длинной процессией каких-то черных молчаливых людей, направлявшихся к мосту Менял по извилистым улицам, прорезавшим во всех направлениях огромный рыночный квартал.

IV. Медвежья услуга

В эту ночь Квазимодо не спалось. Он только что в последний раз обошел собор. Запирая церковные врата, он не заметил, как мимо него прошел архидьякон, выразивший некоторое неудовольствие при виде того, как тщательно Квазимодо задвигал и замыкал огромные железные засовы, придававшие широким створам дверей прочность каменной стены. Клод казался более озабоченным, чем обычно. После ночного происшествия в келье он очень дурно обращался с Квазимодо, был груб с ним, даже бил его, но ничто не могло поколебать покорность, терпение и безропотную преданность звонаря. Без упрека, без жалобы сносил он от архидьякона все – угрозы, брань, побои. Он только с беспокойством глядел ему вслед, когда Клод поднимался на башню, но архидьякон и сам остерегался попадаться на глаза цыганке.

Итак, в эту ночь Квазимодо, скользнув взглядом по своим бедным заброшенным колоколам – по Жакелине, Марии, Тибо, – взобрался на вышку верхней башни и, поставив на крышу потайной, закрытый наглухо фонарь, принялся глядеть на Париж… Ночь, как мы уже сказали, была очень темная. Париж в те времена почти никак не освещался и являл глазу нагромождение черных массивов, пересекаемых белесоватыми излучинами Сены. Квазимодо не видел света нигде, кроме окна далекого здания, неясный и сумрачный профиль которого обрисовывался высоко над кровлями со стороны Сент-Антуанских ворот. Там, очевидно, тоже кто-то бодрствовал.

Окидывая внимательным взглядом туманный ночной горизонт. Квазимодо ощущал в душе необъяснимую тревогу. Уже несколько дней он был настороже. Он заметил, что вокруг собора непрерывно сновали люди зловещего вида, не спускавшие глаз с убежища девушки. И он подумал, не затевается ли заговор против несчастной затворницы. Он воображал, что народ ненавидел ее так же, как его, и что надо ожидать в ближайшее время каких-нибудь событий. Потому-то он и дежурил на своей звоннице, «мечтая в своей ментально», как говорит Рабле; неся сторожевую службу, как верный пес, он подозрительно посматривал то на Париж, то на келью.

Пристально вглядываясь в город своим единственным глазом, который благодаря необыкновенной зоркости, как бы полученной им от природы в вознаграждение, почти возмещал другие недостающие Квазимодо органы чувств, он вдруг заметил, что очертания Старой Скорняжной набережной приняли несколько необычный вид; там чувствовалось какое-то движение; линия парапета, черневшая над белизной воды, не была прямой и неподвижной, как на других набережных, – она колыхалась, подобно речной зыби или головам движущейся толпы.

Это ему показалось странным. Он усилил внимание. Казалось, движение шло в сторону Сите. Нигде ни огонька. Некоторое время движение происходило на набережной, затем постепенно схлынуло, словно вошло внутрь острова, потом прекратилось, и линия набережной снова стала прямой и неподвижной.

Квазимодо терялся в догадках; вдруг ему показалось, что движение вновь возникло на Папертной улице, врезавшейся в Сите перпендикулярно фасаду Собора Богоматери. Наконец, невзирая на кромешную тьму, он увидел, как из этой улицы показалась голова колонны, как в одно мгновение всю площадь запрудила толпа, в которой ничего нельзя было разглядеть в потемках, кроме того, что это была толпа.

В этом зрелище таилось что-то страшное. Необычная процессия, словно старавшаяся укрыться в глубокой тьме, вероятно, хранила такое же глубокое молчание. И все же она должна была производить какой-нибудь шум, должен был быть слышен хотя бы топот ног. Но этот шум не доходил до глухого, и сборище людей, которое он еле различал и которое совсем не слышал, хотя оно волновалось и двигалось близко от него, производило на него впечатление сонма мертвецов, безмолвных, неосязаемых, затерянных во мгле Ему казалось, что на него надвигается туман с утонувшими в нем людьми, что в этом тумане шевелятся тени.

Тут все его сомнения воскресли, мысль о нападении на цыганку вновь возникла в его мозгу Он смутно ощутил, что надвигается опасность Трудно было ожидать от столь неповоротливого ума, чтобы в это решительное мгновение он мог так быстро все сообразить Что было ему делать? Разбудить цыганку? Заставить ее бежать? Куда бежать? Улицы наводнены толпой, задняя стена церкви выходит к реке. Нет ни лодки, ни выхода Остается одно не нарушая сна Эсмеральды, пасть мертвым на пороге Собора Богоматери, сопротивляться хотя бы до тех пор, пока не подоспеет помощь, если только она придет. Ведь несчастная всегда успеет проснуться для того, чтобы умереть. Остановившись на этом решении, он уже спокойнее принялся изучать «врага»

Толпа росла с каждой минутой. Но окна, выходившие на улицы и на площадь, были закрыты, и шум почти не долетал. Вдруг блеснул свет, и вслед за тем над толпой заколыхались зажженные факелы, дрожа в темноте своими огненными пучками. И тут Квазимодо отчетливо разглядел бурлившее на площади страшное скопище оборванцев, мужчин и женщин, вооруженных косами, пиками, резаками и копьями, острия которых сверкали множеством огней. Там и сям над этими отвратительными рожами торчали, словно рога, черные вилы Он припомнил, что уже где-то видел этих людей; ему показалось, что он узнает те самые лица, которые несколько месяцев назад приветствовали в нем папу шутов Какой-то человек, державший в одной руке зажженный факел, а в другой – дубинку, взобрался на тумбу и стал, по-видимому, держать речь. После его речи диковинное войско перестроилось, словно окружая собор Квазимодо взял фонарь и спустился на площадку между башнями, чтобы присмотреться и изобрести средство обороны.

В самом деле Клопен Труйльфу, дойдя до главного портала Собора Богоматери, построил свое войско в боевом порядке. Хотя он и не ожидал сопротивления, но, как осторожный полководец, хотел сохранить строй, который позволил бы ему достойно встретить внезапную атаку ночного дозора или караулов Он расположил свои отряды таким образом, что, глядя на толпу издали сверху, вы приняли бы ее за римский треугольник в Экномской битве, за «свинью» Александра Македонского или за знаменитый клин Густава-Адольфа Основание этого треугольника уходило в глубь площади, загораживая Папертную улицу; одна из сторон была обращена к Отель-Дье, а другая – к улице Сен-Пьер-о-Беф Клопен Труйльфу поместился у вершины треугольника вместе с герцогом египетским, нашим другом Жеаном и наиболее отважными молодцами.

Нападения, подобные тому, какое бродяги намеревались совершить на Собор Богоматери, были нередки в городах средневековья. Того, что ныне мы именуем «полицией», встарь не существовало вовсе. В наиболее многолюдных городах, особенно в столицах, не было единой,

центральной, устанавливающей порядок власти. Феодализм созидал эти большие города-общины самым причудливым образом. Город был собранием феодальных владений, разделявших его на части всевозможной формы и величины. Отсюда – наличие один другому противоречивших распорядков, иначе говоря, отсутствие порядка. Так, например, в Париже, независимо от ста сорока одного ленного владельца, пользовавшихся правом взимания земельной подати, было еще двадцать пять владельцев, пользовавшихся, кроме этого, правом судебной власти, – от епископа Парижского, которому принадлежало сто пять улиц, до настоятеля церкви Нотр-Дам-де-Шан, у которого их было четыре. Все эти феодальные законники лишь номинально признавали своего сюзерена – короля. Все имели право собирать дорожные пошлины. Все чувствовали себя хозяевами. Людовик XI, этот неутомимый труженик, в таких широких размерах предпринявший разрушение здания феодализма, продолженное Ришелье и Людовиком XIV в интересах королевской власти и законченное Мирабо в интересах народа, пытался прорвать эту сеть поместных владений, покрывавших Париж, издав наперекор всем два-три жестоких указа, устанавливавших обязательные для всех правила. Так, в 1465 году всем горожанам было приказано, под страхом виселицы, при наступлении ночи зажигать на окнах свечи и запирать собак; в том же году второй указ предписывал запирать вечером улицы железными цепями и запрещал иметь при себе, вне дома, кинжал или всякое другое оружие. Но вскоре все эти попытки установить общегородское законодательство были преданы забвению. Горожане позволяли ветру задувать свечи на окнах, а собакам бродить; цепи протягивались поперек улицы лишь во время осадного положения, а запрет носить оружие привел лишь к тому, что улицу Перерезанных глоток переименовали в улицу Перерезанного горла, что все же указывало на значительный прогресс. Старинное сооружение феодального законодательства осталось незыблемым; поместные и окружные судебные управления смешивались, сталкивались, перепутывались, наслаивались вкривь и вкось одно на другое, как бы врезаясь друг в друга; густая сеть ночных постов, дозоров, караулов была бесполезна, ибо сквозь нее во всеоружии пробирались грабеж, разбой, бунт. Среди подобного беспорядка внезапное нападение черни на какой-нибудь дворец, особняк или простой дом, даже в самых населенных частях города, не считалось неслыханным происшествием. В большинстве случаев соседи тогда только вмешивались, когда разбой стучался в их двери. Заслышав выстрелы из мушкетов, они затыкали себе уши, закрывали ставни, задвигали дверные засовы, и распря кончалась при содействии ночного дозора или без оного. Наутро парижане говорили: «Ночью – ворвались к Этьену Барбету»; «Напали на маршала Клермонского». Вот почему не только королевские резиденции – Лувр, дворец, Бастилия, Турнель, – но и обиталища вельмож – Малый Бурбонский дворец, особняк Сане, особняк Ангулем – были обнесены зубчатыми стенами и имели над воротами бойницы. Церкви охраняла их святость. Все же некоторые из них – Собор Богоматери к их числу не принадлежал – были укреплены. Аббатство Сен-Жермен-де-Пре было обнесено зубчатой оградой, точно владение барона, а на пушки оно израсходовало значительно больше меди, чем на колокола. Следы его укреплений заметны были еще в 1610 году; ныне от него сохранилась лишь церковь.

Но возвратимся к Собору Богоматери.

Когда первые распоряжения были закончены, – отдавая должное дисциплине этой армии бродяг, следует заметить, что приказания Клопена исполнялись в полном молчании и с величайшей точностью, – почтенный предводитель шайки взобрался на ограду паперти и, обратясь лицом к собору, возвысил свой хриплый и грубый голос, размахивая факелом, пламя которого, колеблемое ветром, то выхватывало из мрака красноватый фасад храма, то, застилаясь собственным дымом, вновь погружало его во тьму.

– Тебе, Луи де Бомон, епископ Парижский, советник королевской судебной палаты, я, Клопен Труйльфу, король Алтынный, великий кесарь, князь арготинцев, епископ шутов, говорю: «Наша сестра, невинно осужденная за колдовство, укрылась в твоем соборе, ты обязан предоставить ей убежище и защиту; но суд хочет извлечь ее оттуда, и ты дал на то свое

согласие, ее повесили бы завтра на Гревской площади, когда бы не бог да бродяги. Вот почему мы и пришли к тебе, епископ Если твоя церковь неприкосновенна, то неприкосновенна и сестра наша, если же наша сестра не является неприкосновенной, то и храм твой не будет неприкосновенным Поэтому мы требуем, чтобы ты выдал нам девушку, если хочешь спасти свой собор, или же мы отнимем девушку и разграбим храм, что будет справедливо А в подтверждение этого я водружаю здесь мое знамя, и да хранит тебя бог, епископ Парижский!»

К несчастью. Квазимодо не мог слышать эти слова, произнесенные с выражением мрачного и дикого величия. Один из бродяг подал Клопену стяг, и Клопен торжественно водрузил его между двумя плитами. Это были большие вилы, на зубьях которых висел окровавленный кусок падали.

Затем король Алтынный обернулся и оглядел свою армию – свирепое сборище людей, взгляды которых сверкали почти так же, как пики. После небольшого молчания он крикнул.

– Вперед, ребята! За дело, взломщики!

Тридцать здоровенных плечистых молодцов, похожих на слесарей, с молотками, клещами и железными ломами на плечах выступили из рядов. Они двинулись к главному порталу собора и взошли на паперть; видно было, как они, очутившись под стрельчатым сводом, принялись взламывать двери при помощи клещей и рычагов. Бродяги повалили следом за ними, чтобы помочь им или чтобы поглядеть на них. Все одиннадцать ступеней паперти были запружены толпой.

Дверь не подавалась.

– Черт возьми! Какая же она крепкая и упрямая! – сказал один.

– От старости она окостенела, – сказал другой.

– Смелей, приятели! – поощрял их Клопен. – Ставлю свою голову против старого башмака, что вы успеете открыть дверь, похитить девушку и разграбить главный алтарь, прежде чем успеет проснуться хоть один причетник! Стойте! Да никак запор уже трещит!

Страшный грохот, раздавшийся за спиной Клопена, прервал его речь. Он обернулся. Огромная, точно свалившаяся с неба балка, придавив собою человек десять бродяг на ступенях паперти, с громом пушечного выстрела отскочила на мостовую, перешибая по пути ноги оборванцев в толпе, бросившейся во все стороны с криками ужаса. В мгновение ока прилегавшая к паперти часть площади опустела. Взломщики, хотя и защищаемые глубокими сводами портала, бросили дверь, и даже сам Клопен отступил на почтительное расстояние от собора.

– Ну и счастливо же я отделался! – воскликнул Жеан. – Я слышал, как она просвистела, клянусь чертовой башкой! Зато она погубила душу Пьера Душегуба!

Невозможно описать, в какое изумление и ужас повергло бродяг это бревно. Некоторое время они стояли, вглядываясь в небо, приведенные в большее замешательство этим куском дерева, нежели двадцатью тысячами королевских стрелков.

– Сатана! – пробурчал герцог египетский. – Тут пахнет колдовством!

– Наверное, луна сбросила на нас это полено, – сказал Андри Рыжий.

– К тому же, говорят, луна в дружбе с Пречистой девой! – сказал Франсуа Шантепрюн.

– Тысяча пап! – воскликнул Клопен – Все вы дураки! – Но как объяснить падение бревна, он и сам не знал.

На высоком фасаде церкви, до верха которого не достигал свет факелов, ничего нельзя было разглядеть. Увесистая дубовая балка валялась на мостовой; слышались стоны несчастных, которые, первыми попав под ее удар, распороли себе животы об острые углы каменных ступеней.

Наконец, когда волнение улеглось, король Алтынный нашел толкование, показавшееся его товарищам вполне допустимым:

– Чертова пасть! Неужели попы вздумали обороняться? Тогда грабить их! Грабить!

– Грабить! – повторила с бешеным ревом толпа. Вслед за тем раздался залп из мушкетов и самострелов по фасаду собора.

Мирные обитатели соседних домов проснулись Распахнулись окна, из них высунулись головы в ночных колпаках и руки, державшие зажженные свечи.

– Стреляйте по окнам! – скомандовал Клопен.

Окна тотчас же захлопнулись, и бедные горожане, еле успев бросить испуганный взгляд на это грозное зрелище, освещенное мерцающим пламенем факелов, вернулись, обливаясь холодным потом, к своим супругам, вопрошая себя, не справляют ли нынче ведьмы на Соборной площади шабаш, или же это нападение бургундцев, как в 64-м году. Мужчинам уже чудился разбой, женщинам – насилие. И те и другие дрожали от страха.

– Грабить! – повторяли арготинцы. Но приблизиться они не решались. Они глядели то на церковь, то на дубовую балку. Бревно лежало неподвижно. Здание хранило спокойный и нежилой вид, но что-то непонятное сковывало бродяг.

– За работу, взломщики! – крикнул Труйльфу. – Высаживайте дверь!

Никто не шевельнулся.

– Чертовы борода и пузо! – возмутился Клопен. – Ну и мужчины! Испугались балки!

Взломщик постарше обратился К нему:

– Командир! Нас задерживает не балка, а дверь с железными полосами. Клещами с ней ничего не сделаешь.

– Что же вам нужно, чтобы ее высадить? – спросил Клопен.

– Да надо бы таран.

Король Алтынный смело подбежал к страшному бревну и поставил на него ногу.

– Вот вам таран! – воскликнул он. – Вам посылают его сами каноники! С насмешливым видом поклонившись в сторону церкви, он добавил: – Спасибо, отцы каноники!

Эта выходка произвела хорошее впечатление. Чары дубовой балки были разрушены. Бродяги воспрянули духом; вскоре тяжелая балка, подхваченная, как перышко, двумя сотнями сильных рук, с яростью ринулась на массивную дверь. При тусклом свете, который отбрасывали на площадь факелы, длинное бревно, поддерживаемое мужчинами, бежавшими, казалось чудовищным тысяченогим зверем, который, пригнув голову, бросается на каменного великана.

Под ударами бревна дверь, сделанная наполовину из металла, загремела, как огромный барабан, но не подалась, хотя весь собор содрогался, и было слышно, как глухо гудело в глубоких недрах здания.

В ту же минуту дождь огромных камней посыпался на осаждавших.

– Дьявол! – воскликнул Жеан. – Неужто башни вздумали стряхнуть на наши головы свои балюстрады?

Начав первый, король Алтынный платился за поданный пример: несомненно, это защищался епископ; но в дверь били с еще большим ожесточением, невзирая на камни, раскраивавшие черепа направо и налево.

Камни падали поодиночке, один за другим, очень часто. Арготинцы чувствовали сразу два удара: один – по голове, другой – по ногам. Редкий камень не попадал в цель, и уже груда убитых и раненых истекала кровью и билась в судорогах под ногами людей, в исступлении шедших на приступ, непрерывно пополняя свои редеющие ряды. Длинное бревно мерными ударами продолжало бить в дверь, точно язык колокола, камни продолжали сыпаться, дверь – стонать.

Читатель, конечно, уже догадался, что это неожиданное сопротивление, столь ожесточившее бродяг, было делом рук Квазимодо.

К несчастью, случай помог мужественному горбуну.

Когда он спустился на площадку между башнями, в мыслях его царило смятение. Увидев с высоты сплошную массу бродяг, готовых ринуться на собор, он несколько минут бегал взад и вперед по галерее, как сумасшедший, умоляя дьявола или бога спасти цыганку. Ему пришло было на ум взобраться на южную колокольню и ударить в набат. Но прежде чем он раскачает колокол и раздастся гулкий голос Марии, церковные двери успеют десять раз рухнуть. Это было как раз в ту минуту, когда взломщики направились к ним со своими орудиями. Что предпринять?

Вдруг он вспомнил, что целый день каменщики работали над починкой стены, стропил и кровли южной башни. Это было для него лучом света. Стена башни была каменная, кровля свинцовая, стропила деревянные. Эту удивительную стропильную связь собора называли «лесом» – такая она была частая.

Квазимодо бросился к этой башне. Действительно, наружные помещения ее были завалены строительным материалом. Здесь лежали груды мелкого камня, скатанные в трубки свинцовые листы, связки дранки, массивные балки с уже выпиленными пазами, кучи щебня, – словом, целый арсенал.

Каждая минута была дорога. Внизу вовсю работали клещи и молотки. С удесятерившейся от сознания опасности силой Квазимодо приподнял самую тяжелую, самую длинную балку, просунул ее в одно из слуховых окон башни, затем, перехватив ее снаружи и заставив скользить по углу балюстрады, окаймлявшей площадку, спустил ее в бездну. Громадная балка, падая с высоты ста шестидесяти футов, царапая стену и ломая изваяния, несколько раз перевернулась в воздухе, точно оторвавшееся мельничное крыло, улетевшее в пространство. Наконец она коснулась земли. Раздался страшный вопль; грохнувшись о мостовую, черная балка подпрыгнула, точно взметнувшаяся в воздух змея.

Квазимодо видел, как при падении бревна бродяги рассыпались во все стороны, словно пепел от дуновения ребенка. Он воспользовался их смятением, и пока они с суеверным ужасом разглядывали обрушившуюся на них с небес махину и осыпали градом стрел и крупной дроби каменные статуи портала, он бесшумно свалил груды щебня, мелкого и крупного камня, даже мешки с инструментами каменщиков на край балюстрады, с которой была сброшена балка.

И как только осаждавшие начали выбивать большие двери собора, на них посыпался град камней; им показалось, что сама церковь рушится на их головы.

Тот, кто в этот миг взглянул бы на Квазимодо, наверное, ужаснулся бы. Кроме метательных снарядов, которые он нагромоздил на балюстраде, он навалил еще кучу камней на самой площадке. Лишь только запас камней на выступе балюстрады иссяк, он взялся за эту кучу. Он нагибался, выпрямлялся, вновь нагибался и выпрямлялся с непостижимой быстротой. Его непомерно большая голова, похожая на голову гнома, свешивалась над балюстрадой, и вслед за тем летел громадный камень, другой, третий. По временам он следил за падением какого-нибудь увесистого камня и, когда тот попадал в цель, злорадно рычал.

И все же оборванцы не отчаивались. Более двадцати раз крепкая дверь, на которую они набрасывались, содрогалась под ударами дубового тарана, тяжесть которого удваивали усилия сотен рук. Створы трещали, чеканные украшения разлетались вдребезги, петли при каждом ударе подпрыгивали на винтах, брусья выходили из пазов, дерево, раздробленное между железными ребрами створ, рассыпалось в порошок. К счастью для Квазимодо, в двери было больше железа, чем дерева.

Однако он чувствовал, что главные врата подаются. Хотя он не слышал ударов тарана, но каждый из них отзывался как в недрах собора, так и в нем самом. Сверху ему было видно, как бродяги, полные ярости и торжества, грозили кулаками сумрачному фасаду церкви; думая о себе и цыганке, он завидовал крыльям сов, стаями взлетавших над его головой и уносившихся вдаль.

Града его камней оказалось недостаточно, чтобы отразить нападающих.

Испытывая мучительную тревогу, он заметил в эту минуту чуть пониже балюстрады, с которой он громил бродяг, две длинные водосточные каменные трубы, оканчивавшиеся как раз над главными вратами. Верхние отверстия этих желобов примыкали к площадке. У него мелькнула мысль. Он побежал в свою конуру за вязанкой хвороста, постарался навалить на хворост как можно больше дранки и свинца, – этими боевыми припасами он до сих пор еще не воспользовался, – и, расположив, как должно, этот костер перед отверстиями двух сточных желобов, запалил его при помощи фонаря.

В это время каменный дождь прекратился, и бродяги перестали смотреть вверх. Запыхавшись, словно стая гончих, берущая с бою кабана в его логове, разбойники теснились около главных врат, изуродованных тараном, но еще державшихся. С трепетом ждали они решительного удара – того удара, который высадит дверь. Каждый старался быть поближе к ней, чтобы, когда она откроется, первому вбежать в богатый собор, в это громадное хранилище, где скопились богатства трех столетий. Рыча от восторга и жадности, они напоминали друг другу о великолепных серебряных распятиях, великолепных парчовых ризах, великолепных надгробных плитах золоченого серебра, о пышной роскоши хоров, об ослепительных празднествах – о Рождестве, сверкающем факелами, о Пасхе, залитой солнечным сиянием, о всех этих блестящих торжествах, когда раки с мощами, подсвечники, дароносицы, дарохранительницы, ковчежцы словно броней из золота и алмазов покрывали алтари. В эту незабвенную минуту все эти домушники и хиляки, все эти мазурики и лжепогорельцы гораздо меньше были озабочены освобождением цыганки, чем разграблением Собора Богоматери. Мы даже охотно поверим, что для доброй половины из них Эсмеральда была лишь предлогом, если только ворам вообще нужен какой-нибудь предлог.

Внезапно, в тот миг, когда они сгрудились вокруг тарана в последнем порыве, сдерживая дыхание и напрягая мускулы для решительного удара, раздался вой, еще более ужасный, чем тот, который замер под упавшим бревном. Те, кто не кричал, кто еще был жив, взглянули вверх. Два потока расплавленного свинца лились с верхушки здания в самую гущу толпы. Море людей как бы осело под кипящим металлом, образовавшим в толпе, куда он низвергался, две черные дымящиеся дыры, какие остались бы в снегу от кипятка. В толпе корчились умирающие, вопившие от боли, полуобугленные. От двух главных струй разлетались брызги этого ужасного дождя, осыпая осаждавших, огненными буравами впиваясь в их черепа. Несчастные были изрешечены мириадами этих тяжелых огненных градин.

Слышались раздирающие душу стоны. Смельчаки и трусы – все побежали кто куда, бросив таран на трупы, и паперть опустела вторично.

Все устремили взгляды на верх собора. Глазам бродяг явилось необычайное зрелище. На самой верхней галерее, над центральной розеткой, между двух колоколен, поднималось яркое пламя, окруженное вихрями искр, – огромное, беспорядочное, яростное пламя, клочья которого по временам вместе с дымом уносил ветер. Под этим огнем, под темной балюстрадой с пламенеющими трилистниками, две водосточные трубы, словно пасти чудовищ, извергали жгучий дождь, серебристые струи которого сверкали на темной нижней части фасада. По мере приближения к земле оба потока жидкого свинца разбрызгивались, как вода, льющаяся из лейки. А над пламенем громадные башни, у которых одна сторона была багровая, а другая – совершенно черная, казалось, стали еще выше и достигали безмерной величины отбрасываемых ими теней, тянувшихся к самому небу.

Украшавшие их бесчисленные изваяния демонов и драконов приобрели зловещий вид. Они словно оживали на глазах, в колеблющихся отблесках пламени. Змеиные пасти растянулись в улыбку, рыльца водосточных труб словно заливались лаем, саламандры раздували огонь, драконы чихали, задыхаясь в дыму. И среди этих чудовищ, пробужденных от своего каменного сна бушующим пламенем и шумом, было одно, которое передвигалось и мелькало на огненном фоне костра, точно летучая мышь, проносящаяся мимо свечи.

Этот невиданный маяк, наверное, разбудил дровосеков на дальних холмах Бисетра и испугал их гигантскими тенями башен собора, плясавшими на поросших вереском склонах.

Среди устрашенных бродяг воцарилась тишина; слышались лишь тревожные крики каноников, запершихся в монастыре и объятых большим ужасом, чем лошади в горящей конюшне, приглушенный стук быстро открываемых и еще быстрее закрываемых окон, переполох в жилищах и в Отель-Дье, стенание ветра в пламени, предсмертный хрип умирающих да непрерывный шум свинцового дождя, падавшего на мостовую.

Между тем главари бродяг удалились под портик особняка Гонделорье и стали держать совет. Герцог египетский, присев на тумбу, с каким-то суеверным страхом всматривался в фантастический костер, пылавший на двухсотфутовой высоте. Клопен Труйльфу в бешенстве кусал кулаки.

– Войти невозможно! – бормотал он сквозь зубы.

– Старая колдовка, а не церковь! – ворчал старый цыган Матиас Хунгади Спикали.

– Клянусь усами папы, – сказал седой пройдоха, бывший военный, – эти церковные желоба плюются расплавленным свинцом не хуже Лектурских бойниц!

– А вы видите этого дьявола, который мелькает перед огнем? – спросил герцог египетский.

– Черт возьми! – воскликнул Клопен. – Да ведь это проклятый звонарь! Это Квазимодо!

Цыган покачал головой.

– А я вам говорю, что это дух Сабнак, великий маркиз, демон укреплений. Он похож на вооруженного воина с львиной головой. Иногда он показывается верхом на безобразном коне. Он превращает людей в камни, из которых потом строит башни. Под командой у него пятьдесят легионов. Это, конечно, он. Я узнаю его. Иногда он бывает одет в прекрасное золотое платье турецкого покроя.

– Где Бельвинь Этуаль? – спросил Клопен.

– Убит, – ответила одна из воровок.

Андри Рыжий засмеялся глупым смехом.

– Собор Богоматери задал-таки работу госпиталю! – сказал он.

– Неужели нет никакой возможности выломать дверь? – спросил король Алтынный, топнув ногой.

Но герцог египетский печальным жестом указал ему на два потока кипящего свинца, не перестававших бороздить черный фасад, словно два длинных фосфорических веретена.

– Бывали и прежде примеры, что церкви защищались сами, – вздыхая, заметил он. – Сорок лет тому назад собор святой Софии в Константинополе три раза кряду повергал на землю полумесяц Магомета, потрясая куполами, точно головой. Гильом Парижский, строивший этот храм, был колдун.

– Неужели мы так и уйдем с пустыми руками, как мразь с большой дороги? – спросил Клопен. – Неужели мы оставим там нашу сестру, которую волки в клобуках завтра повесят?

– И ризницу, где целые возы золота! – добавил один бродяга, имя которого, к сожалению, до нас не дошло.

– Борода Магомета! – воскликнул Труйльфу.

– Попытаемся еще раз, – предложил бродяга.

Матиас Хунгади покачал головой.

– Через дверь нам не войти. Надо отыскать изъян в броне старой ведьмы. Какую-нибудь дыру, потайной выход, какую-нибудь щель.

– Кто за это? – сказал Клопен. – Я возвращаюсь туда. А кстати, где же маленький школяр Жеан, который был весь увешан железом?

– Вероятно, убит, – ответил кто-то. – Не слышно, чтобы он смеялся.

Король Алтынный нахмурил брови.

– Тем хуже. Под этим железным хламом билось мужественное сердце. А мэтр Пьер Гренгуар?

– Капитан Клопен! – сказал Андри Рыжий. – Он удрал, когда мы были еще на мосту Менял.

Клопен топнул ногой.

– Рыло господне! Сам втравил нас в это дело, а потом бросил в самое горячее время! Трусливый болтун! Стоптанный башмак!

– Капитан Клопен! – крикнул Андри Рыжий, глядевший на Папертную улицу. – Вон маленький школяр!

– Хвала Плутону! – воскликнул Клопен. – Но какого черта тащит он за собой?

Действительно, это был Жеан, бежавший так скоро, как только ему позволяли его тяжелые рыцарские доспехи и длинная лестница, которую он отважно волочил по мостовой, надсаживаясь, как муравей, ухватившийся за стебель в двадцать раз длиннее себя.

– Победа! Te Deum![151] – орал школяр. – Вот лестница грузчиков с пристани Сен-Ландри.

Клопен подошел к нему.

– Что это ты затеваешь, мальчуган? На кой черт тебе эта лестница?

– Я достал-таки ее, – задыхаясь, ответил Жеан. – Я знал, где она находится. В сарае заместителя верховного судьи. Там живет одна моя знакомая девчонка, которая находит, что я красив, как купидон. Я воспользовался этим, чтобы добыть лестницу, и достал ее Клянусь Магометом! А девчонка вышла отворить мне в одной сорочке.

– Так, – сказал Клопен, – но на что тебе лестница?

Жеан лукаво и самоуверенно взглянул на него и прищелкнул пальцами, как кастаньетами. Он был великолепен в эту минуту. Его голову украшал один из тяжелых шлемов XV века, фантастические гребни которых устрашали врагов. Шлем топорщился целым десятком клювов, так что Жеан вполне мог бы оспаривать грозный эпитет bexeuboloc[152], данный Гомером кораблю Нестора.

– На что она мне понадобилась, августейший король Алтынный? А вы видите ряд статуй с глупыми рожами, вон там, над тремя порталами?

– Вижу. Дальше что?

– Это галерея французских королей.

– А мне какое дело? – спросил Клопен.

– Постойте! В конце этой галереи есть дверь, которая всегда бывает заперта только на задвижку. Я взберусь по этой лестнице, и вот я уже в церкви.

– Дай мне взобраться первому, мальчуган!

– Ну нет, приятель, лестница-то ведь моя! Идемте, вы будете вторым.

– Чтоб тебя Вельзевул удавил! – проворчал Клопен. – Я не желаю быть вторым.

– Ну, тогда, Клопен, поищи себе лестницу!

И Жеан пустился бежать по площади, волоча за собой свою добычу и крича: «За мной, ребята!»

В одно мгновение лестницу подняли и приставили к балюстраде нижней галереи над одним из боковых порталов. Толпа бродяг, испуская громкие крики, теснилась у ее подножия, чтобы взобраться по ней. Но Жеан отстоял свое право и первым ступил на лестницу. Подъем был довольно продолжительным. Галерея французских королей ныне находится на высоте около шестидесяти футов над мостовой. А в те времена одиннадцать ступеней крыльца поднимали ее еще выше. Жеан взбирался медленно, скованный тяжелым вооружением, одной

рукой держась за ступеньку, другой сжимая самострел. Добравшись до середины лестницы, он бросил меланхолический взгляд вниз, на тела бедных арготинцев, устилавшие паперть.

– Увы! – сказал он. – Эта груда тел достойна пятой песни Илиады.

И он опять полез вверх. Бродяги следовали за ним. На каждой ступеньке был человек. Эту извивавшуюся в темноте линию покрытых латами спин можно было принять за змею со стальной чешуей, ползущую по стене собора. Жеан, поднимавшийся первым, свистом дополнял иллюзию.

Наконец школяр добрался до выступа галереи и довольно ловко вскочил на нее при одобрительных криках воровской братии. Овладев таким образом цитаделью, он испустил было радостный крик, но тотчас же, словно окаменев, умолк. Он заметил позади одной из королевских статуй Квазимодо, притаившегося в потемках. Глаз Квазимодо сверкал.

Прежде чем второй осаждающий успел ступить на галерею, чудовищный горбун прыгнул к лестнице, молча схватил ее за концы своими ручищами, сдвинул ее, отделил от стены, раскачал под вопли ужаса эту длинную, пружинившую под телами лестницу, унизанную сверху донизу бродягами, и внезапно с нечеловеческой силой толкнул эту живую гроздь на площадь. Наступила минута, когда даже у самых отважных забилось сердце. Отброшенная назад лестница одно мгновение стояла прямо, как бы колеблясь, затем качнулась, и вдруг, описав страшную дугу, радиус которой составлял восемьдесят футов, она, быстрее чем подъемный мост, у которого оборвались цепи, обрушилась со всем своим человеческим грузом на мостовую. Раздались ужасающие проклятия, затем все смолкло, и несколько несчастных искалеченных бродяг выползло из-под груды убитых.

Только что звучавшие победные клики сменились воплями скорби и гнева. Квазимодо стоял неподвижно, опершись о балюстраду локтями, и глядел вниз. Он был похож на древнего меровингского короля, смотрящего из окна.

Жеан Фролло оказался в затруднительном положении. Он очутился на галерее один на один с грозным звонарем, отделенный от своих товарищей отвесной стеной в восемьдесят футов. Пока Квазимодо возился с лестницей, школяр подбежал к дверце потайного хода, думая, что она открыта! Увы! Глухой, выйдя на галерею, запер ее за собою. Тогда Жеан спрятался за одним из каменных королей, боясь вздохнуть и устремив на страшного горбуна растерянный взгляд, подобно человеку, который, ухаживая за женой сторожа при зверинце и отправившись однажды на любовное свидание, ошибся местом, когда перелезал через стену, и вдруг очутился лицом к лицу с белым медведем.

В первую минуту глухой не обратил на него внимания; наконец он повернул голову и вдруг выпрямился. Он заметил школяра.

Жеан приготовился к яростному нападению, но глухой стоял неподвижно; он лишь повернулся к школяру и смотрел на него.

– Хо! Хо! Что ты так печально смотришь на меня своим кривым глазом? спросил Жеан.

Молодой повеса тайком готовил свой самострел.

– Квазимодо! – крикнул он. – Я хочу заменить твою кличку. Отныне тебя будут называть слепцом!

Он выстрелил. Оперенная стрела просвистела в воздухе и вонзилась в левую руку горбуна. Квазимодо обратил на это столько же внимания, как если бы она оцарапала статую короля Фарамонда. Он вытащил стрелу и спокойно переломил ее о свое толстое колено. Затем он бросил, вернее – уронил ее обломки. Но Жеан не успел выстрелить вторично. Квазимодо, шумно вздохнув, прыгнул, словно кузнечик, и обрушился на школяра, латы которого сплющились от удара о стену.

И тогда в этом полумраке, при колеблющемся свете факелов, произошло нечто ужасное.

Квазимодо схватил левой рукой обе руки Жеана, а Жеан не сопротивлялся – он чувствовал, что погиб. Правой рукой горбун молча, со зловещей медлительностью, стал снимать с него один за другим все его доспехи – шпагу, кинжалы, шлем, латы, наручни, – словно обезьяна, шелушащая орех. Кусок за куском бросал Квазимодо к своим ногам железную скорлупу школяра.

Жеан, обезоруженный, раздетый, слабый и беспомощный, во власти этих страшных рук, даже не пытался говорить с глухим – он дерзко расхохотался ему в лицо и, с неустрашимой беззаботностью шестнадцатилетнего мальчишки, запел песенку, которая в те времена пользовалась известностью:

Принарядился, похорошел

Прекрасный город Камбре.

Его догола Марафен раздел…

Он не кончил. Квазимодо, вскочив на парапет галереи, одной рукой схватил школяра за ноги и принялся вращать им над бездной, словно пращей. Затем раздался звук, похожий на тот, который издает разбившаяся о стену костяная шкатулка; сверху что-то полетело и остановилось, зацепившись на трети пути за выступ. Это повисло уже бездыханное тело, согнувшееся пополам, с переломанным хребтом и размозженным черепом.

Крик ужаса пронесся среди бродяг.

– Месть! – рычал Клопен.

– Грабить! – подхватила толпа. – На приступ! На приступ!

А затем раздался неистовый рев, в котором слились все языки, все наречия, все произношения. Смерть несчастного школяра охватила толпу пламенем ярости. Ею овладели стыд и гнев при мысли, что какойто горбун мог так долго держать ее в бездействии перед собором. Бешеная злоба помогла отыскать лестницы, новые факелы, и спустя несколько минут растерявшийся Квазимодо увидел, как этот ужасный муравейник полез на приступ Собора Богоматери. Те, у кого не было лестницы, запаслись узловатыми веревками; те, у кого не было веревок, карабкались, хватаясь за скульптурные украшения. Одни цеплялись за рубище других. Не было никакой возможности противостоять все возраставшему приливу этих ужасных лиц. Свирепые лица пылали от ярости, землистые лбы заливал пот, глаза сверкали. Все эти уроды, все эти рожи обступили Квазимодо; можно было подумать, что какой-то другой храм выслал на штурм Собора Богоматери своих горгон, псов, свои маски, своих демонов, свои самые фантастические изваяния. Они казались слоем живых чудовищ на каменных чудовищах фасада.

Тем временем площадь вспыхнула множеством факелов. Беспорядочная картина боя, до сей поры погруженная во мраке, внезапно озарилась светом. Соборная площадь сверкала огнями, бросая их отблеск в небо. Костер, разложенный на верхней площадке, продолжал полыхать, далеко освещая город. Огромный силуэт башен четко выступал над крышами Парижа, образуя на этом светлом фоне широкий черный выем. Город, казалось, всколыхнулся. Со всех сторон доносился стонущий звон набата. Бродяги, рыча, задыхаясь, богохульствуя, взбирались наверх, а Квазимодо, бессильный против такого количества врагов, дрожа за жизнь цыганки и видя, как все ближе и ближе подвигаются к его галерее разъяренные лица, в отчаянии ломая руки, молил небо о чуде.

V. Келья, в которой Людовик Французский читает часослов

Читатель, быть может, помнит, что за минуту перед тем, как Квазимодо заметил в ночном мраке шайку бродяг, он, обозревая с высоты своей башни Париж, увидел только один огонек, светившийся в окне самого верхнего этажа высокого и мрачного здания рядом с Сент-Антуанскими воротами. Это здание была Бастилия. Этой мерцавшей звездочкой была свеча Людовика XI.

Король Людовик XI уже два дня провел в Париже. Через день он предполагал вновь отбыть в свой укрепленный замок Монтиль-ле-Тур. Он вообще лишь редкими и короткими наездами появлялся в своем добром городе Париже, находя, что в нем недостаточно потайных ходов, виселиц и шотландских стрелков.

Эту ночь он решил провести в Бастилии. Огромный его покой в Лувре, в пять квадратных туаз с большим камином, украшенным изображениями двенадцати огромных животных и тринадцати великих пророков, с просторным ложем (одиннадцать футов в ширину и двенадцать в длину) не очень привлекал его. Он терялся среди всего этого величия. Король, обладавший вкусом скромного горожанина, предпочитал каморку с узкой постелью в Бастилии. К тому же Бастилия была лучше укреплена, чем Лувр.

«Каморка», которую король отвел себе в знаменитой государственной тюрьме, была все же достаточно обширна и занимала самый верхний этаж башенки, возведенной на главной замковой башне. Это была уединенная круглая комната, обитая блестящими соломенными циновками, с цветным потолком, который перерезали балки, увитые лилиями из позолоченного олова, с деревянными панелями, выкрашенными красивой ярко-зеленой краской, составленной из реальгара и индиго, и усеянными розетками из белой оловянной глазури.

В ней было лишь одно высокое стрельчатое окно, забранное решеткой из медной проволоки и железных прутьев и затененное помимо этого великолепными цветными, с изображениями гербов короля и королевы, стеклами, каждое из которых стоило двадцать два су.

В ней был лишь один вход, одна дверь с низкой аркой, во вкусе того времени, изнутри обитая вышитым ковром и снабженная снаружи портиком из ирландской сосны – хрупким сооружением тонкой, искусной столярной работы, которое часто можно было видеть в старинных домах еще лет полтораста назад. «Хотя они обезображивают и загромождают жилища, – говорит с отчаянием Соваль, – тем не менее наши старики не желают расставаться с ними и сохраняют их наперекор всему»

Но в этой комнате нельзя было найти обычного для того времени убранства – никаких скамей – ни длинных, с мягкими сиденьями, ни в форме ларей, ни табуретов на трех ножках, ни прелестных скамеечек на резных подставках, стоивших четыре су каждая Здесь стояло только одно роскошное складное кресло, его деревянные части были разрисованы розами на красном фоне, а сиденье алой кордовской кожи украшено длинной шелковой бахромой и усеяно золотыми гвоздиками Это одинокое кресло указывало на то, что лишь одна особа имела право сидеть в этой комнате Рядом с креслом, у самого окна, стоял стол, покрытый ковром с изображениями птиц На столе письменный прибор в чернильных пятнах, свитки пергамента, перья и серебряный чеканный кубок. Чуть подальше – переносная печь, аналой, обитый темнокрасным бархатом и украшенный золотыми шишечками Наконец в глубине стояла простая кровать, накрытая покрывалом желто-красного штофа, без мишуры и позументов, со скромной бахромой. Эту самую кровать, знаменитую тем, что она навевала на Людовика XI то сон, то бессонницу, можно было видеть еще двести лет спустя в доме одного государственного советника, где ее узрела на старости лет г-жа Пилу, прославленная в романе Кир под именем Аррицидии, или Олицетворенной нравственности.

Такова была комната, называвшаяся «кельей, в которой Людовик Французский читает часослов».

В ту минуту, когда мы ввели сюда читателя, комната тонула во мраке. Сигнал к тушению огней был подан уже час назад, наступила ночь, на столе мерцала только одна жалкая восковая свеча, озарявшая пять человек, собравшихся в этой комнате.

Один из них был вельможа в роскошном костюме, состоявшем из широких коротких штанов, пунцового, расшитого серебром камзола и плаща с парчовыми, в черных разводах, широкими рукавами. Этот великолепный наряд, на котором играл свет, казалось, пламенел

каждой своей складкой. На груди у него был вышит яркими шелками герб, две полоски, образовавшие угол вершиной вверх, а под ним бегущая лань С правой стороны гербового щита масличная ветвь, с левой – олений рог. На поясе висел богатый кинжал, золоченая рукоятка которого была похожа на гребень шлема с графской короной наверху. У этого человека было злое лицо, высокомерный вид, гордо поднятая голова. Прежде всего бросалась в глаза его надменность, затем хитрость.

Держа в руках длинный свиток, он с непокрытой головой стоял за креслом, в котором, согнувшись, закинув ногу на ногу и облокотившись о стол, сидел плохо одетый человек. Вообразите в этом пышном, обитом колдовской кожей кресле угловатые колени, тощие ляжки в поношенном трико из черной шерсти, туловище, облаченное в фланелевый кафтан, отороченный облезлым мехом, и старую засаленную шляпу из самого скверного черного сукна, с прикрепленными вокруг тульи свинцовыми фигурками. Прибавьте к этому грязную ермолку, почти скрывавшую волосы, – вот и все, что можно было разглядеть на сидевшем человеке. Голова его свесилась на грудь; виден был лишь кончик длинного носа, на который падал луч света. По иссохшим морщинистым рукам нетрудно было догадаться, что в кресле сидит старик. Это и был Людовик XI.

Поодаль, за их спинами, беседовали вполголоса двое мужчин, одетых в платье фламандского покроя. Оба они были хорошо освещены; те, кто присутствовал на представлении мистерии Гренгуара, тотчас узнали бы в них двух главных послов Фландрии: Гильома Рима, проницательного сановника из города Гента, и любимого народом чулочника Жака Копеноля. Читатель припомнит, что эти два человека были причастны к тайной политике Людовика XI.

Наконец в самой глубине комнаты, возле двери, неподвижно, как статуя, стоял в полутьме крепкий, коренастый человек, в доспехах, в кафтане, вышитом гербами. Его квадратное лицо с низким лбом и глазами навыкате, с огромной щелью рта и широкими прядями прилизанных волос, закрывавшими уши, напоминало и пса и тигра.

У всех, кроме короля, головы были обнажены.

Вельможа, стоявший подле короля, читал ему чтото вроде длинной докладной записки, которую тот, казалось, слушал очень внимательно. Фламандцы перешептывались.

– Крест господень! – ворчал Копеноль. – Я устал стоять. Неужели здесь нет ни одного стула?

Рим, сдержанно улыбаясь, ответил отрицательным жестом.

– Крест Господень! – опять заговорил Копеноль, которому было очень трудно понижать голос. – Меня так и подмывает усесться на пол и поджать под себя ноги, по обычаю чулочников, как я это делаю у себя в лавке.

– Ни в коем случае, мэтр Жак!

– Как, мэтр Гильом? Значит, здесь дозволяется только стоять на ногах?

– Или на коленях, – отрезал Рим.

Король повысил голос. Они умолкли.

– Пятьдесят су за ливреи наших слуг и двенадцать ливров за плащи для нашей королевской свиты! Так! Так! Рассыпайте золото бочками! Вы с ума сошли, Оливье?

Старик поднял голову. На его шее блеснули золотые раковины цепи ордена Михаила Архангела. Свет упал на его сухой и угрюмый профиль. Он вырвал бумагу из рук Оливье.

– Вы нас разоряете! – крикнул он, пробегая записку своими ввалившимися глазами. – Что это такое? На что нам такой придворный штат? Два капеллана по десять ливров в месяц каждый и служка в часовне по сто су! Камер-лакей по девяносто ливров в год! Четыре стольника по сто двадцать ливров в год каждый! Надсмотрщик за рабочими, огородник, помощник повара, главный повар, хранитель оружия, два писца для ведения счетов по десять

ливров в месяц каждый! Двое поварят по восьми ливров! Конюх и его два помощника по двадцать четыре ливра в месяц! Рассыльный, пирожник, хлебопек, два возчика – по шестьдесят ливров в год каждый! Старший кузнец – сто двадцать ливров! А казначей – тысяча двести ливров, а контролер – пятьсот! Нет, это безумие! Содержание наших слуг разоряет Францию! Все богатство Лувра растает на огне такой расточительности! Этак нам придется распродать нашу посуду! И в будущем году, если Бог и пречистая его Матерь (тут он приподнял шляпу) продлят нашу жизнь, нам придется пить лекарство из оловянной кружки!

Король бросил взгляд на серебряный кубок, сверкавший на столе.

– Мэтр Оливье! – откашлявшись, продолжал он. – Правители, поставленные во главе больших владений, например короли и императоры, не должны допускать роскошь при своих дворах, ибо отсюда этот огонь перебрасывается в провинцию. Итак, мэтр Оливье, запомни это раз навсегда! Наши расходы растут с каждым годом. Это нам не нравится. Как же так? Клянусь Пасхой! До семьдесят девятого года они не превышали тридцати шести тысяч ливров. В восьмидесятом они достигли сорока трех тысяч шестисот девятнадцати ливров Я отлично помню эти цифры! В восемьдесят первом году шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят ливров, а в нынешнем году клянусь душой! – дойдет до восьмидесяти тысяч. За четыре года они выросли вдвое! Чудовищно!

Он замолчал, тяжело дыша, потом запальчиво продолжал:

– Я вижу вокруг только людей, жиреющих за счет моей худобы! Вы высасываете экю из всех моих пор!

Все молчали. Это был один из тех приливов гнева, которые следовало переждать. Король продолжал:

– Это напоминает прошение на латинском языке, с которым обратилось к нам французское дворянство, чтобы мы снова возложили на него «бремя» так называемой почетной придворной службы! Это действительно бремя! Бремя, от которого хребет трещит! Вы, государи мои, уверяете, что мы не настоящий король, ибо царствуем dapifero nullo, buticulario nullo[153]. Мы вам покажем, клянусь Пасхой, король мы или нет!

При мысли о своем могуществе король улыбнулся, его раздражение улеглось, и он обратился к фламандцам.

– Видите ли, милый Гильом, все эти главные кравчие, главные виночерпии, главные камергеры и главные дворецкие не стоят последнего лакея. Запомните это, милый Копеноль, от них нет никакого проку Они без всякой пользы торчат возле короля, вроде четырех статуй евангелистов, окружающих циферблат больших дворцовых часов, только что подновленных Филиппом де Брилем, на этих статуях много позолоты, но времени они не указывают, и часовая стрелка обошлась бы и без них.

Он на минуту задумался, а затем добавил, покачивая седой головой.

– Хо, хо, клянусь пресвятой девой, я не Филипп Бриль и не буду подновлять позолоту на знатных вассалах! Продолжай, Оливье!

Человек, которого он назвал этим именем, взял у него из рук тетрадь и опять стал читать вслух.

– «Адаму Тенону, состоящему при хранителе печатей парижского превотства, за серебро, работу и чеканку оных печатей, кои пришлось сделать заново, ибо прежние, вследствие их ветхости и изношенности, стали не пригодны к употреблению, – двенадцать парижских ливров.

Гильому Фреру – четыре ливра четыре парижских су за его труды и расходы на прокорм и содержание голубей в двух голубятнях особняка Турнель в течение января, февраля и марта месяца сего года; на тот же предмет ему отпущено было семь мер ячменя.

Францисканскому монаху за то, что исповедал преступника, – четыре парижских су».

Король слушал молча. Иногда он покашливал Тогда он подносил кубок к губам и, морщась, отпивал глоток.

– «В истекшем году, по распоряжению суда, было сделано при звуках труб на перекрестках Парижа пятьдесят шесть оповещений. Счет подлежит оплате.

На поиски и раскопки, произведенные как в самом Париже, так и в других местностях, с целью отыскать клады, которые, по слухам, там были зарыты, хотя ничего и не было найдено, – сорок пять парижских ливров».

– Это значит зарыть экю, чтобы вырыть су! – заметил король.

– «… За доделку шести панно из белого стекла в помещении, где находится железная клетка, в особняке Турнель, – тринадцать су За изготовление и доставку, по повелению короля, в день праздника уродов, четырех щитов с королевскими гербами, окруженными гирляндами из роз, – шесть ливров. За два новых рукава к старому камзолу короля – двадцать су За коробку жира для смазки сапог короля – пятнадцать денье За постройку нового хлева для черных поросят короля – тридцать парижских ливров За несколько перегородок, помостов и подъемных дверей, кои были сделаны в помещении для львов при дворе СенПоль, – двадцать два ливра».

– Дорогонько обходятся эти звери, – заметил Людовик XI. – Ну да ладно, это чисто королевская затея! Там есть огромный рыжий лев, которого я люблю за его ужимки. Вы видели его, мэтр Гильом? Правителям следует иметь этаких диковинных зверей Нам, королям, собаками должны служить львы, а кошками – тигры. Величие под стать венценосцам. Встарь, во времена поклонения Юпитеру, когда народ в своих храмах приносил в жертву сто быков и столько же баранов, императоры дарили сто львов и сто орлов. В этом было что-то грозное и прекрасное. Короли Франции всегда слышали рычание этих зверей близ своего трона. Однако, нужно отдать справедливость, я расходую на это не так много денег, как мои предшественники, львов, медведей, слонов и леопардов у меня значительно меньше. Продолжайте, мэтр Оливье. Мы только это и желали сказать нашим друзьямфламандцам.

Гильом Рим низко поклонился, тогда как Копеноль стоял насупившись, напоминая одного из медведей, о которых говорил его величество. Король не обратил на это внимания. Он только что отхлебнул из своего кубка и, отплевываясь, проговорил:

– Фу, что за противное зелье!

Читавший продолжал:

– «За прокорм бездельника-бродяги, находящегося шесть месяцев под замком в камере для грабителей, впредь до особого распоряжения, – шесть ливров четыре су».

– Что такое? – прервал король. – Кормить того, кого следует повесить? Клянусь Пасхой, я больше не дам на это ни гроша! Оливье! Поговорите с господином Эстутвилем и нынче же вечером приготовьте все, чтобы обвенчать этого молодца с виселицей. Дальше!

Оливье ногтем сделал пометку против статьи о «бездельнике-бродяге» и продолжал:

– «Анриэ Кузену – главному палачу города Парижа, по определению и распоряжению монсеньера парижского прево, выдано шестьдесят парижских су на покупку им, согласно приказу вышеупомянутого сэра прево, большого широкого меча для обезглавливания и казни лиц, приговоренных к этому правосудием за их провинности, а также на покупку ножен и всех полагающихся к нему принадлежностей; столько же – на починку и подновление старого меча, треснувшего и зазубрившегося при совершении казни над мессиром Людовиком Люксембургским, из чего со всей очевидностью следует…»

– Довольно! – перебил его король. – Весьма охотно утверждаю эту сумму. На такого рода расходы я не скуплюсь. На это я никогда не жалел денег. Продолжайте!

– «На сооружение новой большой деревянной клетки…»

– Ага! – воскликнул король, взявшись обеими руками за ручки кресла. Я знал, что недаром приехал в Бастилию. Погодите, мэтр Оливье! Я хочу взглянуть на эту клетку. Вы читайте мне счет издержек, а я буду ее осматривать. Господа фламандцы, пойдемте посмотрим. Это любопытно.

Он встал, оперся на руку своего собеседника и, приказав знаком безмолвной личности, стоявшей у дверей, идти вперед, а двум фламандцам следовать за собою, вышел из комнаты.

За дверьми кельи свита короля пополнилась закованными в железо воинами и маленькими пажами, несшими факелы. Некоторое время все они шествовали по внутренним ходам мрачной башни, прорезанной лестницами и коридорами, местами в толще стены. Комендант Бастилии шел во главе, приказывая отворять низкие узкие двери перед старым, больным, сгорбленным, кашлявшим королем.

Перед каждой дверкой все вынуждены были нагибаться, кроме уже согбенного летами короля.

– Гм! – бормотал он сквозь десны, ибо зубов у него не было. – Мы уже готовы переступить порог могильного склепа. Согбенному путнику – низенькая дверка.

Наконец, оставив позади последнюю дверку с таким количеством замков, что понадобилось четверть часа, чтобы отпереть ее, они вошли в высокую обширную залу со стрельчатым сводом, посредине которой при свете факелов можно было разглядеть большой массивный куб из камня, железа и дерева. Внутри он был полый. То была одна из тех знаменитых клеток, предназначавшихся для государственных преступников, которые назывались «дочурками короля». В стенах этого куба были два-три оконца, забранных такой частой и толстой решеткой, что стекол не было видно. Дверью служила большая гладкая каменная плита наподобие могильной. Такая дверь отворяется лишь однажды, чтобы пропустить внутрь. Но здесь мертвецом был живой человек.

Король медленно обошел это сооружение, тщательно его осматривая, в то время как мэтр Оливье, следовавший за ним по пятам, громко читал ему:

– «На сооружение новой большой деревянной клетки из толстых бревен, с рамами и лежнями, имеющей девять футов длины, восемь ширины и семь вышины от пола до потолка, отполированной и окованной толстыми железными полосами, – клетки, которая была построена в помещении одной из башен СентАнтуанской крепости и в которой заключен и содержится, по повелению нашего всемилостивейшего короля, узник, помещавшийся прежде в старой, ветхой, полуразвалившейся клетке. На означенную новую клетку израсходовано девяносто шесть бревен в ширину, пятьдесят два в вышину, десять лежней длиной в три туазы каждый; а для обтесывания, нарезки и пригонки на дворе Бастилии перечисленного леса наняты были девятнадцать плотников на двадцать дней…»

– Недурной дуб, – заметил король, постукивая кулаком по бревнам.

– «… На эту клетку пошло, – продолжал читающий, – двести двадцать толстых железных брусьев длиною в девять и восемь футов, не считая некоторого количества менее длинных, с добавлением обручей, шарниров и скреп для упомянутых выше брусьев. Всего весу в этом железе три тысячи семьсот тридцать пять фунтов, кроме восьми толстых железных колец для прикрепления означенной клетки к полу, весящих вместе с гвоздями и скобами двести восемнадцать фунтов, и не считая веса оконных решеток в той комнате, где поставлена клетка, дверных железных засовов и прочего…»

– Только подумать, сколько железа потребовалось, чтобы обуздать легкомысленный ум! – сказал король.

– «… Итого – триста семнадцать ливров пять су и семь денье»

– Клянусь Пасхой!.. – воскликнул король.

При этой любимой поговорке Людовика XI внутри клетки что-то зашевелилось, послышался лязг цепей, ударявшихся об пол, и послышался слабый голос, исходивший, казалось, из могилы.

– Государь! Государь! Смилуйтесь! – Человека, говорившего эти слова, не было видно.

– Триста семнадцать ливров пять су и семь денье! – повторил Людовик XI.

От жалобного голоса, раздавшегося из клетки, у всех захолонуло сердце, даже у мэтра Оливье. Лишь один король, казалось, не слышал его. По его приказанию мэтр Оливье возобновил чтение, и его величество хладнокровно продолжал осмотр клетки.

– «… Сверх того, заплачено каменщику, просверлившему дыры, чтобы вставить оконные решетки, и переложившему пол в помещении, где находится клетка, ибо иначе пол не выдержал бы тяжести клетки, – двадцать семь ливров четырнадцать парижских су».

Снова послышался стенающий голос:

– Пощадите, государь! Клянусь вам, это не я изменил вам, а его высокопреосвященство кардинал Анжерский!

– Дорогонько обошелся каменщик! – заметил король. – Продолжай, Оливье.

Оливье продолжал:

– «… Столяру за наличники на окнах, за нары, стульчак и прочее двадцать ливров два парижских су…»

– Государь! – заговорил все тот же голос – Неужели вы не выслушаете меня? Уверяю вас: это не я написал монсеньеру Гиенскому, а его высокопреосвященство кардинал Балю!

– Дорого обходится нам и плотник, – сказал король. – Ну, все?

– Нет еще, государь… Стекольщику за стекло в окнах вышеупомянутой комнаты – сорок су восемь парижских денье».

– Смилуйтесь, государь! Неужто недостаточно того, что все мое имущество отдали судьям, мою утварь – господину Торси, мою библиотеку мэтру Пьеру Дириолю, мои ковры – наместнику в Русильоне? Я невинен Вот уже четырнадцать лет, как я дрожу от холода в железной клетке. Смилуйтесь, государь! Небо воздаст вам за это!

– Какова же общая сумма, мэтр Оливье? – спросил король.

– Триста шестьдесят семь ливров восемь су и три парижских денье.

– Матерь Божья! – воскликнул король – Эта клетка – сущее разорение!

Он вырвал тетрадь из рук мэтра Оливье и принялся считать по пальцам, глядя то в тетрадь, то на клетку. Оттуда доносились рыдания узника. В темноте они звучали такой скорбью, что присутствующие, бледнея, переглядывались.

– Четырнадцать лет, государь! Вот уже четырнадцать лет с апреля тысяча четыреста шестьдесят девятого года! Именем пресвятой Богородицы, государь, выслушайте меня! Вы все это время наслаждались солнечным светом и теплом. Неужели же я, горемычный, никогда больше не увижу дневного света? Пощадите, государь! Будьте милосердны! Милосердие – высокая добродетель монарха, побеждающая его гнев. Неужели ваше величество полагает, что для короля в его смертный час послужит великим утешением то, что ни одной обиды он не оставил без наказания? К тому же, государь, изменил вашему величеству не я, а кардинал Анжерский. И все же к моей ноге прикована цепь с тяжелым железным ядром на конце; оно гораздо тяжелее, чем я того заслужил! О государь, сжальтесь надо мной!

– Оливье! – произнес король, покачивая головой. – Я вижу, что мне предъявили счет на известь по двадцать су за бочку, тогда как она стоит всего лишь двенадцать су. Исправьте этот счет.

Он повернулся спиной к клетке и направился к выходу. По тускнеющему свету факелов и звуку удаляющихся шагов несчастный узник заключил, что король уходит.

– Государь! Государь! – закричал он в отчаянии.

Но дверь захлопнулась. Он больше никого не видел, он слышал только хриплый голос тюремщика, который над самым его ухом напевал:

Жан Балю, наш кардинал,

Счет епархиям терял,

Он ведь прыткий

А его верденский друг

Растерял, как видно, вдруг

Все до нитки!

Король молча поднимался в свою келью, а его свита следовала за ним, приведенная в ужас стенаниями узника Внезапно его величество обернулся к коменданту Бастилии:

– А кстати! Кажется, в этой клетке кто-то был?

– Да, государь! – ответил комендант, пораженный этим вопросом.

– Кто именно?

– Его преосвященство епископ Верденский.

Королю это было известно лучше, чем кому бы то ни было, но таковы были причуды его нрава.

– А! – сказал он с самым простодушным видом, как будто только что вспомнил об этом. – Гильом де Аранкур, друг его высокопреосвященства кардинала Балю. Славный малый был этот епископ!

Через несколько минут дверь комнаты снова распахнулась, а затем снова затворилась за пятью лицами, которых читатель видел в начале этой главы и которые, заняв прежние места, приняли прежние позы и продолжали по-прежнему беседовать вполголоса.

В отсутствие короля на его стол положили письма, и он сам их распечатал. Затем быстро, одно за другим прочел и дал знак мэтру Оливье, по-видимому, исполнявшему при нем должность первого министра, чтобы тот взял перо. Не сообщая ему содержания бумаг, король тихим голосом стал диктовать ответы, а тот записывал их в довольно неудобной позе, опустившись на колени у стола.

Господин Рим внимательно наблюдал за королем.

Но король говорил так тихо, что до фламандцев долетали лишь обрывки малопонятных фраз, как, например:

«… Поддерживать торговлею плодородные местности и мануфактурами местности бесплодные… Показать английским вельможам наши четыре бомбарды: «Лондон», «Брабант», «Бург-ан-Брес» и «Сент-Омер»… Артиллерия является причиной того, что война ведется ныне более осмотрительно… Нашему другу господину де Бресюиру… Армию нельзя содержать, не взимая дани» и т. д.

Впрочем, один раз он возвысил голос:

– Клянусь Пасхой! Его величество король сицилийский запечатывает свои грамоты желтым воском, точно король Франции. Мы, пожалуй, напрасно позволили ему это. Мой любезный кузен, герцог Бургундский, никому не давал герба с червленым полем. Величие царственных домов зиждется на неприкосновенности привилегий. Запиши это, милый Оливье.

Немного погодя он воскликнул:

– О-о! Какое пространное послание! Чего хочет от нас наш брат император? – Он пробежал письмо, прерывая свое чтение восклицаниями: – Оно точно! Немцы невероятно многочисленны и сильны! Но мы не забываем старую поговорку: «Нет графства прекраснее Фландрии; нет герцогства прекраснее Милана; нет королевства прекраснее Франции»! Не так ли, господа фламандцы?

На этот раз Копеноль поклонился одновременно с Гильомом Римом. Патриотическое чувство чулочника было удовлетворено.

Последнее письмо заставило Людовика XI нахмуриться.

– Это еще что такое? Челобитные и жалобы на наши пикардийские гарнизоны? Оливье! Пишите побыстрее маршалу Руо. Пишите, что дисциплина ослабла, что вестовые, призванные в войска дворяне, вольные стрелки и швейцарцы наносят бесчисленные обиды селянам… Что воины, не довольствуясь тем добром, которое находят в доме земледельцев, принуждают их с помощью палочных ударов или копий ехать в город за вином, рыбой, пряностями и прочим, что является излишеством. Напишите, что его величеству королю известно об этом… Что мы желаем оградить наш народ от неприятностей, грабежей и вымогательств… Что такова наша воля, клянусь царицей небесной!.. Кроме того, нам не угодно, чтобы какие-то гудочники, цирюльники или другая войсковая челядь наряжались, точно князья, в шелка и бархат, и унизывали себе пальцы золотыми кольцами. Что подобное тщеславие не угодно господу богу… Что мы сами, хотя и дворянин, довольствуемся камзолом из сукна по шестнадцать су за парижский локоть. Что, следовательно, и господа обозные служители тоже могут снизойти до этого. Отпишите и предпишите… Господину Руо, нашему другу… Хорошо!

Он продиктовал это послание громко, твердо, отрывисто. В ту минуту, когда он заканчивал его, дверь распахнулась и пропустила новую фигуру, которая стремглав вбежала в комнату, растерянно крича:

– Государь! Государь! Парижская чернь бунтует!

Строгое лицо Людовика XI исказилось. Но волнение промелькнуло на его лице, как молния. Он сдержал себя и со спокойной строгостью сказал:

– Милый Жак! Что вы так врываетесь?

– Государь! Государь! Мятеж! – задыхаясь, повторил Жак.

Король встал с кресла, грубо схватил его за плечо и со сдержанным гневом, искоса поглядывая на фламандцев, шепнул ему на ухо так, чтобы слышал лишь он один:

– Замолчи или говори тише!

Новоприбывший понял и шепотом начал сбивчивый рассказ. Король слушал спокойно. Гильом Рим обратил внимание Копеноля на лицо и на одежду новоприбывшего, на его меховую шапку – caputia forrata, короткую епанчу epitogia curta, и длинную нижнюю одежду из черного бархата, которая изобличала в нем председателя счетной палаты.

Как только этот человек начал свои объяснения, Людовик XI, расхохотавшись, воскликнул:

– Да неужели? Говори же громче, милый Куактье! Что ты там шепчешь? Божья Матерь знает, что у нас нет никаких тайн от наших друзей-фламандцев.

– Но, государь…

– Говори громче!

«Милый» Куактье молчал, онемев от изумления.

– Итак, – снова заговорил король, – рассказывайте, сударь. В нашем славном городе Париже произошло возмущение черни?

– Да, государь.

– Которое направлено, по Вашим словам, против господина главного судьи Дворца правосудия?

– По-видимому, так, – бормотал Куактье, все еще ошеломленный резким, необъяснимым поворотом в образе мыслей короля.

Людовик XI спросил:

– А где же ночной дозор встретил толпу?

– На пути от Большой Бродяжной к мосту Менял. Да я и сам их там встретил, когда направлялся сюда за распоряжением вашего величества. Я слышал, как в толпе орали: «Долой главного дворцового судью!»

– А что они имеют против судьи?

– Да ведь он их ленный владыка!

– В самом деле?

– Да, государь. Это ведь канальи из Двора чудес. Они уже сколько времени жалуются на судью, вассалами которого они являются. Они не желают признавать его ни как судью, ни как сборщика дорожных пошлин.

– Вот как! – воскликнул король, тщетно стараясь скрыть довольную улыбку.

– Во всех своих челобитных, которыми они засыпают высшую судебную палату, – продолжал милый Жак, – они утверждают, что у них только два властелина: ваше величество и бог, а их бог, как я полагаю, сам дьявол.

– Эге! – сказал король.

Он потирал себе руки и смеялся тем внутренним смехом, который заставляет сиять все лицо. Он не мог скрыть радость, хотя временами силился придать своему лицу приличествующее случаю выражение. Никто ничего не понимал, даже мэтр Оливье. Король несколько мгновений молчал с задумчивым, но довольным видом.

– А много их? – спросил он внезапно.

– Да, государь, немало, – ответил милый Жак.

– Сколько?

– По крайней мере тысяч шесть.

Король не мог удержаться и воскликнул:

– Отлично!

– Что же они, вооружены? – продолжал он.

– Косами, пиками, пищалями, мотыгами. Множество самого опасного оружия.

Но король, по-видимому, нимало не был обеспокоен этим перечислением.

Милый Жак счел нужным добавить:

– Если вы, ваше величество, не прикажете сейчас же послать помощь судье, он погиб.

– Мы пошлем, – ответил король с напускной серьезностью. – Хорошо. Конечно, пошлем. Господин судья – наш друг. Шесть тысяч! Отчаянные головы! Их дерзость неслыханна, и мы на них очень гневаемся. Но в эту ночь у нас под рукой мало людей… Успеем послать и завтра утром.

– Немедленно, государь! – вскричал милый Жак. – Иначе здание суда будет двадцать раз разгромлено, права сюзерена попраны, а судья повешен. Ради бога, государь, пошлите, не дожидаясь завтрашнего утра!

Король взглянул на него в упор.

– Я сказал – завтра утром.

Это был взгляд, не допускавший возражения.

Помолчав, Людовик XI снова возвысил голос:

– Милый Жак! Вы должны знать это. Каковы были… – Он поправился: …каковы феодальные права судьи Дворца правосудия?

– Государь! Дворцовому судье принадлежит Прокатная улица вплоть до Зеленого рынка, площадь СенМишель и строения, в просторечии именуемые Трубой, расположенные близ собора Нотр-Дам-де-Шан (тут Людовик XI слегка приподнял шляпу), каковых насчитывается тринадцать, кроме того Двор чудес, затем больница для прокаженных, именуемая Пригородом,

и вся дорога от этой больницы до ворот Сен-Жак Во всех этих частях города он смотритель дорог, олицетворение судебной власти – высшей, средней и низшей, полновластный владыка.

– Вон оно что! – произнес король, почесывая правой рукой за левым ухом. – Это порядочный ломоть моего города! Ага! Значит, господин судья был над всем этим властелин?

На этот раз он не поправился и продолжал в раздумье, как бы рассуждая сам с собой:

– Прекрасно, господин судья! Недурной кусочек нашего Парижа был в ваших зубах!

Вдруг он разъярился:

– Клянусь Пасхой! Что это за господа, которые присвоили у нас права смотрителей дорог, судей, ленных владык и хозяев? На каждом поле у них своя застава, на каждом перекрестке – свой суд и свои палачи. Подобно греку, у которого было столько же богов, сколько источников в его стране, или персу, у которого столько же богов, сколько он видел звезд на небе, француз насчитывает столько же королей, сколько замечает виселиц! Черт возьми! Это вредно, мне такой беспорядок не нравится. Я бы хотел знать, есть ли на то воля всевышнего, чтобы в Париже имелся другой смотритель дорог, кроме короля, другое судилище, помимо нашей судебной палаты, и другой государь в нашем государстве, кроме меня! Клянусь душой, пора уже прийти тому дню, когда во Франции будет один король, один владыка, один судья и один палач, подобно тому, как в раю есть только один Бог!

Он еще раз приподнял шляпу и, по-прежнему погруженный в свои мысли, тоном охотника, науськивающего и спускающего свору, продолжал.

– Хорошо, мой народ! Отлично! Истребляй этих лжевладык! Делай свое дело! Ату, ату их! Грабь их, вешай их, громи их!.. А-а, вы захотели быть королями, монсеньеры? Бери их, народ, бери!

Тут он внезапно умолк и, закусив губу, словно желая удержать наполовину высказанную мысль, окинул каждую из пяти окружавших его особ своим проницательным взглядом. Вдруг, сорвав обеими руками шляпу с головы и глядя на нее, он произнес:

– О, я бы сжег тебя, если бы тебе было известно, что таится в моей голове!

Затем снова обвел присутствовавших зорким, настороженным взглядом лисицы, прокрадывающейся в свою нору, и сказал:

– Как бы то ни было, мы окажем помощь господину судье! К несчастью, у нас сейчас под рукой очень мало войска, чтобы справиться с такой толпой. Придется подождать до утра. В Сите восстановят порядок и, не мешкая, вздернут на виселицу всех, кто будет пойман.

– Кстати, государь, – сказал милый Куактье, – я об этом позабыл в первую минуту тревоги. Ночной дозор захватил двух человек, отставших от банды. Если вашему величеству угодно будет их видеть, то они здесь.

– Угодно ли мне их видеть! – воскликнул король. – Как же, клянусь Пасхой, ты мог забыть такую вещь? Живо, Оливье, беги за ними!

Мэтр Оливье вышел и минуту спустя возвратился с двумя пленниками, которых окружали стрелки королевской стражи. У одного из них была одутловатая глупая рожа, пьяная и изумленная. Одет он был в лохмотья, шел, прихрамывая и волоча одну ногу. У другого было мертвенно-бледное улыбающееся лицо, уже знакомое читателю.

Король с минуту молча рассматривал их, затем вдруг обратился к первому:

– Как тебя зовут?

– Жьефруа Брехун.

– Твое ремесло?

– Бродяга.

– Ты зачем ввязался в этот проклятый мятеж?

Бродяга глядел на короля с дурацким видом, болтая руками. Это была одна из тех неладно скроенных голов, где разуму так же привольно, как пламени под гасильником.

– Не знаю, – ответил он. – Все пошли, пошел и я.

– Вы намеревались дерзко напасть на вашего господина – дворцового судью и разграбить его дом?

– Я знаю только, что люди шли что-то у кого-то брать. Вот и все.

Один из стрелков показал королю кривой нож, отобранный у бродяги.

– Ты узнаешь это оружие? – спросил король.

– Да, это мой нож, Я виноградарь.

– А этот человек – твой сообщник? – продолжал Людовик XI, указывая на другого пленника.

– Нет, я его не знаю.

– Довольно! – сказал король и сделал знак молчаливой фигуре, неподвижно стоявшей возле дверей, на которую мы уже обращали внимание нашего читателя:

– Милый Тристан! Бери этого человека, он твой.

Тристан-Отшельник поклонился. Он шепотом отдал приказание двум стрелкам, и те увели несчастного бродягу.

Тем временем король приблизился ко второму пленнику, с которого градом катился пот.

– Твоя имя?

– Пьер Гренгуар, государь.

– Твое ремесло?

– Философ, государь.

– Как ты смеешь, негодяй, идти на нашего друга, господина дворцового судью? И что ты можешь сказать об этом бунте?

– Государь! Я не участвовал в нем.

– Как так, распутник? Ведь тебя захватила ночная стража среди этой преступной банды?

– Нет, государь, произошло недоразумение. Это моя злая доля. Я сочиняю трагедии. Государь! Я умоляю ваше величество выслушать меня. Я поэт. Присущая людям моей профессии мечтательность гонит нас по ночам на улицу. Мечтательность овладела мной нынче вечером. Это чистая случайность. Меня задержали понапрасну. Я не виноват в этом взрыве народных страстей. Ваше величество изволили слышать, что бродяга даже не признал меня. Заклинаю ваше величество…

– Замолчи! – проговорил король между двумя глотками настойки. – От твоей болтовни голова трещит.

Тристан-Отшельник приблизился к королю и, указывая на Гренгуара, сказал:

– Государь! Этого тоже можно вздернуть?

Это были первые слова, произнесенные им.

– Ха! У меня возражений нет, – небрежно ответил король.

– Зато у меня их много! – сказал Гренгуар.

Философ был зеленее оливки. По холодному и безучастному лицу короля он понял, что спасти его может только какое-нибудь высокопатетическое действие. Он бросился к ногам Людовика XI, восклицая с отчаянной жестикуляцией:

– Государь! Ваше величество! Сделайте милость, выслушайте меня! Государь, не гневайтесь на такое ничтожество, как я! Громы небесные не поражают латука. Государь! Вы венценосный, могущественный монарх! Сжальтесь над несчастным, но честным человеком, который так же мало способен подстрекать к бунту, как лед – давать искру. Всемилостивейший

государь! Милосердие – добродетель льва и монарха. Суровость лишь запугивает умы. Неистовым порывам северного ветра не сорвать плаща с путника, между тем как солнце, изливая на него свои лучи, малопомалу так пригревает его, что заставляет его остаться в одной рубашке. Государь! Вы – тоже солнце. Уверяю, вас, мой высокий повелитель и господин, что я не товарищ бродяг, не вор, не распутник. Бунт и разбой не пристали слугам Аполлона. Не такой я человек, чтобы бросаться в эти грозные тучи, которые разражаются мятежом. Я верный подданный вашего величества. Подобно тому, как муж дорожит честью своей жены, как сын дорожит любовью отца, так и добрый подданный дорожит славой своего короля. Он должен живот свой положить за дом своего монарха, служа ему со всем усердием. Все иные страсти, которые увлекли бы его, лишь заблуждение. Таковы, государь, мои политические убеждения. Не считайте же меня бунтовщиком и грабителем только оттого, что у меня на локтях дыры. Если вы помилуете меня, государь, то я протру мое платье и на коленях, денно и нощно моля за вас Создателя. Увы, я не очень богат. Я даже, пожалуй, беден. Но это не сделало меня порочным. Бедность – не моя вина. Всем известно, что литературным трудом не накопишь больших богатств; у тех, кто наиболее искусен в сочинении прекрасных книг, не всегда зимой пылает яркий огонь в очаге. Одни только стряпчие собирают зерно, а другим отраслям науки остается солома. Существует сорок великолепных пословиц о дырявых плащах философов. О государь, милосердие – единственный светоч, который в силах озарить глубины великой души! Милосердие освещает путь всем другим добродетелям. Без него они шли бы ощупью, как слепцы, в поисках Бога. Милосердие, тождественное великодушию, рождает в подданных любовь, которая составляет надежнейшую охрану короля. Что вам до того, – вам, вашему величеству, блеск которого всех ослепляет, – если на земле будет больше одним человеком, жалким, безобидным философом, бредущим во мраке бедствий с пустым желудком и с пустым карманом? К тому же, государь, я ученый. Те великие государи, которые покровительствовали ученым, вплетали лишнюю жемчужину в свой венец. Геркулес не пренебрегал титулом покровителя муз. Матвей Корвин благоволил к Жану Монруаялю, красе математиков. Что же это будет за покровительство наукам, если ученых будут вешать? Какой позор пал бы на Александра, если бы он приказал повесить Аристотеля! Это была бы не мушка, украшающая лицо его славы, а злокачественная безобразная язва. Государь! Я сочинил очень недурную эпиталаму в честь Маргариты Фландрской и августейшего дофина! На это поджигатель мятежа не способен. Ваше величество может убедиться, что я не какой-нибудь жалкий писака, что я отлично учился и красноречив от природы. Смилуйтесь надо мной, государь! Вы этим сделаете угодное Богоматери. Клянусь вам, что меня очень страшит мысль быть повешенным!

Тут несчастный Гренгуар принялся лобызать туфли короля. Гильом Рим шепнул Копенолю:

– Он хорошо делает, что валяется у его ног. Короли подобны Юпитеру Критскому – у них уши только на ногах.

А чулочник, не думая о Юпитере Критском и не спуская глаз с Гренгуара, с грубоватой усмешкой сказал:

– Как приятно! Мне кажется, что я снова слышу канцлера Гугоне, который молит меня о пощаде.

У Гренгуара пресеклось дыхание, и он умолк, а затем, весь дрожа, поднял взгляд на короля, – тот ногтем отчищал пятно на коленях своих панталон. Затем его величество стал пить из кубка настойку. Он не произносил ни звука, и это молчание удручало Гренгуара. Наконец король взглянул на него.

– Ну и болтун! – сказал он и, обернувшись к Тристану-Отшельнику, проговорил: – Эй, отпусти-ка его!

Гренгуар, не помня себя от радости, так и присел.

– Отпустить? – заворчал Тристан. – А не подержать ли его немножко в клетке, ваше величество?

– Неужели ты полагаешь, мой милый, – спросил Людовик XI, – что мы строим эти клетки стоимостью в триста шестьдесят семь ливров восемь су и три денье для таких вот птах? Немедленно отпусти этого распутника (Людовик XI очень любил это слово, которое вместе с поговоркой «клянусь Пасхой» исчерпывало весь запас его шуток) и выставь за дверь пинком.

– Уф! – воскликнул Гренгуар. – Вот великий король!

Опасаясь, как бы король не раздумал, он бросился к двери, которую Тристан с довольно угрюмым видом открыл ему. Вслед за ним вышла и стража, подталкивая его кулаками, что Гренгуар перенес терпеливо, как и подобает истинному философу-стоику.

Благодушное настроение, овладевшее королем с той минуты, как его известили о бунте против дворцового судьи, сквозило во всем. Проявленное им необычайное милосердие являлось немаловажным его признаком. Тристан-Отшельник хмуро поглядывал из своего угла, точно пес, которому кость показали, а дать не дали.

Король между тем весело выбивал пальцами на ручке кресла понтодемерский марш. Хотя он и знал науку притворства, но умел лучше скрывать свои заботы, чем радости. Порою эти внешние проявления удовольствия при всякой доброй вести заходили очень далеко: так, например, узнав о смерти Карла Смелого, он дал обет пожертвовать серебряные решетки в храм святого Мартина Турского, а при восшествии на престол забыл распорядиться похоронами своего отца.

– Да, государь, – спохватился внезапно Жак Куактье, – что же ваш острый приступ болезни, ради которого вы меня сюда вызвали?

– Ой! – простонал король. – Я и в самом деле очень страдаю, мой милый. У меня страшно шумит в ушах, а грудь словно раздирают огненные зубья.

Куактье взял руку короля и с ученым видом стал щупать пульс.

– Взгляните, Копеноль, – сказал, понизив голос, Рим. – Вот он сидит между Куактье и Тристаном. Это весь его двор. Врач – для него, палач для других.

Считая пульс короля, Куактье выказывал все большую и большую тревогу. Людовик XI смотрел на него с некоторым беспокойством. Куактье мрачнел с каждой минутой. У бедного малого не было иного источника доходов, кроме плохого здоровья короля. Он извлекал из этого все, что мог.

– О-о! – пробормотал он наконец. – Это в самом деле серьезно.

– Правда? – в волнении спросил король.

– Pulsus creber, anhelans, crepitans, irregularis[154], – продолжал лекарь.

– Клянусь Пасхой!

– При таком пульсе через три дня может не стать человека.

– Пресвятая Дева! – воскликнул король. – Какое же лекарство, мой милый?

– Об этом-то я и думаю, государь.

Он заставил Людовика XI показать язык, покачал головой, скорчил гримасу и после всех этих кривляний неожиданно сказал:

– Кстати, государь, я должен вам сообщить, что освободилось место сборщика королевских налогов с епархий и монастырей, а у меня есть племянник.

– Даю это место твоему племяннику, милый Жак, – ответил король, только избавь меня от огня в груди.

– Если вы, ваше величество, столь милостивы, – снова заговорил врач, – то вы не откажете мне в небольшой помощи, чтобы я мог закончить постройку моего дома на улице Сент-Андре-дез-Арк.

– Гм! – сказал король.

– У меня деньги на исходе, – продолжал врач, – а было бы очень жаль оставить такой дом без крыши. Дело не в самом доме, – это скромный, обычный дом горожанина, – но в росписи Жеана Фурбо, украшающей панели. Там есть летящая по воздуху Диана, столь прекрасная, столь нежная, столь изящная, столь простодушно оживленная, с такой прелестной прической, увенчанной полумесяцем, с такой белоснежной кожей, что введет в соблазн каждого, кто слишком пристально на нее посмотрит. Там есть еще и Церера. Тоже прелестная богиня. Она сидит на снопах в изящном венке из колосьев, перевитых лютиками и другими полевыми цветами. Ничего нет обольстительнее ее глаз, ее округлых ножек, благородней ее осанки и изящней складок ее одежды. Это одна из самых совершенных и непорочных красавиц, какие когда-либо породила кисть художника.

– Палач! – проворчал Людовик XI. – Говори, куда ты клонишь?

– Мне необходима крыша над всей этой росписью, государь. Хоть это пустяки, но у меня нет больше денег.

– Сколько же надо на твою крышу?

– Полагаю… медная крыша с украшениями и позолотой – не больше двух тысяч ливров.

– Ах, разбойник! – воскликнул король. – За каждый вырванный зуб ему приходится платить бриллиантом.

– Будет у меня крыша? – спросил Куактье.

– Будет, черт с тобой, только вылечи меня.

Жак Куактье низко поклонился и сказал:

– Государь! Вас спасет рассасывающее средство. Мы положим вам на поясницу большой пластырь из вощаной мази, армянского болюса, яичного белка, оливкового масла и уксуса. Вы будете продолжать пить настойку, и мы ручаемся за здоровье вашего величества.

Горящая свеча притягивает к себе не одну мошку. Мэтр Оливье, видя такую необыкновенную щедрость короля и считая минуту благоприятной, также приблизился к нему.

– Государь…

– Ну что там еще? – спросил Людовик XI.

– Государь! Вашему величеству известно, что мэтр Симон Раден умер?

– Ну и что?

– Он состоял королевским советником по судебным делам казначейства.

– Дальше что?

– Государь! Теперь его место освободилось.

При этих словах на надменном лице мэтра Оливье высокомерное выражение сменилось угодливым. Только эти два выражения и свойственны лицу царедворца. Король взглянул на него в упор и сухо сказал:

– Понимаю.

Затем продолжал:

– Мэтр Оливье! Маршал Бусико говаривал: «Только и ждать подарка, что от короля, только и хорош улов, что в море». Я вижу, что вы придерживаетесь мнения господина Бусико. Теперь выслушайте меня. У меня хорошая память. В шестьдесят восьмом году мы назначили вас своим спальником; в шестьдесят девятом – комендантом замка у моста Сен-Клу с жалованьем в сто турских ливров (вы просили выдавать вам парижскими). В ноябре семьдесят третьего года указом нашим, данным в Жержоле, мы назначили вас смотрителем Венсенских лесов вместо дворянина Жильбера Акля; в семьдесят пятом году лесничим в Рувле-ле-Сен-Клу на место Жака Ле-Мэр. В семьдесят восьмом году мы всемилостивейшей королевской грамотой за двойными печатями зеленого воска дали вам и жене вашей право взимать налог в десять

парижских ливров ежегодно с торговцев на рынке близ Сен-Жерменской школы. В семьдесят девятом году мы назначили вас лесничим Сенарского леса на место бедняги Жеана Дэза; затем комендантом замка Лош; затем правителем Сен-Кентена; затем комендантом Меланского моста, и с тех пор вы стали именоваться графом Меланским. Из пяти су штрафа, которые платит каждый цирюльник, бреющий бороды в праздничный день, на вашу долю приходится три су, а на нашу поступает остаток. Мы милостиво изъявили согласие на то, чтобы вы переменили вашу прежнюю фамилию Ле Мове[155], столь подходящую к вашей физиономии, на другую. В семьдесят четвертом году, к великому неудовольствию нашего дворянства, мы пожаловали вам разноцветный герб, который делает вашу грудь похожей на грудь павлина. Клянусь Пасхой, и вы все еще не объелись? Разве ваш улов не обилен? Разве вы не боитесь, что еще один лишний лосось – и ваша ладья может перевернуться? Тщеславие погубит вас, милейший. За тщеславием всегда следуют по пятам разорение и позор. Поразмыслите-ка над этим и помолчите.

При этих строгим тоном произнесенных словах лицо мэтра Оливье вновь приняло присущее ему нахальное выражение.

– Ладно! – пробормотал он почти вслух. – Сейчас видно, что король нынче болен. Все отдает врачу.

Людовик XI не только не рассердился на эту выходку, но сказал довольно кротко:

– Постойте! Я и забыл, что назначил вас своим послом в Генте при особе герцогини. Да, господа, – проговорил король, обернувшись к фламандцам, – он был послом. Ну, милейший, – продолжал он, обращаясь к мэтру Оливье, – довольно сердиться, ведь мы старые друзья. Теперь уж поздно. Мы кончили наши занятия. Побрейте-ка нас.

Читатель, без сомнения, давно узнал в «мэтре Оливье» того ужасного Фигаро, которого провидение – этот великий создатель драм – столь искусно вплело в длительную и кровавую комедию, разыгранную Людовиком XI. Мы не намерены заниматься здесь подробной характеристикой этой своеобразной личности. У королевского брадобрея было три имени. При дворе его учтиво именовали Оливье ле Ден; народ называл его Оливье-Дьявол. Настоящее имя его было Оливье ле Мове.

Итак, Оливье ле Мове стоял неподвижно, дуясь на короля и косо поглядывая на Жака Куактье.

– Да, да! Все для врача! – бормотал он сквозь зубы.

– Ну да, для врача! – подтвердил с необычайным добродушием Людовик XI. – Врач пользуется у нас большим кредитом, чем ты. И это понятно: в его руках вся наша особа, а в твоих – один лишь подбородок. Ну, не горюй, мой бедный брадобрей, перепадет и тебе. Что бы ты сказал и что бы ты стал делать, если бы я был похож на короля Хильперика, имевшего привычку держаться рукой за свою бороду? Ну же, мой милый, займись своими обязанностями, побрей меня! Пойди принеси все, что тебе нужно.

Оливье, видя, что король все обращает в шутку, что рассердить его невозможно, вышел, ворча, чтобы исполнить его приказание.

Король встал, подошел к окну и, внезапно распахнув его, в необычайном возбуждении воскликнул, хлопая в ладоши:

– А ведь и правда! Зарево над Сите! Это горит дом судьи. Сомнений быть не может! О мой добрый народ! Вот и ты, наконец, помогаешь мне расправляться с дворянством!

Потом, обернувшись к фламандцам, сказал:

– Господа! Подойдите взглянуть. Ведь это отблеск пожара, не правда ли?

Оба жителя Гента подошли к нему.

– Сильный огонь, – сказал Гильом Рим.

– О! Это мне напоминает сожжение дома господина Эмберкура, – прибавил Копеноль, и глаза его внезапно сверкнули. – По-видимому, восстание разыгралось не на шутку.

– Вы так думаете, мэтр Копеноль? – Взгляд короля был почти так же весел, как и взгляд чулочника. – Его трудно будет подавить?

– Клянусь крестом Христовым, государь, вашему величеству придется бросить туда не один отряд воинов!

– Ах, мне! Это другое дело! Если б я пожелал…

Чулочник смело возразил:

– Если восстание действительно столь грозно, как я полагаю, то тут мало одних ваших желаний.

– Милейший! – сказал Людовик XI. – Двух отрядов моей стражи и одного залпа из кулеврины достаточно, чтобы разделаться со всей этой оравой мужичья.

Но чулочник, невзирая на знаки, делаемые Гильомом Римом, решился, видимо, не уступать королю.

– Государь! Швейцарцы были тоже мужичье, а герцог Бургундский был знатный вельможа и плевать хотел на этот сброд. Во время битвы при Грансоне, государь, он кричал: «Канониры, огонь по холопам!» – и клялся святым Георгием. Но городской старшина Шарнахталь ринулся на великолепного герцога со своей палицей и со своим народом, и от натиска мужланов в куртках из буйволовой кожи блестящая бургундская армия разлетелась вдребезги, точно стекло от удара камнем. Там было немало рыцарей, перебитых мужиками, а господина Шато-Гийона, самого знатного вельможу Бургундии, нашли мертвым вместе с его большим серым конем на лужайке среди болот.

– Друг мой, – возразил король, – вы толкуете о битве. А тут всего-навсего мятеж. Мне стоит бровью повести, чтобы с этим покончить.

Фламандец невозмутимо ответил:

– Возможно, государь. Но это говорит лишь о том, что час народа еще не пробил.

Гильом Рим счел нужным вмешаться:

– Мэтр Копеноль! Вы говорите с могущественным королем.

– Я знаю, – с важностью ответил чулочник.

– Пусть он говорит, господин Рим, друг мой, – сказал король. – Я люблю такую прямоту. Мой отец Карл Седьмой говаривал, что истина занемогла. Я же думал, что она уже мертва, так и не найдя себе духовника. Мэтр Копеноль доказывает мне, что я ошибался. – Тут он запросто положил руку на плечо Копеноля: – Итак, вы говорите, мэтр Жак…

– Я говорю, государь, что, быть может, вы и правы, но час вашего народа еще не пробил.

Людовик XI пронзительно взглянул на него:

– А когда же, мэтр, пробьет этот час?

– Вы услышите бой часов.

– Каких часов?

Копеноль все с тем же невозмутимым и простоватым видом подвел короля к окну.

– Послушайте, государь! Вот башня, вот дозорная вышка, вот пушки, вот горожане и солдаты. Когда с этой вышки понесутся звуки набата, когда загрохочут пушки, когда с адским гулом рухнет башня, когда солдаты и горожане с рычаньем бросятся друг на друга в смертельной схватке, вот тогда-то и пробьет этот час.

Лицо Людовика XI стало задумчивым и мрачным. Одно мгновение он стоял молча, затем легонько, точно оглаживая круп скакуна, похлопал рукой по толстой стене башни.

– Ну, нет! – сказал он. – Ведь ты не так-то легко падешь, моя добрая Бастилия?

Живо обернувшись к смелому фламандцу, он спросил:

– Вам когда-нибудь случалось видеть восстание, мэтр Жак?

– Я сам поднимал его, – ответил чулочник.

– А что же вы делали, чтобы поднять восстание?

– Ну, это не так уж трудно! – ответил Копеноль, – можно делать на сто ладов. Во-первых, необходимо, чтобы в городе существовало недовольство. Это вещь не редкая. Потом – нрав жителей. Гентцы очень склонны к восстаниям. Они всегда любят наследника, а государя – никогда. Ну хорошо! Допустим, в одно прекрасное утро придут ко мне в лавку и скажут: «Дядюшка Копеноль! Происходит то-то и то-то, герцогиня Фландрская желает спасти своих министров, верховный судья удвоил налог на яблоневые и грушевые дички», – или что-нибудь в этом роде. Что угодно. Я тотчас же бросаю работу, выхожу из лавки на улицу и кричу: «Грабь!» В городе всегда найдется бочка с выбитым дном. Я взбираюсь на нее и громко говорю все, что придет на ум, все, что лежит на сердце. А когда ты из народа, государь, у тебя всегда что-нибудь да лежит на сердце. Ну, тут собирается народ. Кричат, бьют в набат, отобранным у солдат оружием вооружают селян, рыночные торговцы присоединяются к нам, и бунт готов! И так будет всегда, пока в поместьях будут господа, в городах – горожане, а в селениях – селяне.

– Против кого же вы бунтуете? – спросил король. – Против ваших судей? Против ваших господ?

– Все бывает. Как когда. Иной раз и против нашего герцога.

Людовик XI снова сел в кресло и, улыбаясь, сказал:

– Вот как? Ну, а у нас пока еще они дошли только до судей!

В эту минуту вошел Оливье ле Ден. За ним следовали два пажа, несшие принадлежности королевского туалета. Но Людовика XI поразило то, что Оливье сопровождали, кроме того, парижский прево и начальник ночной стражи, по-видимому, совершенно растерявшиеся. Злопамятный брадобрей тоже казался ошеломленным, но вместе с тем в нем проглядывало внутреннее удовольствие.

Он заговорил первый:

– Государь! Прошу ваше величество простить меня за прискорбную весть, которую я вам несу.

Король резко обернулся, прорвав ножкой кресла циновку, покрывавшую пол.

– Что это значит?

– Государь! – продолжал Оливье ле Ден со злобным видом человека, радующегося, что может нанести жестокий удар. – Народ бунтует вовсе не против дворцового судьи.

– А против кого же?

– Против вас, государь.

Старый король вскочил и с юношеской живостью выпрямился во весь рост.

– Объяснись, Оливье! Объяснись! Да проверь, крепко ли у тебя держится голова на плечах, милейший. Если ты нам лжешь, то, клянусь крестом святого Лоо, меч, отсекший голову герцогу Люксембургскому, не настолько еще зазубрился, чтобы не снести прочь и твоей!

Клятва была ужасна. Только дважды в жизни Людовик XI клялся крестом святого Лоо.

– Государь… – начал было Оливье.

– На колени! – прервал его король. – Тристан, стереги этого человека!

Оливье опустился на колени и холодно произнес:

– Государь! Ваш королевский суд приговорил к смерти какую-то колдунью. Она нашла убежище в Соборе Богоматери. Народ хочет силой ее оттуда взять. Господин прево и господин

начальник ночной стражи, прибывшие оттуда, здесь перед вами и могут уличить меня, если я говорю неправду. Народ осаждает Собор Богоматери.

– Вот как! – проговорил тихим голосом король, побледнев и дрожа от гнева. – Собор Богоматери! Они осаждают пресвятую Деву, милостивую мою владычицу, в ее соборе! Встань, Оливье. Ты прав. Место Симона Радена за тобой. Ты прав. Это против меня они поднялись. Колдунья находится под защитой собора, а собор – под моей. А я-то думал, что взбунтовались против судьи! Оказывается, против меня!

Словно помолодев от ярости, он стал расхаживать большими шагами по комнате. Он уже не смеялся. Он был страшен. Лисица превратилась в гиену. Он так задыхался, что не мог произнести ни слова, губы его шевелились, а костлявые кулаки судорожно сжимались. Внезапно он поднял голову, впавшие глаза вспыхнули, а голос загремел, как труба:

– Хватай их, Тристан! Хватай этих мерзавцев! Беги, друг мой Тристан! Бей их! Бей!

После этой вспышки он снова сел и с холодным, сосредоточенным бешенством сказал:

– Сюда, Тристан! Здесь, в Бастилии, у нас пятьдесят рыцарей виконта Жифа, что вместе с их оруженосцами составляет триста конников, – возьмите их. Здесь находится также рота стрелков королевской охраны под командой господина де Шатопера – возьмите и их. Вы – старшина цеха кузнецов, в вашем распоряжении все люди вашего цеха – возьмите их. Во дворце Сен-Поль вы найдете сорок стрелков из новой гвардии дофина – возьмите их, и со всеми этими силами скорей к собору! А-а, парижская голь, ты, значит, идешь против короны Франции, против святыни Собора Богоматери, ты посягаешь на мир нашего государства! Истребляй их, Тристан! Уничтожай их! А кто останется жив, того на Монфокон.

Тристан поклонился.

– Слушаю, государь!

И, помолчав, добавил:

– А что делать с колдуньей?

Этот вопрос заставил короля призадуматься.

– С колдуньей? – переспросил он. – Господин Эстутвиль! Что хотел с ней сделать народ?

– Государь! Я полагаю, что если народ пытается вытащить ее из Собора Богоматери, где она нашла убежище, то потому, вероятно, что ее безнаказанность его оскорбляет, и он хочет ее повесить, – ответил парижский прево.

Король погрузился в глубокое раздумье, а затем, обратившись к Тристану-Отшельнику, сказал:

– Ну что же, мой милый, в таком случае народ перебей, а колдунью вздерни.

– Так, так, – шепнул Рим Копенолю, – наказать народ за его желание, а потом сделать то, что желал этот народ.

– Слушаю, государь, – молвил Тристан. – А если ведьма все еще в Соборе Богоматери, то взять ее оттуда, несмотря на право убежища?

– Клянусь Пасхой! Действительно… убежище! – вымолвил король, почесывая за ухом. – Однако эта женщина должна быть повешена.

И тут, словно озаренный какой-то внезапно пришедшей мыслью, он бросился на колени перед своим креслом, снял шляпу, положил ее на сиденье и, благоговейно глядя на одну из свинцовых фигурок, ее украшавших, произнес, молитвенно сложив на груди руки:

– О Парижская Богоматерь! Милостивая моя покровительница, прости мне! Я сделаю это только раз! Эту преступницу надо покарать. Уверяю тебя, пречистая Дева, всемилостивейшая моя госпожа, что эта колдунья недостойна твоей благосклонной защиты. Тебе известно, владычица, что многие очень набожные государи нарушали привилегии церкви во славу божью и в силу государственной необходимости. Святой Гюг, епископ английский, дозволил королю

Эдуарду схватить колдуна в своей церкви. Святой Людовик Французский, мой покровитель, с той же целью нарушил неприкосновенность храма святого Павла, а Альфонс, сын короля иерусалимского, – даже неприкосновенность церкви Гроба господня. Прости же меня на этот раз, Богоматерь Парижская! Я больше не буду так делать и принесу тебе в дар прекрасную серебряную статую, подобную той, которую я в прошлом году пожертвовал церкви Богоматери в Экуи. Аминь.

Осенив себя крестом, он поднялся с колен, надел свою шляпу и сказал Тристану:

– Поспеши же, мой милый! Возьмите с собой господина де Шатопера. Прикажите ударить в набат. Раздавите чернь. Повесьте колдунью. Я так сказал. И я желаю, чтобы казнь совершили вы. Вы отдадите мне в этом отчет… Идем, Оливье, я нынче не лягу спать. Побрей-ка меня.

Тристан-Отшельник поклонился и вышел. Затем король жестом отпустил Рима и Копеноля.

– Да хранит вас Господь, добрые мои друзья, господа фламандцы. Ступайте отдохните немного. Ночь бежит, время близится к утру.

Фламандцы удалились, и когда они в сопровождении коменданта Бастилии дошли до своих комнат, Копеноль сказал Риму:

– Гм! Я сыт по горло этим кашляющим королем! Мне довелось видеть пьяным Карла Бургундского, но он не был так зол, как этот больной Людовик Одиннадцатый.

– Это потому, мэтр Жак, – отозвался Рим, – что королевское вино слаще, чем лекарство.

VI. Короткие клинки звенят.

Выйдя из Бастилии, Гренгуар с быстротой сорвавшейся с привязи лошади пустился бежать по улице Сент-Антуан. Добежав до ворот Бодуайе, он направился к возвышавшемуся среди площади каменному распятию, словно он различил во мраке человека в черном плаще с капюшоном, сидевшего на ступеньках у подножия креста.

– Это вы, мэтр? – спросил Гренгуар.

Черная фигура встала.

– Страсти Господни! Я киплю от нетерпения, Гренгуар. Сторож на башне Сен-Жерве уже прокричал половину второго пополуночи.

– О, в этом виноват не я, а ночная стража и король! – ответил Гренгуар. – Я еще благополучно от них отделался. Я всегда упускаю случай быть повешенным. Такова моя судьба.

– Ты всегда все упускаешь, – заметил человек в плаще. – Однако поспешим. Ты знаешь пароль?

– Представьте, учитель, я видел короля. Я только что от него. На нем фланелевые штаны. Это целое приключение.

– Что за пустомеля! Какое мне дело до твоих приключений! Известен тебе пароль бродяг?

– Да. Не беспокойтесь. Вот он, пароль: «Короткие клинки звенят».

– Хорошо. Без него нам не добраться до церкви. Бродяги загородили все улицы. К счастью, они как будто натолкнулись на сопротивление. Может быть, мы еще поспеем вовремя.

– Конечно, учитель. Но как мы проберемся в Собор Богоматери?

– У меня ключи от башен.

– А как мы оттуда выйдем?

– За монастырем есть потайная дверца, выходящая на Террен, а оттуда к реке. Я захватил ключ от нее и еще с утра припас лодку.

– Однако я счастливо избег виселицы! – опять заговорил о своем Гренгуар.

– Ну, скорей! Бежим! – поторопил его человек в плаще.

Оба скорым шагом направились к Сите.

VII. Шатопер, выручай!

Быть может, читатель припомнит, в каком опасном положении мы оставили Квазимодо. Отважный звонарь, окруженный со всех сторон, утратил если не всякое мужество, то по крайней мере всякую надежду спасти – не себя, о себе он и не помышлял, – цыганку. Он метался по галерее потеряв голову. Еще немного, и Собор Богоматери будет взят бродягами. Внезапно оглушительный конский топот раздался на соседних улицах, показалась длинная вереница факелов и густая колонна опустивших поводья всадников с пиками наперевес. На площадь, как ураган, обрушились страшный шум и крики: «За Францию! За Францию! Крошите мужичье! Шатопер, выручай! За прево! За прево!»

Приведенные в замешательство бродяги повернулись лицом к неприятелю.

Ничего не слышавший Квазимодо вдруг увидел обнаженные шпаги, факелы, острия пик, всю эту конницу, во главе которой был Феб. Он видел смятение бродяг, ужас одних, растерянность других и в этой неожиданной помощи почерпнул такую силу, что отбросил от церкви уже вступивших было на галерею первых смельчаков.

Это прискакали отряды королевских стрелков.

Однако бродяги действовали отважно. Они оборонялись как бешеные. Будучи атакованы с фланга со стороны улицы Сен-Пьер-о-Беф, а с тыла со стороны Папертной улицы, подавшись к самому Собору Богоматери, который они продолжали еще осаждать, а Квазимодо – защищать, они оказались осаждающими и осажденными одновременно. Они находились в том же странном положении, в каком позже, в 1640 году, во время знаменитой осады Турина, очутился граф Анри д'Аркур, который осаждал принца Тома Савойского, а сам был обложен войсками маркиза Леганеза, Taurinum obsessor idem et obsessus[156], как гласила его надгробная надпись.

Схватка была ужасная. «Волчьей шкуре – собачьи клыки», – как говорит Пьер Матье. Королевские конники, среди которых выделялся отвагой Феб де Шатопер, не щадили никого. Острием меча они доставали тех, кто увернулся от лезвия. Взбешенные бродяги за неимением оружия кусались. Мужчины, женщины, дети, кидаясь на крупы и на груди лошадей, вцеплялись в них зубами и ногтями, как кошки. Другие совали факелы в лицо стрелкам. Третьи забрасывали железные крючья на шеи всадников, стаскивали их с седла и рвали на части упавших.

Особенно выделялся один из бродяг, долгое время подсекавший широкой блестящей косой ноги лошадям. Он был страшен. Распевая гнусавым голосом песню, он то поднимал, то опускал косу. При каждом взмахе вокруг него ложился широкий круг раненых. Так, спокойно и медленно, покачивая головой и шумно дыша, подвигался он к самому сердцу конницы, мерным шагом косца, починающего свою ниву. Это был Клопен Труйльфу. Выстрел из пищали уложил его на месте.

Между тем окна домов распахнулись вновь. Жители, услышав воинственный клич королевских конников, вмешались в дело, и из всех этажей на бродяг посыпались пули. Площадь затянуло густым дымом, который пронизывали вспышки мушкетных выстрелов. В этом дыму смутно вырисовывался фасад Собора Богоматери и ветхий Отель-Дье, из слуховых окон которого, выходивших на кровлю, глядели на площадь изможденные лица больных.

Наконец бродяги дрогнули. Усталость, нехватка хорошего оружия, испуг, вызванный неожиданностью нападения, пальба из окон, стремительный натиск королевских конников – все это сломило их. Они прорвали цепь нападавших и разбежались по всем направлениям, оставив на площади груды мертвых тел.

Когда Квазимодо, ни на мгновение не перестававший сражаться, увидел это бегство, он упал на колени и простер руки к небесам. Потом, ликующий, он с быстротою птицы понесся к келейке, подступ к которой он так отважно защищал. Теперь им владела одна мысль: преклонить колени перед той, которую он только что вторично спас.

Когда он вошел в келью, она была пуста.

Книга одиннадцатая

I. Башмачок

Когда бродяги начали осаду собора, Эсмеральда спала.

Вскоре все возраставший шум вокруг храма и беспокойное блеяние козочки, проснувшейся раньше, чем она, пробудили ее от сна. Она привстала на постели, прислушалась, огляделась, потом, испуганная шумом и светом, бросилась вон из кельи, чтобы узнать, что случилось Вид самой площади, мечущиеся по ней привидения, беспорядок этого ночного штурма, отвратительная толпа, еле различимая в темноте и подпрыгивавшая, словно полчище лягушек, ее хриплое кваканье, красные факелы, мелькавшие и сталкивавшиеся во мраке, точно блуждающие огоньки, бороздящие туманную поверхность болота, – все это зрелище произвело на нее впечатление таинственной битвы между призраками шабаша и каменными чудовищами храма Проникнутая с детства поверьями цыганского племени, она прежде всего предположила, что случайно присутствует при какомто колдовском обряде, который совершают таинственные ночные существа Испугавшись, она бросилась назад и притаилась в своей келье, моля свое убогое ложе не посылать ей таких страшных кошмаров.

Постепенно ее страхи рассеялись По непрерывно возраставшему шуму и многим другим проявлениям действительной жизни она почувствовала, что ее обступают не призраки, а живые существа И она подумала, что, быть может, народ восстал, чтобы силой взять ее из убежища Ею снова овладел ужас, но теперь он принял другую форму. Мысль, что ей вторично предстоит проститься с жизнью, надеждой, Фебом, который неизменно присутствовал во всех ее мечтах о будущем, полнейшая беспомощность, невозможность бегства, отсутствие поддержки, заброшенность, одиночество – все эти мысли и еще множество других придавили ее тяжелым гнетом. Она упала на колени, лицом в постель, обхватив руками голову, объятая тоской и страхом. Цыганка, идолопоклонница, язычница, она стала, рыдая, просить о помощи христианского бога и молиться пресвятой богородице, оказавшей ей гостеприимство. Бывают в жизни минуты, когда даже неверующий готов исповедовать религию того храма, близ которого он оказался.

Так лежала она довольно долго, не столько молясь, если говорить правду, сколько дрожа и леденея, обвеваемая дыханием все ближе и ближе подступавшей к ней разъяренной толпы, ничего не понимая во всем этом неистовстве, не ведая, что затевается, что творится вокруг нее, чего добиваются, но смутно предчувствуя страшную развязку.

Вдруг она услыхала шаги. Она обернулась. Два человека, из которых один нес фонарь, вошли в ее келью. Она слабо вскрикнула.

– Не пугайтесь, – произнес голос, показавшийся ей знакомым, – это я.

– Кто вы? – спросила она.

– Пьер Гренгуар.

Это имя успокоило ее. Она подняла глаза и узнала поэта. Но рядом с ним стояла какая-то темная фигура, закутанная с головы до ног и поразившая ее своим безмолвием.

– А ведь Джали узнала меня раньше, чем вы! – произнес Гренгуар с упреком.

В самом деле, козочка не стала дожидаться, пока Гренгуар назовет ее по имени. Только он вошел, она принялась ласково тереться об его колени, осыпая поэта нежностями и белой шерстью, потому что она линяла. Гренгуар так же нежно отвечал на ее ласки.

– Кто это с вами? – понизив голос, спросила цыганка.

– Не беспокойтесь, – ответил Гренгуар, – это один из моих друзей.

Затем философ, поставив фонарь на пол, присел на корточки и, обнимая Джали, восторженно воскликнул:

– Какое прелестное животное! Правда, оно отличается больше чистоплотностью, чем величиной, но оно смышленое, ловкое и ученое, словно грамматик! Ну-ка, Джали, посмотрим, не забыла ли ты что-нибудь из твоих забавных штучек? Как делает Жак Шармолю?

Человек в черном не дал ему договорить Он подошел к Гренгуару и грубо тряхнул его за плечо.

Гренгуар вскочил.

– Правда, – сказал он, – я и забыл, что нам надо торопиться. Но, учитель, это еще не основание, чтобы так обращаться с людьми! Дорогое, прелестное дитя! Ваша жизнь в опасности, и жизнь Джали также. Вас опять хотят повесить. Мы – ваши друзья и пришли спасти вас. Следуйте за нами.

– Неужели это правда? – в ужасе воскликнула она.

– Истинная правда. Бежим скорей!

– Хорошо, – пролепетала она. – Но отчего ваш друг молчит?

– Потому что его родители были чудаки и оставили ему в наследство молчаливость, – отвечал Гренгуар.

Эсмеральде пришлось удовольствоваться этим объяснением. Гренгуар взял ее за руку, его спутник поднял фонарь и пошел впереди. Оцепенев от страха, девушка позволила увести себя. Коза вприпрыжку побежала за ними; она так радовалась встрече с Гренгуаром, что поминутно тыкалась рожками ему в колени, заставляя поэта то и дело терять равновесие.

– Вот она, жизнь! – говорил философ, спотыкаясь. – Часто именно лучшие друзья подставляют нам ножку.

Они быстро спустились с башенной лестницы, прошли через собор, безлюдный и сумрачный, но весь звучавший отголосками сражения, что составляло ужасающий контраст с его безмолвием, и вышли через Красные врата на монастырский двор. Монастырь опустел. Монахи, укрывшись в епископском дворце, творили соборную молитву; двор тоже опустел, лишь несколько перепуганных слуг прятались по темным его уголкам. Беглецы направились к калитке, выходившей на Террен. Человек в черном отомкнул калитку ключом. Нашему читателю уже известно, что Терреном назывался мыс, обнесенный со стороны Сите оградой и принадлежавший капитулу Собора Парижской Богоматери; это был восточный конец острова. Здесь не было ни души. Шум осады стих, смягченный расстоянием. Крики шедших на приступ бродяг казались здесь слитным, отдаленным гулом. Свежий ветер с реки шуме в листве единственного дерева, росшего на оконечности Террена, и можно было явственно расслышать шелест листьев. Но беглецы еще не ушли от опасности. Ближайшими к ним зданиями были епископский дворец и собор. По-видимому, в епископском дворце царил страшный переполох. По сумрачному фасаду здания перебегали от окна к окну огоньки – то был словно прихотливый полет ярких искр, проносившихся по темной кучке пепла от сгоревшей бумаги. Рядом две необъятные башни Собора Богоматери, покоившиеся на главном корпусе здания, вырисовывались черными силуэтами на огромном багровом фоне площади, напоминая два гигантских тагана в очаге циклопов.

Все, что было видно в раскинувшемся окрест Париже, представлялось глазу смешением колеблющихся темных и светлых тонов. Подобное освещение заднего плана можно видеть на полотнах Рембрандта.

Человек с фонарем направился к оконечности мыса Террен. Там, у самой воды, тянулся оплетенный дранкой полусгнивший частокол, за который, словно вытянутые пальцы, цеплялись чахлые лозы дикого винограда. Позади, в тени, отбрасываемой этим плетнем, был привязан челнок. Человек жестом приказал Гренгуару и его спутнице сойти в него. Козочка прыгнула вслед за ними. Незнакомец вошел последним. Затем, перерезав веревку, которой был привязан челнок, он оттолкнулся длинным багром от берега, схватил весла, сел на носу и

изо всех сил принялся грести к середине реки. Течение Сены в этом месте было очень быстрое, и ему стоило немалого труда отчалить от острова.

Первой заботой Гренгуара, когда он вошел в лодку, было взять козочку к себе на колени. Он уселся на корме, а девушка, которой незнакомец внушал безотчетный страх, села рядом с поэтом, прижавшись к нему.

Когда наш философ почувствовал, что лодка плывет, он захлопал в ладоши и поцеловал Джали в темя между рожками.

– Ох! – воскликнул он. – Наконец-то мы все четверо спасены.

И с глубокомысленным видом добавил:

– Порой мы обязаны счастливым исходом великого предприятия удаче, порой – хитрости.

Лодка медленно плыла к правому берегу. Девушка с тайным страхом наблюдала за незнакомцем. Он тщательно укрыл свет потайного фонаря и, точно призрак, вырисовывался в темноте на носу лодки. Его опущенный на лицо капюшон казался маской; при каждом взмахе весел его руки, с которых свисали широкие черные рукава, походили на большие крылья летучей мыши. За все это время он не произнес ни единого слова, не издал ни единого звука. Слышался лишь мерный стук весел да журчание струй за бортом челнока.

– Клянусь душой! – воскликнул Гренгуар. – Мы бодры и веселы, как сычи! Молчим, как пифагорейцы или рыбы! Клянусь Пасхой, мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь заговорил! Звук человеческого голоса – это музыка для человеческого слуха. Слова эти принадлежат не мне, а Дидиму Александрийскому, – блестящее изречение!.. Дидим Александрийский – незаурядный философ, это не подлежит сомнению… Скажите мне хоть одно слово, прелестное дитя, умоляю вас, хоть одно слово!.. Кстати, вы делали когда-то такую забавную гримаску! Скажите, вы не позабыли ее? Известно ли вам, моя милочка, что все места убежищ входят в круг ведения высшей судебной палаты, и вы подвергались большой опасности в вашей келейке в Соборе Богоматери? Колибри вьет гнездышко в пасти крокодила!.. Учитель! А вот и луна выплывает… Только бы нас не приметили!.. Мы совершаем похвальный поступок, спасая девушку, и тем не менее, если нас поймают, то повесят именем короля. Увы! Ко всем человеческим поступкам можно относиться двояко: за что клеймят одного, за то другого венчают лаврами. Кто благоговеет перед Цезарем, тот порицает Катилину. Не так ли, учитель? Что вы скажете о такой философии? Я ведь знаю философию инстинктивно, как пчелы геометрию, ut apes geometriam Ну что? Никто мне не отвечает? Вы оба, я вижу, не в духе! Приходится болтать одному. В трагедиях это именуется монологом. Клянусь Пасхой!.. Надо вам сказать, что я только что видел короля Людовика Одиннадцатого и от него перенял эту божбу… Итак, клянусь Пасхой, они все еще продолжают здорово рычать там, в Сите!.. Противный злюка этот старый король! Он весь запеленут в меха. Он все еще не уплатил мне за эпиталаму и чуть было не приказал повесить меня сегодня вечером, а это было бы очень некстати… Он скряга и скупится на награды достойным людям. Ему следовало бы прочесть четыре тома Adversus avari tiam[157] Сальвиана Кельнского. Право, у него очень узкий взгляд на литераторов, и он позволяет себе варварскую жестокость. Это какая то губка для высасывания денег из народа. Его казна – это больная селезенка, распухающая за счет всех других органов. Вот почему жалобы на плохие времена превращаются в ропот на короля. Под властью этого благочестивого тихони виселицы так и трещат от тысяч повешенных, плахи гниют от проливаемой крови, тюрьмы лопаются, как переполненные утробы! Одной рукой он грабит, другой вешает. Это прокурор господина Налога и государыни Виселицы. У знатных отнимают их сан, а бедняков обременяют все новыми и новыми поборами Этот король ни в чем не знает меры! Не люблю я этого монарха. А вы, учитель?

Человек в черном не мешал говорливому поэту болтать. Он боролся с сильным течением узкого рукава реки, отделяющего округлый берег Сите от мыса острова Богоматери, ныне именуемого островом Людовика.

– Кстати, учитель! – вдруг спохватился Гренгуар. – Заметили ли вы, ваше высокопреподобие, когда мы пробивались сквозь толпу взбесившихся бродяг, бедного чертенка, которому ваш глухарь собирался размозжить голову о перила галереи королей? Я близорук и не мог его опознать. Кто бы это мог быть?

Незнакомец не ответил, но внезапно выпустил весла, руки его повисли, словно надломленные, голова поникла на грудь, и Эсмеральда услышала судорожный вздох. Она затрепетала. Она уже слышала эти вздохи.

Лодка, предоставленная самой себе, несколько минут плыла по течению. Но человек в черном выпрямился, вновь взялся за весла и направил лодку вверх по течению. Он обогнул мыс острова Богоматери и направился к Сенной пристани.

– А, вот и особняк Барбо! – сказал Гренгуар. – Глядите, учитель! Видите эти черные крыши, образующие такие причудливые углы, – вон там, под низко нависшими, волокнистыми, мутными и грязными облаками, между которыми лежит раздавленная, расплывшаяся луна, точно желток, пролитый из разбитого яйца? Это прекрасное здание В нем есть часовня, увенчанная небольшим сводом, сплошь покрытым отличной резьбой. Над ней вы можете разглядеть колокольню с весьма изящно вырезанными просветами. При доме есть занятный сад – там и пруд, и птичник, и «эхо», площадка для игры в мяч, лабиринт, домик для диких зверей и множество тенистых аллей, весьма любезных богине Венере. Есть там и любопытное дерево, которое называют «Сластолюбец», ибо оно своею сенью прикрывало любовные утехи одной знатной принцессы и галантного остроумного коннетабля Франции. Увы, что значим мы, жалкие философы, перед какимнибудь коннетаблем? То же, что грядка капусты и редиски по сравнению с садами Лувра Впрочем, это не имеет значения! Жизнь человеческая как для нас, так и для сильных мира сего исполнена добра и зла. Страдание всегда сопутствует наслаждению, как спондей чередуется с дактилем. Учитель! Я должен рассказать вам историю особняка Барбо. Она кончается трагически. Дело происходило в тысяча триста девятнадцатом году, в царствование Филиппа, самого долговязого из всех французских королей. Мораль этого повествования заключается в том, что искушения плоти всегда гибельны и коварны. Не надо заглядываться на жену ближнего своего, как бы ни были ваши чувства восприимчивы к ее прелестям. Мысль о прелюбодеянии непристойна. Измена супружеской верности это удовлетворенное любопытство к наслаждению, которое испытывает другой… Ого! А шум-то все усиливается!

Действительно, суматоха вокруг собора возрастала. Они прислушались. До них долетели победные крики. Внезапно сотни факелов, при свете которых засверкали каски воинов, замелькали по всему храму, по всем ярусам башен, на галереях, под упорными арками. Очевидно, кого-то искали, и вскоре до беглецов отчетливо донеслись отдаленные возгласы: «Цыганка! Ведьма! Смерть цыганке!»

Несчастная закрыла лицо руками, а незнакомец яростно принялся грести к берегу Тем временем наш философ предался размышлениям. Он прижимал к себе козочку и осторожно отодвигался от цыганки, которая все теснее и теснее льнула к нему, словно это было единственное, последнее ее прибежище.

Гренгуара явно терзала нерешительность. Он думал о том, что, «по существующим законам», козочка, если ее схватят, тоже должна быть повешена и что ему будет очень жаль бедняжку Джали; что двух жертв, ухватившихся за него, многовато для одного человека, что его спутник ничего лучшего и не желает, как взять цыганку на свое попечение. Он переживал жестокую борьбу; как Юпитер в Илиаде, он взвешивал судьбу цыганки и козы и смотрел то на одну, то на другую влажными от слез глазами, бормоча: «Но я ведь не могу спасти вас обеих!»

Резкий толчок дал им знать, что лодка наконец причалила к берегу. Зловещий гул все еще стоял над Сите. Незнакомец встал, приблизился к цыганке и хотел протянуть ей руку, чтобы помочь выйти из лодки Она оттолкнула его и ухватилась за рукав Гренгуара, а тот, весь

отдавшись заботам о козочке, почти оттолкнул ее. Тогда она без посторонней помощи выпрыгнула из лодки. Она была очень взволнована и не понимала, что делает, куда надо идти. С минуту она простояла, растерянно глядя на струившиеся воды реки Когда же она пришла в себя, то увидела, что осталась на берегу одна с незнакомцем. По-видимому, Грекгуар воспользовался моментом высадки на берег и скрылся вместе с козочкой среди жавшихся друг к другу домов Складской улицы.

Бедная цыганка затрепетала, оставшись наедине с этим человеком. Ей хотелось крикнуть, позвать Гренгуара, но язык не повиновался ей, и ни один звук не вырвался из ее уст. Вдруг она почувствовала, как ее руку схватила сильная и холодная рука незнакомца. Зубы у нее застучали, лицо стало бледнее лунного луча, который озарял его. Человек не проронил ни слова. Быстрыми шагами он направился к Гревской площади, держа ее за руку. Она смутно почувствовала, что сила рока непреодолима. Ее охватила слабость, она больше не сопротивлялась и бежала рядом, поспевая за ним. Набережная шла в гору А ей казалось, что она спускается по крутому откосу.

Она огляделась вокруг Ни одного прохожего Набережная была совершенно безлюдна. Шум и движение толпы слышались только со стороны буйного, пламеневшего заревом Сите, от которого ее отделял рукав Сены Оттуда доносилось ее имя вперемежку с угрозами смерти. Париж лежал вокруг нее огромными глыбами мрака.

Незнакомец продолжал все так же безмолвно и так же быстро увлекать ее вперед. Она не узнавала ни одного из тех мест, по которым они шли. Проходя мимо освещенного окна, она сделала усилие, отшатнулась от священника и крикнула:

– Помогите!

Какой-то горожанин открыл окно, выглянул в одной рубашке, с лампой в руках, тупо оглядел набережную, произнес несколько слов, которых она не расслышала, и опять захлопнул окно. Это был последний луч надежды, и тот угас.

Человек в черном не произнес ни звука и, крепко держа ее за руку, зашагал быстрее. Измученная, она уже не сопротивлялась и покорно следовала за ним.

Время от времени она собирала последние силы и голосом, прерывавшимся от стремительного бега по неровной мостовой, задыхаясь, спрашивала:

– Кто вы? Кто вы?

Он не отвечал.

Так шли они по набережной и дошли до какой-то довольно широкой площади, тускло освещенной луной. То была Гревская площадь. Посреди площади возвышалось что-то похожее на черный крест. То была виселица. Цыганка узнала ее и поняла, где находится.

Человек остановился, обернулся к ней и приподнял капюшон.

– О! – пролепетала она, окаменев на месте. – Я так и знала, что это опять он.

То был священник. Он казался собственной тенью. Это была игра лунного света, когда все предметы кажутся призраками.

– Слушай! – сказал он, и она задрожала при звуке рокового голоса, которого давно уже не слышала. Он продолжал отрывисто и задыхаясь, что говорило о его глубоком внутреннем волнении. – Слушай! Мы пришли. Я хочу тебе сказать… Это Гревская площадь. Дальше пути нет. Судьба предала нас друг другу. В моих руках твоя жизнь, в твоих – моя душа. Вот ночь и вот площадь, за их пределами пустота. Так выслушай же меня! Я хочу тебе сказать… Но только не упоминай о Фебе! (Не отпуская ее руки, он ходил взад и вперед, как человек, который не в силах стоять на месте.) Не упоминай о нем! Если ты произнесешь это имя, я не знаю, что я сделаю, но это будет ужасно!

Выговорив эти слова, он, словно тело, нашедшее центр тяжести, вновь стал неподвижен, но речь его выдавала все то же волнение, а голос становился все глуше:

– Не отворачивайся от меня. Слушай! Это очень важно. Во-первых, вот что произошло… Это вовсе не шутка, клянусь тебе… О чем я говорил? Напомни мне! Ах да! Есть постановление высшей судебной палаты, вновь посылающей тебя на виселицу. Я вырвал тебя из их рук. Но они преследуют тебя. Гляди!

Он протянул руку к Сите. Там продолжались поиски. Шум приближался. Башня дома, принадлежавшего заместителю верховного судьи, против Гревской площади, была полна шума и света. На противоположном берегу видны были солдаты, бежавшие с факелами, слышались крики: «Цыганка! Где цыганка? Смерть ей! Смерть!»

– Ты видишь, что они ищут тебя и что я не лгу. Я люблю тебя. Молчи! Лучше не говори со мной, если хочешь сказать, что ненавидишь меня. Я не хочу больше этого слышать!.. Я только что спас тебя… Подожди, дай мне договорить… Я могу спасти тебя Я все приготовил. Дело за тобой. Если ты захочешь, я могу…

Он резко оборвал свою речь:

– Нет, нет, не то я говорю!..

Быстрыми шагами, не отпуская ее руки, так что она должна была бежать, он направился прямо к виселице и, указав на нее пальцем, холодно произнес:

– Выбирай между нами.

Она вырвалась из его рук и упала к подножию виселицы, обнимая эту зловещую, последнюю опору. Затем, слегка повернув прелестную головку, она через плечо взглянула на священника. Она походила на божью матерь у подножия креста. Священник стоял недвижно, застывший, словно статуя, с поднятой рукой, указывавшей на виселицу.

Наконец цыганка проговорила:

– Я боюсь ее меньше, чем вас!

При этих словах рука его медленно опустилась, и, устремив безнадежный взгляд на камни мостовой, он прошептал:

– Если бы эти камни могли говорить, они сказали бы: «Этот человек воистину несчастен».

И снова обратился к девушке. Девушка, коленопреклоненная у подножия виселицы, окутанная длинными своими волосами, не прерывала его. Теперь в его голосе звучали горестные и нежные ноты, составлявшие разительный контраст с надменной суровостью его лица.

– Я люблю вас! О, это правда! Значит, от пламени, что сжигает мое сердце, не вырывается ни одна искра наружу? Увы, девушка, денно и нощно, денно и нощно пылает оно! Неужели тебе не жаль меня? Днем и ночью горит любовь – это пытка. О, как я страдаю, мое бедное дитя! Я заслуживаю сострадания, поверь мне. Ты видишь, что я говорю с тобой спокойно. Мне так хочется, чтобы ты не чувствовала ко мне отвращения! Разве виноват мужчина, когда он любит женщину? О боже! Как! Значит, ты никогда не простишь меня? Вечно будешь меня ненавидеть? Значит, все кончено? Вот почему я такой злобный, вот почему я страшен самому себе. Ты даже не глядишь на меня! Быть может, ты думаешь о чем-то другом в тот миг, когда, трепеща, я стою перед тобой на пороге вечности, готовой поглотить нас обоих! Только не говори со мной об офицере! О! Пусть я паду к твоим ногам, пусть я буду лобзать, – не стопы твои, нет, этого ты мне не позволишь, – но землю, попираемую ими; пусть я, как ребенок, захлебнусь от рыданий, пусть вырву из груди, – нет, не слова любви, а мое сердце, мою душу, – все будет напрасно, все! А между тем ты полна нежности и милосердия. Ты сияешь благостной кротостью, ты так пленительна, добра, сострадательна и прелестна! Увы! В твоем сердце живет жестокость лишь ко мне одному! О, какая судьба!

Он закрыл лицо руками. Девушка услышала, что он плачет. Это было в первый раз. Стоя перед нею и сотрясаясь от рыданий, он был более жалок, чем если бы пал перед ней с мольбой на колени. Так плакал он некоторое время.

– Нет, – несколько успокоившись, снова заговорил он, – я не нахожу нужных слов. Ведь я хорошо обдумал то, что должен был сказать тебе. А сейчас дрожу, трепещу, слабею, в решительную минуту чувствую какую-то высшую силу над нами, у меня заплетается язык. О, я сейчас упаду наземь, если ты не сжалишься надо мной, над собой! Не губи себя и меня! Если бы ты знала, как я люблю тебя! Какое сердце я отдаю тебе! О, какое полное отречение от всякой добродетели! Какое неслыханное небрежение к себе! Ученый – я надругался над наукой; дворянин – я опозорил свое имя; священнослужитель – я превратил требник в подушку для похотливых грез; я плюнул в лицо своему богу! Вся для тебя, чаровница! Чтобы быть достойным твоего ада! А ты отвергаешь грешника! О, я должен сказать тебе все! Еще более… нечто еще более ужасное! О да, еще более ужасное!..

Его лицо исказилось безумием. Он замолк на секунду и снова заговорил громким голосом, словно обращаясь к самому себе:

– Каин! Что сделал ты с братом своим?

Он опять замолк, потом продолжал:

– Что сделал я с ним. Господи? Я призрел его, я вырастил его, вскормил, я любил его, боготворил, и я его убил! Да, Господи, вот только что, на моих глазах, ему размозжили голову о плиты твоего дома, и это по моей вине, по вине этой женщины, по ее вине…

Его взор был дик. Его голос угасал. Он еще несколько раз, через долгие промежутки, словно колокол, длящий последний звук, повторил:

– По ее вине… По ее вине…

Потом он уже не мог выговорить ни одного внятного слова, а между тем губы его еще шевелились. Вдруг ноги у него подкосились, он рухнул на землю и, уронив голову на колени, остался неподвижен.

Движение девушки, высвободившей из-под него свою ногу, заставило его очнуться. Он медленно провел рукою по впалым щекам и некоторое время с изумлением смотрел на свои мокрые пальцы.

– Что это? – прошептал он. – Я плакал!

Внезапно повернувшись к девушке, он с несказанной мукой произнес:

– И ты равнодушно глядела на мои слезы! О, дитя, знаешь ли ты, что эти слезы – кипящая лава? Значит, это правда! Ничто не трогает нас в том, кого мы ненавидим. Если бы я умирал на твоих глазах, ты бы смеялась. О нет! Я не хочу тебя видеть умирающей! Одно слово! Одно лишь слово прощения! Не говори мне, что ты любишь меня, скажи лишь, что ты согласна, и этого будет достаточно. Я спасу тебя. Если же нет… О! Время бежит. Всем святым заклинаю тебя: не жди, чтобы я снова превратился в камень, как эта виселица, которая тоже зовет тебя! Подумай о том, что в моих руках наши судьбы. Я безумен, я могу все погубить! Под нами бездонная пропасть, куда я низвергнусь вслед за тобой, несчастная, чтобы преследовать тебя вечно! Одно-единственное доброе слово! Скажи слово, одно только слово!

Она разомкнула губы, чтобы ответить ему. Он упал перед ней на колени, готовясь с благоговением внять слову сострадания, которое, быть может, сорвется, наконец, с ее губ.

– Вы убийца! – проговорила она.

Священник сдавил ее в объятиях и разразился отвратительным хохотом.

– Ну, хорошо! Убийца! – сказал он. – Но ты будешь принадлежать мне. Ты не пожелала, чтобы я был твоим рабом, так я буду твоим господином. Ты будешь моей! У меня есть берлога, куда я утащу тебя. Ты пойдешь за мной! Тебе придется пойти за мной, иначе я выдам тебя! Надо либо умереть, красавица, либо принадлежать мне! Принадлежать священнику, вероотступнику, убийце! И сегодня же ночью, слышишь? Идем! Веселей! Идем! Поцелуй меня, глупенькая! Могила – или мое ложе!

Его взор сверкал вожделением и яростью. Губы похотливо впивались в шею девушки. Она билась в его руках. Он осыпал ее бешеными поцелуями.

– Не смей меня кусать, чудовище! – кричала она. – Гнусный, грязный монах! Оставь меня! Я вырву твои гадкие седые волосы и швырну их тебе в лицо.

Он покраснел, потом побледнел, наконец отпустил ее и мрачно взглянул на нее. Думая, что победа осталась за нею, она продолжала:

– Я принадлежу моему Фебу, я люблю Феба, Феб прекрасен! А ты, поп, стар! Ты уродлив! Уйди!

Он испустил дикий вопль, словно преступник, которого прижгли каленым железом.

– Так умри же! – вскричал он, заскрипев зубами.

Она увидела его страшный взгляд и побежала. Он поймал ее, встряхнул, бросил на землю и быстрыми шагами направился к Роландовой башне, волоча ее по мостовой. Дойдя до башни, он обернулся:

– Спрашиваю тебя в последний раз: согласна ты быть моею?

Она ответила твердо:

– Нет.

Тогда он громко крикнул:

– Гудула! Гудула! Вот цыганка! Отомсти ей!

Девушка почувствовала, что кто-то схватил ее за локоть. Она оглянулась и увидела костлявую руку, высунувшуюся из оконца, проделанного в стене; эта рука схватила ее, словно клещами.

– Держи ее крепко! – сказал священник. – Это беглая цыганка. Не выпускай ее. Я пойду за стражей. Ты увидишь, как ее повесят.

– Ха-ха-ха-ха! – послышался гортанный смех в ответ на эти жестокие слова. Цыганка увидела, что священник бегом бросился по направлению к мосту Богоматери. Как раз с этой стороны доносился топот скачущих лошадей.

Девушка узнала злую затворницу. Задыхаясь от ужаса, она попыталась вырваться. Она вся извивалась в судорожных усилиях освободиться, полная смертельного страха и отчаяния, но та держала ее с необычайной силой. Худые, костлявые пальцы сомкнулись и впились в ее руку. Казалось, рука затворницы была припаяна к ее кисти. Это было хуже, чем цепь, хуже, чем железный ошейник, чем железное кольцо, – то были мыслящие, одушевленные клещи, выступавшие из камня.

Обессилев, Эсмеральда прислонилась к стене, и тут ею овладел страх смерти. Она подумала о прелести жизни, о молодости, о синем небе, о красоте природы, о любви Феба – обо всем, что ускользало от нее, и обо всем, что приближалось к ней: о священнике, ее предавшем, о палаче, который придет, о виселице, стоявшей на площади. И тогда она почувствовала, как у нее от ужаса зашевелились волосы на голове. Она услышала зловещий хохот затворницы и ее шепот: «Ага, ага! Тебя повесят!»

Помертвев, она обернулась к оконцу и увидела сквозь решетку свирепое лицо вретишницы.

– Что я вам сделала? – спросила она, почти теряя сознание.

Затворница не ответила; она возбужденно и насмешливо, нараспев забормотала:

– Цыганка, цыганка, цыганка!

Несчастная Эсмеральда поникла головой, поняв, что имеет дело с существом, в котором не осталось ничего человеческого.

Внезапно затворница, словно вопрос цыганки только сейчас дошел до ее сознания, воскликнула:

– Ты хочешь знать, что ты мне сделала? А! Ты хочешь знать, что ты мне сделала, цыганка? Ну так слушай! У меня был ребенок! Понимаешь? Ребенок был у меня! Ребенок, говорят тебе!.. Прелестная девочка! Моя Агнесса, продолжала она взволнованно, целуя какой-то предмет в темноте. – И вот, видишь ли, цыганка, у меня отняли моего ребенка, у меня украли мое дитя. Мое дитя сожрали! Вот что ты мне сделала.

Девушка робко промолвила:

– Быть может, меня тогда еще не было на свете!

– О нет! – возразила затворница. – Ты уже жила. Она была бы тебе ровесницей! Вот уже пятнадцать лет, как я нахожусь здесь, пятнадцать лет, как я страдаю, пятнадцать лет я молюсь, пятнадцать лет бьюсь головой о стены… Говорят тебе: моего ребенка украли цыгане, слышишь? Они его загрызли… У тебя есть сердце? Так представь себе, что такое дитя, которое играет, сосет грудь, которое спит. Это сама невинность! Так вот! Его у меня отняли и убили! Про это знает господь бог!.. Ныне пробил мой час, и я сожру цыганку! Я бы искусала тебя, если бы не прутья решетки! Моя голова через них не пролезет… Бедная малютка! Ее украли сонную! А если они разбудили ее, когда схватили, то она кричала напрасно: меня там не было!.. Ага, цыганки, вы сожрали мое дитя! Теперь идите смотреть, как умрет ваше!

Невозможно было понять, хохочет или лязгает зубами это разъяренное существо. День только еще занимался. Словно пепельной пеленой была подернута вся эта сцена, и все яснее и яснее вырисовывалась на площади виселица. С противоположного берега, от моста Богоматери, все явственнее доносился до слуха несчастной осужденной конский топот.

– Сударыня! – воскликнула она, ломая руки и падая на колени, растерзанная, отчаявшаяся, обезумевшая от ужаса. – Сударыня, сжальтесь надо мной! Они приближаются! Я ничего вам не сделала! Неужели вы хотите, чтобы я умерла на ваших глазах такой лютой смертью? Я уверена, что в вашем сердце есть жалость! Мне страшно! Дайте мне убежать! Отпустите меня! Сжальтесь! Я не хочу умирать!

– Отдай моего ребенка! – твердила затворница.

– Сжальтесь! Сжальтесь!

– Отдай ребенка!

– Отпустите меня, ради бога!

– Отдай ребенка!

Обессилевшая, сломленная, девушка опять повалилась на землю; глаза ее казались стеклянными, как у мертвой.

– Увы! – пролепетала она. – Вы ищете свою дочь, а я своих родителей.

– Отдай мою крошку Агнессу! – продолжала Гудула. – Ты не знаешь, где она? Так умри! Я объясню тебе. Послушай, я была гулящей девкой, у меня был ребенок, и его у меня отняли! Это сделали цыганки. Теперь ты понимаешь, почему ты должна умереть? Когда твоя мать-цыганка придет за тобой, я скажу ей: «Мать, погляди на эту виселицу!» А может, ты вернешь мне дитя? Может, ты знаешь, где она, моя маленькая дочка? Иди, я покажу тебе. Вот ее башмачок, – это все, что мне от нее осталось. Ты не знаешь, где другой? Если знаешь, скажи, и если это даже на другом конце света, я поползу за ним на коленях.

Произнося эти слова, она другой рукой показывала цыганке из-за решетки маленький вышитый башмачок. Уже настолько рассвело, что можно было разглядеть его форму и цвет.

– Покажите мне башмачок! – сказала, трепеща, цыганка. – Боже мой! Боже!

Свободной рукой она быстрым движением раскрыла украшенную зелеными бусами ладанку, которая висела у нее на шее.

– Ладно! Ладно! – ворчала про себя Гудула. – Хватайся за свой дьявольский амулет!

Вдруг ее голос оборвался, и, задрожав всем телом, она испустила вопль, вырвавшийся из самых глубин ее души:

– Дочь моя!

Цыганка вынула из ладанки точь-в-точь такой же башмачок. К башмачку был привязан кусочек пергамента, на котором было написано заклятие:

Еще один такой найди,

И мать прижмет тебя к груди.

Мгновенно сличив башмачки и прочтя надпись на пергаменте, затворница припала к оконной решетке лицом, сиявшим неземным счастьем.

– Дочь моя! Дочь моя! – крикнула она.

– Мать моя! – ответила цыганка.

Перо бессильно описать эту встречу.

Стена и железные прутья решетки разделяли их.

– О эта стена! – воскликнула затворница. – Видеть тебя и не обнять! Дай руку! Дай руку!

Девушка просунула в оконце руку, затворница припала к ней, прильнула к ней губами и замерла в этом поцелуе, не подавая иных признаков жизни, кроме судорожного рыдания, по временам сотрясавшего все ее тело. Слезы ее струились ручьями в молчании, во тьме, подобно ночному дождю. Бедная мать потоками изливала на эту обожаемую руку темный, бездонный таившийся в ее душе источник слез, где капля за каплей пятнадцать лет копилась ее мука.

Вдруг она вскочила, отбросила со лба длинные пряди седых волос и, не говоря ни слова, принялась обеими руками, яростнее, чем львица, раскачивать решетку своего логова. Прутья не подавались. Тогда она бросилась в угол своей кельи, схватила тяжелый камень, служивший ей изголовьем, и с такой силой швырнула его в решетку, что один из прутьев, брызнув искрами, сломался. Второй удар надломил старую крестообразную перекладину, которой было загорожено окно. Старуха голыми руками сломала оставшиеся прутья и согнула их ржавые концы. В иные мгновения руки женщины обладают нечеловеческой силой.

Расчистив таким образом путь, на что ей понадобилось не более одной минуты, она схватила дочь за талию и втащила в свою нору.

– Сюда! Я спасу тебя от гибели! – бормотала она.

Осторожно опустив дочь на землю, затворница снова подняла ее и стала носить на руках, словно та все еще была ее малюткой Агнессой. Она ходила взад и вперед по узкой келье, опьяненная, обезумевшая, торжествующая. Придя в неистовство, она кричала, пела, целовала дочь, что-то говорила ей, разражалась хохотом, исходила слезами.

– Дочь моя! Дочь моя! – говорила она. – Моя дочь со мной! Вот она! Милосердный Господь вернул мне ее. Эй вы! Идите все сюда! Есть там кто-нибудь? Пусть взглянет, моя дочь со мной! Иисусе сладчайший, как она прекрасна! Пятнадцать лет ты заставил меня ждать, милосердный боже, для того, чтобы вернуть ее мне красавицей. Так, значит, цыганки не сожрали ее! Кто же это выдумал? Доченька! Доченька, поцелуй меня! Добрые цыганки! Я люблю цыганок… Да, это ты! Так вот почему мое сердце всегда трепетало, когда ты проходила мимо! А я-то думала, что это от ненависти! Прости меня, моя Агнесса, прости меня! Я казалась тебе очень злой, не правда ли? Я люблю тебя… Где твоя крошечная родинка на шейке, где она? Покажи! Вот она! О, как ты прекрасна! Это я вам подарила ваши огромные глаза, сударыня. Поцелуй меня. Я люблю тебя! Теперь мне все равно, что у других матерей есть дети, теперь мне до этого нет дела. Пусть они придут сюда. Вот она, моя дочь. Вот ее шейка, ее глазки, ее волосы, ее ручка. Видали вы кого-нибудь прекраснее, чем она? О, я ручаюсь вам, что у нее-то уж будут поклонники! Пятнадцать лет я плакала. Вся красота моя истаяла – и вновь расцвела в ней. Поцелуй меня!

Она шептала ей безумные слова, все очарование которых таилось в их выразительности. Она привела в такой беспорядок одежду молодой девушки, что та краснела; она гладила ее шелковистые волосы, целовала ее ноги, колени, лоб, глаза и всем восхищалась. Девушка подчинялась всему и лишь изредка тихонько, с бесконечной нежностью повторяла:

– Матушка!

– Видишь ли, доченька, – говорила затворница, прерывая свою речь поцелуями, – я буду очень любить тебя. Мы уедем отсюда. Мы будем счастливы! Я получила кое-какое наследство в Реймсе, на нашей родине. Ты помнишь Реймс? Ах нет, ты не можешь его помнить, ты была еще крошкой! Если бы ты знала, какая ты была хорошенькая, когда тебе было четыре месяца! У тебя были такие крошечные ножки, что любоваться ими приходили даже из Эперне, а ведь это за семь лье от Реймса! У нас будет свое поле, свой домик. Ты будешь спать в моей постели. Боже мой! Боже мой! Кто бы мог этому поверить! Моя дочь со мной!

– Матушка! – продолжала девушка, справившись, наконец, со своим волнением. – Цыганка все это мне предсказывала. Была одна добрая цыганка, которая всегда заботилась обо мне, как кормилица, – она умерла в прошлом году. Это она надела мне на шею ладанку. Она постоянно твердила: «Малютка! Береги эту вещичку. Это сокровище. Она поможет тебе найти мать. Ты носишь мать свою на груди». Цыганка это предсказала!

Вретишница вновь сжала дочь в объятиях.

– Дай я тебя поцелую! Ты так мило все это рассказываешь! Когда мы приедем на родину, то пойдем в церковь и обуем в эти башмачки статую младенца Иисуса. Мы должны это сделать для милосердной пречистой Девы. Боже мой! Какой у тебя прелестный голосок! Когда ты сейчас говорила со мною, твоя речь звучала, как музыка! Боже всемогущий! Я нашла своего ребенка! Это невероятно! Если я не умерла от такого счастья, от чего же тогда можно умереть?

И тут она опять принялась хлопать в ладоши, смеяться и восклицать:

– Мы будем счастливы!

В эту минуту со стороны моста Богоматери и с набережной в келью донеслись бряцанье оружия и все приближавшийся конский топот. Цыганка в отчаянии бросилась в объятия вретишницы:

– Матушка! Спаси меня! Они идут!

Затворница побледнела.

– О небо! Что ты говоришь! Я совсем забыла. За тобой гонятся! Что же ты сделала?

– Не знаю, – ответила несчастная девушка, – но меня приговорили к смерти.

– К смерти! – воскликнула Гудула, пошатнувшись, словно сраженная молнией. – К смерти! – медленно повторила она, пристально глядя на дочь.

– Да, матушка, – растерянно продолжала девушка. – Они хотят меня убить. Вот они идут за мной. Эта виселица – для меня! Спаси меня! Спаси меня! Они уже близко! Спаси меня!

Затворница несколько мгновений стояла, словно каменное изваяние, затем, с сомнением покачав головой, разразилась хохотом, своим ужасным прежним хохотом:

– О! О! Нет, ты бредишь! Как бы не так! Потерять ее – и чтобы это длилось пятнадцать лет, а потом найти – и только на одну минуту! И ее отберут у меня! Отнимут теперь, когда она прекрасна, когда она уже выросла, когда она говорит со мной, когда она любит меня! Они придут сожрать ее на моих глазах, на глазах матери! Нет! Это невозможно! Милосердный Господь не допустит этого.

Конный отряд, видимо, остановился, и чей-то голос крикнул издали:

– Сюда, господин Тристан! Священник сказал, что мы найдем ее возле Крысиной норы.

Снова послышался конский топот.

Затворница вскочила с отчаянным воплем.

– Беги! Беги, дитя мое! Я вспомнила все! Ты права. Это идет твоя смерть! О ужас! Проклятье! Беги!

Она просунула голову в оконце и быстро отшатнулась.

– Стой! – тихо, отрывисто и мрачно сказала она, судорожно сжимая руку цыганки, помертвевшей от ужаса. – Стой! Не дыши! Везде солдаты. Тебе не убежать. Слишком светло.

Сухие ее глаза горели. Она умолкла. Большими шагами ходила она по келье. Время от времени останавливалась и, вырывая у себя клок седых волос, рвала их зубами.

Вдруг она сказала:

– Они приближаются. Я с ними поговорю. Спрячься сюда, в этот угол. Они не заметят тебя. Я скажу, что ты убежала, что я тебя не удержала, и поклянусь Богом.

Она отнесла свою дочь в самый дальний угол кельи, куда снаружи нельзя было заглянуть. Там она усадила ее, позаботившись о том, чтобы руки и ноги ее не выступали из мрака, распустила ее черные волосы и, прикрыв ими белое ее платье, поставила перед ней свою кружку и камень единственное ее имущество, – уверенная в том, что эта кружка и этот камень помогут ей скрыть дочь. Немного успокоившись, она упала на колени и принялась молиться. День только занимался, и Крысиная нора еще тонула во тьме.

В это мгновение возле самой кельи послышался зловещий голос священника.

– Сюда! – кричал он. – Сюда, капитан Феб де Шатопер!

При звуке этого имени, этого голоса Эсмеральда, притаившаяся в своем углу, зашевелилась.

– Не двигайся! – прошептала Гудула.

В ту же секунду у кельи послышался шум голосов, конский топот и бряцанье оружия. Мать вскочила и встала перед оконцем, чтобы загородить его. Она увидела большой вооруженный отряд пешей и конной стражи, выстроившийся на Гревской площади. Начальник спрыгнул с лошади и подошел к ней.

– Старуха! – сказал этот свирепого вида человек затворнице. – Мы ищем ведьму, чтобы ее повесить. Нам сказали, что она у тебя.

Несчастная мать постаралась принять самый равнодушный вид.

– Не понимаю, что вы такое говорите, – ответила она.

Человек продолжал:

– Черт возьми! Что же он нам напел, этот сумасшедший архидьякон? Где он?

– Он исчез, господин, – ответил один из стрелков.

– Ну, старая дура, – продолжал начальник, – не врать! Тебе поручили стеречь колдунью. Куда ты ее девала?

Затворница, боясь отнекиваться, чтобы не возбудить подозрений, угрюмо и с показным простодушием ответила:

– Если вы говорите об этой высокой девчонке, которую мне час тому назад навязали, так она укусила меня, и я ее выпустила. Ну вот! А теперь оставьте меня в покое.

Начальник отряда скорчил недовольную гримасу.

– Смотри, не вздумай мне врать, старая карга! – повторил он. – Я Тристан-Отшельник, кум короля. Тристан-Отшельник, понимаешь? – Оглядывая Гревскую площадь, он добавил: – Здесь на это имя отзывается эхо.

– Будь вы хоть Сатана-Отшельник, больше того, что я сказала, я не скажу, и бояться вас мне нечего, – сказала Гудула, к которой снова вернулась надежда.

– Вот так баба, черт возьми! – воскликнул Тристан. – Значит, проклятая девка улизнула! Ну, а в какую сторону она побежала?

Гудула с равнодушным видом ответила:

– Кажется, по Овечьей улице.

Тристан обернулся и подал своему отряду знак двинуться в путь. Затворница перевела дыхание.

– Господин! – вдруг заговорил один из стрелков. – Спросите старую ведьму, почему у нее сломаны прутья оконной решетки.

Этот вопрос наполнил сердце несчастной матери мучительной тревогой. Однако она не совсем утратила присутствия духа.

– Они всегда были такие, – запинаясь, ответила она.

– Уж будто! – возразил стрелок. – Еще вчера они стояли тут красивым черным крестом, который призывал к благочестию!

Тристан исподлобья взглянул на затворницу.

– Ты что это, бабушка, путаешь?

Несчастная сообразила, что все зависит от ее выдержки; тая в душе смертельную тревогу, она рассмеялась. На это способна лишь мать.

– Вот тебе раз! – сказала она. – Да этот человек пьян, что ли? Еще год тому назад тележка, груженная камнями, задела решетку оконца и погнула прутья! Уж как я проклинала возчика!

– Это верно, – поддержал ее другой стрелок, – я сам видел.

Всегда и всюду найдутся люди, которые все видели. Это неожиданное свидетельство стрелка ободрило затворницу, которую этот допрос заставил пережить чувства человека, переходящего пропасть по лезвию ножа.

Но ей суждено было беспрестанно переходить от надежды к отчаянию.

– Если бы решетку сломала тележка, то прутья вдавились бы внутрь, а они выгнуты наружу, – заметил первый стрелок.

– Эге! – обратился Тристан к стрелку. – Нюх-то у тебя, словно у следователя Шатле. Ну что ты на это скажешь, старуха?

– Боже мой! – воскликнула дрожащим от слез голосом доведенная до отчаяния Гудула. – Клянусь вам, господин, что эти прутья поломала тележка. Вы ведь слыхали, вон тот человек сам это видел. А потом, какое все это имеет отношение к вашей цыганке?

– Гм!.. – проворчал Тристан.

– Черт возьми! – воскликнул стрелок, польщенный похвалою начальника. – А надлом-то на прутьях совсем свежий!

Тристан покачал головой. Гудула побледнела.

– Когда, говоришь, проезжала здесь тележка!

– Да вроде как месяц тому назад или недели две, монсеньер. Хорошо не помню.

– А сначала она говорила, что год, – заметил стрелок.

– Подозрительно! – сказал Тристан.

– Монсеньер! – закричала Гудула, все еще прижимаясь к оконцу и трепеща при мысли, что подозрение может заставить их заглянуть в келью. Господин! Клянусь, эту решетку сломала тележка. Клянусь вам всеми небесными ангелами. А если я вру, то пусть я буду проклята навеки, пусть буду вероотступницей!

– Уж очень горячо ты клянешься! – сказал Тристан, окидывая ее инквизиторским взглядом.

Бедная женщина чувствовала, что теряет самообладание. Она стала делать промахи, с ужасом сознавая, что говорит совсем не то, что надо.

Как раз в эту минуту прибежал стрелок и крикнул:

– Господин! Старая ведьма все врет. Колдунья не могла бежать через Овечью улицу. Заградительную цепь не снимали всю ночь, и сторож говорит, что никто не проходил.

Лицо Тристана с каждой минутой становилось все мрачнее.

– Ну, а теперь что скажешь? – обратился он к затворнице.

Она попыталась преодолеть и это затруднение.

– Почем я знаю, господин, может быть, я и ошиблась. Мне думается, она переправилась через реку.

– Но это же в обратную сторону, – сказал Тристан. – Да и мало вероятно, чтобы она захотела вернуться в Сите, где ее ищут. Ты врешь, старуха!

– И кроме того, – вставил первый стрелок, – ни с той, ни с другой стороны нет никаких лодок.

– Она могла броситься вплавь, – сказала затворница, отстаивая пядь за пядью свои позиции.

– Разве женщины умеют плавать? – спросил стрелок.

– Черт возьми! Старуха, ты врешь! Врешь! – злобно крикнул Тристан. Меня так и подмывает плюнуть на эту колдунью и схватить тебя вместо нее. Четверть часика в застенке вырвут правду из твоей глотки! Идем, следуй за нами.

Она с жадностью ухватилась за эти слова.

– Как вам угодно, господин. Пусть будет по-вашему! Пытка? Я готова! Ведите меня. Скорей, скорей! Идемте!

«А тем временем, – думала она, – моя дочь успеет скрыться».

– Черт возьми! – сказал Тристан. – Она так и рвется на дыбу! Не пойму я эту сумасшедшую!

Из отряда выступил седой сержант ночного дозора и, обратившись к нему, сказал:

– Она действительно сумасшедшая, господин. И если она упустила цыганку, то не по своей вине. Она их ненавидит. Пятнадцать лет я в ночном дозоре и каждый вечер слышу, как она проклинает цыганок на все лады. Если та, которую мы ищем, – маленькая плясунья с козой, то эту она особенно ненавидит.

Гудула сделала над собой усилие и сказала:

– Да, эту особенно.

Остальные стрелки единодушно подтвердили слова старого сержанта. Это убедило Тристана-Отшельника. Потеряв надежду что-либо вытянуть из затворницы, он повернулся к ней спиной, и она с невыразимым волнением глядела, как он медленно направлялся к своему коню.

– Ну, трогай! – проговорил он сквозь зубы. – Вперед! Надо продолжать поиски. Я не усну, пока цыганка не будет повешена.

Однако он еще помедлил, прежде чем вскочить на коня. Гудула, ни жива ни мертва, следила за тем, как он беспокойно оглядывал площадь, словно охотничья собака, чующая дичь и не решающаяся уйти. Наконец он тряхнул головой и вскочил в седло. Подавленное ужасом сердце Гудулы снова забилось, и она прошептала, обернувшись к дочери, на которую до сей поры ни разу не решалась взглянуть:

– Спасена!

Бедняжка все это время просидела в углу, боясь вздохнуть, боясь пошевельнуться, с одной лишь мыслью о предстоящей смерти. Она не упустила ни единого слова из разговора матери с Тристаном, и все муки матери находили отклик и в ее сердце. Она чувствовала, как трещала нить, которая держала ее над бездной, двадцать раз ей казалось, что вот-вот нить

эта порвется, и только сейчас она вздохнула наконец свободнее, ощутив под ногами опору. В эту минуту до нее донесся голос, говоривший Тристану:

– Рога дьявола! Господин начальник! Я человек военный, и не мое дело вешать колдуний. С чернью мы покончили. Остальным займетесь сами. Если позволите, я вернусь к отряду, который остался без капитана.

Это был голос Феба де Шатопера Нет слов, чтобы передать, что произошло в душе цыганки. Так, значит, он здесь, ее друг, ее защитник, ее опора, ее убежище, ее Феб. Она вскочила и, прежде чем мать успела удержать ее, бросилась к окошку.

– Феб! Ко мне, мой Феб! – крикнула она.

Но Феба уже не было Он мчался галопом и свернул на улицу Ножовщиков. Зато Тристан был еще здесь.

Затворница с диким рычаньем бросилась на дочь Она оттащила ее назад, вонзив ей в шею ногти, – матери-тигрицы не отличаются особой осторожностью Но было уже поздно. Тристан ее увидел.

– Эге! – воскликнул он со смехом, обнажившим до корней его зубы, что придало его лицу сходство с волчьей мордой – В мышеловке-то оказались две мыши!

– Я так и думал, – сказал стрелок.

Тристан потрепал его по плечу и сказал.

– У тебя нюх, как у кошки. А ну, где тут Анриэ Кузен?

Человек с гладкими волосами, не похожий ни по виду, ни по одежде на стрелка, выступил из рядов Платье на нем было наполовину коричневое, наполовину серое, с кожаными рукавами, в сильной руке он держал связку веревок Этот человек всегда сопровождал Тристана, как Тристан – Людовика XI.

– Послушай, дружище, – обратился к нему Тристан-Отшельник, – я полагаю, что это та самая колдунья, которую мы ищем. Вздерни-ка ее! Лестница при тебе?

– Лестница там, под навесом Дома с колоннами, – ответил человек. – Ее как, на этой вот перекладине вздернуть, что ли? – спросил он, указывая на каменную виселицу.

– На этой?

– Хо-хо! – еще более грубым и злобным хохотом, чем его начальник, захохотал палач – Ходить далеко не придется!

– Ну, поживей! Потом нахохочешься! – крикнул Тристан.

Затворница с той самой минуты, как Тристан заметил ее дочь и всякая надежда на спасенье была утрачена, не произнесла больше ни слова Она бросила бедную полумертвую цыганку в угол склепа и снова встала перед оконцем, вцепившись обеими руками, словно когтями, в угол подоконника Она бесстрашно ожидала стрелков. Ее глаза приняли прежнее дикое и безумное выражение. Когда Анриэ Кузен подошел к келье, лицо Гудулы стало таким свирепым, что он попятился.

– Господин! – спросил он, подойдя к Тристану – Которую же из них взять?

– Молодую.

– Тем лучше! Со старухой трудненько было бы справиться.

– Бедная маленькая плясунья с козочкой! – заметил старый сержант ночного дозора.

Анриэ Кузен опять подошел к оконцу. Взгляд несчастной матери заставил его отвести глаза. С некоторой робостью он проговорил:

– Сударыня…

Она прервала его еле слышным яростным шепотом.

– Кого тебе нужно?

– Не вас, – ответил он, – ту, другую.

– Какую другую?

– Ту, что помоложе.

Она принялась трясти головой.

– Здесь нет никого! Никого! Никого! – кричала она.

– Есть! – возразил палач. – Вы сами прекрасно знаете. Позвольте мне взять молодую А вам я никакого зла не причиню.

Она возразила со странной усмешкой.

– Вот как! Мне ты не хочешь причинить зла!

– Отдайте мне только ту, другую, сударыня Так приказывает господин начальник.

Она повторила, глядя на него безумными глазами.

– Здесь никого нет.

– А я вам повторяю, что есть! – крикнул палач – Мы все видели, что вас было двое.

– Погляди сам! – сказала затворница. – Сунь голову в окошко!

Палач взглянул на ее ногти и не решился.

– Поторапливайся! – крикнул Тристан. Выстроив отряд полукругом перед Крысиной норой, он подъехал к виселице.

Анриэ Кузен в сильнейшем замешательстве еще раз подошел к начальнику. Он положил веревки на землю и, неуклюже переминаясь с ноги на ногу, стал мять в руках шапку.

– Как же туда войти, господин? – спросил он.

– Через дверь.

– Двери нет.

– Через окно.

– Слишком узкое.

– Так расширь его! – злобно крикнул Тристан. – Разве нет у тебя кирки?

Мать, по-прежнему настороженная, наблюдала за ними из глубины своей норы. Она уже больше ни на что не надеялась, она не знала, что делать, она только не хотела, чтобы у нее отняли дочь.

Анриэ Кузен пошел за инструментами, которые лежали в ящике под навесом Дома с колоннами. Заодно он вытащил оттуда и лестницу-стремянку, которую тут же приставил к виселице. Пять-шесть человек из отряда вооружились кирками и ломами. Тристан направился вместе с ними к оконцу.

– Старуха! – строго сказал ей начальник. – Отдай нам девчонку добром.

Она взглянула на него, словно не понимая, чего он от нее хочет.

– Черт возьми! – продолжал Тристан. – Почему ты не хочешь, чтобы мы повесили эту колдунью, как то угодно королю?

Несчастная разразилась диким хохотом.

– Почему не хочу? Она моя дочь!

Выражение, с которым она произнесла эти слова, заставило вздрогнуть даже самого Анриэ Кузена.

– Мне очень жаль, – ответил Тристан, – но такова воля короля.

А затворница, еще громче захохотав жутким хохотом, крикнула:

– Что мне за дело до твоего короля творят тебе, что это моя дочь!

– Пробивайте стену! – приказал Тристан.

Чтобы расширить отверстие, достаточно было вынуть под оконцем один ряд каменной кладки. Когда мать услышала удары кирок и ломов, пробивавших ее крепость, она испустила ужасающий вопль и стала с невероятной быстротой кружить по келье, – эту повадку дикого зверя приобрела она, сидя в своей клетке. Она молчала, но глаза ее горели. У стрелков захолонуло сердце.

Внезапно она схватила свой камень и, захохотав, с размаху швырнула его в стрелков. Камень, брошенный неловко, ибо руки ее дрожали, упал к ногам коня Тристана, никого не задев. Затворница заскрежетала зубами.

Хотя солнце еще не совсем взошло, но было уже светло, и чудесный розоватый отблеск лег на старые полуразрушенные трубы Дома с колоннами. Это был тот час, когда обитатели чердаков, просыпающиеся раньше всех, весело отворяют свои оконца, выходящие на крышу. Поселяне и торговцы фруктами, верхом на осликах, потянулись на рынки через Гревскую площадь. Задерживаясь на мгновение возле отряда стрелков, собравшихся вокруг Крысиной норы, они с удивлением смотрели на них, а затем продолжали свой путь.

Затворница сидела возле дочери, заслонив ее и прикрыв своим телом, с остановившимся взглядом прислушиваясь к тому, как лежавшее без движения несчастное дитя шепотом повторяло: «Феб! Феб!»

По мере того как работа стражи, ломавшей стену, подвигалась вперед, мать невольно откидывалась и все сильнее прижимала девушку к стене. Вдруг она заметила (она не спускала глаз с камня), что камень подался, и услышала голос Тристана, подбодрявшего солдат. Она очнулась от своего недолгого оцепенения и закричала. Голос ее то резал слух, как скрежет пилы, то захлебывался, словно все проклятия теснились в ее устах, чтобы разом вырваться наружу.

– О-о-о! Какой ужас! Разбойники! Неужели вы в самом деле хотите отнять у меня дочь? Я же вам говорю, что это моя дочь! Подлые, низкие палачи! Гнусные, грязные убийцы! Помогите! Помогите! Пожар! Неужто они отнимут у меня мое дитя? Кого же тогда называют милосердным богом?

Затем она с пеной у рта, с блуждающим взором, стоя на четвереньках и ощетинясь, словно пантера, обратилась к Тристану:

– Ну-ка, подойди, попробуй взять у меня мою дочь! Ты что, не понимаешь? Женщина говорит тебе, что это ее дочь! Знаешь ли ты, что значит дочь? Эй ты, волк! Разве ты никогда не спал со своей волчицей? Разве у тебя никогда не было волчонка? А если у тебя есть детеныши, то, когда они воют» разве у тебя не переворачивается нутро?

– Вынимайте камень, – приказал Тристан, – он чуть держится.

Рычаги приподняли тяжелую плиту. Как мы уже упоминали, это был последний оплот несчастной матери. Она бросилась на нее, она хотела ее удержать, она царапала камень ногтями. Но массивная глыба, сдвинутая с места шестью мужчинами, вырвалась у нее из рук и медленно, по железным рычагам, соскользнула на землю.

Видя, что вход готов, мать легла поперек отверстия, загораживая пролом своим телом, колотясь головою о камень, ломая руки, крича охрипшим от усталости, еле слышным голосом: «Помогите! Пожар! Горим!»

– Теперь берите девчонку! – все так же невозмутимо приказал Тристан.

Мать окинула стрелков таким грозным взглядом, что они охотнее бы попятились, чем пошли на приступ.

– Ну же, – продолжал Тристан, – Анриэ Кузен, вперед!

Никто не тронулся с места.

– Клянусь Христовой башкой! – выругался Тристан. – Струсили перед бабой! А еще солдаты!

– Да разве это женщина, господин? – заметил Анриэ Кузен.

– У нее львиная грива! – заметил другой.

– Вперед! – приказал начальник. – Отверстие широкое. Пролезайте по трое в ряд, как в брешь при осаде Понтуаза. Пора с этим покончить, клянусь Магометом! Первого, кто повернет назад, я разрублю пополам!

Очутившись между двумя опасностями – матерью и начальником, – стрелки, после некоторого колебания, решили направиться к Крысиной норе.

Затворница, стоя на коленях, отбросила с лица волосы и беспомощно уронила худые исцарапанные руки. Крупные слезы выступили у нее на глазах и одна за другой побежали по бороздившим ее лицо морщинам, словно ручей по проложенному руслу. Она заговорила таким умоляющим, нежным, кротким и таким хватающим за душу голосом, что вокруг Тристана не один старый вояка с сердцем людоеда утирал себе глаза.

– Милостивые государи! Господа стражники! Одно только слово! Я должна вам кое-что рассказать! Это моя дочь, понимаете? Моя дорогая малютка дочь, которую я когда-то утратила! Послушайте, это целая история. Представьте себе, я очень хорошо знаю господ стражников. Они всегда были добры ко мне, еще в ту пору, когда мальчишки бросали в меня камнями за мою распутную жизнь. Послушайте! Вы оставите мне дочь, когда узнаете все! Я несчастная уличная девка. Ее украли у меня цыганки. И это так же верно, как то, что пятнадцать лет я храню у себя ее башмачок. Вот он, глядите! Вот какая у нее была ножка. В Реймсе! Шантфлери! Улица Великой скорби! Может, слышали? То была я в дни вашей юности. Хорошее было времечко! Неплохо было провести со мной часок. Вы ведь сжалитесь надо мной, господа, не правда ли? Ее украли у меня цыганки, и пятнадцать лет они прятали ее от меня. Я считала ее умершей. Подумайте, друзья мои, – умершей! Пятнадцать лет я провела здесь, в этом погребе, без огня зимой. Тяжко это было. Бедный дорогой башмачок! Я так стенала, что милосердный господь услышал меня. Нынче ночью он возвратил мне дочь. Это чудо господне. Она не умерла. Вы ее не отнимете у меня, я знаю. Если бы вы хотели взять меня, это дело другое, но она дитя, ей шестнадцать лет! Дайте же ей насмотреться на солнце! Что она вам сделала? Ничего. Да и я тоже. Если бы вы только знали! Она – все, что у меня есть на свете! Глядите, какая я старая. Ведь это божья матерь ниспослала мне свое благословенье! А вы все такие добрые! Ведь вы же не знали, что это моя дочь, ну, а теперь вы это знаете! О! Я так люблю ее! Господин главный начальник! Легче мне распороть себе живот, чем увидеть хоть маленькую царапинку на ее пальчике! У вас такое доброе лицо, господин! Теперь, когда я вам все рассказала, вам все стало понятно, не правда ли? О, у вас тоже была мать, господин! Ведь вы оставите мне мое дитя? Взгляните: я на коленях умоляю вас об этом, как молят самого Иисуса Христа! Я ни у кого ничего не прошу. Я из Реймса, милостивые господа, у меня там есть клочок земли, доставшийся мне от моего дяди Майе Прадона. Я не нищенка. Мне ничего не надо, только мое дитя! О! Я хочу сохранить мое дитя! Господь-вседержитель вернул мне его не напрасно! Король! Вы говорите, король? Но разве для него такое уж большое удовольствие, если убьют мою малютку? И потом, король добрый. Это моя дочь! Моя, моя дочь! А не короля! И не ваша! Я хочу уехать! Мы хотим уехать! Вот идут две женщины, из которых одна мать, а другая дочь, ну и пусть себе идут! Дайте же нам уйти! Мы обе из Реймса. О! Вы все очень добрые, господа стражники. Я всех вас так люблю!.. Вы не возьмете у меня мою дорогую крошку, это невозможно! Ведь правда, это невозможно? Мое дитя! Дитя мое!

Мы не в силах описать ни ее жесты, ни ее голос, ни слезы, которыми она захлебывалась, ни руки, которые она то складывала с мольбою, то ломала, ни ее улыбку, переворачивавшую душу, ни ее молящий взор, вопли, вздохи и горестные, надрывающие сердце рыдания, которыми она сопровождала свою отрывистую, бессвязную, безумную речь. Наконец, когда она умолкла, Тристан-Отшельник нахмурил брови, чтобы скрыть слезу, навернувшуюся на его глаза – глаза тигра. Однако он преодолел свою слабость и коротко ответил ей:

– Такова воля короля!

Потом, наклонившись к Анриэ Кузену, прошептал: «Кончай скорей!» Быть может, грозный Тристан почувствовал, что и он может дрогнуть.

Палач и стража вошли в келью. Мать не препятствовала им, она лишь подползла к дочери и, судорожно обхватив ее обеими руками, закрыла своим телом.

Цыганка увидела приближавшихся к ней солдат. Ужас смерти вернул ее к жизни.

– Мать моя! – с выражением невыразимого отчаяния крикнула она. – Матушка, они идут! Защити меня!

– Да, любовь моя, да, я защищаю тебя! – упавшим голосом ответила мать и, крепко сжимая ее в своих объятиях, покрыла ее поцелуями. Обе – и мать и дочь, простершиеся на земле, – не могли не вызывать сострадания.

Анриэ Кузен схватил девушку поперек туловища. Почувствовав прикосновение его руки, она слабо вскрикнула и потеряла сознание. Палач, из глаз которого капля за каплей падали крупные слезы, хотел было взять девушку на руки. Он попытался оттолкнуть мать, руки которой словно узлом стянулись вокруг стана дочери, но она так крепко обняла свое дитя, что ее невозможно было оторвать. Тогда Анриэ Кузен поволок из кельи девушку, а вместе с нею и мать. У матери глаза были тоже закрыты.

К этому времени солнце взошло, и на площади уже собралась довольно многочисленная толпа зевак, наблюдавших издали, как что-то тащат к виселице по мостовой. Таков был обычай Тристана при совершении казней. Он не любил близко подпускать любопытных.

В окнах не было видно ни души. И только на верхушке той башни Собора Богоматери, с которой видна Гревская площадь, на ясном утреннем небе вырисовывались черные силуэты двух мужчин, должно быть глядевших вниз на площадь.

Анриэ Кузен остановился вместе со своим грузом у подножия роковой лестницы и, с трудом переводя дыханье, – до того он был растроган, – накинул петлю на прелестную шейку девушки. Несчастная почувствовала страшное прикосновение пеньковой веревки. Она подняла веки и над самой своей головой увидела простертую руку каменной виселицы. Она вздрогнула и громким, душераздирающим голосом крикнула:

– Нет! Нет! Не хочу!

Мать, зарывшаяся головой в одежды дочери, не промолвила ни слова; видно было лишь» как дрожало все ее тело, как жадно и торопливо целовала она свою дочь. Палач воспользовался этой минутой, чтобы разомкнуть ее руки, которыми она сжимала осужденную. То ли обессилев, то ли отчаявшись, она не сопротивлялась. Палач взвалил девушку на плечо, и тело прелестного создания, грациозно изогнувшись, запрокинулось рядом с его большой головой. Потом он ступил на лестницу, собираясь подняться.

В эту минуту мать, скорчившаяся на мостовой, широко раскрыла глаза. Она поднялась, лицо ее было страшно; молча, как зверь на добычу, она бросилась на палача и вцепилась зубами в его руку. Это произошло молниеносно. Палач взвыл от боли. К нему подбежали. С трудом высвободили его окровавленную руку Мать хранила глубокое молчание. Ее отпихнули Голова ее тяжело ударилась о мостовую. Ее приподняли Она упала опять. Она была мертва.

Палач, не выпустивший девушки из рук, стал снова взбираться по лестнице.

II. La creatura bella bianco vestita (Dante)[158]

Когда Квазимодо увидел, что келья опустела, что цыганки здесь нет, что, пока он защищал ее, она была похищена, он вцепился себе в волосы и затопал ногами от нежданного горя. Затем принялся бегать по всей церкви, разыскивая цыганку, испуская нечеловеческие вопли, усеивая плиты собора своими рыжими волосами Это было как раз в то мгновенье, когда победоносные королевские стрелки вступили в собор и тоже принялись искать цыганку. Бедняга глухой помогал им, не подозревая, каковы их намерения; он полагал, что врагами

цыганки были бродяги. Он сам повел Тристана-Отшельника по всем уголкам собора, отворил ему все потайные двери, проводил за алтарь и в ризницы. Если бы несчастная еще находилась в храме, он предал бы ее.

Когда утомленный бесплодными поисками Тристан, наконец, отступился, а отступался он не так-то легко, – Квазимодо продолжал искать один. Отчаявшийся, обезумевший, он двадцать раз, сто раз обежал собор вдоль и поперек, сверху донизу, то взбираясь, то сбегая по лестницам, зовя, крича, обнюхивая, обшаривая, обыскивая, просовывая голову во все щели, освещая факелом каждый свод. Самец, потерявший самку, не мог бы рычать и громче и свирепее. Наконец, когда он убедился, и убедился окончательно, что Эсмеральды нет, что все кончено, что ее украли у него, он медленно стал подниматься по башенной лестнице, той самой лестнице, по которой он с таким торжеством, с таким восторгом взбежал в тот день, когда спас ее. Он прошел по тем же местам, поникнув головой, молча, без слез, почти не дыша. Церковь вновь опустела и погрузилась в молчание. Стрелки ее покинули, чтобы устроить на колдунью облаву в Сите. Оставшись один в огромном Соборе Богоматери, еще несколько минут назад наполненном шумом осады. Квазимодо направился к келье, в которой цыганка так долго спала под его охраной.

Приближаясь к келье, он вдруг подумал, что, может быть, найдет ее там. Когда, огибая галерею, выходившую на крышу боковых приделов, он увидел узенькую келью с маленьким окошком и маленькой дверью, притаившуюся под упорной аркой, словно птичье гнездышко под веткой, у бедняги замерло сердце, и он прислонился к колонне, чтобы не упасть. Он вообразил, что, может быть, она вернулась, что какойнибудь добрый гений привел ее туда, что это мирная, надежная и уютная келья, и она не могла покинуть ее Он не смел двинуться с места, боясь спугнуть свою мечту. «Да, – говорил он себе, – да, она, вероятно, спит или молится. Не надо ее беспокоить».

Но наконец, собравшись с духом, он на цыпочках приблизился к двери, заглянул и вошел. Никого! Келья была по-прежнему пуста. Несчастный глухой медленно обошел ее, приподнял постель, заглянул под нее, словно цыганка могла спрятаться между каменной плитой и тюфяком, затем покачал головой и застыл. Вдруг он в ярости затоптал ногою факел и, не вымолвив ни слова, не издав ни единого вздоха, с разбега ударился головою о стену и упал без сознания на пол.

Придя в себя, он бросился на постель и, катаясь по ней, принялся страстно целовать это ложе, где только что спала девушка, и, казалось, еще дышавшее теплом; некоторое время он лежал неподвижно, как мертвый, потом встал и, обливаясь потом, задыхаясь, обезумев, принялся снова биться головой о стену с жуткой мерностью раскачиваемого колокола и упорством человека, решившего умереть. Обессилев, он снова упал, потом на коленях выполз из кельи и сел против двери, как олицетворенное изумление.

Больше часа, не пошевельнувшись, просидел он так, пристально глядя на опустевшую келью, мрачнее и задумчивее матери, сидящей между опустевшей колыбелью и гробиком своего дитяти. Он не произносил ни слова; лишь изредка бурное рыданье сотрясало его тело, но то было рыданье без слез, подобное бесшумно вспыхивающим летним зарницам.

По-видимому, именно тогда, доискиваясь в горестной своей задумчивости, кто мог быть неожиданным похитителем цыганки, он остановился на архидьяконе. Он припомнил, что у одного лишь Клода был ключ от лестницы, ведшей в келью, он припомнил его ночные покушения на девушку – первое, в котором он, Квазимодо, помогал ему, и второе, когда он. Квазимодо, помешал ему. Он припомнил множество подробностей и вскоре уже не сомневался более в том, что цыганку у него отнял архидьякон. Однако его уважение к священнику было так велико, его благодарность, преданность и любовь к этому человеку пустили такие глубокие корни в его сердце, что даже и теперь чувства эти противились острым когтям ревности и отчаяния.

Он думал, что это сделал архидьякон, но кровожадная, смертельная ненависть, которою он проникся бы к любому иному, тут, когда это касалось Клода Фролло, обернулась у несчастного глухого глубочайшей скорбью.

В ту минуту, когда его мысль сосредоточилась на священнике, упорные арки собора осветились утренней зарей, и он вдруг увидел на верхней галерее Собора Богоматери, на повороте наружной балюстрады, опоясывавшей свод над хорами, движущуюся фигуру. Она направлялась в его сторону. Он узнал ее. То был архидьякон.

Клод шел тяжелой и медленной поступью, не глядя перед собой; он шел к северной башне, но взгляд его был обращен к правому берегу Сены. Он держал голову высоко, точно силясь разглядеть что-то поверх крыш. Такой косой взгляд часто бывает у совы, когда она летит вперед, а глядит в сторону. Архидьякон прошел над Квазимодо, не заметив его.

Глухой, окаменев при его неожиданном появлении, увидел, как священник вошел в дверку северной башни. Читателю известно, что именно из этой башни можно было видеть Городскую ратушу. Квазимодо встал и пошел за архидьяконом.

Звонарь поднялся по башенной лестнице, чтобы узнать, зачем поднимался по ней священник. Бедняга не ведал, что он сделает, что скажет, чего он хочет. Он был полон ярости и страха. В его сердце столкнулись архидьякон и цыганка.

Дойдя до верха башни, он, прежде чем выступить из мрака лестницы на площадку, осторожно осмотрелся, ища взглядом священника. Тот стоял к нему спиной. Площадку колокольни окружает сквозная балюстрада. Священник, устремив взгляд на город, стоял, опираясь грудью на ту из четырех сторон балюстрады, которая выходит к мосту Богоматери.

Бесшумно подкравшись сзади. Квазимодо старался разглядеть, на что так пристально смотрит архидьякон.

Внимание священника было поглощено тем, на что он глядел, и он даже не услышал шагов Квазимодо.

Великолепное, пленительное зрелище представляет собой Париж, – особенно Париж того времени, – с высоты башен Собора Богоматери летним ранним, веющим прохладою утром. Стоял июль. Небо было ясное. Несколько запоздавших звездочек угасали то там, то тут, и лишь одна, очень яркая, искрилась на востоке, где небо казалось всего светлее. Вот-вот должно было показаться солнце. Париж начинал просыпаться. В этом чистом, бледном свете резко выступали обращенные к востоку стены домов. Исполинская тень колоколен ползла с крыши на крышу, протягиваясь от одного конца города до другого. В некоторых кварталах уже слышались шум и говор. Тут раздавался колокольный звон, там – удары молота или дребезжание проезжавшей тележки. Кое-где на поверхности кровель уже возникали дымки, словно вырываясь из трещин огромной курящейся горы. Река, дробившая свои волны о быки стольких мостов, о мысы стольких островов, переливалась серебристой рябью. Вокруг города, за каменной его оградой, глаз тонул в широком полукруге клубившихся испарений, сквозь которые можно было смутно различить бесконечную линию равнин и изящную округлость холмов. Самые разные звуки реяли над полупроснувшимся городом. На востоке утренний ветерок гнал по небу белые пушистые хлопья, вырванные из гривы тумана, застилавшего холмы.

На паперти кумушки с кувшинами для молока с удивлением указывали друг другу на невиданное разрушение главных дверей Собора Богоматери и на два потока расплавленного свинца, застывших в расщелинах камня. Это было все, что осталось от ночного мятежа. Костер, зажженный Квазимодо между двух башен, потух. Тристан уже очистил площадь и приказал бросить трупы в Сену. Короли, подобные Людовику XI, заботятся о том, чтобы кровопролитие не оставляло следов на мостовой.

С внешней стороны балюстрады, как раз под тем местом, где стоял священник, находился один из причудливо обтесанных каменных желобов, которыми щетинятся готические здания.

В расщелине этого желоба два прелестных расцветших левкоя, колеблемые ветерком, шаловливо раскланивались друг с другом, точно живые. Над башнями, высоко в небе, слышался щебет птиц.

Но священник ничего этого не слышал, ничего этого не замечал. Он был из тех людей, для которых не существует ни утра, ни птиц, ни цветов. Среди этого необъятного простора, предлагавшего взору такое многообразие, его внимание было сосредоточено на одном.

Квазимодо сгорал желанием спросить у него, что он сделал с цыганкой, но архидьякон, казалось, унесся в иной мир. Он, видимо, переживал одно из тех острейших мгновений, когда человек даже не почувствовал бы, как под ним разверзается бездна. Вперив взгляд в одну точку, он стоял безмолвный, неподвижный, и в этом безмолвии, в этой неподвижности было что-то до того страшное, что свирепый звонарь задрожал и не осмелился их нарушить. У него был другой способ спросить священника: он стал следить за направлением его взгляда, и взор его упал на Гревскую площадь.

Он увидел то, на что глядел архидьякон. Возле постоянной виселицы стояла лестница. На площади виднелись кучки людей и множество солдат. Какой-то мужчина тащил по мостовой что-то белое, за которым волочилось что-то черное. Этот человек остановился у подножия виселицы.

И тут произошло нечто такое, что Квазимодо не мог хорошо разглядеть. Не потому, чтобы его единственный глаз утратил зоркость, но потому, что скопление стражи у виселицы мешало ему видеть происходившее. Кроме того, в эту минуту взошло солнце, и такой поток света хлынул с горизонта, что все высокие точки Парижа – шпили, трубы и вышки – запылали одновременно.

Тем временем человек стал взбираться по лестнице. Теперь Квазимодо отчетливо разглядел его. На плече он нес женщину-девушку в белой одежде; на шею девушки была накинута петля. Квазимодо узнал ее.

То была она.

Человек добрался до конца лестницы. Здесь он поправил петлю.

Священник, чтобы лучше видеть, стал на колени на самой балюстраде.

Внезапно человек резким движением каблука оттолкнул лестницу, и Квазимодо, уже несколько мгновений затаивавший дыхание, увидел, как на конце веревки, на высоте двух туаз над мостовой, закачалось тело несчастной девушки с человеком, вскочившим ей на плечи. Веревка перекрутилась в воздухе, и Квазимодо увидел, как по телу цыганки пробежали страшные судороги. Вытянув шею, с выкатившимися из орбит глазами священник тоже глядел на эту страшную сцену, на мужчину и девушку – на паука и муху.

Вдруг в самое страшное мгновение сатанинский смех, смех, в котором не было ничего человеческого, исказил мертвенно-бледное лицо священника. Квазимодо не слышал этого смеха, но он увидел его.

Звонарь отступил на несколько шагов за спиной архидьякона и внезапно, в порыве ярости кинувшись на него, своими могучими руками столкнул его в бездну, над которой наклонился Клод.

– Проклятье! – крикнул священник и упал вниз.

Водосточная труба, над которой он стоял, задержала его падение В отчаянии он обеими руками уцепился за нее, и в тот миг, когда он открыл рот, чтобы крикнуть еще раз, он увидел над краем балюстрады, над своей головой, наклонившееся страшное, дышавшее местью лицо Квазимодо.

И он онемел.

Под ним зияла бездна. До мостовой было более двухсот футов.

В этом страшном положении архидьякон не вымолвил ни слова, не издал ни единого стона Он лишь извивался, делая нечеловеческие усилия взобраться по желобу до балюстрады Но его руки скользили по граниту, его ноги, царапая почерневшую стену, тщетно искали опоры. Тем, кому приходилось взбираться на башни Собора Богоматери, известно, что под балюстрадой находится каменный карниз. На ребре этого скошенного карниза бился несчастный архидьякон. Под ним была не отвесная, а ускользавшая от него вглубь стена.

Чтобы вытащить его из бездны, Квазимодо достаточно было протянуть руку, но он даже не смотрел на Клода. Он смотрел на Гревскую площадь. Он смотрел на виселицу. Он смотрел на цыганку.

Глухой облокотился на балюстраду в том месте, где до него стоял архидьякон. Он не отрывал взгляда от того единственного, что в этот миг существовало для него на свете, он был неподвижен и нем, как человек, пораженный молнией, и слезы непрерывным потоком тихо струились из его глаза, который до сей поры пролил одну-единственную слезу.

Архидьякон изнемогал. По его лысому лбу катился пот, из-под ногтей на камни сочилась кровь, колени были в ссадинах.

Он слышал, как при каждом усилии, которое он делал, его сутана, зацепившаяся за желоб, трещала и рвалась. В довершение несчастья желоб оканчивался свинцовой трубой, гнувшейся под тяжестью его тела Архидьякон чувствовал, что труба медленно подается Несчастный сознавал, что, когда усталость сломит его руки, когда его сутана разорвется, когда свинцовая труба сдаст, падение неминуемо, и ужас леденил его сердце. Порой он устремлял блуждающий взгляд на тесную площадку футов на десять ниже, образуемую архитектурным украшением, и молил небо из глубины своей отчаявшейся души послать ему милость – окончить свой век на этом пространстве в два квадратных фута, даже если ему суждено прожить сто лет. Один раз он взглянул вниз на площадь, в бездну; когда он поднял голову, веки его были сомкнуты, а волосы стояли дыбом.

Было что-то страшное в молчании этих двух человек. В то время как архидьякон в нескольких футах от Квазимодо погибал лютой смертью. Квазимодо плакал и смотрел на Гревскую площадь.

Архидьякон, видя, что все его попытки только расшатывают его последнюю хрупкую опору, решил больше не шевелиться. Обхватив желоб, он висел едва дыша, неподвижно, чувствуя лишь судорожное сокращение мускулов живота, подобное тому, какое испытывает человек во сне, когда ему кажется, что он падает. Его остановившиеся глаза были болезненно и изумленно расширены. Но почва постепенно уходила из-под него, пальцы скользили по желобу, руки слабели, тело становилось тяжелее. Поддерживавшая его свинцовая труба все ниже и ниже склонялась над бездной.

Он видел под собой – и это было ужасно – кровлю Сен-Жан-ле-Рон, казавшуюся такой маленькой, точно перегнутая пополам карта. Он глядел на бесстрастные изваяния башни, повисшие, как и он, над пропастью, но без страха за себя, без сожаления к нему. Все вокруг было каменным: прямо перед ним – раскрытые пасти чудовищ, под ним, в глубине площади – мостовая, над его головой – плакавший Квазимодо.

На Соборной площади стояли добродушные зеваки и спокойно обсуждали, кто этот безумец, который таким странным образом забавлялся. Священник слышал, как они говорили, – их высокие, звучные голоса долетали до него:

– Да ведь он сломит себе шею!

Квазимодо плакал.

Наконец архидьякон, с пеной бешенства и ужаса на губах, понял, что его усилия тщетны. Все же он собрал остаток сил для последней попытки. Он подтянулся на желобе, коленями оттолкнулся от стены, уцепился руками за расщелину в камне, и ему удалось подняться приблизительно на один фут; но от этого толчка конец поддерживавшей его свинцовой трубы

сразу погнулся. Одновременно порвалась его сутана. Чувствуя, что он потерял всякую опору, что только его онемевшие слабые руки еще за что-то цепляются, несчастный закрыл глаза и выпустил желоб. Он упал.

Квазимодо смотрел на то, как он падал.

Падение с такой высоты редко бывает отвесным. Архидьякон, полетевший в пространство, сначала падал вниз головою, вытянув руки, затем несколько раз перевернулся в воздухе. Ветер отнес его на кровлю одного из соседних домов, и несчастный об нее ударился Однако, когда он долетел до нее, он был еще жив Звонарь видел, как он, пытаясь удержаться, цеплялся за нее пальцами. Но поверхность была слишком поката, а он уже обессилел. Он скользнул вниз по крыше, как оторвавшаяся черепица, и грохнулся на мостовую. Там он остался лежать неподвижно.

Тогда Квазимодо поднял глаза на цыганку, тело которой, вздернутое на виселицу, билось под белой одеждой в последних предсмертных содроганиях, потом взглянул на архидьякона, распростертого у подножия башни, потерявшего человеческий образ, и с рыданием, всколыхнувшим его уродливую грудь, произнес:

– Это все, что я любил!

III. Брак Феба

Под вечер того же дня, когда судебные приставы епископа подняли на Соборной площади изувеченный труп архидьякона. Квазимодо исчез из Собора Богоматери.

По поводу этого происшествия ходило множество слухов. Никто не сомневался в том, что пробил час, когда, в силу их договора. Квазимодо, то есть дьявол, должен был унести с собой Клода Фролло, то есть колдуна. Утверждали, что Квазимодо, чтобы взять душу Фролло, разбил его тело, подобно тому, как обезьяна разбивает скорлупу ореха, чтобы съесть ядро.

Вот почему архидьякон не был погребен в освященной земле.

Людовик XI опочил год спустя, в августе месяце 1483 года.

Пьеру Гренгуару удалось спасти козочку и добиться успеха как драматургу. По-видимому, отдав дань множеству безрассудных увлечений – астрологии, философии, архитектуре, герметике, – он вернулся к драматургии, самому безрассудному из всех. Это он называл своим «трагическим концом». Вот что можно прочесть по поводу его успехов как драматурга в счетах епархии за 1483 год:

«Жеану Маршану, плотнику, и Пьеру Гренгуару, сочинителю, которые поставили и сочинили мистерию, сыгранную в парижском Шатле в день приезда папского посла, на вознаграждение лицедеев, одетых и обряженных, как требовалось для мистерии, а равно и на устройство подмостков – всего сто ливров»

Феб де Шатопер тоже кончил трагически. Он женился.

IV. Брак Квазимодо

Мы упоминали о том, что Квазимодо исчез из Собора Богоматери в самый день смерти цыганки и архидьякона. И действительно, его никто уже не видел, никто не знал, что с ним сталось.

В ночь после казни Эсмеральды помощники палача сняли ее труп с виселицы и по обычаю отнесли его в склеп Монфокона.

Монфокон, по словам Соваля, был «самой древней и самой великолепной виселицей королевства». Между предместьями Тампль и Сен-Мартен, приблизительно в ста шестидесяти саженях от крепостной стены Парижа, на расстоянии нескольких выстрелов от деревни Куртиль, на пологой, однако достаточно высокой, видной издалека горке возвышалось, слегка напоминая кельтский кромлех, своеобразное сооружение, где также приносились человеческие жертвы.

Представьте себе на вершине мелового холма большой каменный параллелепипед высотою в пятнадцать футов, шириною в тридцать, длиною в сорок, с дверью, наружной лестницей и площадкой На этой площадке – шестнадцать громадных столбов из необтесанного камня высотою в тридцать футов, расположенных колоннадой по трем сторонам массивного основания и соединенных между собою наверху крепкими балками, с которых, через правильные промежутки, свисали цепи, на каждой цепи – скелет. Неподалеку на равнине – каменное распятие и две второстепенные виселицы, которые словно отпочковались от главной Над всем этим высоко в небе непрерывное кружение воронья. Таков был Монфокон.

В конце XV столетия страшная виселица, воздвигнутая в 1328 году, была уже сильно разрушена Брусья источили черви, цепи заржавели, столбы позеленели от плесени. Кладка из тесаного камня расселась, площадка, по которой не ступала нога человека, поросла травой. Жутким силуэтом вырисовывалось это сооружение на небе, особенно ночью, когда по белым черепам скользили лунные блики и ночной ветер, задевая цепи и скелеты, шевелил их во мраке. Одной этой виселицы было достаточно, чтобы наложить зловещую тень на всю окрестность.

Каменная кладка, служившая фундаментом этому отвратительному сооружению, была полой. В ней находился обширный подвал, прикрытый сверху старой железной, уже погнувшейся решеткой, куда сваливали не только человеческие трупы, падавшие с цепей Монфокона, но и тела всех несчастных, которых казнили на других постоянных виселицах Парижа. В этой глубокой свалке, где превратилось в прах столько человеческих останков и столько преступлений, сложили свои кости многие из великих мира сего и многие невиновные, начиная от невинно осужденного Ангерана де Мариньи, обновившего Монфокон, и кончая адмиралом Колиньи, замкнувшим круг Монфокона, тоже невинно осужденным.

Что же касается таинственного исчезновения Квазимодо, то вот все, что нам удалось разузнать.

Спустя полтора или два года после событий, завершивших эту историю, когда в склеп Монфокона пришли за трупом повешенного два дня назад Оливье ле Дена, которому Карл VIII даровал милость быть погребенным в Сен-Лоране, в более достойном обществе, то среди отвратительных человеческих остовов нашли два скелета, из которых один, казалось, сжимал другой в своих объятиях. Один скелет был женский, сохранивший на себе еще кое-какие обрывки некогда белой одежды и ожерелье вокруг шеи из зерен лавра, с небольшой шелковой ладанкой, украшенной зелеными бусинками, открытой и пустой Эти предметы представляли по-видимому такую незначительную ценность, что даже палач не польстился на них. Другой скелет, крепко обнимавший первый, был скелет мужчины. Заметили, что спинной хребет его был искривлен, голова глубоко сидела между лопаток, одна нога была короче другой. Но его шейные позвонки оказались целыми, из чего явствовало, что он не был повешен. Следовательно, человек этот пришел сюда сам и здесь умер. Когда его захотели отделить от скелета, который он обнимал, он рассыпался прахом.

Примечание к восьмому изданию

По ошибке было объявлено, что это издание будет дополнено новыми главами. Следовало сказать – главами неизданными. В самом деле, если под новыми подразумевать заново написанные, то главы, добавленные к этому изданию, не могут считаться новыми. Они были написаны одновременно со всем романом, вытекали из одного и того же замысла и всегда составляли часть рукописи Собора Парижской Богоматери. Более того, автор не мыслит, каким образом можно было бы дополнить подобного рода сочинение вставками, написанными позже. Это зависит не от нас. По мнению автора, роман, в силу известного закона, зарождается сразу, со всеми своими главами, драма – со всеми своими сценами. Не думайте, что можно произвольно изменять количество частей единого целого, этого таинственного микрокосма, который вы именуете драмой или романом. Прививка или спайка плохо срастаются с такого рода произведением. Оно должно вылиться сразу в определенную форму и сохранять ее.

Написав произведение, не передумывайте, не поправляйте его. Как только книга вышла в свет, как только пол этого произведения, мужской или женский, признан и утвержден, как только новорожденный издал первый крик, – он уже рожден, существует, он таков, каков есть; ни отец, ни мать уже ничего не могут изменить; он принадлежит воздуху и солнцу, предоставьте ему жить или умереть таким, каким он создан. Ваша книга неудачна? Тем более! Не прибавляйте глав к неудачной книге. Ваша книга неполна? Ее следовало сделать полной, зачиная ее. Ваше дерево искривлено? Вам уже его не выпрямить! Ваше произведение худосочно? Ваш роман не жизнеспособен? Вы не вдохнете в него дыхание жизни, которого ему недостает! Ваша драма рождена хромой? Поверьте мне что не стоит приставлять ей деревянную ногу.

Итак, автор придает особое значение тому, чтобы читатели не считали вновь опубликованные главы написанными именно для этого нового издания. Если они не были опубликованы ни в одном из предшествующих изданий, то это произошло по очень простой причине. В то время, когда Собор Парижской Богоматери печатался впервые, тетрадь, содержавшая эти три главы, затерялась. Нужно было либо написать их вновь, либо обойтись без них. Автор решил, что две довольно объемистые главы касаются искусства и истории, не затрагивая существа драмы и романа; читатели не заметят их исчезновения, только автор будет посвящен в тайну этого пробела. Он решил этим пренебречь. К тому же, если быть откровенным до конца, над необходимостью заново писать утерянные главы взяла верх его лень. Ему легче было бы написать новый роман.

Теперь эти главы отыскались, и автор пользуется первой возможностью, чтобы вставить их куда следует.

Итак, вот оно, это произведение, во всей его целостности, такое, каким оно было задумано, такое, каким оно было создано; хорошо оно или дурно, долговечно или скоропреходяще, но оно именно такое, каким хотел его видеть автор.

Эти отыскавшиеся главы в глазах людей, хотя бы и весьма рассудительных, искавших в Соборе Парижской Богоматери лишь драму или роман, наверное, покажутся незначительными. Но, быть может, найдутся читатели, которые сочтут не бесполезным вникнуть в эстетический и философский замысел этой книги и которые, читая Собор Парижской Богоматери, с особым удовольствием попытаются разглядеть под оболочкой романа нечто иное, нежели роман, и проследить – да простится нам нескромное выражение! – систему историка и цель художника, скрывающуюся под более или менее удачным творением поэта.

Вот для таких читателей главы, внесенные в это издание, дополнят роман Собор Парижской Богоматери, если только Собор Парижской Богоматери вообще стоило дополнять.

В одной из этих глав автор излагает и обосновывает, к несчастью глубоко укоренившееся и глубоко им продуманное, мнение о нынешнем упадке архитектуры и о почти неизбежной, как ему кажется, гибели этого великого искусства. Но он испытывает необходимость заявить здесь о своем искреннем желании, чтобы будущее когда-нибудь доказало его неправоту. Он знает, что искусство под любой оболочкой может ждать всего от грядущих поколений, гений которых пока еще зреет в наших мастерских. Зерно брошено в борозду, и жатва, несомненно, будет обильна! Автор только опасается, а почему опасается, это будет явствовать из второго тома настоящего издания, – как бы животворящие соки не иссякли в том древнем грунте, который в течение стольких веков был наиболее плодородной почвой для зодчества.

И все же новое поколение художников – поколение жизнеспособное, сильное, в нем есть, если можно так выразиться, некая предопределенность; в частности, в наших архитектурных школах, особенно последнее время, бездарные профессора готовят, не только сами того не сознавая, но даже против своего желания, прекрасных учеников; с ними повторяется, но только в обратном порядке, рассказанная Горацием история горшечника, который задумывал амфоры, а лепил горшки: currit rota, urceus exit[159]. Но какова бы ни была будущность

архитектуры, как бы ни разрешили в один прекрасный день наши молодые архитекторы вопрос о своем искусстве, в ожидании новых памятников должно сохранить памятники древние. Внушим народу по мере возможности любовь к национальному зодчеству. Именно в этом – заявляет автор – одна из главных целей книги; именно в этом одна из главных целей его жизни. В Соборе Парижской Богоматери есть, быть может, несколько правильных суждений об искусстве средневековья, об этом чудесном искусстве, до сей поры еще неведомом одним и, что еще хуже, непризнанном другими. Но автор далек от того, чтобы считать добровольно поставленную им перед собой задачу завершенной. Он уже не раз выступал в защиту нашего древнего зодчества, он уже не раз вопиял о профанациях, разрушениях и святотатственных посягательствах на это искусство. Он будет неутомим! Он обязался возвращаться к этой теме. И он к ней вернется! Он будет столь же неутомимым, защищая наши исторические памятники, сколь яростно на них нападают наши школьные и академические иконоборцы. Сердце кровью обливается, когда видишь, в какие руки попало теперь средневековое зодчество и как беззастенчиво современные штукатуры обращаются с развалинами великого искусства. Это позор для нас, людей образованных, видящих, что они творят, и ограничивающихся порицанием. Я уже не говорю о том, что происходит в провинции, но что происходит в Париже! У наших дверей, под нашими окнами в столице, в очаге культуры, обиталище печати, слова, мысли! Заканчивая наше примечание, мы не можем не указать на проявления вандализма, которые ежедневно задумываются, обсуждаются, зачинаются, продолжаются и спокойно доводятся до благополучного конца у нас на глазах, на глазах у парижских любителей искусства, перед лицом обезоруженной подобной дерзостью критики. Только что разрушен архиепископский дворец, убогое по вкусу здание, – эта беда еще не велика; но заодно с дворцом разрушают и здание епархиального управления, редкий памятник XIV столетия, который архитектор-разрушитель не сумел распознать. Он вместе с плевелами вырвал и колосья. Ныне толкуют о том, чтобы срыть прелестную Венсенскую часовню и из ее камней воздвигнуть укрепления, без которых Домениль, однако, обошелся. Тратят большие деньги на ремонт и реставрацию безобразного Бурбонского дворца и в то же время предоставляют осенним ветрам разбивать дивные витражи Сент-Шапель. Вот уже несколько дней как башня церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри покрыта строительными лесами, а в ближайшее утро там заработает кирка. Нашелся каменщик, который соорудил белый домишко между почтенными башнями Дворца правосудия. Нашелся другой, который обкорнал Сен-Жермен-де-Пре, феодальное аббатство с тремя колокольнями. Не сомневайтесь, что найдется и третий, который снесет СенЖермен-д'Оксеруа. Всем этим каменщикам, воображающим себя архитекторами, платят префектура или районные управления, они носят зеленые мундиры академиков. Все зло, которое извращенный вкус может причинить истинному вкусу, они причиняют. В тот час, когда мы пишем эти строки, перед нами плачевное зрелище: один из этих каменщиков распоряжается в Тюильри, он полосует самый лик творения Филибера Делорма. И, конечно, немалым позором для нашего времени является та наглость, с какой неуклюжие украшения работы этого господина расползаются по всему фасаду одного из изящнейших зданий эпохи Возрождения.

Париж. 20 октября 1832 г.

Историко-литературная справка

Трудно сказать с уверенностью, когда у Гюго возник первый замысел его исторического романа «Собор Парижской Богоматери», однако несомненно, что сюжет и главные темы произведения вынашивались писателем в течение долгого времени. Мысль о романе могла прийти Гюго еще в 1823 году в связи с выходом в свет романа Валмера Скотта «Квентин Дорвард», в котором изображалась Франция XV века. В статье об этом романе, напечатанной в июльской книжке журнала «Французская муза» на 1823 год, молодой Гюго не только дал разбор произведения прославленного английского романиста, но и изложил свои взгляды на

исторический роман «После живописного, но прозаического романа Вальтера Скотта, – писал Гюго, – остается еще создать роман в ином жанре, по нашему мнению, более изящный и более законченный. Это должен быть в одно и то же время роман, драма и эпопея, конечно, живописный, но в то же время поэтический, действительный, но в то же время идеальный, правдивый, но в то же время величественный, который заключит Вальтера Скотта в оправу Гомера». Теперь эта статья звучит как предисловие к еще не написанному роману. Она говорит о том, в каком направлении шли искания Гюго в области исторического романа. Отправляясь от Вальтера Скотта, Гюго хочет в то же время создать нечто более возвышенное, идеальное. Действительно, метод Гюго во всех его исторических романах иной, чем метод В. Скотта. В. Скотт – глубокий аналитик исторических событий, мастер в изображении типических характеров эпохи; в то же время совершенно очевидно, он слаб там, где обращается к традиционно романическому элементу, создает фигуры положительных героев, стремится нарисовать идеальную любовь. В отличие от В. Скотта Гюго не дает нам представления о движущих силах той или иной исторической эпохи; судьбы главных героев Гюго не раскрывают нам сущности исторических процессов. По собственному признанию Гюго в письме от декабря 1868 года к издателю Лакруа, он «никогда не писал ни исторических драм, ни исторических романов». Как и в своих драмах, Гюго-романист подходит к истории с точки зрения общечеловеческих принципов добра и зла, любви и жестокосердия, единых и незыблемых для всех эпох. Тем не менее за этими общечеловеческими проблемами, выдвигаемыми на первый план, мы все же ясно видим аксессуары и фон эпохи, изображенные со всем блеском романтической палитры. С большой силой выразительности передает Гюго накал страстей, апеллируя прежде всего к чувству читателя.

Начало работы над «Собором Парижской Богоматери» относится к 1828 году. Обращение Гюго к далекому прошлому было вызвано тремя факторами культурной жизни его времени, широким распространением исторической тематики в литературе, увлечением романтически трактуемым средневековьем, борьбой за охрану историко-архитектурных памятников. Действительно, Гюго задумал свое произведение в момент расцвета исторического романа во французской литературе, 20-е годы – это время появления «СенМара» Виньи (1826), «Хроники времен Карла IX» Мериме (1829), «Шуанов» Бальзака (1829). Интерес к средневековью обозначился во французской литературе уже с появления «Гения христианства» Шатобриана (1802) – и как реакция против пренебрежительного отношения классицистов и просветителей к средним векам, и как протест против прозы буржуазной жизни, и как стремление к необычному и таинственному. Выбор эпохи Людовика XI был подсказан Гюго, по всей вероятности, «Квентином Дорвардом» Скотта, но идея организовать действие вокруг Собора Парижской Богоматери целиком принадлежала ему; она отражала его увлечение старинной архитектурой и его деятельность в защиту памятников средневековья. Особенно часто Гюго посещал собор в 1828 году во время прогулок по старому Парижу со своими друзьями – писателем Нодье, скульптором Давидом д'Анже, художником Делакруа. Он познакомился с первым викарием собора аббатом Эгже, автором мистических сочинений, впоследствии признанных официальной церковью еретическими, и тот помог ему понять архитектурную символику здания. Вне всякого сомнения, колоритная фигура аббата Эгже послужила писателю прототипом для Клода Фролло. В это же время Гюго штудирует исторические сочинения, делает многочисленные выписки из таких книг, как «История и исследование древностей города Парижа» Соваля (1654), «Обозрение древностей Парижа» Дю Бреля (1612), средневековые «Хроники» Пьера Матье, и Комина и др. Подготовительная работа над романом была, таким образом, тщательной и скрупулезной; ни одно из имен второстепенных действующих лиц, в том числе Пьера Гренгуара, не придумано Гюго, все они взяты из старинных источников.

К середине 1828 года замысел произведения настолько прояснился для писателя, что он набросал его план на бумаге. В этом первом сценарии отсутствует Феб де Шатопер,

центральным звеном романа является любовь к Эсмеральде двух лиц – Клода Фролло и Квазимодо. Эсмеральду обвиняют лишь в чародействе (а не в убийстве капитана Шатопера), и влюбленному в нее поэту Гренгуару удается на время оттянуть трагическую развязку, подменив собой цыганку в железной клетке, куда она брошена по приказу короля, и пойдя вместо нее на виселицу, интересно отметить, что в сценарии уже присутствовала осада Собора Парижской Богоматери толпой бродяг.

15 ноября 1828 года Гюго заключил договор с издателем Госленом, согласно которому он должен был представить ему к 15 апреля 1829 года рукопись романа «Собор Парижской Богоматери». Однако театр оторвал писателя от работы над романом.

Вскоре после опубликования «Эрнани» другим издателем Гослен потребовал от Гюго выполнения договора. Новый договор от 5 июня 1830 года обязывал Гюго окончить роман к 1 декабря под страхом чудовищной неустойки. Первые строки романа были написаны 25 июля 1830 года, разразившаяся 27 июля революция остановила работу писателя на шестой странице. Гюго вынужден был покинуть свою квартиру на улице Жана Гужона, расположенную близко от того места, где шли бои, и переселиться к тестю на улицу ШершМиди, во время поспешного переезда была потеряна тетрадь с подготовительными записями, и тогда издатель предоставил Гюго последнюю отсрочку – до 1 февраля 1831 года.

Таким образом, роман был начат под гром революционных битв и, несомненно, отразил окончательный переход Гюго на демократические позиции Жена Гюго, Адель Гюго, вспоминает «Великие политические события не могут не оставлять глубокого следа в чуткой душе поэта Виктор Гюго, только что поднявший восстание и воздвигший свои баррикады в театре, понял теперь лучше чем когда-либо, что все проявления прогресса тесно связаны между собой и что, оставаясь последовательным, он должен принять и в политике то, чего добивался в литературе». Захваченный революционными событиями» Гюго на время оставляет творчество; в августе он написал лишь поэму «К Молодой Франции» – она была напечатана в журнале «Глоб» в номере от 19-го числа. Гюго писал Ламартину. «Нет никакой возможности оградить себя от внешних впечатлений, зараза носится в воздухе и проникает в вас помимо вашей воли, в такое время искусство, театр, поэзия не существуют. Заниматься политикой – это все равно что дышать»

1 сентября Гюго вернулся к работе над романом. Адель Гюго оставила нам красочный рассказ о напряженном труде писателя в осенние и зимние месяцы 1830—1831 годов.

«Теперь уже нечего было надеяться на отсрочку, надо было поспеть вовремя. Он купил себе бутылку чернил и огромную фуфайку из серой шерсти, в которой тонул с головы до пят, запер на замок свое платье, чтобы не поддаться искушению выйти на улицу, и вошел в свой роман, как в тюрьму. Он был грустен.

Отныне он покидал свой рабочий стол только для еды и сна. Единственным развлечением была часовая послеобеденная беседа с друзьями, приходившими его навестить, им он читал иногда написанное за день.

После первых глав грусть улетучилась, он весь был во власти творчества: он не чувствовал ни усталости, ни наступивших зимних холодов; в декабре он работал с открытыми окнами.

14 января книга была окончена. Бутылка чернил, купленная Виктором Гюго в первый день работы, была опустошена; он дошел до последней строчки и до последней капли, и у него даже мелькнула мысль изменить название и озаглавить роман «Что содержится в бутылке чернил»…

Завершив «Собор Парижской Богоматери», Виктор Гюго затосковал: он сжился со своими героями и, прощаясь с ними, испытывал грусть расставания со старыми друзьями. Оставить книгу ему было так же трудно, как начать ее».

Роман вышел в свет 16 марта 1831 года и к концу года выдержал семь изданий. Затем авторские права перешли к издателю Рандюэлю, выпустившему в 1832 году восьмое издание, дополненное тремя главами, не вошедшими в издание Гослена (глава VI книги IV – «Нелюбовь народа» – и две главы, образующие книгу V, – «Abbas beati Martini» и «Вот это убьет то»). Несмотря на то, что первое издание вышло в тревожные дни холерных бунтов, разгрома народом архиепископского дворца и церкви Сен-Жермен и прихода к власти реакционного министерского кабинета Казимира Перье, роман имел поразительный успех у самых разных кругов читателей По словам историка Мишле, «Виктор Гюго построил рядом со старым собором поэтический собор на столь же прочном фундаменте и со столь же высокими башнями»; для начинающего поэта Теофиля Готье «этот роман – настоящая Илиада; он уже стал классической книгой».

Воодушевленный успехом «Собора Парижской Богоматери», Гюго задумал два новых романа, если не как продолжение, то как дополнение к нему (о первом из них идет речь в авторском примечании к восьмому изданию «Собора»). В 1832 году Гюго обещал издателю Рандюэлю романы «Кикангронь» и «Сын горбуньи» Читателям он о них сообщал так: «Кикангронь» – народное название одной из башен замка Бурбон-л'Аршамбо. Роман должен дополнить мои взгляды на искусство средневековья. В «Соборе Парижской Богоматери» перед нами собор, в «Кикангронь» перед нами будет башня В «Соборе» я преимущественно изображал священнослужительское средневековье, в «Кикангронь» я более подробно опишу средневековье феодальное, разумеется, с моей точки зрения, верной или неверной, но моей. «Сын горбуньи» выйдет после «Кикангронь» и составит один том»

Однако начиная с середины 1831 года театр потребовал от писателя напряжения всех его творческих сил, и еще два романа о средневековье так и не были написаны.

Примечания

1

Рок *(греч.)*

2

Слово «готический» в том смысле, в каком его обычно употребляют совершенно неточно, но и совершенно неприкосновенно. Мы, как и все принимаем и усваиваем его, чтобы охарактеризовать архитектурный стиль второй половины средних веков, в основе которого лежит стрельчатый свод преемник полукруглого свода породившего архитектурный стиль первой половины тех же веков *(Прим. автора)*

3

Игра слов epice – по-французски – и пряности и взятка, palais – и небо и дворец.

4

Lecornu *(франц.)* – рогатый.

5

Рогатый и косматый! *(лат.)*

6

Игрок в кости! *(лат.)*

7

Tibaut aux des – игра слов, означающая то же, что и двумя строчками выше приведенная латинская фраза «Тибо с игральными костями».

8

Вот тебе орешки на праздник *(лат.)*

9

За всадником сидит мрачная забота *(лат.)*, – Гораций.

10

И бог пусть не вмешивается *(лат.)*

11

Ликуй, Юпитер! Рукоплещите, граждане! *(лат.)*

12

Игра слов: dauphin по-французски – дельфин и дофин (наследник престола).

13

Будем пить, как папа *(лат.)*

14

Ряса, напитанная вином! *(лат.)*

15

Не мечите жемчуга (бисера) перед свиньями *(лат.)*

16

Свиней перед жемчугом. Игра слов: Margarita – по-латыни – жемчужина, Marguerite – по-французски – и Маргарита и жемчужина.

17

В поступи явно сказалась богиня *(лат.)* – Вергилий.

18

Поцелуи за удары *(исп.)*

19

Внутри колонны нашли драгоценный ларь, в котором лежали новые знамена с ужасными изображениями *(исп.)*

20

Арабы верхом на конях, неподвижные, с мечами, с отличными самострелами за плечами *(исп.)*

21

Вся дорога путь и относящееся к дороге *(лат.)*

22

«Радуйся, звезда моря!» *(лат.)* – католическое церковное песнопение.

23

Подайте, синьор! Подайте! *(итал.)*

24

Сеньор кабальеро, подайте на кусок хлеба! *(исп.)*

25

Подайте милостыню! *(лат.)*

26

На прошлой неделе я продал свою последнюю рубашку *(лат.)*

27

Милостыню! *(лат.)*

28

Подайте! *(итал.)*

29

Кусок хлеба! *(исп.)*

30

Куда бежишь, человек? *(исп.)*

31

Шляпу долой, человек! *(исп.)*

32

Философия и философы всеобъемлющи *(лат.)*

33

Подайте милостыню *(лат.)*

34

Когда цесарки меняют перья и земля *(исп.)*

35

Esmeralda по испански – изумруд.

36

Время прожорливо человек еще прожорливей *(лат.)*

37

Который своею громадой повергает в ужас зрителей *(лат.)*

38

«История галликанской церкви», кн. 2, стр 130 *(Прим. автора)*

39

Стоят, прервавшись, работы *(лат.)*

40

Это то искусство, которое, в зависимости от местности, климата и населения, называется также ломбардским, саксонским и византийским Эти четыре разновидности архитектуры родственны и существуют параллельно, хотя каждая из них отличается особым характером, в основе всех лежит полукруглый свод.

41

Эта деревянная часть шпиля была уничтожена молнией в 1823 году *(Прим. автора.)*

42

Своеобразное *(лат.)*

43

Верность граждан правителям, прерываемая, однако изредка восстаниями, породила увеличение их привилегии *(лат.)*

44

Мы с грустью и негодованием видели, как пытались увеличить, переделать и перекроить, то есть разрушить этот восхитительный дворец. Руки современных нам зодчих слишком грубы, чтобы касаться этих хрупких созданий Возрождения. Будем надеяться, что они этого и не осмелятся сделать. Кроме того, разрушить сейчас Тюильри было бы не только варварством, которое заставило бы покраснеть даже пьяного вандала, но и предательством. Тюильри не просто шедевр искусства шестнадцатого века, но и страница истории девятнадцатого. Этот дворец принадлежит уже не королю, а народу. Не будем посягать на него Его чело дважды отмечено нашей революцией. Один из его фасадов пробит ядрами 10 августа, другой – 29 июля. Это святыня. Париж, 7 апреля 1813 г. *(Примечание автора к пятому изданию.)*

45

Давать оплеухи и драть за волосы *(лат.)*

46

Голубого и бурого цвета *(лат.)*

47

Название папской буллы *(лат.)*

48

Алтарь лентяев *(лат.)*

49

Quasimodo у католиков – первое воскресенье после пасхи, Фомино воскресенье, quasimodo означает по-латыни «как будто бы», «почти».

50

Пастырь лютого стада еще лютее пасомых *(лат.)*

51

Здоровый малый злобен *(лат.)*

52

«Ангел» – первое слово молитвы, читаемой при звоне колокола утром, в полдень и вечером.

53

Словно поднятые трубным звуком *(лат.)*

54

Побоище; основная причина – отличное выпитое им вино *(лат.)*

55

Где замыкается круг *(лат.)*. Имеется в виду «круг знаний», которым обучали в древности и в средние века.

56

Дозволенное *(лат.)*

57

Недозволенное *(лат.)*

58

Legris – по-французски произносится так же, как le gris, что означает «хмельной», «под хмельком».

59

Гюго II из Бизунсио, 1326—1332. *(Прим. автора.)*

60

К общему напеву *(лат.)*

61

Для некоторых именитых жен, посещения коих нельзя избежать, не вызывая огласки *(лат.)*

62

«Эге, эге! Клод с хромым» – игра слов: латинское claudus значит «хромой».

63

Аббат монастыря блаженного Мартина *(лат.)*

64

«О предопределении и свободе воли» *(лат.)*

65

Игра слов: l'abricotier – абрикосовое дерево; l'abricotier – приют на берегу.

66

Верую в Бога *(лат.)*

67

Господа нашего *(лат.)*

68

Аминь *(лат.)*

69

Ошибаешься, друг Клод *(лат.)*

70

Голубь.

71

«Толкование Послании апостола Павла». Нюрнберг, Ангонии Кобургер, 1474 *(лат.)*

72

Аббат монастыря блаженного Мартина, то есть король Франции, согласно установлению, считается каноником и имеет малый приход, принадлежащий церкви святого Венанция, а в капитуле он должен заседать на месте казначея *(лат.)*

73

Ибо именуюсь львом *(лат.)*

74

Черепаха *(лат.)*; в военном искусстве римлян так называлась кровля из щитов, сомкнутых над головами.

75

Это та самая комета, при появлении которой папа Каликст, дядя Борджа, приказал служить молебны и которая появилась вновь в 1835 году. *(Прим. автора.)*

76

Должность, которая соединена не только с государственной властью, но и со многими преимуществами и правами *(лат.)*

77

Отчеты по управлению государственным имуществом, 1383 г. *(Прим. автора.)*

78

Суровый закон *(лат.)*

79

Во-первых *(лат.)*

80

Во-вторых *(лат.)*

81

Предположительно – блудницы *(лат.)*

82

В-третьих *(лат.)*

83

Громким голосом во мраке *(лат.)*

84

Молчи и надейся *(лат.)*

85

Крепкий щит – спасение вождей *(лат.)*

86

Тебе принадлежащий *(лат.)*

87

Молись! *(лат.)*

88

Людовик Великий *(лат.)* – надпись на триумфальной арке, воздвигнутой в Париже на бульваре Сен-Дени в память о победах Людовика XIV над Фландрией и Франш-Конте.

89

Французское «Trou aux Rats» (Крысиная нора) созвучно с латинским «Tu, ora».

90

Неровными шагами *(лат.)*

91

Песня в цвету *(франц.)*

92

«Господь» *(лат.)* – начало молитвы.

93

Кто глух, тот глуп *(лат.)*

94

Игра слов. Фамилия Condelaurier (Гонделорье) состоит из слов: gond – крюк и laurier – лавровое дерево.

95

Прокорми себя сама *(лат.)*

96

Мужчина с женщиной не станут читать «Отче наш» *(лат.)*

97

«Каким образом» и «но поистине» *(лат.)*

98

Поистине эти харчевни изумительны! *(итал.)*

99

Дыши, надейся *(лат.)*

100

Откуда? Оттуда? *(лат.)* Человек человеку зверь *(лат.)* Звезда, лагерь, имя, божество *(лат.)* Большая книга, большое зло *(греч.)* Дерзай знать *(лат.)* Веет, где хочет *(лат.)*

101

Пост *(греч.)*

102

Небесного называй господом, земного – погибелью *(лат.)*

103

Пламя! *(лат.)*

104

Рок, судьба *(лат.)*

105

Разорвали рубаху («кухонная» латынь).

106

Рубаху, а не плащ *(лат.)*

107

Это по-гречески; прочесть невозможно *(лат.)*

108

С моим лакеем («кухонная» латынь)

109

Кто не работает, пусть не ест *(лат.)*

110

Цепям и палкам вопреки, оковам, тюрьмам, дыбам, веревкам назло, кандалам, ошейникам, железкам *(лат.)*

111

Через самого, и с самим, и в самом *(лат.)*

112

Бессмысленный набор слов.

113

Голый весишь ты сто фунтов, если вешать за ноги *(лат.)*

114

Колдунья или ведьма! *(лат.)*

115

Диалог об энергии и деятельности демонов *(лат.)*

116

У каждого места есть свои дух (гений) *(лат.)*

117

Тебя, Бога, хвалим! *(лат.)*

118

При сохранении своей формы душа остается невредимой *(лат.)*

119

Позорно жить среди сквернословия *(лат.)*

120

Некогда я был фиговым стволом *(лат.)*

121

Епископ Эдуэнский *(лат.)*

122

Сознаюсь *(лат.)*

123

Goton – уменьшительное от имени Marguerite (Маргарита).

124

О фигурах правильных и неправильных *(лат.)*

125

Учение *(греч.)*

126

Поелику милостивые государи эта женщина изобличена в колдовстве и преступное намерение ее доказано, я от имени со борной церкви Парижской Богоматери, коей присвоено право высшей юрисдикции в пределах острова Сите, заявляю присутствующим что требую во

первых присуждения ее к денежному штрафу во вторых присуждения ее к публичному покаянию перед порталом Собора Парижской Богоматери, в третьих, приговора, в силу коего эта колдунья была бы казнена вместе с ее козой на месте, в просторечии именуемом «Грев» или на острове на реке Сене близ королевских садов *(лат.)*

127

Увы! Варварская латынь! *(лат.)*

128

Отрицаю *(лат.)*

129

Оставь надежду навсегда *(итал.)* – из «Божественной комедии» Данте.

130

Queue (Ке) окраина хвост *(франц.)*

131

…Не убоюся полчищ, обступающих меня! Услышь меня, господи, спаси меня, боже мой!

132

…Спаси меня, боже мой, ибо воды растут и поднялись до самой души моей.

133

…В глубокой трясине увяз я, и нет вблизи твердой опоры *(лат.)*

134

Кто услышит слово мое и уверует в пославшею меня, имеет жизнь вечную и суду не подлежит, но перейдет из смерти в жизнь *(лат.)*

135

Из глубины ада воззвал я к тебе, и глас мой был услышан; ты ввергнул меня в недра и пучину морскую, и волны обступили меня *(лат.)*

136

Так гряди же, грешная душа, и да смилуется над тобой Господь! *(лат.)*

137

Господи помилуй! *(греч.)*

138

Аминь! *(лат.)*

139

Все хляби и потоки твои прошли надо мной *(лат.)*

140

Это было нечто вроде гидры для монахов святою Германа на Лугах ибо миряне кружили им там головы своими ссорами и безобразиями *(лат.)*

141

Счастливый старик! *(лат.)*

142

О тесании камней *(лат.)*

143

Таков: в пище, в питье, во сне, в любви – во всем воздержание *(лат.)*

144

Фиктивным браком *(лат.)*

145

Иссякает ученость ученых, послушание учеников *(лат.)*

146

Беснующегося люда многолюдное беснование? *(лат.)*

147

Какое песнопение! Какие трубы! Какие песни! Какие мелодии звучат здесь без конца! Поют медоточивые трубы, слышится нежнейшая ангельская мелодия, дивная песнь песней!.. *(лат.)*

148

Не всякому дано иметь нос *(лат.)*

149

От вина распутство и буйное веселье *(лат.)*

150

Вино доводит до греха даже мудрецов! *(лат.)*

151

Слава богу *(лат.)*

152

Десятиносый *(греч.)*

153

Без кравчего, без виночерпия *(лат.)*

154

Пульс частый, прерывистый, слабый, неправильный *(лат.)*

155

Le mauvais – дурной *(франц.)*

156

Осаждая Турин, сам был осажден *(лат.)*

157

Против скупости *(лат.)*

158

Прекрасное создание в белой одежде (Данте) *(итал.)*

159

Станок вращается – выходит кувшин *(лат.)*
